

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

*В разгласной
публикации*

1971

5

1971

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVII

№ 5

Май, 1971 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ГРИГОЛ АБАШИДЗЕ — Русскому поэту, стихотворение. Перевел с грузинского Станислав Куняев	3
ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ — Два стихотворения. Перевел с грузинского Юрий Ряшенцев	4
ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ — Из лирики, стихи	6
ИОСИФ ГЕРАСИМОВ — На трассе — непогода, повесть	8
ПЕТРУСЬ БРОВКА — Последний лист, стихи. Перевел с белорусского Яков Хелемский	90
ЛЕВ СЛАВИН — Роман с башней, рассказ	92
ИВАН АКУЛОВ — Уголек, рассказ	98
ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ — Живая вереница дней, стихи	108
ВАСИЛЬ СТЕФАНИК — Три рассказа. Перевел с украинского Вл. Россельс	111
ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ — Стихи разных лет. Перевел с сербско-хорватского Борис Слуцкий	119
ЯРОСЛАВ ГОЛОВАНОВ — Королев, хроника. Окончание	125

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ЕКАТЕРИНА ЛОПАТИНА — В рязанской глубинке	164
---	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. КОВТУН — Освобождение Будапешта	183
------------------------------------	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

ФЕЛИКС НОВИКОВ — Города, горожане и градостроители	197
--	-----

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Н. ХОХЛОВ — Страна Патриса Лумумбы. Окончание	214
---	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
<i>Наука о литературе сегодня</i>	
Л. ТИМОФЕЕВ — Художественный прогресс	238
АЛЕКСАНДР ОВЧАРЕНКО — Продолжение спора	243
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Борис Слуцкий. Благородная ярость.— В. Камянов. Служба памяти.— В. Иванов, М. Каган. Литература и нравственность.	267
<i>Политика и наука</i>	
Эр. Ханпира. Рыцарь русского просвещения.— А. Преображенский. Совместный труд итальянских и советских историков.— С. Андреев. Летчик, дипломат, писатель.	277
КОРОТКО О КНИГАХ — И. Варламова.— «На Севере Дальнем». ♦ В. Бродер.— А. А. Мигولاتев. Эскалация милитаризма. ♦ С. Сивоконь.— Владлен Бахнов. Внимание: ахи!	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ГРИГОЛ АБАШИДЗЕ

★

РУССКОМУ ПОЭТУ

С грузинского

Я услышал твой зов издалёка,
как олений раскатистый крик.
Есть у каждого цель и дорога,
есть родной соловьиный язык.

Узы братства — древнейшие в мире.
Древней истине будем верны!
Перед ней растворяются шире
с каждым годом сердца и умы.

Я на зов соловьиный примчался
в край, где любят и чтут соловьев,
где к бормочущим трелям причастны
звуки звонниц и свет куполов.

Дом бревенчатый гостеприимен —
славил гостя, себя не ронял...
Я с любовью глядел на Владимир,
перед Суздалем взоры склонял.

И яснее мне стало отныне
в этом тихом лесистом краю:
кто обидел чужую святыню —
оскверняет святыню свою.

Мы смотрели на древние храмы,
прозревали иные века,
понимая, что живы и правы
вековой правотой языка.

Было песен немало пропето,
и чурались тоски и алчбы
голоса соловьиного лета
в сердцевине народной судьбы.

Перевел Станислав Куняев.



ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ

★

ИЗ ЛИРИКИ

* * *

Черемуха из-под дождя,
Пятилепестковая одурь,
Тебя я услышал, поодаль
От ярких рядов проходя.

Черемуха? Боже ты мой!
Откуда? С какого вокзала?
Какая нужда завязала
Твой ворох суровой тесьмой?

Зачем ты торчишь на торгу,
Как девочка в белой панаме?
Цвела бы себе на поляне,
На майском цыплячем лугу!

Да где там, на торг городской
Тебя угораздило тоже.
О, как мы с тобою похожи
Своей несуразной тоской!

Я грусти не знал бы весной,
А этой весной и подавно,
Когда бы не дух твой так явно,
Твой дух не витал надо мной.

Он словно бы в чем-то винил
И, сколько я шел по Садовой,
Черемуховый, черемховый,
Все время вдогонку дразнил...

* * *

Заколodило наши пути.
Развело — и путей не узнаешь.
Жар еще не сошел, погоди!
Веет липа — а ты уезжаешь.

Сохнут губы, и пальцы как лед.
Что случилось? С какого недуга

Так горячечно липа цветет
И глаза избегают друг друга?

Я тебя ни о чем не прошу,
Уезжай — наша связь добровольна.
На вечерний перрон провожу,
Уезжай, уезжай — мне не больно!

Все равно! Что тянуть канитель,
Если нежность недорого стоит?
Застилай на дорогу постель,
И не стоит об этом, не стоит...

И когда отшатнувшийся свет
Поплывет и закружатся тени —
«Я любил тебя!» — выдохну вслед.
И — ступени, колеса, колени.

И экспресс застучит второпях,
И стремглав за экспрессом летящим
Горы шлака на черных путях
Вдруг откроются в небе горящем.

Вот и все. И обдаст колею,
И заклинит рычаг семафора...
Ничего. Я и это стерплю.
...И отпустит. Теперь уже скоро...



ИОСИФ ГЕРАСИМОВ

★

НА ТРАССЕ — НЕПОГОДА

Повесть

1

Это был огромный аэропорт, такого я еще не видел, а может быть, мне так показалось из-за большого скопления разномастных лайнеров, мокнувших под дождем; с крыльев их и фюзеляжей на серую бетонку стекала вода. Несколько дней с утра до вечера я наблюдал эту немую стоянку воздушных машин. Каждый раз, взглядывая в низкое, разбухшее от влаги небо, с надеждой молил, чтобы там открылся хотя бы небольшой синий просвет.

Привела меня в этот аэропорт страсть к бесцельным путешествиям. Правда, мой грузинский друг, специалист в области психологии, молодой ученый Анзор Габани предупредил, что мог бы признать меня невменяемым, и в доказательство процитировал собственную книгу. Вот что там было написано: «Примерами расстройства волевой деятельности может служить клептомания — влечение к кражам, пиромания — влечение к поджогам, дромомания — влечение к бесцельным путешествиям. Лица, страдающие этими расстройствами, понимают порочность и нелепость своего влечения, но не в состоянии противиться ему. Наличие такого расстройства психики может стать основанием для признания лица невменяемым».

Видимо, в то лето эпидемия дромомании охватила половину России, только этим можно объяснить гигантские очереди у железнодорожных и аэрофлотовских касс, а может быть, Анзор Габани, при всем своем глубочайшем знании психологии, не учел особенностей нашего века и допустил ошибку, зачислив дромоманов в круг людей, страдающих порочными влечениями.

Несколько дней в далеком от Москвы аэропорту мокли под теплыми дождями лайнеры. Неподалеку от японских берегов зародился тайфун «Клара» — как и все тайфуны при рождении, он получил женское имя; так вот, эта самая «Клара», спутав прогнозы синоптиков, ринулась на берег, обдав его ветрами, дождями, туманами и плотно закрыв небо над нашим аэропортом. Несколько дней мы были в центре воздушной пробки.

А потом я прилетел на остров в океане, поселился в растрескавшемся от частых землетрясений домике у скалы, о которую разбивались волны.

Утром я выходил на берег, в часы отлива на пепельном песке валялись выброшенные океаном негодные вещи: пустые тюбики из-под зубной пасты, пластмассовые осколки различной корабельной утвари со знаками японских фирм, стеклянные шары-поплавки, сорванные с

рыбачьих сетей,— они напоминали, что лежащее впереди водное пространство населено различными посудинами, на которых идет обыденная жизнь, и потому пустынная вода не создавала ощущения нелюдимости, на поверхности ее явственно угадывался след человека.

В это утро небо над океаном было бледно-розовым с глубинным серебристым туманцем, слева по берегу за покатым взгорком, по которому раскинулись черные домики поселка, огромной зелено-лиловой плоскостью выделялся вдали вулкан. Я лежал на песке, глядя в даль, наслаждаясь тишиной. Но ее оборвал ребячий вскрик. Женщина сидела на бревне, вытянув обнаженные ноги, и смеялась, глядя, как девочка убегает от волн. Я узнал эту женщину, она была из той небольшой компании, которая прибыла на остров вчера вечером: три лейтенанта пограничных войск с женами и детьми. Они добирались на остров две недели, домик наш был для них всего лишь перевалочной базой, отсюда эти люди должны были разъехаться по дальним заставам, которые станут на несколько лет их постоянным пристанищем.

Впервые я увидел эту женщину сидящей на крыльце возле чемоданов и ящиков со скарбом, она прижимала к себе спящую дочь, плоское лицо ее, отупевшее от отчаяния, было серым, лишенным возрастных примет, на нем отпечатались только тревоги дальних дорог и глухое одиночество. Муж ее, лейтенант, растерянно бормотал: мол, все обрывается, все обретет свое место,— но видно было, что слова его не достигают ее сознания — так прочна была окутавшая женщину оболочка отчужденности... А сейчас она сидела и смеялась. Лицо ее не казалось более серым и плоским, она была молода, по-татарски скуласта.

Я мысленно вернулся в тот самый аэропорт, над которым гудели высотные ветры разбившегося тайфуна «Клара», стал вспоминать различные происшествия, которые наблюдал там, и обнаружил, что в них есть некая связь, хотя на первый взгляд казалось — они не имеют ничего общего.

2

— Ого, мужиков-то сколько!

Это было первое, что услышал Танцырев утром, и сразу ясно вспомнил, где он и как сюда попал, приподнялся на локтях и прежде всего повернулся к окну; оно было потным и ничего за ним нельзя было разглядеть, кроме серого клочковатого тумана, и такой же серый свет мутно вползал в комнату, сгущаясь у стен и в углах. «Понятно»,— вздохнул Танцырев, отмечая этим про себя, что за ночь никаких перемен в погоде не произошло и, стало быть, самолета на Москву в ближайшее время ждать нечего.

— С добрым утром, мужики! — опять прозвучал этот звонкий, с небольшой хрипотцой голос.

Женщина сидела на кровати, поджав ноги, придерживая простыню на груди, была она молода, с округлым, свежим, немного припухшим ото сна лицом, не стеснялась того, что растрепана,— волосы ее, подкрашенные в нечто отливающее красной медью, были спутаны так, что походили на небрежно надетый клоунский парик,— насмешливо косила глазами, и смутная улыбка чуть растянула ее маленькие губы; было в ней что-то вызывающее и вместе с тем простоватое, словно хотела она всей своей позой показать: мол, вы сами по себе, а я сама по себе, но вообще-то мы люди свои, если уж переночевали в одной комнате.

От взгляда на эту женщину Танцыреву стало веселей, и он кивнул ей:

— Привет!

— Ого! — воскликнула она.— Хоть один отозвался. А я думала — молчальники набились. Только храпеть и умеют.

— Кто-нибудь улетел? — спросил Танцырев.

Женщина указала на черный динамик, который висел над ее головой.

— Диктор бы кликнул, а то всю ночь молчал.

И тут же в динамике щелкнуло, будто где-то там, на аэровокзале в диспетчерской, услышали слова женщины и решили ответить.

— Внимание! — произнес мужской голос.

В комнате заскрипели кровати, люди зашевелились, но едва диктор снова сказал «внимание!», замерли, стали жадно, с надеждой слушать.

— Ввиду неблагоприятных метеорологических условий... — И дальше шло долгое перечисление рейсов, которые отменялись до сорока часов.

— Обрадовал, — усмехнулась женщина, повозилась под простыней и вылезла из-под нее в поролоновом цветастом халате; крепкими загорелыми ногами нащупала туфли, встала и пошла к выходу.

Когда женщина сидела, Танцырев было решил, что она низенькая и полная, но она оказалась довольно рослой, с хорошей, статной фигурой и шла легко и красиво.

— Эх, черт, поспать не дали, — досадливо сказал кто-то в углу.

Только теперь Танцырев по-настоящему осмотрел комнату, выглядела она убого: беленые стены, беленый потолок, с которого свисала обнаженная лампочка на шнуре, семь кроватей и сголько же стульев меж ними, а посередине стол, покрытый серым пластиком, какие обычно стоят в столовых самообслуживания, — и больше никакой мебели, пахло в комнате сыростью и известкой. «Все-таки лучше, чем на вокзале», — подумал Танцырев и потянулся к одежде.

Вчера весь день скитался он по двухэтажному зданию с широченной стеклянной стеной, за которой нудно плескался дождь. Вокзал с железобетонными лестничными переходами, пластиком перил и кассовых стоек, потухшими, черными табло был насыщен испарениями, воздух держался плотный и липкий, в нем растекался гул человеческих голосов. Люди наполнили это пространство до отказа, сидели и полулежали в креслах с металлическими гнутыми ножками, обитыми коричневой искусственной кожей, а те, кому не хватило этих кресел, разместились на полу, расстелив на нем газеты, а поверху кто куртку, кто пальто, оставив для проходов узкие коридоры; в иных местах — в углах и на лестничных площадках — люди лежали и сидели, отделившись чемоданами, и это чем-то напоминало птичьи гнезда.

В гуле голосов к концу дня не было ни ропота возмущения, ни оттенков недовольства, а только терпеливая покорность ожидания. Если в первые часы Танцырев, не выдерживая вокзальной обстановки, выбежал покурить под козырек подъезда, чтобы ощутить на лице тепло влажного воздуха, и нетерпеливо поглядывал на небо, а потом спешил к справочному бюро, жадно прислушивался к тому, что толковали многочисленные знатоки погоды из пассажиров, то к вечеру он устал от этого и, найдя себе место возле закрытого ларька с сувенирами, расстелил по примеру других на полу газету, на нее плащ, лег и закурил сигарету, тайно пряча ее в кулак, как это делали другие. Табачный дым вился над рядами кресел, выдавая маленькие человеческие хитрости, в плотном воздухе он собирался в голубоватые бесформенные хлопья, они медленно поднимались к высокому потолку, меняя на пути своем объемные очертания, и, наблюдая их движение, Танцырев почувствовал облегчающее безразличие: «А, что будет, то будет...» — и тут же усмехнулся, понимая, что мысль эта означала конец его бесплодной суете, и, докурив сигарету, задремал.

Проснулся, когда под потолком зажглись большие молочные пла-

фоны, увидел перед собой покрытые грязью сапоги, где-то за ними на рюкзаке покоилось бородатое лицо с очень ясными голубыми глазами, один из них подмигнул Танцыреву:

— Что, коллега, до утра наверняка загораем?

— Почему коллега? — спросил Танцырев, разминая затекшее от лежания плечо и оглядывая бородатого, облаченного в морской китель.

— Судовой эскулап, — представился тот и не поднимаясь кинул Танцыреву журнал. — Ваше хозяйство.

Это был последний номер «Вестника хирургии», наверное, Танцырев обронил его возле себя, когда задремал.

— Я эту погоду знаю. Тайфун — дело не шуточное, даже на суше. Такая дрянь в небе может провисеть дня три, а то четыре. Бывает, и больше недели держит. Воздушная пробка. Советую податься в город и искать пристанища.

— А сами что же вы?

— У меня тут свои интересы есть, — ответил бородатый и подмигнул ясным голубым глазом.

Танцырев поверил ему. «Конечно же, глупо, — подумал он, — торчать тут ночь на полу. Да, наверное же, есть и при аэропорте гостиница». Эта простая мысль взбодрила его. «Ну, не будет здесь места, тогда уж в город. Есть ведь и адрес и телефон. Но это на крайний случай, только на крайний случай...»

— Спасибо за идею, — сказал он, поднимаясь.

— Не стоит, — насмешливо ответил бородатый.

Танцырев тоже усмехнулся, подумав, что он действительно нелепо выглядел возле этой будки с сувенирами, на полу, в новеньком сером костюме, при белой рубашке с пятнистым галстуком-бабочкой, и ему стало весело.

Надев плащ, он вышел под дождь на привокзальную площадь.

Через дорогу, в парке, светился желтыми окнами ресторан, можно было для начала заглянуть туда, но заходить в помещение не хотелось: парной теплый воздух улицы был приятней табачной затхлости и запаха кухни, да и голода Танцырев не ощущал, нахватавшись бутербродов в вокзальных буфетах.

Справившись у первого встречного, где тут гостиница, он прошел по указанному пути через темную мокрую аллею парка к трехэтажному зданию. Вот там-то ему и объяснили, что все давным-давно забито, но есть еще несколько мест в летнем отделении, да и то в общем женском номере, если он согласен... Впрочем, это и без того большое одолжение.

Так он попал в длинный, видимо, только в нынешнем году сооруженный барак, и когда ему в темноте старуха дежурная указала койку, быстро разделся, лег на влажную простыню и тотчас заснул.

«Нужно что-то предпринимать», — размышлял он, одеваясь и разглядывая соседей по комнате.

Справа сидел на кровати темно-рыжий человек, большие залысины увеличивали и без того крупный лоб, да и все черты его лица были крупны, тупой нос с округлым срезом к плотным губам, под очками в золотистой оправе — выпуклые бледно-голубые глаза, выдвинутый вперед подбородок; как у большинства обладателей таких волос, кожа на его лице была красноватой, от него исходил сладковатый запах одеколона. На нем были табачного цвета брюки из искусственного материала, названия которого Танцырев не знал, пиджак небрежно брошен на кровать. Человек этот неторопливо собирал шнур электробритвы, чтобы уложить ее в прямоугольный жесткий портфель с металлическим ободком и стальными замками — эти портфели вошли в моду год назад, их называли кто «дипломат кейс», кто «джермс бонд», и Танцырев сам мечтал о таком, но добыть не смог.

Дальше, на следующей кровати, прикрыв только ноги шинелью, лежал солдат, судя по погонам — пограничник, он еще спал, уютно подтянув к животу колени и подложив под щеку ладошки, сложенные пирожком; в подстриженных ежиком темных волосах застряло перо из подушки, и, может, поэтому его заостренное лицо с большими губами казалось цыплячьим.

В углу, у той стены, где было окно, натягивал брюки высокий человек, он был обнажен по пояс. «Отлично сложен,— отметил Танцырев.— Настоящая спортивная фигура». Он скользнул взглядом по его торсу в мелких мышцах, без всяких жировых отложений, и потому неожиданным показалось Танцыреву лицо этого человека — вытянутое, бледное, с синеватыми полукружиями под глазами, покрытое неопрятной светловатой щетиной, длинные темно-русые волосы безвольно рассыпались вокруг низкого лба.

По другую сторону окна, через проход, кровать была пуста, это было место той женщины, что разбудила Танцырева своим окликом, а рядом у самой двери лежала девушка лет восемнадцати. Ее большие серые глаза, подведенные черным карандашиком, полоски которого не успели стереться за ночь, были безразличны. Она заметила взгляд Танцырева, и прежнее выражение исчезло из глаз, оно сменилось подчеркнутым пренебрежением: ей, видимо, не понравилось, что Танцырев на нее смотрит; девушка высвободила руку из-под простыни, машинально поправила светлые, коротко остриженные волосы, сморщила нос, несколько большой на ее худом, но свежем лице, и тут же повернулась к стулу, где висела ее куртка, пошарила в карманах, достала сигарету, зажала пухлыми губами и опять стала искать в куртке то ли зажигалку, то ли спички и, не найдя, раздосадованно откинулась снова на подушку. Танцырев видел, как она беспокоится под его взглядом, это забавляло, и он спросил дружелюбно:

— Дать огня?

— Лучше бы отвернулись,— сказала она, не вынимая сигареты изо рта.

— Только ради вас,— ответил он.

Лицо человека, которого он увидел, было так хорошо ему знакомо, что Танцырев невольно кивнул в знак приветствия, но человек этот или не заметил его поклона, или не захотел на него отвечать, потому Танцырев испытал неловкость. Он не мог вспомнить не только имени соседа, но и где и как встречался с ним, хотя мог бы поклясться как угодно, что было это совсем недавно, ведь он отлично знал это лицо: ироничный изгиб припухлых губ, крепкий подбородок с круглой вмятинкой по центру, смуглые щеки, черные спутанные волосы. Но где, когда встречались? Танцырев решился, отбросив условности, спросить напрямик, но тут же осекся, заметив, как пуст взгляд светло-карих глаз соседа. «Не болеет ли?»

Танцырев осторожно отвернулся, достал из портфеля несессер и в майке направился к выходу.

Длинный коридор оказался густо населенным, вдоль стен стояли раскладушки, наверное, их поставили ночью, двери в соседние комнаты были раскрыты, и, заглянув туда, Танцырев убедился, что ему еще повезло. В их комнате всего семь кроватей, а в соседних по двадцать и больше. Некрашенный пол в коридоре был затоптан, на нем отпечатались мокрые следы множества ног. Ему объяснили, что умывальник на улице, он вышел на крыльцо, с удовольствием вдохнул теплую свежесть воздуха.

Дождя не было, но над всем пространством вокруг барака висел рваный туман, из него сыпалась мелкая, невидимая глазу морось, но

не колючая, а мягкая, парная, и оседала на лице и руках. Даль не проглядывалась, не видно было ни здания аэровокзала, ни зимней гостиницы. Танцырев взглянул на часы, было восемь по-местному, это значит в Москве только час ночи, звонить туда нельзя, он поднимет с постели Нелю, а она и без того плохо спит в последнее время, стала принимать снотворное; можно заказать телефон клиники, но что это даст? Подумав об этом, Танцырев почувствовал тоску. Хочешь не хочешь, а придется день провести в этом бараке, все-таки если верить диктору, то есть какая-то надежда, глядишь, и в самом деле часам к двум произойдет перемена в погоде, но тут же он вспомнил вчерашнего бородача. Все-таки он моряк и кое-что понимает. Оставалось только ожидание, и больше ничего.

Он нашел умывальник неподалеку от угла барака — длинная труба, приколоченная к доске, и на ней с десятков кранов — и, пока умывался, вернулся мыслями к соседу слева: где же все-таки они встречались? Не мог себе простить, всегда гордился отменной памятью, много раз поражал сотрудников, называя по имени не только тех, кого когда-то оперировал, но и их родных, а тут вдруг заело. Он попробовал себя успокоить: ладно, есть время, еще можно вспомнить.

Когда Танцырев вернулся в комнату, здесь произошли перемены: солдат поднялся и сидел на своей койке, у него оказались синие глаза, он весело оглядывался вокруг, будто вся эта комната была для него полнейшей неожиданностью, лицо его не казалось сейчас таким цыплячьим, как во сне; девушки не было, и соседка ее еще не вернулась; темно-рыжий стоял у окна и курил; сосед слева лежал по-прежнему, уставившись в потолок.

Танцырев натянул на себя белую сорочку, брезгливо отметив, что на манжетах появились темные пятна, запасной рубахи не было — проклятый чемодан! — да, вырядился он в дорогу как последний пижон, еще этот галстук-бабочка в белый горошек. Но тут он, пожалуй, не виновен, офицеры устроили такие проводы, что иначе он и не мог одеться, они сами были при полном параде, да к тому же Танцырев был уверен, что через девять часов «ИЛ-62» доставит его в Домодедово. Когда он поднимался по трапу, была отличная погода. «Может быть, можно купить здесь какую-нибудь рубашку попроще».

Темно-рыжий повернулся к нему, быстро, оценивающе взглянул из-за толстых стекол очков и сказал:

— Извините, вы не в курсе: где тут завтракают?

В голосе прозвучали приглашающие нотки, нечто вроде: «Не составили бы вы компанию?..» — и Танцырев подумал: «Ну что же, одному ведь скучно» — и ответил:

— Поищем, найдем.

— Отлично, — кивнул тот и, подойдя к кровати, деловито взял свой плоский портфель-чемоданчик.

Танцырев еще раз взглянул на соседа слева и тут же отчетливо вспомнил, где видел эти глаза: вот так долго, мучительно долго смотрели они с экрана. «Ох ты черт, да это же Воронистый!» — ахнул Танцырев и сразу почувствовал облегчение. «Вот в чем дело! — радостно воскликнул он про себя. — Как же я сразу-то не узнал?» И понял, почему это произошло: он никогда не видел этого актера в жизни, а только на экране или на сцене, да и невероятным могло показаться, что именно Воронистый, актер, которого он любил, окажется здесь, в бараке, его соседом.

— Сколько сейчас времени? — спросил Воронистый.

Да, это был именно он, теперь уж сомнений не оставалось, в комнате прозвучал его голос, особый, раскатистый, ему сразу стало тесно

в помещении, он заполнил собой все пространство меж четырех беленых стен.

— Половина девятого,— с готовностью ответил Танцырев.

Воронистый помогал головой, морщась при этом, словно пытался отделаться от головной боли.

— Закурить у вас не найдется? — попросил он.

Танцырев начал шарить по карманам, но темно-рыжий опередил его, протянул пачку «Кента». Воронистый торопливо закурил, и тогда Танцырев спросил участливо:

— Плохо себя чувствуете?

Но актер не ответил, болезненно поморщился и выпустил длинную струю дыма.

— Я подожду вас на крыльце,— нетерпеливо сказал темно-рыжий.

— Нет, нет,— ответил Танцырев.— Я иду...

Перепрыгивая через мелкие лужи, пробираясь по дощечкам и камням, кем-то заботливо положенным в наиболее трудных для перехода местах, они дошли до парка; с высоких деревьев капало, туман держался в их вершинах, на одном из газонов разбиты были две палатки: одна оранжерейная, другая ослепительно-синяя, наверное, их поставили туристы; в синей надрылся транзистор.

— На вокзал? — спросил Танцырев.

Спутник его приостановился, обдумывая, и ответил:

— По-моему, где-то здесь ресторан. Там есть и кафе. Как-то я завтракал.

Танцырев усмехнулся: темно-рыжий проговорился, в комнате он только сделал вид, что не знает, куда здесь пойти, ему нужен был собеседник или собеседник, и он выбрал Танцырева.

Все оказалось так, как и говорил темно-рыжий: кафе работало при ресторане, нашелся и свободный столик; наверное, большинство пассажиров завтракали в вокзальных буфетах, и поэтому в кафе не было сутолоки.

Они сели друг против друга, и теперь, когда их разделяло лишь небольшое поле квадратного стола, укрытого белой скатертью, наступила неловкая минута молчания. На первый бы случай надо было предстать, но Танцыреву не хотелось начинать. Темно-рыжий помолчал, покашлял и наконец спросил:

— Вы тоже, видимо, из мира искусств, как этот Воронистый?

— Узнали его?

— Еще вчера. На вокзале девицы шептались, указывая на него пальцем. Так вы тоже из мира искусств?

Откуда он взял?.. А, черт, этот галстук-бабочка. Он поехал на Дальний Восток по приглашению командования части, где брат его занесен навечно в список личного состава, брат, погибший двадцать пять лет назад здесь под небольшим городком и ставший посмертно Героем Советского Союза. Он и оделся-то так, чтобы с первого взгляда произвести впечатление... Глупо, конечно, было натягивать галстук, купленный в Лондоне, и везти с собой только белые сорочки.

— Нет, я из другого мира,— ответил он.— Врач, хирург.

Темно-рыжий твердыми пальцами легко содрал облатку с новой пачки сигарет и, вынув для себя одну, небрежно бросил пачку на стол.

— Что же, и ученая степень у вас есть? — спросил он.

— И степень и звание. Профессор, доктор наук.

Вот опять выпалил, не обдумав ответа, причем выпалил, раздраженный отчасти самоуверенностью собеседника, его грубоватой манерой спрашивать: еще сам не представился, а допытывается. Ну да ладно! А почему он должен скрывать и темнить? В конце концов, кем бы ни оказался этот темно-рыжий, он всего лишь случайный встречный,

пассажир, ждущий самолета, и может быть, уже сегодня во второй половине дня они расстанутся, чтоб больше никогда не увидятся.

Собеседник, казалось, не удивился, во всяком случае, на его красноватом лице ничего не изменилось.

— Сколько ж вам лет? — спросил он.

— Тридцать два.

— Да-а,— протянул темно-рыжий, но какой смысл вложил в это слово, было непонятно.

Подошла официантка, выбор меню был ограничен: яичница или макароны по-флотски да еще закуски. Танцыреву было безразлично что подадут, и он только согласно кивал, когда темно-рыжий попросил минеральной воды, соку, сыру и яичницу; официантка тут же поставила хлеб и воду на стол и ушла заказывать горячее.

— Не хотите ли коньяку? — спросил темно-рыжий.

— Так ведь сейчас не подают.

— Есть запасец,— ответил тот, снял с соседнего стула «дипломат кейс», вынул на треть опорожненную бутылку, поставил на стол.

Танцырев этого не ожидал, пить ему с утра не хотелось, и он невольно поморщился; темно-рыжий это заметил, спросил:

— Что, или не принимаете? Я тоже не очень жалую, но нужно.— Он помолчал и твердо, словно укрепляя в себе решимость, добавил: — Мне нужно,— ковырнул ногтем полиэтиленовую пробку так, что она отлетела на край стола, и разлил коньяк по рюмкам.

— Ну,— сказал он,— будем знакомы. Как вас по имени-отчеству?

— Владимир Алексеевич.

— Очень хорошо. А меня Михаил Степанович.— Он помедлил, потом договорил: — Жарников.

Произнес он свою фамилию так, будто ему не хотелось себя называть, но вот, мол, приходится, но фамилия эта ничего не сказала Танцыреву.

Михаил Степанович круто опрокинул рюмку в рот, выпив коньяк одним глотком, ему сразу сделалось жарко, он вынул свежий платок, начал обтирать им лоб с большими залысинами, потом снял очки, и стало видно, что глаза у него вовсе не выпуклые, а маленькие, блекло-голубые и усталые. Он обернул лицо и спросил:

— По какой части, Владимир Алексеевич, специалист, извиняюсь?

— Сердечная хирургия.

— Сердечная,— как эхо повторил Жарников.

Танцыреву стало скучно, он подумал, что сейчас этот человек начнет расспрашивать его о сердечных заболеваниях или, чего доброго, попросит прослушать,— вот почему не следует называть свою профессию незнакомым людям: среди них всегда найдется человек, который непременно пожалуется на боли в сердце, если даже у него ничего не болит. Танцырев отвернулся к окну. На вокзальной площади стояли в длинный ряд такси, водители — кто спал, кто читал, а в последнюю машину набилось человек шесть: там играли в карты. Можно было бы сейчас сесть в такси и рвануть в город, здесь километров двадцать, как он слышал; пойти на утренний сеанс в кино или просто побродить по мокрым улицам, зайти в магазин — да, ведь он хотел купить рубашку, но... приехать в этот город и... Да, в записной книжке у него есть телефон и адрес. Позвонить бы он мог и отсюда, из кафе: в вестибюле висит телефон-автомат. Достаточно позвонить — и кто-нибудь из них приехал бы: или он, или она. Но зачем это ему сейчас? Пожалуй, во всех больших городах у него есть знакомые: или бывшие однокашники, или из тех врачей, кто побывал в его клинике. Но эти двое... Только — позвонить. Вот встать сейчас, пройти меж столиков, миновать

стеклянную дверь — и на серой стене висит телефон... К черту, лучше об этом не думать!

— У меня мотор работает исправно,— ворвался в его сознание голос Жарникова.

Официантка принесла на алюминиевых сковородочках яичницу.

— Добавить? — спросил Жарников, поднимая бутылку.

— Нет,— отозвался Танцырев.— С меня хватит.

Жарников выпил, как и прежде, одним глотком, отбер уголки губ пальцами.

«Все-таки в нем есть что-то крестьянское».

Михаил Степанович ковырнул вилкой яичницу и тут же отставил ее и внезапно очень прямо посмотрел на Танцырева, сказал отрывисто, словно сердясь:

— Плохо мне, Владимир Алексеевич.

Танцырев невольно перестал жевать — так неожиданно прозвучали слова Жарникова — и спросил в растерянности:

— Что вы сказали?

— Сказал: плохо мне. Дрянно, пакостно.— И с силой бросил вилку на стол.

3

Если бы этот узколицый, с сухим, загорелым лицом молодой человек, этот профессор с галстуком-бабочкой знал, как тяжело было Жарникову сказать вот это: «Плохо мне, Владимир Алексеевич», если бы он знал, что еще минуту назад Михаил Степанович и не помышлял, что его потянет на откровенность, которую он сам терпеть не мог в людях, то, наверное, не полез бы со своими вопросами.

В комнате летней гостиницы Танцырев сразу привлек внимание Жарникова, лицо его внушало доверие: на первый взгляд аскетичное, с запавшими щеками, острым подбородком, темное от загара — такие лица бывают у тех, кто работает у огня, скажем возле мартена, но у них были другие глаза: веки опалены, под ними белые или синеватые полукружия — слишком часто пьют воду, а у Танцырева глаза серые, ясные, в них смешались жесткость и мальчишеское любопытство, они-то и освещали все лицо, смягчая его аскетичность. «Такой умеет держать язык за зубами», — отметил про себя Жарников.

Ночь эту он спал скверно, часто просыпался и сейчас, выпив натошак коньяку, чтоб взбодриться, лишь расслабился. Жарников считал, что нет ничего глупее исповеди, и когда ему самому приходилось выслушивать чье-нибудь душеизлияние — а приходилось, и множество раз, — го презирал тех, кто прибегал к такому способу самоутешения, потому что привык: люди, с которыми он чаще всего общался, терпеть не могли исповедальных разговоров, был такой негласный закон — о себе не рассказывать, твое было только твоим, а когда оно становилось предметом общего обсуждения, то это уж скандал, пятно на человеке, и осуждался он в первую очередь за то, что не сумел тайное оставить тайным. Но человек, который сидел перед ним, не имел никакого отношения к тем, с кем приходилось сталкиваться Жарникову, даже хорошо, что он оказался не «из искусства», а хирургом — у них есть свое понятие о врачебной тайне. Жарников понимал: этот молодой профессор ничем ему помочь не сможет, да и не нужна была ему помощь.

— Что же у вас стряслось? — спросил Танцырев.

— Вроде бы ничего не стряслось, а все-таки... — с трудом сказал Михаил Степанович.— С женщиной вот...

— Обидели?

— Не знаю. То ли она меня, то ли я ее. Не знаю.

Как только он сказал это, тотчас догадался: ничего он не сможет

объяснить. Да и не расскажешь всего в двух словах, тут ведь важны мелочи, маленькие, почти незаметные мелочи.

Разве сможет он объяснить, как пришло к нему твердое решение бросить все и лететь сюда, почти на самый край земли?

...Был тот день не по времени жаркий в их местах — начался сентябрь, пора уральской осени, и вдруг обрушилась совсем июльская жара. Была пятница, кончилась дневная смена. Отупев от работы, он один остался в своем обширном кабинете, подошел к раскрытому окну — привычная, знакомая до мелочей панорама завода: застлала небо розовые, серые, белые дымы, тополя у асфальтовой площади стояли покрытые темной гарью; да, жара была не по времени тяжелая, она давила жестко, каменно, замешанная на угаре и крутом запахе хвои. В течение дня Михаил Степанович не замечал этой жары, а теперь, оставшись один, почувствовал ее гнет, и ему захотелось оказаться где-нибудь на приволье. В таких случаях выручала рыбалка. Это был проторенный путь, хотя рыбу ловить, если говорить по чести, он не очень любил, да и не знал всех хитростей этого дела, но в заводском поселке, да, пожалуй, и во всей округе, рыбалка считалась благородным занятием, он узнал об этом сразу, вступив на пост директора. Те, кто работал на этом месте до него, были завзятыми рыболовами, и он решил — не стоит нарушать традицию. Постепенно он привык к этим выездам, и ему стал нравиться не сам процесс ловли рыбы, а отработанный временем ритуал: заботы о палатках, еде, гонки на машинах, а потом почти благоговейная готовка ухи, сидение у костерка на берегу лесного озера, мужской разговор вперемежку с пением тягучих песен — беззаботная пирушка доверяющих друг другу людей.

Михаил Степанович подошел к большому столу, нажал кнопку селектора:

— Спешнев.

То был главный инженер, с которым Жарников был дружен.

— Слушай, Игорь, — сказал он, когда по селектору отозвались. — Бросай все, рыбалить едем.

Спешнев помолчал, потом глухо рассмеялся:

— Пожалуй, мудро, а то мозга за мозгу. Сейчас скоманую.

Выехали через час на трех машинах: пристал секретарь райкома Зыкин, еще прихватили двух снабженцев; поехали на любимое Жарниковым Синьгу-озеро. Даже в ненастную погоду оно было ярко-синим, а в этот душный день тихая вода имела топазно-голубой цвет с зеленой бездонной глубиной, лохматые вершины сосен отражались в ней. Пока разбивали лагерь, разбирали снасти, а один из снабженцев вместе с шофером готовили закуску и выпивку, чтобы скоротать время до вечерней зорьки, Жарников ушел к небольшому взгорку, лег на пожухлую траву под сосной. Ему не стали мешать. Он лежал, чувствуя на лице тепло солнечных лучей, пробивающихся сквозь ветви, ему хотелось сейчас думать о приятном, и он стал вспоминать о Нине.

Воспоминания об этой женщине в последнее время сводились к двум событиям, и, хотя меж ними произошло много разного, эти два события держались в его памяти как целое...

Нина стояла в общей кухне барака и стирала, мыльная пена покрывала ее руки по локоть, рифленая доска упиралась в живот, длинные пепельные волосы были туго прихвачены на затылке марлей, чтобы не лезли на глаза, поэтому лицо ее было все открыто. Она не замечала, что Жарников стоит на пороге, и была увлечена только своим делом, выражение лица ее казалось злым, тонкие губы стиснуты, щеки красны, и когда она оглянулась на кашель, остановила на Жарникове черные глаза, он оробел. Такой сильный свет исходил из этих глаз и так они спорили со всем обликом женщины, с горестной складкой у

рта, беспомощной, как у ребенка, шеей и полуобнаженной слабой грудью, которые вызвали смешанное чувство испуга и жалости, и Жарников, пришедший в этот барак как хозяин, проверить, так ли скверно живут на окраине поселка рабочие, как это значилось в докладной, стоял молча и так же молча потом ушел. Он не помнил своего ухода, а осталось в памяти другое: стог сена на краю поля подсобного хозяйства, запах волос, и близко-близко от себя эти горячие и вместе с тем кроткие глаза, и еще мягкое прикосновение пальцев к щеке. Более года прошло от одного мгновения до другого, но в сознании они сливались вместе, словно не было меж ними никакого временного промежутка, а все случилось в один день.

Так он лежал под сосной на траве, когда к нему подошел Спешнев, высокий, немного неловкий, с виноватой улыбкой, будто сам стеснялся ее, присел рядом и сказал:

— Вот так, Миша, живем и красоты не видим.

Жарников раздраженно посмотрел на него, понял, что все испорчено, встал и хмуро сказал:

— Ладно, пойдем пить водку.

Все ждали, что он скажет тост вроде того, что, мол, пусть ловится хорошо рыба малая и большая — так было заведено, — но он молча приподнял стопку, с трудом отпил из нее глоток, водка показалась скверной. На лужайке заговорили, Зыкин вспомнил какой-то анекдот, Жарников, чтоб не заметили его отчужденности, посмеялся со всеми, хотя и не слышал, о чем речь. Он стал думать, что все эти приехавшие с ним люди вернутся к ночи домой, привезут рыбешки, станут рассказывать женам и детям, как все тут было, непременно скажут о нем — кто уважительно, кто с насмешкой, а он войдет в свою квартиру, где только бродит, как тень, зайка Фаина, ждет его, чтоб подать ужин. Спать он будет, как всегда, скверно, может быть, за ночь раз, а то и два его поднимут телефонным звонком — тут сам виноват, дал такой приказ: в случае чего будить без всякого, а на таком большом заводе без случаев и ночи не бывает, — а утром примет холодный душ и опять на завод; и так изо дня в день, изо дня в день — без просвета. «Как же ее отпустил? — думал он о Нине. — Бросила все, сорвалась как шальная, я и ахнуть не успел».

Не первый раз он спрашивал себя об этом, и много раз возникала в нем мысль — взять бы да и поехать к ней, чего проще, и он привык к этой мысли, она казалась не тревожной, а даже приятной и легко исчезала, когда кончался досуг и начиналось дело.

Но сейчас это представилось ему таким простым, таким легким, что он тут же прикинул, как это могло быть: сесть в машину, прогнать ее сто двадцать километров до Свердловска, а там на самолет — одна ночь, всего одна ночь, и он на месте, день-два пробыть с Ниной, обговорить все, и снова сюда. Деньги у него есть, на что ему их беречь. Да ничего и не случится за это время, есть Спешнев, есть другие, и, если полететь на субботу и воскресенье, можно и еще два дня пробыть, глядишь, никто не хватится, а если и хватится — Игорь Спешнев что-нибудь придумает. И впервые за все время с тех пор, как уехала Нина, он ощутил решимость и тут же понял: не сделает он этого сейчас, то так все и останется только в нем, — и тут же радостно подумал: «Еду. Точка!»

Михаил Степанович встал, кивнул Игорю: мол, отойдем, — и пока Спешнев поднимался, перехватил ревнивый взгляд Зыкина: что это, дескать, там за тайны?

Они отошли к берегу озера.

— Слушай, — сказал Жарников. — Я уеду сейчас. Пусть тут все остаются, рыбачат.

— Что-нибудь срочное? — деловито спросил Спешнев.

— Личное, — ответил Жарников. — Я дня на четыре, а то и пять. Вроде отпуска.

Вот тут Спешнев удивился, хотя бывало это с ним редко.

— Но... — протянул он.

— Знаю, — поморщился Жарников. — Никого в известность ставить не надо. Суббота и воскресенье — мои. Я их уже два года не видел. Остальные дни отгулы. Имею и я право.

— Куда же поедешь, если не секрет?

— Арсеньево слышал?

— Где-то в Приморье... Пстой, да туда же, наверное, тысяч девять километров.

— Я самолетом. Сказал: не больше пяти дней.

— Ну, раз решил, — сказал Спешнев. — Только позволь, я провожу тебя, у меня знакомые в аэропорту.

Спешнев ничего о Нине не знал, да и незачем ему было это знать, больше спрашивать не стал, тем он и хорош: говорят ему «надо» — понимает. Только одно он и сказал, когда ехали в машине к Свердловску и обговаривали срочные дела:

— Люблю я тебя, Миша, такого.

— О чем ты? — не понял Жарников.

— А вот когда тебя вдруг занесет. Умеешь удивлять, ничего не скажешь. И это чудесно!

Вот так он уехал; а сейчас, когда все осталось позади: дорога, Арсеньево, встреча с Ниной, совсем не такая, какая представлялась ему прежде, а нервная, тяжкая встреча, — все свершившееся стало казаться нереальным дурным сном, и рассказать его случайному встречному он не мог, хотя и чувствовал в себе сильнейшее желание обрести равновесие. Ему хотелось очутиться снова в своем обширном кабинете — он любил его по утрам, когда пахнет свежевывмытыми полами, большой ковер чист, не затоптан, помещение проветрено от табачного смрада. Какую бы ночь ни провел Жарников, но, когда переступал порог кабинета, чувствовал бодрость. «Как же там, на заводе, и без меня?» — подумал он.

— Так что же женщина? — спросил Танцырев, склонившись над сковородочкой с яичницей и ловко орудуя вилкой.

«А тебе какое дело?» — вдруг зло подумал Жарников, с силой ткнул сигарету в пепельницу и ответил сдержанно:

— Да так... ничего. — Ему стало неприятно от насмешливого взгляда серых глаз. «Врет, поди, что профессор. А я и уши развесил, слюняй».

— Ну-ну, — ответил Танцырев, небрежно отодвинул от себя сковородочку, вытер бумажной салфеткой тонкие, нервные губы, подтянул к себе чашку с кофе, сделал глоток, сладко сощурился, но тут же глаза его округлились, он посмотрел вверх головы Жарникова, улыбнулся и сказал:

— Поглядите-ка.

Жарников обернулся: в кафе стало шумно, все-таки сюда набились люди, большинство толпилось у длинной стойки, где торговали кофе и пирожками; от этой-то стойки шел Воронистый, держа в одной руке чашку, в другой бутылку с водой, на него оглядывались, шептали за спиной, но он не замечал этого, шел по проходу, отыскивая себе место за столиком, никто не догадался предложить ему стул, и только Танцырев приподнял руку, помахал:

— Сюда, пожалуйста.

Воронистый посмотрел в их сторону, наверное, узнал соседей по комнате, подошел, тяжело сел, потер пальцы, словно они у него очече-

нели, на лбу выступила нездоровая испарина. «Небось после хорошей поддачи,— брезгливо подумал Жарников.— Эти артисты... Еще мальчишка, а уже... Черт знает что о них только не рассказывают». И, пожалев так Воронистого, сказал:

— Тут у нас коньячку еще осталось. Если не возражаете, взбодрит.— Не дожидаясь от Воронистого согласия, налил ему полную рюмку.

— Пейте, пейте,— поддакнул Танцырев.

Воронистый взял рюмку, пальцы его дрожали, из рюмки плеснуло на скатерть, он тут же сморщился, судорожно вздрогнул плечами и, отставив от себя рюмку, торопливо отхлебнул кофе.

— Не могу... Этот запах.

— Это верно, не все опохмеляться могут,— сказал Жарников.— Но полегчает, если немного. Советую.

Воронистый повернулся к нему. Жарников невольно вздрогнул от тяжелого, мутного взгляда — не разобрать было, что в нем таилось, но взгляд этот был такой остроты, что Жарников физически ощутил его на своем лице. Воронистый опустил глаза и сказал:

— Мама умерла... Позавчера.

Тут же лицо его стало беспомощным, детским, он со слабым всхлипом втянул в себя воздух, прикусил нижнюю губу, словно борясь с собой, совсем как мальчишка, больно ушибившийся об угол, пытаюсь побороть в себе слезы, тяжело вздохнул и тут же рванул руку к рюмке с коньяком, выпил, половину расплескав на подбородок, закашлялся, и слезы выступили на его глазах. Заметив на столе пачку с сигаретами, жадно закурил и только после этого тихо произнес:

— Сегодня хоронят, а я тут сижу. А больше у меня нет никого... Только она.

«Пацан,— подумал Жарников.— Ребенок».

Воронистый вытер лицо салфеткой; курил, глубоко затягиваясь, уставясь взглядом за окно на вокзальную площадь, небритые щеки нервно подергивались, волосы спутанно падали на лоб; он заговорил, ни к кому не обращаясь:

— Она была такой женщиной. Никто никогда этого не поймет... И без меня. Это ведь подумать страшно, без меня... хоронить.

Жарников смотрел на него и думал: «Только мне этого не хватало... Чужих бед мне еще не хватало».

— Проклятая погода! — сердито сказал Танцырев.— Это же надо — такое бессилие человека. Не землетрясение, не обвалы — дождик, просто дождик, и мы сидим как цуцки. А говорим: всемогущи.

Жарникову стало от этих слов еще хуже, будто и впрямь в кафе, к их столику нанесло морозящего дождя, нудного, беспросветного, и, пытаясь избавиться от такого ощущения, он отчетливо понял, что ему нужно сейчас же предпринять: скорее к телефону, звонить Спешневу. Он поманил официантку, сунул ей деньги, встал, увидел понурю фигуру Воронистого, сердитое лицо Танцырева, испытал мимолетную неловкость — мол, не очень-то хорошо покидать их сейчас,— но тут же уверенно решил: «Ладно. Надо звонить».

Он вышел из кафе, пересек площадь и оказался в огромном помещении вокзала. Люди сидели в креслах, на полу, на ступенях лестниц. Жарников двигался по узким проходам, пробиваясь к почте.

Навалившись спинами на объемные рюкзаки, полулежали ребята в зеленых формах студенческих стройотрядов с нашивками на рукавах, бородатый парень лениво дергал струны гитары, остальные подпевали — ни мотива песни, ни слов разобрать было нельзя, песня чем-то напоминала рокот трактора; женщина кормила ребенка грудью, хорошо одетая женщина, с модной прической — светлые волосы собраны ба-

шенкой,— кормила у всех на глазах, даже не прикрывая ладонью белой груди; морячок сидел в тельняшке, что-то пришивая к робе; девочка читала и ела яблоко,— Жарников шел мимо всего этого и не видел лиц людей, только руки, бороды, глаза, слышал смех, обрывки песен и слов и думал: сколько же здесь собралось разного народу, и все без дела, только ждут. «Потеря времени — потеря человеческой энергии» — любимые слова Спешнева. Чемоданы, мешки, сумочки, рюкзаки; молодые, обремененные брюшком, деги, старики — большой перекресток; так бывало, он помнит с мальчишеских лет, на узловых станциях после войны, когда шли поезда безо всяких расписаний, только одеты были люди по-другому.

Жарников нашел почту, заказал квартиру Спешнева, минут через десять его пригласили в кабину, и едва крикнул в трубку: «Алле!» — тут же услышал голос Игоря:

— Слушаю, Михаил Степанович.

— Ты что же это, не спал? — удивился Жарников.

— О тебе думал,— засмеялся Спешнев.— Когда ждать?

— А черт его знает,— выругался Жарников.— Попал я тут. Погода.

— Ясно. А поездом?

— С ума сошел. Это же семь суток.

— Да-а, не сообразил,— отозвался Спешнев.

— Ты мне лучше доложи, что у нас по цехам...

— По цехам, по цехам,— задумчиво повторил Спешнев, и вот это сразу не понравилось Жарникову, он уловил предвестие беды и поспешил ей навстречу.

— Что случилось? — резко спросил он.

— В принципе все нормально, Миша,— бодро отозвался Спешнев.

— Не темни!

— А я и не собираюсь. Тут, понимаешь ли, телефонограмма есть.

Кирилл Максимович приезжает. Вот такая телефонограмма.

И Жарников понял: хуже этого и не могло быть. Кирилл Максимович — заместитель министра, приезд его мог означать слишком многое, тем более никаких сигналов об этом из Москвы Жарникову не поступало.

— Когда? — спросил Михаил Степанович.

— Послезавтра. Ты успеешь, Миша?

— Не век же мне тут торчать!

— Не сердись. Ведь все бывает. На всякий случай, если тебя не будет.

— Не валяй дурака! — оборвал его Жарников, но тут же подумал: а Игорь прав, все может быть, небо беспросветно, заладит так на неделю — никаким транспортом отсюда за двое суток до завода не доберешься.— Ну, это ты сам думай, как там объяснить. У тебя фантазия богатая. Лучше скажи: карандаш под рукой?

— Есть.

— Тогда записывай.

И, обретая свой всегдашний деловой тон, стал диктовать, что нужно срочно сделать, чтобы хорошо встретить Кирилла Максимовича, на какие цеха и участки обратить внимание; он говорил отрывисто, как любил говорить на планерках, не расходуя лишних слов, только спрашивал иногда: «Записал?» В кабине было душно, и Жарников к концу разговора устал.

— Все,— сказал он,— если не вылечу часа через четыре, позвоню еще. А ты времени не теряй.

— Это понятно,— отозвался Игорь.— Но, может быть, ты там через обком.

— Что обком? Погоду он тебе сделает? Или, может, машину дадут до Урала? На карту взгляни. Глупости говоришь!

— Я не в том смысле. Чтоб тебе на первый же рейс попасть.

— Советчик из тебя, как я погляжу. А что я в обкоме объясню? Ты подумал?.. Ну ладно, все. Делай! — И повесил трубку.

Он шел к выходу, не замечая людей, и думал только об этой новости. Жарников вышел из вокзала, закурил сигарету, огляделся: напротив, в парке, за деревьями сочился грязный туман. «Принесла же меня сюда нелегкая».

4

О смерти матери Андрей Воронистый узнал ночью, на четвертые сутки, как прибыл на съемки в Находку...

Когда он согласился играть этого бича, отщепенца, товарищи по театру удивились: «Это же не твое». Но он-то знал — роль его, правда, ему не приходилось еще делать такого. Главное было в финале, хотя и записан он был в сценарии несколькими фразами, но Андрей усмотрел в них возможность импровизации; ему всегда было важно знать, к чему придет герой, чем завершит он жизнь. Да, главное было в финале, в сцене убийства, потому-то Андрей уговорил режиссера начать съемки на натуре с этого, а потом уж играть остальное, тогда-то на всю роль найдутся точные детали. Вот почему, как только он приехал в Находку, группа стала готовить съемки финала. И сразу же произошла осечка: то, что представлялось ясным в Ленинграде, все полетело к черту на первой же репетиции; он сам ощущал, как искусственны и скованны движения, как ломается голос. Все его раздражало: то казалось, плохо выбрана натура — уголок пирса, с одной стороны ржавая громада борта океанского корабля, с другой — широкий вид на гавань, залитую солнцем, с синими контурами сопки в серебристом тумане, — но режиссер, оператор и художник дружно встали на защиту природы; то ему стало казаться: не тот костюм выбран, не нужно бушлата, — а потом он уж запутался и сам не мог понять, что ему мешает. Прошла смена в этой суете, и только тогда он понял: дело в нем самом.

— Вот что, — сказал режиссер. — Два дня снимаем без тебя, а ты — валяй ищи.

Андрей торчал возле гостиницы — старом месте свиданий, сидел в большом уютном зале ресторана «Океан» в надежде увидеть пьяную драку, бродил по порту, но ему явно не везло, ничего для себя нового он не сумел увидеть. «Да разве же дело во внешнем?» — думал он и сердился на себя, понимая, что если не найдет ничего, то придется играть по строжайшей указке режиссера, а это будет нудно, неинтересно.

Он проснулся ночью, около двух часов, подошел к окну, в него дувал теплый ветер, густо пахнувший морем, гавань лежала в огнях, равномерный шум портовых работ долетал в комнату. «Позвоню-ка маме», — подумал Андрей, прикинул время: в Ленинграде только начинался вечер. Он подошел к телефону, не успел докурить сигарету, как дали Ленинград.

— Мама!

И тут же услышал ее:

— Ты что же не спишь?

— Захотел узнать, как ты там живешь?

— Я живу нормально, а вот у тебя... Что у тебя не ладится?

— Пустяки. Не могу войти в роль. — Он кричал об этом в трубку весело, и ему действительно было весело и хорошо, как всегда, когда он с ней разговаривал по телефону из других городов.

— Ну, если для тебя это пустяки, тогда все в порядке.

И были еще слова о погоде, о здоровье, о письмах, которые пришли на его имя, и когда он повесил трубку, то ложиться не стал, сел на подоконник, вспомнил любимые стихи матери, стал читать негромко:

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья —
В меня все ближние мои
Бросали бешено камня...

И когда читал, подумал «Убив, убил себя», тотчас понял — где-то здесь и лежит главное, что пытался он отыскать для роли, и повторил вслух:

— Убив, убил себя!

Он засуетился от нетерпения — надо пробовать, быстрее надо пробовать, бегло взглянул на часы — половина пятого, вскочил с подоконника, стал делать зарядку, потом побежал под душ, пустил сильную холодную струю; когда стал бриться, замер перед зеркалом: «А ну-ка, как же это будет...»

Было, наверное, около шести, когда он позвонил режиссеру, трубку долго не снимали, потом хмуро проворчали:

— Слушаю.

— Старина, это я, Андрей. Я готов!

— Ты что кричишь?

Андрей представил тяжелое, оплывшее лицо режиссера, смятое после сна, рассмеялся:

— Хватит спать. Открывай двери. Через три минуты буду в номере.

— Сумасшедший. У меня выезд на сопку. График из-за тебя ломать?

— Я ведь тебя люблю, Саша.

— Подхалим... Подожди, дай сообразить. За окном солнце?

— Оно!

— Сейчас из-за тебя, психа, всех будить придется.

Часам к одиннадцати на съемочной площадке все было готово. И они начали:

он шел в замызганном бушлате по самой кромке пирса, тихая пологая волна мягко ударяла о бетон, он остановился, щурясь от лучей солнца, сплюнул остаток сигареты в волну и осмотрел гавань с такой брезгливостью, словно перед ним расстилалось не залитое солнцем пространство, веселое и слепящее, а выжженная, бесплодная земля, и с отворачиванием отвернулся;

она стояла возле ящичков, они были сколочены из белых досок, потому вся фигура ее выделялась объемно, рельефно;

пустой взгляд его, наткнувшийся на ее одинокую фигуру, вдруг ожил, в нем мелькнул отдаленный свет надежды, но это длилось совсем недолго: он не мог унизить себя этой надеждой;

— Ты подонок,— сказала она,— я знала это раньше, но думала, что ошибаюсь, но ты из тех подонков, что хуже чумных, весь истекаешь ядом и желчью;

тогда он пошел на нее, пошел спокойно, сжимая кулаки в карманах бушлата, на лице его не было гнева — маска безразличия;

она испугалась, первый раз за все их встречи, она испугалась этой нечеловеческой маски и побежала;

он рванулся за ней, перепрыгивал через канаты, тумбы, якорные цепи, мимо бочек, подъемного крана, вдоль ржавого борта корабля, и чем дальше шла эта погоня, тем сильнее наливалось жизнью его лицо, в нем был азарт, торжество, смешанные со злобой, на ходу подхватил он железную занозу, и когда женщина выскочила из тени, которую от-

брасывал борт корабля, на залитую солнцем бетонную площадку, он настиг ее;

она упала от удара, не успев вскрикнуть;

он замер и в то же мгновение осознал, что произошло, и словно случился в душе обвал, грозный, тяжкий, обрушив все, затмив даже малую каплю надежды,— он умер, хотя еще стучало сердце, он умер, отупели, остекленели глаза, угасла в них даже тень осмысленности, живой мертвец, он стоял у края пирса, и смерть стерла черты его лица, согнав с них недавнюю надменность, и обнажилась суть — жалкость, смешанная с мелочной злобой.

— Стоп!

Погасли юпитеры, расставленные на подсветку, замолк мотор камеры. Андрей устало отошел от края пирса, кто-то протянул ему в стаканчике от термоса крепкого чаю. Режиссер подошел не сразу, он что-то прокричал оператору, отдал еще какие-то команды, потом возник рядом с Андреем — массивный, с красным, потным лицом, присел, закурил.

— Интересно,— глухо сказал он.— В принципе. Но я хотел бы, чтобы ты объяснил.

— Сейчас... Мне что-то холодно,— сказал Андрей и оглянулся, отыскивая, у кого термос с чаем; по потным лицам видел, как сейчас жарко, наверное, на термометре не менее двадцати восьми, но он знал этот озноб после нервного напряжения; в театре один из старых актеров объяснил: это бывает, когда весь выкладываешься, и тут же посоветовал: «Ты этого бойся, от него стареют».

Девушка-гример поднесла ему еще чаю, он выпил, закурил и начал говорить:

— Тут все дело в гордыне, Саша. Он сам почувствовал себя выше остальных, пророком без пророчества,— сказать-то ведь нечего было. Пустой. И вот здесь-то и лежит главная мысль. Как только он решил — весь мир ниже меня, тотчас и предал себя.

— Не мудришь? — с сомнением спросил режиссер.

— Нет. Потому-то мне финал и нужен был... Понимаешь, как только он отнял у другого жизнь — отнял ее у себя. Он сам покойник, убитый собой убийца.

— Да она живой у нас остается,— досадливо сказал режиссер.

— Это для зрителей она живой остается, а он-то видит, что убил. Я это хочу играть. Жестче, жестче. Чтоб ненависть к нему была. Тогда мысль сильнее ударит. Как считаешь?

Режиссер вытер платком широкое мясистое лицо, подергал на груди мокрую от пота рубашку и неожиданно закрычал:

— Приготовиться к съемке!

Андрей улыбнулся...

В этот день они сделали еще три дубля, то был счастливый день, потому что не так уж часто спорится на съемочной площадке работа, а тут все шло гладко: осветители легко понимали оператора, и камеру ни разу не заело, и режиссер ни на кого не накричал — все работали на одном нерве и, когда кончилась смена, решили вместе ехать купаться в небольшую бухту за городом, там был хороший пляж.

Все кричали, смеялись, отчаянно били по воде руками, наверное, всех охватило такое чувство, что и дальше жизнь пойдет в Находке хорошо и интересно и наверняка кино заладится. Каждый, конечно, в душе сознавал — этот съемочный день еще ничего не значит, чтоб получилась картина, еще многое нужно; немало будет испорчено нервов не только здесь, на натуре, но и в павильонах, в монтажной, на озвучении, на многочисленных просмотрах материала, да и неизвестно, что получилось сегодня на пленке, может быть, все эти дубли полетят к

чертям из-за простого пленочного брака, но все это будет потом, а сейчас было весело.

Они вернулись в город, когда зажглись огни; режиссер остановил машину, сказал Андрею:

— Выходи. Сбегаем на один пароход, у меня кэп знакомый пришел, чайком побалуемся.

Андрей усмехнулся, подумав, что у этого мужика всюду есть знакомые; если прикинуть, тут нет ничего удивительного: режиссеру было под пятьдесят, он навоевался в юности, потом поездил по белу свету.

Они спустились по лестнице, прошли через железнодорожные пути, где пыхтели маневровые паровозы; у трапа стоял вахтенный, режиссер что-то шепнул ему, и тот пропустил их беспрекословно.

Когда они постучались в капитанскую каюту, дверь открыл такой же грузный, как режиссер, человек, только голова его была совсем седа, щеки и крупный нос испещрены мелкими красноватыми прожилками, он сразу же кинулся тискать режиссера, приговаривая:

— О, бродяга, вот так бродяга!

Режиссер отвечал ему тем же, и когда они устали хлопать друг друга по плечам, толкаться и жать руки, то повернулись к Андрею.

— Как же, как же — знаю, очень хорошо знаю, — обрадовался капитан. — Я сейчас, сейчас. — И побежал к холодильнику.

— Стоп, Кириллыч! — воскликнул режиссер. — Без спиртного. У Андрея утром съемка, вывеску может попортить, а без него и нам принимать неловко.

— Жаль, — сказал капитан. — А ведь у меня кое-что дефицитное имеется. Ну, раз так... — Он подошел к телефону, сказал отрывисто: — На камбузе. Чайку мне нашего на три персоны.

Стены каюты были увешаны фотографиями: японские пагоды, негритянские женщины, лемуры, висящие на ветвях, одинокие скалы в море; и пока режиссер и капитан обменивались вопросами, обычными для давно не видавших друг друга людей, Андрей рассматривал всю эту экзотику, взгляд его остановился на фотографии с изображением чаши, сквозь заросли пробивалась едва заметная дорожка, надпись под этой фотографией — «Тропа потерянных шагов».

«Интересное название, — подумал он. — Хорошо бы было разгадать его».

Он не заметил, как принесли чай, услышал только, как позвал режиссер:

— Давай, Андрюха, садись. У этого кэпа китайский напиток на полмира славится.

Чай действительно был хорош, в нем ощущался особый вкус медовых свежих трав, и пока Андрей пил, капитан хитровато поглядывал на него, ожидая похвалы.

— Отличный чай! — воскликнул Андрей, понимая, что приносит этим радость человеку.

Капитан самодовольно кивнул:

— То-то.

— Не думал я, Кириллыч, что на этой посудине плаваешь, — сказал режиссер. — В порту узнал, удивился.

— А что, посудина знаменитая, — вскинулся капитан. — Другой такой не отыщешь больше. Судовые документы покажу, удивишься. Ее американцы делали в сорок третьем. Веришь, за месяц изготовили с расчетом на один рейс. Они к нам в войну караваны водили, а японцы очень активно их топили. Вот и придумали: делать посудины подешевше, однорейсовые. Так эта из тех. Повезло ей. Крепкая оказалась, везучая. От японских мин убереглась и, считай, двадцать восемь лет бежит. Правда, мы в нее кое-какой капитал вложили. Да, конец пароходу

приходит,— покачал седой головой капитан.— Рейса два еще пройдет— и труба. Все мы так.

И как только он это сказал, Андрей понял — вовсе не о пароходе он, а о себе: был он стар, на руках выступили коричневые пятна, шея в дряблых морщинах.

— Кажется, отплавался я, Саша,— сказал капитан.— Буду на дачке овощи выращивать. Да и то ведь пора. Каждому своя пристань. У тебя дома-то нормально?

— Нормально,— ответил режиссер.— Если считать, что дома я бываю месяца четыре в году.

— Бродяжишь?

— Профессия такая, вроде вашей. Снимать надо. Но я домой люблю приезжать.

— Это хорошо. Богатая у вас жизнь. Я вот Андрея в четырех картинах видел, везде разный. Это, значит, он сколько чужих жизней прожил.

— Чужие не в счет. В счет своя,— сказал Андрей.

— С девятнадцати лет снимаешься. Тебе мало? — сказал режиссер.

— Мало.

— Что ты понимаешь, пацан? — тихо сказал режиссер.— У меня шесть картин, и только одна удача, да и то о ней забыли. Одна удача за всю жизнь. А еще немного — и точка. Вот как он... Они летят, эти годы, как пули, и каждая выстрелом по тебе, по тебе... Куда выплеснулись? Ты не поймешь, а вот он, капитан, поймет. Он об этом же сейчас сидит тоскует.

— Я не тоскую,— сказал капитан.— У меня все было, что хотел, все было.

— Что у тебя было?

— Все... Плавал. Воевал. Еще в сорок первом помереть должен был, а живу. Три жены было. Все хорошие женщины, с каждой бы снова стал жить. И друзья были. Все было. Я свой круг закончил, понимаю. Зачем тосковать? Еще и жить можно. Каждое время по-своему хорошо. И старость тоже.

— А мне нехорошо,— хмуро сказал режиссер.— Мне снимать надо, они приходят, молодые, у них жизнь другая, они от нас все готовое получили, а теперь свое несут. Конечно, лучше нашего несут. Дотянись. Тянись... Хоть на полшага вперед, а тянись. Сколько так можно?

— А ты что, их остановить хочешь?

— Глупость! Не обижайся, капитан, глупость!.. Я о себе думаю: на каком шагу споткнусь, как заморенный конь?

— Неинтересный разговор,— сказал капитан.— Бабий разговор.— И повернулся к Андрею.— А ты, парень, женат?

— Холост,— сказал Андрей.

— Чего же холост-то, вроде бы пора,— сказал капитан.

— Ничего ему не пора,— все так же глухо сказал режиссер.— У них свой сейчас уклон. Особенно по девчонкам видно. Говорят: кому, мол, сейчас семья нужна, когда женщина такой же работник, как и мужчина. Ты это не поймешь, кэп, я тоже. Я пытался.

Андрею стало жаль его, ему не хотелось спорить, он подумал, что режиссер несет эту чушь только потому, что устал; это только кажется, что день был легким, счастливым, на самом деле такие дни изматывают нервы сильнее, чем неудачи или когда срывается съемка. Он встал, подошел к окну, темноту за ним разрезал луч прожектора, он падал в глубину трюма, и там на дне работали двое матросов, цепляли крюк подъемного крана за дужки контейнера.

— А ты чего злой стал? — сказал за спиной Андрея капитан.— Ты этого бойся. Я сам боюсь. У нас стариков злых навалом. А почему?

Живут, живут, а потом глянут — жизнь проиграна, ничего в ней не сделали, прошебаршились. Вот и злятся на тех, у кого годы впереди. А тебе чего злиться? И не стар еще. И живешь интересно. Дураком будешь, если злой станешь.

Контейнер вздрогнул от натянувшихся тросов и, покачиваясь, пополз вверх из полутемной преисподней трюма, мелькнул, освещенный прожектором, и снова исчез в темноте. «Молод,— усмехнулся Андрей.— Да я и сам еще ничего не сделал... Я-то ведь лучше знаю. Просто мне иногда везло... А настоящего еще ничего нет... И эта роль. Разве видел я таких мужиков, как мой бич?.. Придумал, а все радуются... Разве это настоящее?»

Когда Андрей обернулся, режиссер угрюмо допивал, наверное, уже третий стакан чаю, лицо его было обрюзгим и потным...

Они возвращались в гостиницу молча, долго шли набережной, внизу шумел моторами, лязгал цепями и тросами порт, мигал сигнальными огнями. Андрей шел и думал о надписи на фотографии в каюте: «Тропа потерянных шагов»; где-то он уже слышал об этом или читал, но память ничего не сохранила за этой фразой. «Это страшно... Шаги человека, не оставляющие следов. Глухое забвение: ни злобы, ни любви, ни труда...»

Молча они поднялись на лифте, и когда вышли на этаже, коридорная, сидящая за столом, воскликнула:

— Вот он! — И тут же торопливо объяснила: — Трижды из Ленинграда звонили, товарищ Воронистый. Сейчас опять обещались.

«Что там стряслось? — подумал Андрей.— Это не из дому, с матерью говорил ночью. Из театра?.. Сезон с первого октября...». Не успел он додумать, как телефон звякнул на включение и раздался судорожный, длинный звонок, коридорная схватила трубку и радостно воскликнула:

— Есть, есть! Вот передаю.

Сначала ему показалось, что это так ломается голос, искажает его расстояние телефонных проводов, поэтому нельзя разобрать слов, а только какие-то всхлипы, но вдруг понял, что на том конце провода плачут.

— Что там? — закричал он.— Кто это?

Тогда услышал хриплый голос тетки, маминой сестры.

— Андрей, Андрей,— кричала она, захлебываясь слезами.— Несчастье, горе, Андрей!

— Да что там такое?! — воскликнул он, ничего не понимая.

— Наталии нет. Слышишь меня, мальчик, Наталии нет.

Он не мог понять, о какой Наталии идет речь, мучительно стал вспоминать, кого же из знакомых или родных так зовут, и внезапно сообразил, что тетка так называла маму, почувствовал тупой, оглушающий удар, словно его стукнули тяжелым и мягким по голове, напрыгаясь, чтоб не потерять сознание, прошептал:

— Что?

— Крепись, мой мальчик,— бились, мешаясь со всхлипами, возле уха слова.— В одночасье... В одночасье... Сердце...

— Врешь! — крикнул он что есть сил, тошнота подступила к горлу, трубка выскальзнула из рук. Режиссер удержал его от падения, еще некоторое время Андрей слышал его голос:

— Толком, толком объясните. Что такое?.. Когда умерла? Как?

Потом все двигалось во времени странными толчками: он сидел у себя в номере, куда тесно набились его товарищи по съемочной группе, пил, обжигаясь, крепкий кофе, режиссер стоял у телефона, записывал, спрашивал: «Еще какой рейс?»; карандаш ломался в его пальцах;

они ехали в машине сначала по ночному городу, потом по шоссе.

фары вырывали из темноты корявые, скрюченные стволы деревьев, а он все думал: «Не может быть... не может быть...», но уже знал — все правда;

режиссер вел его к трапу;

и огромный душный зал аэровокзала, толкотня, множество лиц, душный липкий зал, а потом постель с влажными простынями и пробуждение, принесшее отчаяние...

— Мама умерла,— сказал он за столом в кафе и заплакал.

5

Семену Артынову почудилось, что сержант негромко назвал его фамилию, и он тут же вскочил — ведь на сборы всего две минуты,— и как только открыл глаза, то вспомнил, что находится в гостинице, ему стало смешно и он снова повалился на койку — спать можно было сколько угодно, и он опять уснул, а окончательно проснулся, когда услышал женский голос:

— Не смей!

Семен лежал и думал: как хорошо, что не надо никуда спешить: ни в строй, ни на зарядку; и опять услышал, как женщина сказала:

— Ехал бы ты своей дорогой, Николай! Сказала раз, хватит!

Женщина сидела на кровати у самых дверей, расчесывала рыжие волосы, зеркальце у нее было поставлено на подушку, плечи голые, очень красивые плечи, стиснутые тесемками бюстгалтера; Семен усмехнулся: все-таки удивительно, как терпят женщины эти лямки, когда они так врезаются в кожу. Рядом с ней стоял высокий мужчина в серой рубаше с накладными карманами на молниях.

— У нас коса на камень,— сказал он.— Ты меня знаешь.

Тогда женщина встала, надела синюю кофту, застегнула на груди; Семену нравилось, как она это делала.

— Надоел ты мне, Николай,— сказала женщина.— Как встретились, так разошлись. Тебе в один конец, мне в другой.

— Обидел я тебя? — спросил он.

— Меня не обидишь,— ответила она ему.— А ты ступай себе делай свою жизнь.— И засмеялась.

Николай спросил:

— Ты что?

— А ничего,— сказала женщина, взяла сумку и выбежала из комнаты.

Николай постоял, подумал и пошел за ней.

Семен Артынов отслужил на пограничной заставе два года. Конечно, не раз думал, как будет возвращаться домой в Москву, и вот когда пришла пора уезжать, понял: никогда не увидит больше ни острова, ни сопки, ни бамбуковых зарослей, ни океана.

Пограничники жили в длинном деревянном доме. Кто-то давным-давно нашел это отличное место для заставы и поставил дом так, чтобы он был защищен от ветров со всех сторон; он располагался в ущелье между сопками с крутыми каменными срезами, а фасадной своей стороной выходил на широкую косу, которая отделяла океан от пресного озера, и на этой косе стояли, как башни, три скалы, их так и называли — ветроломами. Вообще это был отличный дом, в нем можно было жить круглый год, даже не заботясь о топливе, только разве для кухни, потому что совсем рядом пробивались наружу горячие серные источники, и один из них заключили в трубу и так устроили водяное отопление. Кроме всяких служебных помещений, казармы, комнаты

боевой славы, в доме был отдельный вход в офицерские квартиры, по чести говоря, ничем не хуже городских.

В те дни, когда Семен Артынов заканчивал службу, ему казалось, что прошла она для него легко и он бы мог прожить на острове еще много лет, привык и к зимним ветрам, и к грохоту океана в штормы, к туманам, да и не о них вспоминал, а видел перед собой чистую воду озера, в которой ходят большие косяки рыбы — за полчаса наловишь легко ведра два; видел пепельный песок океана — сколько хожено-перехожено по нему; сопки в густой яркой зелени бамбука, цветущие магнолии. Да, теперь, когда все оставалось позади, служба не казалась тяжелой, и все же никогда еще Семену так не хотелось домой, как в последние его дни на заставе.

Его проводили на машине до поселка — столицы острова. Бывал здесь Семен и раньше, хоть и редко; поселок этот после заставы казался городом — это легко понять, когда вокруг только сопки, вода, заросли и одинокий дом в ущелье. А вообще-то в поселке большинство домов были деревянные и на вид мрачные, стены их, обращенные к океану, обиты черным толем, а иногда и весь дом обшивался им — так здесь защищались от влаги и ветров.

Из поселка Семен должен был добираться на попутной или автобусом в аэропорт, а он был на другой стороне острова, не на океанской, а на морской. Первое, конечно, что нужно было выяснить: как там погода? У океана может сиять солнце во все небо и даль видна до бесконечности, а на морской стороне, хотя туда всего двадцать километров, у подножья вулкана, где аэропорт, — лежит густой влажный туман или хлещет дождь. В поселке всегда знают, летают сегодня самолеты или нет, очень внимательно следят за этим. Прилет самолета важен для всех: это и почта, и посылки, кинофильмы, приезд знакомых и друзей.

От заставы на машине Семена Артынова довезли до КПП, там уже знали, что летит он домой, и наготовили писем — вполне можно их посылать почтой, но почему-то так считается, что если летит человек в Европу, то лучше письма посылать с ним. Вот здесь-то, на КПП, Семен и встретился с Гошей Смирновым. Он был водителем, несколько раз приезжал на заставу. Как только увидел Семена, заорал:

— Привет, попутчик! Я тебя два часа ожидаю.

Он рассказал, что утром прилетел «АН-24», отбыл на материк, и теперь, хочешь не хочешь, загорай сутки.

— Начинаем мирную жизнь, — вопил Гоша. — Топаем в город.

Можно было переждать и на КПП; избушка у ребят хоть и тесная, но переспать есть где, но тут Гоша стал доказывать, что глупо первый день гражданской жизни торчать у своих, в поселке у него знакомых навалом, и он специально ждал Артынова, чтобы не потерять попутчика, а то бы давно сидел у кого-нибудь в гостях или бы пошел на дневной сеанс в кино. Семен решил, что Смирнов прав, и ответил, что хочет по поселку пройтись пешком, потому что мало здесь бывал и вообще отвык от людных мест.

— Время есть, — согласился Смирнов. — Спешить некуда. Только надо выпить.

— Зачем? — спросил Семен.

— Чтоб отметить. Это положено.

— Плевать мне, что положено, — сказал Семен, пить ему не хотелось, да и от водки делалось плохо. — Примитивно мыслишь, Гоша. По пьянке сразу можешь неприятность схлопотать, а паспорта ты еще не получил и, стало быть, человек военный.

— Смотри-ка, у тебя дисциплинка. Но, если такой режим, оставим до вечера.

Они долго бродили по поселку мимо домиков, за оградами которых росли большие желтые подсолнухи, вышли к гавани, где теснилось несколько небольших рыбацких парходов, пахло здесь солью и рыбой, потоптались у магазинов; Артынову нравилось бездумно шляться по всем этим местам, смотреть на женщин — их было здесь много: продавщицы, служащие в учреждениях и просто прохожие. А потом они увидели целую девичью роту — это шли со смены работницы рыбозавода, они пересекали базарную площадь, двигаясь мимо длинных пустых деревянных столов, а Семен и Гоша стояли за кустом. Если попасться на глаза этой ораве — засмеют. Девушки шли, громко разговаривая, толкались, обгоняли друг друга, одетые кто в брючки, кто в яркие платья, — очень пестрая и шумная толпа.

— Красивые есть, — сказал Гоша. — Пригляди на вечер, потом найдем, если хочешь. Здесь хорошие девчонки попадаются.

Но Артынов видел только, как мелькали загорелые руки и ноги, а лица все сливались, их нельзя было отделить одно от другого.

В последнее время он довольно часто думал, какую бы хотел встретить девушку, было даже место, где лучше всего об этом думалось: это вышка на скале. Он оставался там один, шарил окулярами по океану и по берегу, по скалам и сопкам, и мысли ничуть не мешали ему наблюдать, на берегу каждый камень был знаком, а в океане он мог увидеть любой катер, любую шхуну, даже плавающее бревно или бочку на самом далеком расстоянии.

Началось это еще в первый год службы, и именно там, на вышке, Артынов понял, какая сложная штука произошла с ним в жизни, потому что первый раз по-настоящему влюбился в женщину, которая была на двадцать лет старше него; конечно же, если не считать той смешной влюбленности в соседскую девочку, когда ему было семь лет. Ее увезли из Москвы родители, переехав куда-то на Север, и он помнит, как упал в пыльную траву газона у забора во дворе и плакал от этой разлуки, чем дольше текли слезы, тем легче и лучше становилось на душе; наверное, единственный раз в жизни ему было хорошо от слез. Конечно же, та влюбленность не в счет. А вот то, что случилось в девятом классе и длилось до самого призыва, — это уж Семен считал серьезным, хотя и понял все окончательно только на берегу океана.

На озеро в выходные дни неезжали на рыбалку и отдых компании из поселка, останавливались они далеко от заставы, и пограничники могли наблюдать их беззаботную туристскую жизнь только издали. На самой же заставе жила одна женщина — Катя, жена начальника, лейтенанта. К тому времени, как приехал на остров Семен, у нее был годовалый сынишка Степка, с которым выходила она погулять к океану. Была она нелюдимой и молчаливой, и Семен удивился, узнав от ребят, что Катя прежде пела в сибирском хоре, который разъезжал по разным городам, и познакомилась с лейтенантом в гостинице, когда он ехал по назначению на остров; она бросила свой хор и поехала с ним. Семену много раз хотелось с ней поговорить, но все не удавалось, а однажды он застал ее на берегу плачущей, но когда подошел, она схватила Степку и убежала. Ребята шептались, что у лейтенанта с ней не очень ладится, из офицерской квартиры по вечерам часто раздавались Катины всхлипы, и по утрам лейтенант появлялся злой, но вскоре приходил в себя, так как дел у него было много, работал он как одержимый, с утра до ночи...

В тот свой последний день на острове Семен с Гошей Смирновым вечером пришел в Дом культуры. Это было хорошее двухэтажное здание, сложенное из крепких бревен лиственницы, построили его давно и прочно, и потому, хоть оно стояло на открытом месте, ветры ничего с ним не смогли поделать. Еще издали они увидели большую фанерную

афишу, освещенную лампочкой: «Бал цветов». Прежде чем войти в Дом культуры, стряхнули пыль с мундиров, были Артынов и Смирнов в парадном: в брюках и ботинках; их не обидели, месяца за два до отправки выдали новенькую форму с крупными буквами на погонах «ПВ».

У кассы стояли штатские мальчишки, курили, они не обратили на солдат внимания, да и понятно — на этом острове, куда ни сунься, наткнешься на пограничника.

В фойе на длинных столах вдоль стен в банках, горшках, вазах стояло множество цветов: фиолетовые, белые, красные гладиолусы, лохматые, как морды пуделей, астры, пышные розы, огромные, как подсолнухи, ромашки и много разных других. Над некоторыми из них висели таблички вроде таких: «Букет «Совість», «Композиция «Семейное счастье», а внизу стояли фамилии тех, кто это придумал. Оказывается, в Доме культуры два дня шла выставка цветов, все это богатство выращивалось на острове хозяйками; они и топтались вдоль стены, ревниво поглядывая на цветы, не спуская с них зорких глаз. Сейчас вручали дипломы победителям, делала это девушка, по замыслу организаторов бала — королева цветов, очень приятная белокурая девушка, одетая в длинное белое платье, а на голове корона, нечто вроде лилии. Было тесно, но ребят было совсем мало, в основном, кроме пожилых хозяек, девушки, хорошо все одетые, в мини-юбочках или брючных костюмах, у большинства были высокие прически башенкой — здесь здорово следили за модой, на континенте только еще успевают подумать, а тут уже все девчонки себе шьют.

Семен, конечно, знал, что население в поселке в основном женское, мужчины — рыбаки или военные, а на рыбозаводе и на «Крабе» только вербованные девушки. Правда, здесь их не так много, как на Шикотане, хотя Артынов на том острове и не был, но слышал — это целое девичье государство, на одного мужчину — двенадцать женщин; на заставе по этому поводу много было разных разговоров.

— Вперед, старина! — шепнул Гоша и врвался в толпу, он шел прямо, не глядя по сторонам, и за ним образовывался коридорчик, Семену показалось, что он может в любое время сомкнуться, тогда он останется один, окруженный незнакомыми девушками, потому и заспешил за Гошей. Они остановились у закрытых дверей в зрительный зал, на них висела большая картонная ромашка, а внизу красная стрела, на лепестках у ромашки было написано: любит, не любит, к черту пошлет, к сердцу прижмет.

— А ну крутани! — услышал Семен рядом звонкий голос.

Две девушки, прижавшись друг к другу плечами, стояли совсем близко и улыбались, обе белокурые, как и королева бала, одна низенькая, полненькая, с большими зелеными глазами, вторая стройная, высокая, с остреньким подбородком.

— Ого, Зоя! — воскликнул Гоша и потрепал по плечу полненькую. — Какая встреча! А я полгода по острову шарю: куда делась?

— Спасибо, имя не забыл, — рассмеялась девушка.

— У меня память цепкая, — похвастался Гоша. — Раз в кабине подвез, на всю жизнь помню.

— А вы каким сюда чудом? — спросила высокая. — Патруль нагрянет, выведут.

— Нас не выведут, — сказал Гоша и гордо похлопал себя по груди. — Утром на материк — и с попутным ветром в родные края. Шабашим. — И, прищелкнув пальцами, пропел: — Мама, я хочу домой!

Девушки рассмеялись, тогда Гоша подтолкнул Семена вперед.

— Вот, знакомьтесь, друг и попутчик Сеня, а это Зоя и...

— Ирина,— подсказала высокая, протянула руку, ладошка у нее оказалась крепкой и горячей.

— Ну так что же ты не крутишь? — сказала Зоя.

— Момент! — отозвался Гоша и так рванул картонную ромашку, что она закрутилась со скоростью велосипедного колеса, и когда остановилась, то лепесток с надписью «любит» точно попал на красную стрелу.

— Порядок! — воскликнул Гоша и деловито взялся за ручку двери.— Так куда мне теперь идти?

Девушки опять рассмеялись, и Зоя сказала:

— Да никуда. Просто «любит».

— И вся игра,— пожал плечами Гоша.— Неинтересно придумано. Я думал, там кто-то ждет.— Он ткнул в дверь.

В это время включили динамики, из них с такой силой вырвалась джазовая музыка, что задрожали стекла. Семен еще не успел понять, что это за пластинку крутят, как Ирина положила ему руку на плечо и сказала:

— Пошли.

Вокруг все пришло в движение, девушки бросились танцевать с такой поспешностью, словно радиоду включили только на несколько минут и в любой момент могут выключить, большинство, конечно, танцевало «шерочка с машерочкой», на тех, у кого были кавалеры, оглядывались с завистью. Ирина раскраснелась, и лицо ее стало добрым и приветливым. В фойе стало душно; Семен и Ирина отошли к окну, чтобы передохнуть, тут к ним подошла черненькая девушка и, не глядя на Семена, сказала:

— Может, тебе хватит, Ирка, уступишь на танец кавалера.

Семен увидел, как Ирина смутилась, но в это время подскочил Гоша и сказал:

— Сеня, перекур. Двигаем дышать.

— И я с вами,— поспешно сказала Ирина и подхватила Семена под руку.

Они вышли вчетвером на улочку, с которой виден был океан, по нему шарил белый луч прожектора, выхватывая из темноты синие горбатые волны; у причалов шла разгрузка с катеров, было видно, как трудились пограничники; это самое тяжелое дело — разгрузка, на ней вечно не хватает людей, да что поделаешь, сейчас такая пора: завозят на зиму продукты и другие припасы, даже уголь для электростанций.

Остановились у небольшого домика, Ирина загремела ключами: видно, в квартиру к ним был отдельный вход. Миновали темные сени и оказались в довольно просторной комнате, убрана она была чисто, на полу ковровые дорожки, стол покрыт японской клеенкой с ветками цветущей сакуры, тут же стояли две тахты, на стенах наклеены вырезки из журналов, изображающие разные морские виды, был в комнате и небольшой холодильник — в общем, сразу можно было заметить, что девушки живут со всеми удобствами и не первый год. Зоя включила магнитофон, и оттуда понеслась лихая музыка «Казачка».

— Устроим проводы, мальчики, по первому разряду,— сказала Ирина и стала ловко расставлять тарелки и рюмки, а Зоя кинулась к холодильнику, и на столе появились банки с крабами, малосольная горбуша, красная икра в тарелке — в эту пору на острове почти все ее заготавливают и закатывают в стеклянные банки, как на материке варенье, и еще всякая другая закуска и холодная, запотевшая бутылка водки. Гоша склонился к Семену и шепнул:

— Ты только не робей. Видишь, какие свои девочки. Все в порядке будет.

Семен, конечно, понял, что он имел в виду, ему стало тоскливо,

но в то же время появилось любопытство. «А, что будет, то будет», — подумал он и посмотрел на Ирину теперь совсем по-другому, так, словно все предreshено и ему никуда не деться, и она показалась давно знакомой и чем-то близкой. Они сели так к столу: Гоша рядом с Зоей, Семен с Ириной — и, когда выпили немножко за знакомство, Гоша сказал:

— Богато, девочки, живете. Красиво.

— А ты как думал, — весело сказала Зоя. — Мы тут вкалываем, чтобы полным звоном иметь. Не обижаемся.

— Небось и книжку завели?

— Завели, — фыркнула Зоя. — На той книжке, считай, уже три нолика.

— А что впереди?

— А что впереди, не скажу. Тайна сберкассы.

— Ой, Сеня! — воскликнул Гоша. — Богатые тут невесты! В Москве таких не найдешь. — И стал разливать по рюмкам.

Тогда Семен спросил:

— А что вы сюда все едете? На Сахалин, на Шикотан, по всем островам — девушки. Будто кто гонит вас сюда.

— Никто не гонит, — спокойно ответила Ирина. — Все сами едут. Да за других не нам отвечать, а я из Лебедяни вырвалась белый свет посмотреть за бесплатный провоз. Так и хотела — до самого краешка земли. Ну, конечно, и заработать надо. Мы ведь не на вечное поселение, тут все так, коренных нет. Этот сезон закончим — и месяца через два по вашему следу. Только теперь мне уж ничего не страшно, я сама себе хозяйка. Могу даже дом в Лебедяни купить.

— А мы с Сеней столичные, — похвастался Гоша. — Белый свет и по телевизору можем увидеть. Отслужили и — с приветом. — И он неожиданно притянул к себе Зою, приподнял подбородок ладошкой и поцеловал.

— Вкусно, — засмеялась она.

Черт знает как все это получается. Семен не понимал таких парней, как Гоша, никаких для них нет преград, а сунулся бы он — обязательно схлопотал пощечину.

Гоша подмигнул Семену: а ты, мол, что сидишь, — и он почувствовал рядом с собой горячее колено Ирины, она словно подбадривала: мол, смелее.

Семен поспешно допил свою рюмку и, чтоб как-то оттянуть время, заговорил. И его понесло, его так понесло, как только это бывало во вдохновенные минуты трепа на перекурах, когда собирались солдаты на заставе потравить.

Он сразу сел на своего любимого конька: стал рассказывать о Денисе Давыдове; между прочим, у него был свой взгляд на этого героя, так как он прочел все его дневники, стихи и записки, и Семену представился Денис Давыдов совсем не таким, каким изображали его на портретах и в книгах. Денис был маленького роста, нос картошкой и отчаянный вун и хвостун, дуэлей он вообще боялся, даже когда в Киеве у него увели прямо на глазах невесту, он так и не вызвал соперника на дуэль, хотя о надвигающейся свадьбе сумел сообщить даже царю, и знаменитого гусара Бурцова он боялся, потому воспел его в стихах: «Бурцов, ёра, забияка, собутыльник дорогой», чтоб не встречаться с ним на узких дуэльных дорожках. Но вот что было удивительного в его характере: придумывая про себя заранее всякие истории, он потом в лепешку разбивался, чтобы их выполнить. Так он выдумал про себя сказочку, что Суворов, когда Денис был мальчишкой, положил ему руку на голову и сказал: «Ты выиграешь три сражения!» Ну, сами понимаете, не мог же Суворов серьезно говорить об этом падану.

Давыдов придумал все это, всем рассказывал, да так, что сам поверил в свое сочинение, и, что удивительно, ведь на самом деле выиграл три сражения.

Когда Семен все это понял в Давыдове, то по-настоящему и полюбил его: ведь какая нужна была воля этому маленькому, некрасивому человеку, чтоб перешагнуть через себя и исполнить придуманные чудеса.

Когда Семен прервался, чтоб передохнуть, Ирина грустно сказала:

— Очень интересно. Может, выпьем еще?

— Ага,— обрадовался Гоша,— и потанцуем.— Разливая водку, он склонился к Семену и шепнул: — Ты что доклад целый затеял? Действуй.

Они выпили, стали танцевать под «Казачка», потом опять садились к столу и опять танцевали, пока Гоша не отвел Семена в сторону и не сказал:

— Ты иди с Ириной погуляй часок, потом сменимся.

Когда они вышли на улицу, ночь была на изломе, вот-вот должно было начать светать; они молча прошли узким переулком, обогнули высокие камни и вышли на берег. Вдали за океаном засветлело. Они сели на толстую гладкую коряжину, Семен обнял Ирину, она прильнула к нему.

— Расскажи еще что-нибудь,— шепнула она.

— Не хочется. Давай просто так посидим.

— Тогда поцелуй меня.

— Лучше не надо,— сказал Семен.— Только ты не обижайся, если бы я тебя полюбил...

— Странный ты парень,— вздохнула она.— Другие сами лезут.

— Пусть лезут. А я не умею.

Она тихо засмеялась.

— Это все умеют, даже идиоты. Просто ты на другой планете родился.

— Я на той же планете, что и ты, родился,— рассердился Семен.— И все я умею, и целоваться тоже. Только я не люблю, когда это так все просто.

— Что же, у тебя и любовь была? — спросила она.

— Была,— ответил он.

— Ну вот видишь, какой ты ненормальный,— вздохнула Ирина.—

А Гошка не церемонится. Ты что, в институт не поступил?

— Я и не поступал. Это отец психовал, а я и не думал поступать.

— Почему так?

— Профессию не выбрал. Тогда еще не мог сообразить, кем бы хотел стать.

— А сейчас сообразил?

— Сейчас сообразил. Теперь уж точно знаю, что пойду в юридический.

— Судить людей хочешь?

— Не судить, а помогать жить.

— Всем не поможешь,— вздохнула она и так зябко поежилась, что ему стало по-настоящему ее жаль.

Они сидели, пока всплывало слева из океана солнце. Семен много раз видел, как это происходит, но не было еще такого, чтоб один восход повторял другой: или волна в океане изменится и будет другое преломление лучей, или поменяется рисунок облаков, или полосы тумана — тем и хороши эти восходы, что они такие разные. Сейчас солнце поднималось шаром и вдруг раздвоилось, словно от него отскочил красный диск, обнажив на самой поверхности густо-оранжевую глубину, это длилось самую малость времени, точно и не определишь сколько, а потом уж солнце сверкнуло над океаном. Отлив шел быстро, об-

нажая широкое пространство влажного песка, и на нем сверкали мокрые раковины мидий, гребешка, черные ежи и длинные янтарные стебли морской капусты; прошло еще немного времени, и по этому песку, плотно, как асфальт, промчалась у самой кромки белой пены грузовая машина, за ней другая — шоферы острова любили мчаться по утрам этим путем, на нем нет ни колдобин, ни пыли.

— Мне через час на смену, — сказала Ирина. — Вот и ночка прошла.

Он взял ее за руку, поднял, и они пошли к дому, постучали в окно, оно распахнулось, и высунулся Гоша в майке, посмотрел вопросительно.

— Пора, — сказал Семен. — Пока в аэропорт доберемся.

Гоша подумал, почесал голову, потом виновато сказал:

— Ты, Сеня, дуй, я догоню. Рано так все равно не будет самолета. — И захлопнул окно.

Ирина засмеялась и сказала:

— Я тебя провожу, Сеня, если можно.

— Конечно, можно, — сказал он.

Они дошли до КПП; ребята, увидев Семена с девушкой, не удивились: наверное, это было обычным — когда солдат покидал остров, чтоб его провожали. Ребята остановили первую же грузовую машину, идущую на морскую сторону, забросили за борт чемодан. Ирина стояла у обочины, Семен подошел к ней, и она сказала:

— Ты бы мне хоть адрес свой дал, может, буду в Москве, захочу тебя увидеть.

Он вынул записную книжку, написал ей адрес и, когда протягивал листок, заглянул в глаза — такая в них стояла тоска, что Семен не сдержался, привлек Ирину к себе и сильно поцеловал в губы.

— Ну вот, — вздохнула она, и на глаза ее набежали слезы. — За чем же сейчас?

Ребята из КПП молча смотрели на них.

Семен ехал в кабине, машина петляла по дороге, которая поднималась все вверх и вверх, чтобы преодолеть перевал, мимо густых зарослей низкорослого бамбука, мимо кедрача и ельника, мимо огромных, с трехметровыми листьями лопухов, под которыми можно вдвоем спрятаться от дождя, мимо всего этого пышного раздолья, он смотрел на него и думал теперь не о заставе, не о том, что ждет его впереди, а об Ирине, жалел ее, и было грустно, что прошла эта ночь и они расстались, может быть, нужно было задержаться на острове, как Гоша, ведь кто знает, не упустил ли он чего-то важного для себя.

Ему повезло в аэропорту, прождал он только час и улетел. Гоша так и не догнал его, самолет оказался прямым на материк, без захода в Южно-Сахалинск, потом Семену предстояла пересадка. Но вот тут-то он и застрял. По правде говоря, это не очень огорчило, спешить особенно было некуда, и он еще не знал, что ждет его дома: отец, пока Семен служил, женился, а кто она, эта мачеха? Она прислала Семену три коротеньких письма, вложенных в отцовские, и фотоаппарат ко дню рождения. Как они еще поладят — неизвестно...

Когда Семен встал и обулся, Николай вернулся в комнату, хмуро посмотрел на него и сказал:

— Послушай, солдат, будь добр, на-ка пятерку, сгоняй за поллитровкой.

Конечно, Семену это не понравилось, и он ответил:

— Бегите, дядя, сами, я вам не посыльный.

Тогда Николай посмотрел на него очень серьезно, улыбнулся и сказал:

— А ты молодец. Это хорошо.

6

Конечно же, это случайность, что семеро разных людей оказались вместе в одной комнате, каждый из них мог бы попасть в любую другую группу, которые собрались в аэропорту, мог очутиться в кресле, или на полу вокзала, или в одной из палаток, которые были разбиты в парке, и там бы повстречался с иными людьми и, может быть, стал свидетелем иных событий, но подспудный смысл их остался бы тот же: они порождены ожиданием; ведь это только кажется, что оно пассивно, в нем есть всегда своя глубинная жизнь, как есть она в любой форме существования, стоит только приглядеться, напрячь зрение и слух, и тогда не столь уж трудно будет ее обнаружить.

Много лет назад я прочел у одного из любимых мною писателей: «Странствуя, нужно жить, хотя бы недолгое время, в тех местах, куда вас забросила судьба. И жить нужно, странствуя». Я поверил ему; ведь когда едешь даже несколько часов в электричке, можно отрешиться от всего и думать только про себя и свои дела, а можно быть со всеми, кто едет в вагоне, и тогда это короткое время станет той частицей жизни, которая сохранится в памяти, потому что любая встреча, добрая или злая, с незнакомым прежде человеком неизбежно открывает нечто новое. Может быть, это и есть «жить странствуя», ведь тот же Константин Георгиевич Паустовский, которому принадлежат эти слова, говорил, что скитания — это познание: «Новизна все время сопутствует вам, и нет, пожалуй, другого более прекрасного ощущения, чем этот непрерывный поток новизны, неотделимый от вашей жизни». Он тоже был дромоманом.

Что же касается неожиданных совпадений и всякого рода случайностей, то юность, прошедшая на войне, обстоятельно приучила меня к ним. По укоренившемуся мнению, случай неправдоподобен, а закономерность реальна, хотя на самом деле чаще бывает наоборот, поэтому, наверное, так часто разбиваются заранее придуманные планы и мы постепенно привыкаем не испытывать при этом глубоких разочарований.

Все же во мне часто поселяется тоска по людям, с которыми по каким-нибудь причинам не свела меня жизнь, хотя я страстно стремился к этому. Их пути пролегли где-то совсем рядом, отмеряемые теми же календарными днями, тем же пространством улиц, домов, городов, что и моя судьба; мы читали одни и те же газеты, слушали одни и те же передачи по радио, жили одним временем, но никогда не видели друг друга. Такой острый приступ тоски испытал я, когда узнал о смерти Паустовского.

Я начал читать его книги с детства, постепенно его рассказы, повести, очерки стали для меня таким обязательным чтением, что стало казаться: он приходил сам, жил ли я в то время в землянке, бараке или в московской квартире, ехал в вагоне поезда или каюте теплохода — это не имело значения, он приходил, садился напротив, и мы размышляли вместе о природе, странных людях, о том, как пишутся рассказы, а так как я видел только его фотографические портреты, не знал ни его голоса, ни привычек, то у меня составилось свое представление о нем. Мне казался он высоким пожилым человеком с большим открытым лбом, орлиным носом, с загорелым, обдутым многими ветрами лицом, курил он трубку, английскую прямую трубку из крепкого вереска, набивая ее медовым табаком, любил сидеть, заложив ногу за ногу, смотрел добрыми, зоркими глазами, и от его басовитого голоса становилось хорошо на душе, отходили в сторону мелкие, ненужные тревоги. Я привык к нему такому, но продолжал мечтать, что встречу его, потому что часто бывал в любимых им местах. И вот я узнал о его смерти.

Мы помчались с приятелем на машине в Тарусу. У въезда в город нас встретила группа людей, по одежде и манере держать себя было видно, что это деревенские жители, несколько женщин в черных платьях, аккуратно причесанные мальчики при пионерских галстуках, и среди них высокий крепкий старик с седой бородой лопатой, он вышел нам навстречу, сжимая белую свежеструганную палку, к которой прикреплен был на кусок картона обведенный черной тушью портрет писателя, аккуратно вырезанный из книги. Старик степенно поклонился, спросил негромко: «Сам далеко?» — тогда мы узнали, что люди эти пришли из деревни за двенадцать километров от Тарусы и ждут тут на обочине процессию из Москвы, которую мы опередили.

Город увешан был траурными флагами, он хоронил почетного гражданина.

Около дома, где жил писатель, стали молча собираться люди, они стояли, тесно прижимаясь к заборам и цоколям домов, заполнили проезжую часть, и когда подъехала процессия, сняли гроб с машины, понесли его к воротам, мне показалось — выключились все звуки вокруг, стояла немая толпа под немым небом. Сколько это длилось, не помню, первое, что я услышал, был голос вдовы:

— Вынесите. Пусть прощаются те, кто его любил.

Открыли ворота, поставили по центру улицы две табуретки, на них установили гроб, и двинулась толпа, она двигалась по кругу, обходя покойного, шли медленно, не толкаясь, и многие шептали: «Вечная память». Тут-то я и увидел его, он лежал, невысокий, сложив на груди рабочие руки, на окоченевшем лице его проступила жестокая усталость, не распрямились глубокие складки морщин — следы мучительной борьбы за жизнь, теперь покинувшую его. Гроб подняли, мягко понесли на руках, двинулись люди по еловым ветвям, устилавшим путь на кладбище. Его похоронили под старым, пышным деревом, и когда зарыли могилу над Окой, которая хорошо видна с этого места, ударила молния с такой ослепительной силой, что темная вода, другой берег и деревья стали белыми, и хлынул ливень — прощалась природа с тем, кто любил и пел ее.

А потом мы сидели на застекленной веранде в доме, где снимали квартиру наши знакомые; по странному стечению обстоятельств это был дом, где жил Паустовский, впервые приехав в Тарусу. На улице шел дождь, чавкали шаги прохожих; мы пили чай, и те, кто знал Константина Георгиевича, рассказывали о нем, а мне казалось — он тут, среди нас, сидит в полутьме такой, каким видел я его в воображении много лет, и хотя теперь я знал, что он невелик ростом, не курил, болея астмой, все равно мне виделся высокий человек с английской трубкой, набитой медовым табаком, и я слышал его басовитый голос: «Сотни раз я говорил вам: не пристраивайтесь к жизни, скитайтесь, будьте бродягами, пишите стихи, любите женщин, но обходите за два квартала солидных людей».

Каждый из нас двигается по жизни своим, только ему предначертанным путем, но тоска по встрече с людьми большой и удивительной судьбы, наверное, постоянно присутствует в нас; порой она бывает так сильна, что мы перестаем замечать — и наша жизнь полна чудесных превращений, как часто событие, показавшееся нам будничным эпизодом, по прошествии лет оборачивается фактом, без которого не может существовать история, ведь она ткется по дням, потому уже теперь каждые сутки войны, оставшиеся в памяти солдата, имеют высокую цену свидетельства, и кто может поручиться, что прожитый ныне день не станет целым открытием для историка, даже если это обычный будничный день, или, как мы порой считаем, «пропащий», потому что в нем

ничего не было, кроме ожидания. Есть старая солдатская поговорка: «Хуже нет, чем ждать да догонять». Поговорка поговоркой, но поход не бывает без привала, а дорога без тропинок.

7

В два часа дня, когда диктор объявил, что до вечера вылетов не будет и стало ясно, что придется здесь жить до утра, а может быть, не одни сутки и время это надо чем-то заполнить, наступила минута всеобщего интереса друг к другу; люди словно бы остановились на мгновение, оглянулись и, отрешившись от своих дел, с любопытством прислушивались к другим, узнавали, кто, куда и зачем летит, только сероглазая девушка в синих джинсах и спортивной куртке, кровать которой была у самой двери, хранила молчание.

Ее соседка Вера Огаркова бесцеремонно под села к Андрею Воронистому и, насмешливо кося глазами, сказала:

— А можно вас спросить?

Андрей сидел, покорно положив руки на колени, лицо его было спокойно, видимо, он свыкся с тем, что ничего нельзя предпринять, надо только ждать, и когда Вера обратилась к нему, он обрадовался возможности отвлечься от своих мыслей.

— Да, да, пожалуйста,— сказал он.

— Мы про вас с девчонками спорили много на Зее.

— Зее, где это?

— Амурская область, на север, где тайга. Неужели не слышали?

— Нет.

— А место известное. Старинное место. Там испокон веку золотишко моют. Но я не с драги, а на ГЭС работаю. Тоже электростанция знаменитая, во всех газетах пишут. Поселок у нас свой, хороший поселок, новый.

— Нет, не знаю. Сейчас много строят. А я не так часто разъезжаю.

— У нас одна девушка вам письмо писала,— сказала Вера и лукаво повела в сторону Андрея глазами; она видела, что взгляды в комнате сейчас обращены на них; наверное, ей это нравилось.— Вы в том фильме, где ученого играете, такие слова говорите: «Стыд служит почвой, на которой произрастают все добродетели». Так эта девушка была несогласной с вами.

— Это ведь не я говорю. Это герой мой говорит, и это совсем не значит, что я с ним согласен.

— А если не согласны, так зачем же так горячо говорили? Мы ведь поверили.

— К тому же это японская поговорка, старая японская поговорка.

— Ну и что же что поговорка? Если человеку стыдно, значит, он сотворил какую-нибудь гадость, а из гадости добродетели не вылепишь.

Андрей улыбнулся, это сразу изменило его лицо, оно ожило, не казалось больше таким бледным, запавшим.

— Вот так вы поняли,— сказал он.— А мы, помнится, там другой смысл вкладывали. Там ведь о святых речь шла, и о грешниках, и о том, что все святые — бывшие грешники. Они к добру через зло пришли. Так, может быть, этому добру грош цена, если за ним стоит кровь и жестокость. Вот о чем там шла речь.

— Интересно... А можно я еще у вас спрошу?

Все смотрели на них, и это стало напоминать сценку из телевизионного репортажа, когда на студию приглашают знаменитость, кто-то один задает вопросы, а остальные слушают; может быть, Андрей почувствовал, что попал в такую ситуацию, и оглядел всех смотрящих на него.

— Да-а,— сказал он.— Как-то...

— Неловко, да? — спохватилась Вера.— А может быть, мы пойдем походом возле дома? Делать-то нечего. А то еще когда такой случай подвернется.

— Ну что же...

— Идемте, идемте,— сразу же поднялась Вера, подхватила Андрея под руку, повела его к выходу.

Едва смолкли их шаги в коридоре, как наступившую тишину обрывал грубый голос:

— Слюнтяйство разведут хуже вонючего тумана.

Это сказал Николай. Все уже знали в комнате, что фамилия его— Пельменщиков.

Он стоял в проходе между кроватями, рукава серой рубахи были закатаны, обнажая крепкие, загорелые руки, он приглаживал ладонями длинные темно-русые волосы, приглаживал так, будто они ему мешали, и при этом его продолговатые щеки, покрытые светлой щетинкой, подергивались.

Жарников, который полулежал на кровати, скрипнул пружинами и сквозь очки брезгливо посмотрел на Пельменщикова.

— Зачем же это вы так? — сказал он.

Тут Пельменщиков неожиданно улыбнулся, и улыбка у него оказалась простодушная, даже добрая, обнажившая крепкие, ровные зубы, и только что жесткие глаза его просветлели.

— А мы ведь с вами знакомы, Михаил Степанович,— сказал он.— Не припомните?

Видимо, эта стремительная перемена в облике Николая удивила Жарникова, он поправил двумя пальцами очки, стал вглядываться в Пельменщикова, а тот шагнул к нему поближе, взялся руками за спинку кровати.

— Я вас еще утром узнал, да постеснялся тревожить. Потом подумал: может, и не вспомнит. Я у вас на заводе чуть меньше года работал на горячей прокатке. Директор, конечно, всех работяг помнить не обязан. Но тут один случай есть, я, можно сказать, вам жизнью обязан.

— Какой еще жизнью? — напрягая память, вглядывался в Пельменщикова Жарников.

— А когда горячую полосу из рольганга вырвало.

— Ну-ну,— протянул Жарников.— Так это ты был? — И тут же строго спросил: — А почему с завода удрал?

— Да я не удрал, Михаил Степанович. По вербовке на восток поехал.

— Все равно удрал,— твердо сказал Жарников.— Ишь, моду взяли, полгода на одном заводе, потом за казенный кошт — на другой конец страны. На подъемных верхом катаетесь, все обетованную землю ищите... Небось опять на завод проситься будешь?

— Не исключено,— с достоинством ответил Николай.

— А мы вот не возьмем,— вспыхнул Жарников и прихлопнул ладонью по спинке кровати, словно это была крышка письменного стола.— Бегунов не надо. Мы там цеха реконструируем, поселок строим, а они, видишь, вильнут хвостом и опять на готовенькое. Народу не хватает, а все равно не возьмем.

— Возьмете, Михаил Степанович,— спокойно сказал Николай.— Я работник хороший, четыре специальности имею. Не ученичков же вам все время набирать.

— Постой,— видимо, что-то вспомнив, сказал Жарников.— Ты ведь институт кончал.

— Ну,— радостно кивнул Николай.— Три курса кончил и завязал. Смысла нет инженерский диплом получать, один расход энергии на учебу, трата времени. Мне без диплома больше платят.

— А ведь на заводской капитал учился.

— Чепуха это, Михаил Степанович, в одном государстве работаем, одно дело делаем.

— Ишь, как заговорил,— качнул головой Жарников.— А о людях почему так некрасиво выражаешься? Молодой, а судишь. Тебе сколько?

— Двадцать пять. Но я ведь уже хорошо по жизни поползал. А насчет этих выражений, так это другое дело, это уж серьезное дело. Если хотите, объясню.— Николай пододвинул к себе стул ногой, сел напротив Жарникова. Во всей осанке его чувствовалась твердая уверенность в себе.— Я эти разговоры про добро и всякую другую чепуху терпеть ни при какой погоде не могу. Все это гнилой туман, Михаил Степанович. Я таких людишек, кто про эту самую доброту болтал, испытывал не раз. Как их прижмешь, они только о себе и думают и про свои мечты сразу забывают. От тумана жизнь освободить надо, чтоб все было просто и ясно. Люди должны жить здоровой жизнью, а в ней есть две вещи: работа и радости земные, а больше нет ничего. Так и путать незачем. Я за настоящее, за естественное, без гнилой трепотни. Понятно?

— Нет,— сказал Жарников.— Не понял.

— Сейчас поймете,— снисходительно усмехнулся Николай, говорил он весело и легко.— Если и есть у нас беды, то оттого, что стали говорить: поймей жалость, будь добр. И стали мы ой как жалостливы, все прощать стали друг другу: и пьяненьких жалеем, и слабеньких, мол, поддержи его, чтоб не упал. И стали многие на этой жалости и доброте себе жизнь строить. Профессиональных нищих развелось по всей стране тысячи, один пенсию побольше клянчит, другой кусок пожирней, третий дом чтоб бесплатный ему отгрохали. А мужиков, работников, все меньше да меньше. Чувствуете, куда эта доброта нас завела. А человек, чтоб мог горы ворочать, должен быть крепким, сильным, здоровым, без всякой гнили. Не будет в нем жалости для других, не будет и к себе. Тогда все в кулак соберется, в одну точку бить будем, на этом крепость общества и стоит.

— Ты же сам запищишь,— усмехнулся Жарников.— Летать с места на место не сможешь.

— А я и не буду! — радостно подхватил Пельменщиков.— И не летал я. Мне посмотреть Россию нужно было, чтоб место в жизни определить.

— Определил?

— Определил,— ответил Пельменщиков и хитровато посмотрел на Жарникова.— Да вы, Михаил Степанович, не усмехайтесь. Вы ведь тоже, как и я, думаете. И вот он так думает,— кивнул Николай на Сеню Артынова, который тихо сидел в углу.— Он солдат, и в нем своя крепкая гордость есть. Проверил. В холуях ходить не хочет... А мысли эти, Михаил Степанович, я от вас слышал, помню, на заводе высказывались, может, слова другие были, а суть та же. Да ведь и главное, чтобы суть.

Жарников не отвечал, он сидел, вглядываясь сквозь очки в Пельменщикова, наклонил вперед голову, не спеша закурил и, выпустив струйку дыма, протянул:

— Да-а.— И непонятно было, то ли в одобрение, то ли в осуждение он это сказал.

Андрей и Вера шли дорожкой мимо ельника, который начинался сразу же за гостиничным баракком.

— Вы не обижайтесь, что я вас так нахально,— сказала Вера.

— Ну что вы,— ответил Андрей.— Даже хорошо, что вытащили. Тут хоть дышать можно.

— Я очень глупые вопросы задавала, да?

— Почему глупые? Обычные.

— Ну вот, обычные,— опять вздохнула она, остановилась, он невольно задержал шаг, повернулся, а она сказала:— Слышала, у вас горе.

— Да,— сухо ответил он.

Она рассматривала его лицо; ему было неприятно, когда чужие глаза останавливались на нем в толпе у метро, на улице, в троллейбусе, он так и не смог привыкнуть к этим любопытным, иногда восторженным взглядам, старался их не замечать, но не удавалось, он чувствовал себя скверно под ними, не в силах перебороть природной стеснительности; эта молодая женщина смотрела иначе, во взгляде ее немного косых, направленных в разные точки глаз было не любопытство, а сострадание, и Андрею захотелось вдруг сказать ей то, что мучило его последние сутки. Он взял Веру за руку, вынул из пальцев влажную ветку.

— Я ей всем обязан. Отца ведь не знал, он погиб в конце войны, когда мне и году не было... А мать... Она была актрисой, очень хорошей актрисой, все это знали, но играть она не могла. Ей осколками повредило обе ноги. Вот так... И все, что я умею,— это она.

Замолчав, он прикусил ветку, почувствовав во рту еловую горечь. Вера все так же смотрела на него, потом сказала:

— Счастливый вы.

Он не ответил, тогда она уж твердо повторила:

— Счастливый. Есть кому долги отдавать. А мне некому. Одна. И общага — вечный дом мой. Вот так-то, артист.— И глаза ее сузились, потемнели.

8

Все-таки Танцырев позвонил. В комнате у входа, где стояли шкафы с бельем, был телефон, один на всю гостиницу, дежурная отгоняла от него жильцов, но когда обратился к ней Танцырев, милостиво позволила:

— Три минуты, а то еще из диспетчерской кликнут, а занято.

Ему не понадобилось и минуты, он набрал номер клиники и сразу же услышал голос Ростовцева; телефон немного искажал звук, но этот мягкий, бархатистый голос Танцырев узнал тотчас, хотя он произнес всего одно слово:

— Слушаю.

— Здравствуй,— сказал Танцырев.— Я в аэропорту, проездом.

Ростовцев помолчал, слышно было его прерывистое дыхание.

— Володя?

— Угадал,— усмехнулся Танцырев.— Если хочешь, можем увидеться. Все равно я тут застрял.

— Ты хоть час еще пробудешь?

— Взгляни на небо, крокодил.

— Где искать?

— Но, может быть, у тебя дела?

— К черту дела! Где искать?

— Давай я подожду тебя у входа в аэровокзал.

— Договорились. Самое большое сорок минут.

Танцырев повесил трубку, вышел на улицу, торопливо достал сигареты и, когда прикуривал, заметил: дрожат кончики пальцев. «Вот это уж ни к чему». Теперь, когда звонок остался позади, а вместе с этим все колебания, наступила разрядка. «А нужно ли было это делать?» Пожалуй, он бы не позвонил, если бы в порту была простая пересадка с самолета на самолет или задержка на час-два, но вот уж шли вторые сутки вынужденного безделья, создавалась пустота, и мысль о встрече с Петром

Ростовцевым, едва проклюнувшись в начале ожидания, полностью отвоевала место в сознании. Он окончательно решил после того, как стало ясно: торчать ему до вечера, а может быть, и до утра в душной комнате гостиницы, торчать одному среди незнакомых, случайных пассажиров. А ведь Ростовцев и Маша живут в этом городе и когда-то были самыми близкими ему людьми; глупо, конечно, не позвонить. Но зачем, зачем нужна эта встреча?

Интересно, Петр приедет один или с Машей? Все-таки тогда Танцырев странно женился на ней, не было у них ни свиданий, ни любовных объяснений, просто пошел к ней домой, остался на ночь, а утром сказал: «Переезжай ко мне». Даже свадьбы не было, совсем не так, как четыре года назад с Нелей... Маша. Низенькая веселая женщина. Что нашел в ней Ростовцев? Но ведь он и сам жил с ней три года, вернее два, третий не в счет, третий он просто держал ее при себе, чтоб сумела почувствовать — измена не такая простая и легкая штука. Он так тогда и размышлял: использовать дружбу, чтобы за спиной смеяться над ним,— это хуже, чем обокрасть ребенка. За это надо было расплачиваться. Не только ей одной. Обоим.

Танцыреву доверили в то время клинику, и Ростовцев пошел к нему, Петр хотел, чтоб они работали вместе, трезво понимал, что не может делать тех операций, которые уже давались Танцыреву. А когда выяснилось с Машей, выяснилось, что Петр встречается с ней,— Танцырев не мог контролировать ее время, торчал в клинике с утра до ночи, часто ночевал в кабинете на диванчике, да ему и в голову не приходило ее контролировать, глупость какая: охранять жену от друзей,— и вот когда все выяснилось, разговор был простой: «Надеюсь, ты и сам понимаешь, что не можешь работать больше в нашей клинике?» «Понимаю»,— ответил Ростовцев, он уехал из Москвы, а через год к нему поехала Маша. Вот и все. Очень простая история. Теперь все позади, теперь у Ростовцева своя клиника в этом городе... Сорок минут, нет, полчаса, даже меньше,— и этот человек окажется рядом. Как они встретятся?

Все-таки он был прав, выдворив четыре года назад Ростовцева из клиники, пусть он хороший врач и хороший парень, пусть он трижды благодороден в своей любви к Маше — даже при всех этих условиях Танцырев был прав: возникло недоверие, а это означало, что они вместе не могут стоять у операционного стола, где каждая секунда — жизнь или смерть. Пафос? Нет, рабочие будни. А в них чувствуешь себя прочно, когда веришь в других. Можно болтать, что он испортил карьеру Ростовцева в столице, но на это плевать, потому что на карту ставилось большее: нельзя хорошо делать свое дело, когда постоянно оглядываешься в подозрении. Он выпроводил из клиники не только Ростовцева, но еще пятерых врачей, среди них были и пожилые, со своим опытом, но все они не годились для нового дела, где-то в другом месте их могли принять как отличных специалистов, но оперировать сердце мог не каждый: ведь речь шла не о Баталловом протоке, а о более серьезных вещах, и нужно было исключить всякую возможность неудачи от элементарной бездарности. Каждый из этих врачей ушел со своей обидой, они живут в разных городах страны, честно делают свое дело. Но Ростовцев — другое. Его уход трудно было кем-нибудь восполнить, и если бы не эта история с Машей... Ну, хватит об этом, какая будет встреча, такая и будет, в конце концов, она ничего не сможет перерешить в их жизни.

Танцырев не заметил, как оказался у входа в аэровокзал.

Он повернулся к стеклянной двери, она вполне могла заменить зеркало, и оглядел себя, как будто все в порядке: костюм не измят, галстук-бабочка лежит хорошо, вот только манжеты надо подтянуть, чтобы они не так вылезали из-под рукавов пиджака, все-таки чувствуешь себя неуверенно, когда на тебе несвежая рубаха, а так вполне профессорский

вид. Он усмехнулся, вспомнив, как в Благовещенске офицеры обращались к нему, чеканя слова по-военному: «Товарищ профессор!» Все-таки они очень гордились, что брат Героя Советского Союза Илья Танцырева оказался профессором, подробно объясняли солдатам, кто он, и чем занимается, и как хорошо, что приехал к двадцатипятилетию победы над Японией. А в день гибели брата они устроили Танцыреву большой прием, чествовали его так, словно это он совершил тот подробно расписанный в листовке подвиг... Больше всего Танцырева поразила история, которую рассказал седой полковник: как бежал Илья в атаку с отрубленной кистью правой руки. Илья был ранен в плечо, когда японский офицер в рукопашной шашкой рубанул ему по руке. Полковник рассказывал это с такими подробностями, что у Танцырева заныли пальцы.

Он услышал за спиной скрип тормозов, тотчас обернулся: серая «Волга» остановилась у тротуара, из нее выскочил Петр, привычно припадая на правую ногу, побежал навстречу; в это короткое мгновение Танцырев успел охватить взглядом его всего, они были одинакового роста. Петр был так же худощав, по-спортивному собран — хирурги не бывают полными, впрочем, это чушь, шеф их был явно склонен к полноте, да, но только склонен, за операцию он мог сбросить три, а то четыре килограмма веса; Петр улыбался, у него была хорошая, мягкая улыбка и все лицо было добрым, только жесткие губы выдавали в нем упрямец; он бежал, раскинув руки, легкий плащ развеялся, как мантия. Петр налетел на Танцырева, прижал к себе, от него слабо пахло нашатырем и кофе.

— А, черт! — вопил Петр, похлопывая ладонями Танцырева по спине. — Улизнуть хотел!

Танцырев, забыв обо всем, хлопал в ответ Ростовцева по плечу:

— Ну-ну, не тискай меня, крокодил. У тебя же руки, как клещи.

— Прошу в машину! — вскричал Петр. — Сейчас я тут хозяин, и команду ю я.

— Ого! — рассмеялся Танцырев. — Диктаторские замашки.

— А ты как думал!

А еще через несколько минут они сидели рядом. Петр сам вел машину, дорога была в тумане, и он зажег желтые фары.

— Ты и этим обзавелся, — сказал Танцырев, похлопывая по щиткам управления.

— Этим и многим другим, Володя, — сказал Ростовцев. — Сын у меня. Серьезный мужчина, два года, а все на свете понимает.

Танцырев взглянул на Петра; нет, никакого намека не было в его словах, он просто хвастался, как хвастаются все молодые отцы; все в порядке, ведь Маша его жена, она уже четыре года его жена, и у них должен быть ребенок; ведь она хорошая жена, Танцырев знает, заботится, чтоб в доме было чисто, умеет готовить, но он не любил ее, она казалась ему просто домашней клушей, часто капризничала, когда он подолгу пропадал в клинике. Да, она ведь неплохой терапевт. Ну и что?

— Чертовски на меня похож, — говорил Петр. — Все удивляются, как похож. Познакомлю, увидишь.

Зачем он так разболтался об этом? Не очень-то умно с самого начала хвастаться сыном. Он же знает, что у Танцырева нет детей. С Нелей у него тоже не все ладится, она умна, даже слишком, устает у себя в институте, умеет работать так же, как и Танцырев, — до изнеможения, но ей не хватает того, что было в Маше — простой бабьей мягкости.

— Ты куда меня везешь? — спросил он.

— Еще спрашивает! Куда же врач повезет врача? В клинику, конечно... Но если ты хочешь...

— Нет, нет. Раз в клинику, то есть чем похвастать.

— А это уж сам увидишь, — сказал Петр. — Поглядим, как на твой столичный кус.

Что-то он уж очень расхвастался. Раньше в нем не было такого... Ростовцев следил за дорогой, местами, когда она скатывалась в низину, туман становился таким плотным, что его не мог пробить свет фар, лучи упиралась в него, как в матовую стенку, отражались желтым, поэтому казалось: по ту сторону тумана — солнце, но когда машина поднималась на взгорок и туман отступал, все вокруг было серым-серо. Наблюдая, как напряженно Ростовцев ведет машину, Танцырев молчал: не стоит отвлекать Петра, можно не заметить стоящую машину или человека.

В городе горели фонари, хотя было четыре часа дня, остановились у старинного, из красного кирпича здания, обнесенного массивной чугунной оградой.

— Вот и наша обитель, — сказал Петр, кивая сторожу, открывшему ворота.

Они поднялись по стертым каменным ступеням, вошли в длинный широкий коридор — таких сейчас не строят, — чистый больничный коридор с сестринскими столиками у стены, уютно освещенными настольными лампами. Петр открыл дверь в кабинет и пропустил Танцырева. Это был отличный кабинет, ничего не скажешь, пожалуй, лучше, чем у Танцырева в Москве; справа во всю стену шкаф с полочками для книг и безделушек и несколькими закрытыми отделениями, рыжие кресла у журнального столика, на нем кувшин с цветами — кто-то заботится об этом, — большая стеклянная пепельница, с десяток заграничных информационных брошюр, слева письменный стол, хорошие лампы, ковер, уголок, отделанный голубым кафелем, с умывальником, стены окрашены в приятный палевый цвет, на одной из них висела под окантованным стеклом фотография шефа. Она была десятилетней давности, когда шеф только стал академиком, а Танцырев и Ростовцев совсем мальчишками начинали у него. На этой фотографии шеф производил впечатление вальяжного барина, так и казалось, сейчас он заговорит надменным и капризным голосом. Танцырев улыбнулся: как бывают обманчивы эти снимки, как не соответствует порой изображение человека его характеру. Ведь ничего барского в шефе не было, скорее он прямолинеен и грубоват, школу свою обрел не в кабинетах клиник, а в военных госпиталях, в самых адских условиях, когда оперировать приходилось при свечках и керосиновых лампах.

Танцырев шел к журнальному столику, чтобы сесть в кресло и закурить, и вдруг увидел в простенке над телефонами другой портрет — это был он сам в белой шапочке и халате, совсем мальчишка, вот таким он принял клинику. Танцырев быстро взглянул на Ростовцева, но тот торопливо перебирал бумаги на столе или делал вид, что перебирает их. «Ну уж это...» — растерянно подумал Танцырев. Врачи любили вывешивать в кабинетах портреты своих учителей, у Танцырева тоже висела фотография шефа, но зачем его портрет...

Танцырев ничего не сказал, сел в кресло, закурил, и тут же Петр оторвался от бумаг.

— Прости, пока ездил, набросали на стол. А зря ты уселся, сейчас же пройдем по палатам. Надевай халат, он там, в шкафу.

Они прошли почти по всем палатам, объяснять ничего не надо было, Танцырев видел все сам: везде был порядок, палаты хоть и велики — это недостаток таких вот старых зданий, — но чисты, в каждой холодильник, пижамы на больные свежие, перевязки сделаны хорошо, никаких нагноений, есть кое-какие неприятные мелочи, но это уж пустяки, придирки; он обходил палаты и радовался за Петра, потому что знал, какого огромного, просто нечеловеческого труда это могло стоить, как сложно выбивать деньги, как трудно набрать персонал, как надо самому дневать и ночевать здесь, чтобы добиться порядка. «Все-таки он настоящий врач... Он просто с детства рос как врач. Заболел костным туберкуле-

зом, провалялся много лет в больницах, врачи стали его родственниками. Да и знает он все, так сказать, снизу и про няnek и про больных. Конечно, Петр мог пойти только в медицину. Она поставила его на ноги. Немного прихрамывает, носит ортопедическую обувь, но это уж пустяк... А я мог быть и не врачом. Просто у меня отличные пальцы. С ними я бы мог быть и ювелиром, делать золотые безделушки, или даже часовых дел мастером. Это случайность, что я стал хирургом. Про Петра так не скажешь, он все продумал еще с детства...»

Они дошли до операционной.

— Сейчас открою, — сказал Ростовцев.

На него было противно смотреть: лицо лоснилось от радости, обычно жесткие губы отмягчели — того и гляди начнет пускать пузыри.

Ростовцев открыл дверь своим ключом; сначала узкое, но довольно просторное помещение предоперационной: белые широкие раковины, никелированные краны, тазы — все для мытья рук, коробки с бахилами, халаты, а дальше, за стеклянной дверью... Ростовцев врубил свет, чтоб развеять полумрак. Да, это была первоклассная операционная: два стола, аппараты искусственного кровообращения, электрокардиограф, электроэнцефалограф для записи биотоков мозга, машина искусственного дыхания РО-5 — новейшая аппаратура, все зачехлено. И у Танцырева сжалось сердце, остро захотелось в Москву, там почти такая же операционная. Первый раз он покинул клинику так поспешно; обычно когда уходил в отпуск, то готовился месяца два, стараясь не оставить ни одного тяжелого больного, а тут бросил все и уехал. Военные слишком поздно прислали приглашение и неожиданно... Черт возьми, а его еще считают черствым, иногда жестокосердным, не понимая, что врач должен все хранить в себе. Вот и Ростовцев когда-то в запальчивости сказал ему: «Мало спасти физически, надо и о духовном думать». Красивая фраза, и больше ничего. Тот случай Танцырев хорошо помнит, очень хорошо, его постарались разнести по всей Москве, и если бы не шеф... Трудный, тяжелый случай.

Считали, что он самоуверен, слишком занесся и надо осадить, как посмеивался шеф, «сделать осанже», но это было не так. Ту девочку он навсегда запомнил, поступившую к ним с диагнозом тетрады Фалло: сильнее тельце, приступы одышки, утолщение пальцев и ногти на них, как «часовые стеклышки», — тяжелый врожденный порок, спасения при нем нет, смерть. Но они сделали в клинике уже несколько таких операций, и была удача. В тот же день предстояло и другое: юноша с коарктацией аорты, суженное место сосуда надо отсечь, — эту операцию впервые в стране сделал шеф, очень трудная операция. Никто не виновен, что два таких тяжелых больных оказались почти одновременно на столах, в одной операционной. Выхода не было. Начали с девочки... Страшно вспомнить. Сначала все шло хорошо, потом остановка сердца, добились массажем — пошло, но усилилось кровотечение, что-то повредили во время массажа, и пришлось начинать все сначала, хотя всем было ясно, что шансов нет, но он должен был дойти до конца, так учили его, если нет шансов — найди хоть один, бейся... Он знал, что они сделали все, большего бы никто не смог, даже шеф; после этого все, кто был у стола, поддались приступу отчаяния — это часто бывает, надо было покинуть операционную и отменить коарктацию аорты у юноши. После таких потрясений, когда весь вымотан, едва стоишь на ногах, а ассистенты угнетены, оперировать нельзя. Но больной лежал на столе под наркозом. И Танцырев снова пошел к столу. Вот этого ему не могли простить. Не смерть девочки — это всем было понятно: спасти ее было нельзя. А вот то, что он снова пошел к столу. Он работал, как дьявол, выше своих сил, этот юноша теперь ходит по улицам, и назначает свидания, и, наверное, забыл о своей болезни, ведь сам он не видел, как бился Танцырев над ним. Это

была отличная операция. И все же ему не могли простить, что после смерти одного больного он начал оперировать другого. Со всех сторон твердили о неэтичности. «А если все начнут так рисковать?» Это тенью ложилось на шефа — мол, его школа, — кто-то называл их «роботами со стальными нервами», даже «бандитами». Все это чушь! Однако вот и Ростовцев его упрекнул красивой фразой: «Мало спасать физически, надо и о духовном думать». А разве Танцырев не думал?..

Конечно, о шефе можно судить по-разному, он творил дела, которые вызывали бурные реакции некоторых старейших, особенно когда он демонстрировал свои успехи на Обществе, и ничего не могли поделать эти старейшие с их академической медлительностью и надуманными школами, которые порой отличались друг от друга тем, что одни носили глухие халаты, а другие поверх них еще фартуки, пусть это несколько утрировано, но где-то точно. Шеф плевал на условности, у него была военная закалка, он пришел, растолкав всех плечами, и каждый его год поражал смелостью; он стал делать такие операции на сердце, о которых эти старейшие не смели и мечтать. Танцыреву никогда не imponировала его грубость, ему самому не раз доставалось от шефа, когда он ассистировал ему, но смелостью и красотой его работы он восхищался. Пусть болтали, что виртуозность операций шефа — ради самой виртуозности. Ерунда! Он спасал людей, приговоренных к смерти, он возрождал тех, кто был обречен еще в день рождения. И он один по-настоящему понял Танцырева и выступил со статьей, где говорил об этике хирурга так, как ее понимал, а понимал он ее как солдат, попавший в гущу сражения: оглядываться некогда, если случилась огромная, непоправимая неудача, все равно иди вперед и спасай тех, кого можешь спасти, а для этого нужна стойкость, а не паника переживаний. Какой вой поднялся вокруг этой статьи! «Чужое сердце надо оперировать, имея свое». Опять красивые фразы. Но кто доказал, что у Танцырева было легко на душе. Когда он ушел в тот день из клиники под тяжелыми взглядами коллег, которые стояли с ним у стола, где лежала девочка, он думал не о блестяще сделанной операции с коарктацией аорты, а о поражении, и всю ночь Маша — да, тогда еще была она — не отходила от него, он забывался ненадолго и проклинал всю хирургию за бессилие, никакие снотворные не помогали.

Ростовцев стоял рядом.

Ростовцев не мог знать его мыслей, и незачем было его посвящать в них.

— Послушай, Володя, — сказал он. — У нас есть девочка с тетрадой Фалло.

Танцырев невольно вздрогнул — это уж похоже на телепатию.

— Хотели в Новосибирск отправлять, — продолжал Ростовцев. — Но если ты тут... В общем, мы очень просим.

Танцырев понимал, что это значит: ему оказывали честь, высокую честь; так заведено у хирургов давным-давно: если в чужой клинике тебя просят об операции, это больше, чем доверие. Все-таки странный парень этот Ростовцев, кажется, он всерьез повесил его фотографию у себя в кабинете, считает себя чуть ли не учеником Танцырева, хотя они учились вместе, да если еще иметь в виду то, что меж ними произошло... Станный парень.

— Но ведь я должен лететь, — сказал Танцырев.

— Не отказывайся, Володя. Все равно погоды нет, а если будет, мы тебя завтра во второй половине дня отправим. В первую очередь отправим. У нас в аэрофлоте полно знакомых. Ты делаешь такие операции, мы пока — нет. Это нам очень поможет.

Что он мог ответить на это?

— Хорошо, — сказал он.

— Ну вот, — обрадовался Петр. — Я рад буду тебе ассистировать, да

у меня и ребята чудесные, увидишь, какие ребята. Им очень нужно, чтобы ты поработал. А сейчас пойдем посмотрим больную.

Они вернулись в одну из палат; девочке было три года, — такое же посиневшее лицо, как у той, пять лет назад, и такие же серые просящие глаза. Танцырев суеверно вздрогнул. Он прослушал ее, внимательно посмотрел историю болезни — да, по всем показателям у нее тетрада Фалло. Диагноз точен.

Они прошли в кабинет, высокая пожилая сестра молча принесла черного кофе, расстелила салфетку на столе, расставила чашки и ушла.

— По рюмочке коньяку, а? — сказал Ростовцев. — У меня тут есть. «Это чудесно, — подумал Танцырев. — Сейчас с удовольствием».

Ростовцев вынул из стола бутылку, две рюмки, разлил, сказал:

— За нашу дружбу, Володя.

Вот это уж лишнее... Хотя... Каждый имеет право на свой взгляд; насколько он знал Петра, тот не умел кривить душой, говорил что думал; да, в конце концов, дружба — это не обязательно когда вместе и подстилают ближнему соломку, может быть и вот так, как у них. Все может быть. Они выпили.

— Ну, как тебе клиника? — спросил Петр.

— Если начну говорить, то зазнаешься, крокодил.

Ростовцев довольно улыбнулся.

— Я и сам знаю, что у нас хорошая клиника, конечно, в местном масштабе, для Дальнего Востока, так сказать. А от вас отстаем и от Новосибирска... Впрочем, я зря это. Кое в чем они и вас обставили, сибиряки. Но я не спешу. Пусть медленней, зато наверняка... Ну что же, Володя, пора и ехать. Маша ждет. Обещала отличный пирог с рыбой. Да, надеюсь, у нас и заночуешь.

Вот этого Танцырев не ожидал, он успел забыть на короткое время о Маше, но с него хватит, ему вполне достаточно встречи с Петром, вполне достаточно, — вон как царапает на душе. Куда же он поедет? Там надо что-то говорить, о чем-то вспоминать. Встреча с бывшей женой, с которой прожито два года и третий — сплошных взаимных терзаний, а их-то он всячески старался похоронить в своей памяти, так зачем ему это сейчас.

— Нет, — сказал он. — Я поеду к себе в аэропорт, у меня там есть место.

Ростовцев помолчал, машинально отодвинул от себя чашку с недопитым кофе, губы его теперь жестко сжались; он понял, он все понял и сказал сухо:

— Вот что, Володя. Нам скрывать друг от друга нечего. Ты не хочешь встречи с Машей. Конечно, ни я, ни она не забыли твоей злости к нам. Сам понимаешь, четыре года — не такой срок, когда об этом забывают совсем.

— Так какого же черта... — пробурчал Танцырев.

— Обожди! — прикрикнул Петр и поморщился. — Я должен досказать. И все-таки нам незачем это помнить. У тебя было право судить, и ты судил как мог. Теперь у тебя своя семья, у нас своя. И есть нечто большее, что нас объединяет. Никому не нужно сейчас сводить счета.

— Зачем же тогда ты болтаешь эту чушь!

И Ростовцев улыбнулся:

— Вот это я и хотел от тебя услышать. Тогда поедем!

— Нет, — сказал Танцырев поднимаясь и, глядя в доброе, мягкое лицо Ростовцева, тихо сказал: — Я не готов еще к этому, Петя.

Сразу стало легче, все-таки он умный человек, этот Ростовцев, как бы хорошо было, если бы он всегда был рядом, но это невозможно. Танцырев взглянул на свои манжеты, они изрядно затерлись.

— Ты лучше скажи, крокодил, где можно купить здесь рубашку.

— А что, нет сменной? — сразу же отозвался Ростовцев. — Мы ж одного роста. Здесь у меня есть две пары запасных. — Он прихрамывая быстро прошел к шкафу. — Ого, новенькие!

В аэропорт Танцырев возвращался на «скорой», он сам не захотел, чтобы Ростовцев провожал, да тот и не настаивал: вечером дорога еще тяжелее, а он не такой опытный водитель. Они вызвали дежурную машину, попрощались, сговорившись, что за Танцыревым придут к восьми утра.

Танцырев подъехал к аэропорту, когда над ним висел желтый маслянистый свет огней; он почувствовал, как ему захотелось снова очутиться в комнате среди тех мало знакомых ему людей, и удивился: как все-таки быстро человек привыкает к новому месту.

9

Семену Артынову с первого взгляда Лиза не понравилась: девочка в джинсах, спортивной курточке, курит сигареты, худая, коротко подстрижена, нос длинноват и вообще похожа на мальчишку, только глаза хороши — большие, серые, с красивым блеском; а вообще-то вполне ординарная девочка, таких можно встретить в Москве на каждом шагу, они любят модные, жаргонные словечки, им все не нравится в книгах и кино, и еще любят прихвастнуть, что умеют пить водку и коньяк, не хмелея при этом. С такими Семен встречался до армии во дворе и на Тверском бульваре, с ними ему было скучно, поэтому когда он увидел Лизу, заметил, как она смотрела на актера Воронистого, то решил: пусть эта девочка живет своей отдельной жизнью. И все же она сумела его заинтересовать, и очень неожиданно.

Когда Николай Пельменщиков разговаривал с Михаилом Степановичем, втолковывал ему свое понимание добра, Лиза слушала все это, презрительно морщась, и как только Николай замолчал, а Михаил Степанович протянул свое непонятное «да-а», Лиза внезапно сказала:

— Глупость какая!

Михаил Степанович посмотрел на нее с любопытством, а Николай неторопливо обернулся, оглядел Лизу, словно примериваясь, стоит ли вообще обращать на нее внимание, потом все же улыбнулся ей.

— Что же глупость? — спросил он.

— Да все, что вы наговорили, — ответила она и дернула плечиками.

— А почему же?

— А потому, что глупость. — У нее неожиданно вспыхнули щеки. — Что же, по-вашему, мы, как волки, должны жить? Между прочим, и у волков есть свое понятие о добре.

— Ох, девочка, — снисходительно сказал Николай и подмигнул Михаилу Степановичу, но тот не заметил этого, продолжал с любопытством смотреть на Лизу. — Это ты так в школе выступай. Сочинение на тему «Какую имеете цель в жизни».

— Бесполезно, — сказала она.

— Что? — не понял Николай.

— Спорить с вами бесполезно.

Она очень разнервничалась, опять передернула плечиками, постаралась сделать независимый вид и вышла из комнаты. Николай громко рассмеялся ей вслед.

— А девочка с приветом! — Он крутанул пальцем у виска.

Семену стало интересно: если она полезла так смело в спор, то, значит, у нее есть своя мысль. Он помедлил, чтоб его уход не бросился в глаза, и пошел ее искать.

Она стояла у крыльца, прислонившись к стене, скрестив ноги — совсем уж мальчишеская привычка, — и курила.

— Можно мне с вами поговорить? — сказал он.

Лиза подняла глаза, краснота сошла с ее щек, теперь они были бледны, подумала и ответила:

— Можно. Меня зовут Лиза, а тебя?

Он назвал ее и предложил:

— Давай походим, а то здесь люди все время шныряют.

Когда они пошли рядом по дорожке, Семену показалось, что спрашивать-то ее не о чем, она шла, сложив руки на груди, охватив ладонями локти. Он спросил, куда она летит, и тут же подумал, что уж очень это смахивает на пошлый приемчик знакомства. Когда она ответила, то еще больше удивила его, потому что такое не говорят первому встречному, а она сказала:

— Я от родителей удрала. К тетке в Ленинград пробираюсь.

— Как удрала?

— А вот так. Села в автобус — и сюда. Тут тридцать километров. Очень простой маршрут.

Если уж она сама начала об этом рассказывать, то смешно было бы не расспросить ее.

— Тебе что же, с ними плохо было?

— Смотря что считать плохо, а что хорошо. С какой точки посмотреть.

— Конечно,— согласился он.— Это очень важно, с какой точки посмотреть.

Тогда она остановилась, взглянула искоса и усмехнулась:

— Как ты это понимаешь?

Его задела ее усмешка, и он решил выложить то, что уж давно продумал на эту тему. Эта девочка еще не знала, что такое океан и как он заставляет размышлять о разном. На берегу однажды ночью, наблюдая крупные звезды, Семен стал думать о разных точках зрения, и к нему пришла одна интересная мысль, она сводилась вот к чему. Когда-то, тысячу восемьсот лет назад, объявился на земле великий ученый Клавдий Птоломей, создавший свою систему мира, которую он очень здорово сумел доказать, и ему поверили; тысячи серьезных мудрецов, которые смотрели с земли на небо, продолжали его дело, создавали сложнейшие теории, объясняющие движение светил, и на этом пути открывали такие математические истины, что проникнуть в их суть дано было не каждому. Множество наук выросло на системе Птолемея. А потом пришел человек и сказал: «Все не так». Он ничего особенного не сделал, он только перевернул точку зрения, решил взглянуть на мир не с земли, а с солнца, мысленно взгромоздившись на это огнедышащее светило, и его взгляда хватило, чтобы вся Птоломеева система полетела к чертям. Конечно, Николай Коперник сумел взглянуть по-новому, потому что пробил нужный час для человечества, и произошло это в дни озарения, то есть в то мгновение, когда освобождаются люди от привычных пут и чувствуют себя от них полностью свободными. Наверное, то же самое было и с Птоломеем, когда он сочинял свою систему, ведь он был серьезным ученым для своего времени. Никто, конечно, не может поручиться, что когда-нибудь, в какие-то времена появится человек, к которому придет новое озарение, и он отыщет во вселенной точку, с которой сможет взглянуть на мир так, как никто его до сих пор не видел.

Лиза выслушала все это и рассмеялась; Семен тут же отметил, что смеется она хорошо, открыто и весело.

— Нет, у меня совсем не такой космический взгляд. У меня все просто и противно... Слушай, а с тобой и верно можно потолковать. А сначала подумала: вот дундук.

— Это почему же?

— Так, показалось. Теперь не важно. Понимаешь, я, наверное, не смогу как следует тебе объяснить, почему удрала. На словах трудно.

Старики у меня каждый по отдельности ничего, если хочешь знать, по отдельности хорошие. Но, понимаешь, года три назад я узнала, что живут они вместе из-за меня.

— Не понял.

— Тут понимать нечего. Они давно не любят друг друга. У каждого из них есть свои истории. Кажется, все началось с мамы. Она полюбила одного человека и стала встречаться с ним. Отец узнал. А расходиться они не стали. Они решили, что надо сохранить семью ради меня. Ты даже не можешь представить, как это противно. Они решили, что когда я закончу школу и мне станет восемнадцать, они могут считать себя свободными друг от друга полностью. Но теперь уж мне девятнадцать, но ничего не изменилось.

— Ты хочешь, чтоб они разошлись? — спросил Семен.

— Нет, мне теперь все равно. Вот только противно, что они всего боятся: как, мол, будут говорить в поселке да что делать с квартирой. Еще смешно: отец пытается меня учить — в жизни главное честность. Но если хочешь знать, я не только из-за этого удрала. Они все для меня делают, но мне ничего не надо. Я хочу сама все добывать что мне нужно. И я решила: уеду — им не о ком будет заботиться и они сами о себе, может быть, начнут думать.

— Но ты же сказала, что к тетке...

— Сначала к тетке. Надо же с чего-то начинать. Знаешь, какая у меня мировая тетка. Я у нее только первые дни, потом работу найду...

Они подошли к зимней гостинице, справа от нее меж деревьев стояла беседка, такие обычно ставят во дворах у детских площадок, а за ней был обрыв, где за кустами лежал всякий хлам: ржавые спинки кроватей, дырявые ведра, куски железа.

— Пойдем туда, посидим, — сказал Семен. — Странно все-таки: одни на восток едут себе место искать, а ты в Европу. Вот у нас полон остров девушек, за чем только ни приехали: кто на заработок, кто мир посмотреть. Но ведь то, что ты ищешь, не лежит где-то готовенькое, оно внутри тебя.

Она сидела, поджав ноги, стертые до голубизны джинсы на ее коленях натянулись, она охватила их руками, смотрела на Семена задумчиво.

— Наверное, — сказала она. — Но мне лучше уехать подальше. Я полгода деньги на дорогу копила, все лето техничкой в цехе работала, видишь, какие у меня руки. — Она протянула ладошки, тонкие пальцы были в ссадинах, кожа растрескалась.

— У тебя цель какая-то есть? — спросил он.

— Еще не знаю... Тут я запуталась. Не могу придумать себе профессию. Но не это важно, главное — начать, а там само пойдет.

Семен подумал и решил, что ей можно рассказать о капитане Сидорове, о военном юристе, который приезжал на заставу.

Впрочем, рассказывать особенно было нечего, тут нет никакой занимательной истории, просто у Семена произошла встреча с человеком, которая заставила подумать, как жить дальше.

Познакомился Семен с капитаном Сидоровым прошлым летом, вернулся из наряда, было свободное время, и заглянул в комнату боевой славы, где было тихо, прохладно, можно было почитать или написать письмо. Капитан сидел за столом, что-то быстро записывал, и, когда Семен его поприветствовал, он встал. Сидоров был высокого роста, у него было крепкое, словно вырубленное крупными штрихами лицо: выдвинутый вперед заостренный подбородок, прямой нос, полные губы и очки с толстыми стеклами; Семен сразу заметил, что человек этот незлой, он улыбнулся ему по-доброму. Они быстро разговорились, и Сидоров, узнав, что Семен свободен, предложил пойти половить форели.

Они славно порыбачили, разожгли небольшой костерок и там, возле речки, разговорились по-настоящему. Капитан Сидоров прежде по специальности был дозиметристом, и во время маневров из-за неполадки в приборе с ним произошло несчастье — он облучил глаза радиоактивным кобальтом. Врачи поставили ему тяжелый диагноз, Семен не помнит, как называется эта болезнь, выражается же она в том, что у человека возникает несоответствие зрения, все предметы как бы смещаются в плоскости, двоятся, троятся, а когда болезнь прогрессирует, то в центре зрения возникает желтое пятно. Никакие очки не помогают, и человек медленно идет к слепоте. Капитан Сидоров выяснил, что у него есть лет семь или восемь, пока он не потеряет зрение совсем. Он понимал, что на прежней работе оставаться не может, ему было двадцать семь, он успел жениться и обзавестись двумя сыновьями. Капитан пошел учиться на военного юриста, а потом попросился в Приморье с тем расчетом, что здесь год службы идет за два, а это значило — к тому времени, как он выйдет из рабочего строя, сможет уйти на пенсию.

Все же, честно говоря, не его история потрясла Семена, хотя она и дает повод ко многим размышлениям. Главное же для него было в другом. Иногда думают, что юристы имеют дело только с отклонениями, но по тем же рассказам капитана Сидорова он понял, что это не так, они имеют дело со всеми сторонами жизни человека в обществе, а то, что называется отклонениями, возникает порой из-за того, что люди бывают слепы и глухи к чужим чувствам; вот почему Семен и стал думать, что главной, объединяющей силой может стать любовь к людям, а юридическая наука должна этому помочь. Это вовсе не означает, что, мол, только юристы имеют свою цель; Семен лишь объяснял, как у него появилась своя мечта. Может быть, ничего еще и не выйдет из задуманного, но пока он твердо решил идти в юридический. Висеть у кого-нибудь на шее не собирался, потому и был у него план по возвращении в Москву пойти на работу, а учиться заочно...

Все это Семен рассказал Лизе, она была с ним откровенна, и он не стал ничего перед ней скрывать. Обсудить же все это они не успели, потому что едва Семен закончил говорить, как произошел один случай.

Семен и не заметил, откуда взялись эти двое; наверное, он так увлекся, что не услышал, как они подошли к беседке. Лиза неожиданно вскрикнула, когда высокий горбоносый парень положил ей на плечо свою темную лапу. Они оба были под банкой и весело заржали, радуясь Лизину испугу. Второй был какой-то квадратный, в помятой кожанке, с пышными, кудрявыми баками на продубленных солнцем щеках. Горбоносый сжал плечо Лизы; вообще-то он на вид был приятный парень, лицо усмешливое, не такое тупое, как у его приятеля с бакенбардами, только глаза масляные.

— Не бойсь,— сказал он Лизе.— Мы с корешем гуляем, чего тебе тут байки слушать, айда с нами.

Он говорил так, будто Семена здесь и вовсе не было.

— Отпусти! — вскрикнула Лиза и, морщась, ударила его по руке. Это его еще больше рассмешило.

— Ого,— сказал он.— А у тебя ручка ничего.

— Идите, ребята,— сказал Семен,— мимо.

— А это кто? — спросил весело горбоносый, словно только сейчас увидел Семена.

— Солдат! — подхватив его игру, радостно воскликнул парень с бакенбардами.— Смотри-ка, солдат!

— А, да он «ПВ»,— взглянув на погон Семену, сказал горбоносый.— Граница на замке. Иди служи, солдат, охраняй рубежи. Мы тебя не держим.— Руки же с плеча Лизы он так и не убрал.

Тут Семен понял: деваться некуда, придется с ними повозиться. Не

он в этом виноват. Говорить или спорить в таких случаях нельзя, все решает быстрота. Семен перепрыгнул через барьерчик беседки и очутился напротив горбоносого, а второй, с бакенбардами, оказался от него справа шагах в трех. Семен сразу сообразил, как действовать, потому что в самбо поднатаскали их еще в первый год службы, это входило в обязательную программу обучения; лейтенант на заставе был отличным тренером.

Горбоносый, как только Семен коснулся подошвами земли, сразу понял, чем запахло, и потому быстро отпустил Лизу и выкинул вперед правую руку — то ли хотел ударить, то ли толкнуть, но для Семена этого было достаточно; у него механически сработало, что нужно сделать «задний переворот». Это нелегкий прием, но и не такой трудный, как, скажем, «мельница» или «седло». Тут важно успеть ухватить правую руку противника левой за запястье, а другой взять эту же руку изнутри за плечо, тогда можно резким рывком подать противника на себя и вправо, и он перевернется к тебе спиной. В этом положении левой рукой легко охватить его за пояс, а правой поддеть вверх за бедро и опять же рывком дернуть вправо вверх от земли. Для всего этого не нужно большой силы, главное — быстрота, и тогда тело противника словно бы лишается половины своего веса, от твоего толчка оно делает в воздухе кувырок, и противник летит на землю туловищем вниз, а ногами вверх. Все-таки Семен вовремя понял, что, если так его пустить, горбоносый может со всего размаху грохнуться на спину, еще повредит позвоночник, и пришлось немного подстраховать парня, как это делалось на занятиях. Все-таки горбоносый хорошо влетел в лужу.

Занял прием несколько секунд, и, когда горбоносый уже орал, второй, с бакенбардами, оказался у Семена под правой рукой, он тут же ухватил его за куртку. Это была ошибка, потому что руки и ноги у противника оставались свободными, любой парень с заставы тут же воспользовался бы этим, но квадратный был туповат, да и не знал он самбо, умел, наверное, только бить прямые, потому и решил, что Семен врежет ему с левой, закрыл лицо обеими руками. Но Артынов бить его не стал, оттолкнул от себя и сказал:

— Подбери своего корешка, а то захлебнется.

В это-то время он и услышал громкий смех, быстро обернулся и увидел Николая Пельменщикова, он шел, по привычке приглаживая ладонями длинные темно-русые волосы, улыбался во весь рот, обнажая очень белые и очень ровные зубы.

— Красиво! — воскликнул он. — Добьем?

Парень с бакенбардами помогал горбоносому подняться, тот морщился, пожимая плечами, наверное, все-таки ушиб лопатки, масляные глаза его теперь были злы.

— Сволочь! — крикнул он. — Ты что же людей калечишь?!

Николай шагнул к нему с веселым азартом, но Семен успел схватить его за руку.

— Зачем?.. Хватит.

На лице парня с бакенбардами проступил страх, но горбоносый не испугался.

— Ты мне под руку подлезь, я из тебя мошку сделаю.

Это была правда, рука у него была крепкая, с тяжелым кулаком, под нее лучше не подворачиваться, да Семен и не собирался.

— Ладно, — сказал он. — Ты извини, но сам виноват. На себя обижайся.

Горбоносый встал, приподнял правое плечо и сморщился.

— Уйди с глаз.

— Я бы все-таки ему врезал, — сказал Николай, — чтоб помолчаливей был.

— Не стоит,— сказал Семен.

— Ну, раз так... Тогда пошли, пусть он переживает.

Артынов кивнул Лизе, она все это время простояла на скамейке, была бледна больше, чем обычно. Когда они отошли от беседки, Николай сказал:

— Как вы насчет пообедать?

Так втроем они пошли в ресторан, было часов шесть, зал был забит до отказа, Николай сказал: «Минуточку», исчез и вернулся с седым краснотлицым официантом, тот провел их в угол к пустому столику, снял с него табличку «Занято».

— Выпьешь, солдат? — спросил Николай.

Семен ответил, что не пьет, а Лиза попросила:

— Мне пятьдесят грамм коньяку.

— А мне двести водки. Больше не могу. Норма,— твердо сказал Николай.

Когда принесли закуску и выпивку, Лиза отпила из своей рюмки глоток и сморщилась, как от ожога. Николай рассмеялся:

— Что, не нравится? А между прочим, я ведь тоже это дело не люблю. Так, на отдыхе иногда приму для настроения, а когда работа — ни грамма. Меня от этого дела один случай отучил. Как на Зею приехал, работу не выбирал, куда поставили, туда пошел. Была у меня бригадка — шурфы для взрывников копали. Пошел по бережку проверять их. Перед этим принял. Обычно, чтоб шурф замечен был, шести ставили. А тут или его кто-то утащил, или забыли поставить, вот я в этот шурф и ухнул. Глубина — три метра, могила могилой. Там грунт — дресва: сыпуча, только тронь. Смотрю: валун обнажился, навис надо мной, а дресва, чуть шевельнешься, из-под него течет, еще немного — и этот валун на меня пойдет. Не удержишь, прибьет. Вылезти нельзя, зацепиться не за что, был бы шест. Вот тут-то я решил: все, конец, сиди, дождайся смерти. И смерть-то поганая, раздавит, как клопа. Стою, не шевелюсь, минуты своей жизни считаю. Да, видно, рано было смерти за мной приходить. Там на речке одна женщина купалась. Увидела на берегу мою сумку, заглянула в шурф. Молодец была женщина, шест мне осторожно подала, я по нему выскочил. В тот же момент и валун рухнул. Такая свинья — пудов на двадцать пять. Только пыль пошла и дресвой все засыпало. С тех пор при деле боюсь и каплю в рот брать.— Николай налил водку в большой фужер и выпил залпом.— Вот так я ей шабаш делаю, чтоб потом не повторять. А ты, солдат, в какие места летишь?

— Домой, в Москву.

— Бывал... Но трудно мне, понимаешь, в больших городах жить. Я больше к поселкам привык, там все на ладони, всю жизнь понять можно... Придется же, однако, в городе место искать. Пора на оседлость переходить. Только пока еще окончательно не решил, где столб поставлю.

На небольшой эстраде заиграл оркестр, было душно, пахло пригорелым маслом из кухни; Семен сильно проголодался за день и, когда принесли котлеты, накиннулся на них; Николай же ел лениво.

— План серьезный имею,— сказал Николай.— Его в поселке не докажешь.

— Интересно,— сказала Лиза, она так по глоточку, по глоточку и допила свою рюмку коньяку, сидела покрасневшаяся, глаза блестели.

— Ты, девочка, на меня крик подняла,— усмехнулся Николай.— А буюсь на что угодно, ни фига не поняла, о чем речь.

— Меня Лизой зовут.

— Красиво,— улыбнулся Николай.— Имя нормальное. И понять, конечно, мои слова ты не можешь, потому только папу да маму знаешь, а я все снизу посмотрел: завод, тайгу, стройку, ну и еще кое-чего. Кто же может больше судить, про что народец мечтает,— ты или я?

— Это ничего не значит,— сказала Лиза.— Да и не берусь я за всех думать. Только за себя. А можно через все пройти и ничего не увидеть— как ведь смотреть.

— Это верно. Только ведь ты думаешь: ты правильно видишь,— а я думаю: у меня глаз зорче. Ты свое мнение придумала или от чужих взяла, а я среди людишек, как золотишко, по крупницам намывал. Потому и груз мой ценней.— Он опять улыбнулся своей неожиданной, яркой улыбкой.— Мы, ребята, с вами как встретились, так и расстанемся, и, может, никогда наш путь не перехлестнется, и я могу с вами открыто говорить. Я на свой план пять лет положил, срок немалый, но и размах серьезный. Конечно, институт кончать надо. Три курса вечернего у меня есть, полтора года — и поплавок на лацкан получу. Без него вверх не вытянешь. Потом дело в руки возьму — участок или цех, там видно будет, важно чтоб дело. Порядок там у меня будет правильный. Один умный человек сказал: «Производительность есть только исполнение работы наилучшим способом». Вот здесь вся наука, если хочешь знать. Работник должен быть работник, и это в нем главное. Болтуны не для дела, настоящее можно вытянуть работой, а не всякими там рассуждениями. Что, не согласен, солдат?

— Нет. По-моему, совсем по-другому.

— А как?

— Человек не может быть подчинен только делу,— сказал Семен.— Он должен думать и чувствовать, уметь отличать себя от того, что делает. Иначе придет к самому что ни на есть животному образу жизни.

— Ха! — хмыкнул Николай, глаза у него радостно и азартно светились.— Чепуху мелешь. А вот ты послушай работяг, они тебе скажут: в настоящем деле сильная рука должна быть, чтоб правильно направляла. А если каждый будет рассуждать, все в разные стороны потянут. Направлять, конечно, не каждому дано, для этого сила нужна, смелость, удача. А тот, кто в удачу свою не верит, тому один путь — в работники, там он может свое счастье найти: хороший заработок, а стало быть, хорошую еду, жилье и все другие удовольствия. Получай и радуйся. Все, солдат, просто и ясно, только так и надо. Вот и хочу я себя испытать на таком деле, чтобы размах был. Пусть сначала цех, а если удача будет, то и дальше. Зазорного тут нет, если чувствуешь, что можешь. Не бойся, я к своему приду, если что задумал — добьюсь.

Честно говоря, Семену было интересно с ним спорить, хоть трудно, потому что для себя Николай уже все продумал, переубедить его было нельзя, да и толком Семен не знал, как это сделать, только потом стал по-настоящему размышлять, как бы можно было возразить Николаю. Договорить им не дали, подскочил краснолицый официант, выхватил из-под салфетки бутылку шампанского.

— А это вам презентик, молодые люди, от неизвестных граждан.— И тут же повел глазами в сторону.

Семен проследил за его взглядом, увидел столика через три компанию: две девушки, а с ними улыбающийся до ушей горбоносый и его корешок с бакенбардами.

— Пить будем? — спросил Николай.

— Нет,— сказал Семен.

— Тогда, папаша, отнеси назад эту шипучку, скажи: газировки не принимаем.

Пока официант размышлял, к ним уже шел, переваливаясь, горбоносый.

— Не обижайте, братики. Мы же от души.

Он выдвинул стул, сел рядом с Семеном.

— А я тебя узнал,— задышал он ему в лицо.— Сейчас, при лампах,

заметно. Я ж тебя по телику сколько раз видел, болел за тебя, ох ты, хитрюга.

— Ты о чем?

Он ласково подмигнул Семену.

— Скрываешь? А за сборную Приморья кто по самбо выступал? — Он радостно загоготал. — Ну, выпьем, братики, за чемпиона, выпьем.

— Нет, — сказал Семен.

— Нет, — подтвердил Николай.

— А-а, — вдруг догадался горбоносый. — Лопух же я! Вы же на режиме. Ясно, ясно... А жаль. Хотели вас в нашу компашку. Ну, привет тогда. — Он взял бутылку шампанского и пошел гулять дальше.

Никогда, конечно, Семен ни за какую сборную не выступал и вообще не участвовал в соревнованиях, но ему не хотелось разочаровывать горбоногого, пусть у него будет свое утешение.

Когда они вышли из ресторана, Николай вдруг стал озабоченным, заспешил к летней гостинице, а Семен с Лизой не сговариваясь двинулись по дорожке к беседке. Стемнело, зажглись высокие фонари на вокзальной площади.

Они сели на скамью, Лиза достала сигаретку, чиркнула спичкой.

— Зачем куришь?

— Ты не любишь?

— Все равно.

— Знаешь, если ты не любишь, то я брошу, мне легко, честное слово, я не очень втянулась. — И тут же бросила сигарету за барьер беседки. — Ну вот, — вздохнула она, повернулась к Семену, он видел в туманной полутьме близко от себя ее лицо, глаза ее придвинулись, Лиза положила ему руку на плечо, склонилась и поцеловала в щеку. — Ты мне нравишься, Сеня. Честное слово, ты мне по-настоящему нравишься.

10

Жарникова разбудили ночью:

— К телефону требуют.

Пока одевался, шел по коридору, где по обе стороны у стен стояли раскладушки, соображал: что означает этот вызов? Днем разговаривал со Спешневым, кажется, все было спокойно, делали то, что он приказал сделать к приезду Кирилла Максимовича. Пока Жарников приближался к комнате дежурной, тревога росла в нем, и взял он трубку, ощутив, как пересохло в горле.

— Жарников у аппарата.

— Нашли тебя, Миша! — радостно закричал Спешнев. — Все-таки связь работает!

Чутким слухом Жарников уловил — Спешнев не один в помещении, откуда ведет разговор, там раздался шумок одобрения: вот, мол, действительно нашли; сейчас было в их местах часов семь вечера, к этому времени все начальники служб расходились, значит, какая-то группа людей специально сидела и ждала звонка.

— Что случилось? — спросил он.

— Есть неприятность, Михаил Степанович, — перешел на официальный тон Спешнев. — Ты уж прости, что потревожить пришлось, но необходимость заставляет. В сейф твой попасть не можем, ты ключ увез.

Жарников машинально сунул руку в боковой карман; да, ключ от сейфа был при нем.

— Что тебе в том сейфе, — сказал он, — закуску искать, так не холодильник. Докладывай, что стряслось.

— Такая неприятность, Михаил Степанович, — неохотно начал Спешнев. — Тот котлован, что у мартена вырыли, ну, под резервный про-

лет; так вот, в том котловане экскаваторщик какую-то трубу зацепил. А из нее вода дала атмосфер пять давлением. Не поймем, что за труба, по нашим схемам не значит. Перекрыть не можем. А у тебя в сейфе планы есть, музейные, можно сказать, демидовских времен или еще какие, черт их знает, я толком не помню. Может, на них эта труба значится?

Жарников похолодел: ничего себе неприятность; тот котлован у самой стены мартеновского цеха, если вода прибывает быстро, то она может... Ну, не дай бог, если она вырвется к печам! Все в прах! Минимум в трех сейчас идет плавка... Это же остановка цеха. А люди?.. Нет, не может быть, даже страшно подумать, это же хуже взрыва...

— А экскаваторщик у вас без глаз?

— Сбежал он, Миша,— печально сказал Спешнев.— Когда вода ударила, испугался и сбежал. Поздно его схватились. Перекрывать надо, вентиля найти не можем, заискались.

— Тоже мне...— ругнулся Жарников, но сразу же прикусил губу.— Насосы поставили?

— Пять работают, больше там не поставишь. Так она все равно прет. Нам сейф взрывать?

— Эх вы, взломщики-медвежатники. В правом нижнем ящике стола — запасной ключ. Поищи — найдешь.

Жарников услышал, как Спешнев повторил его слова как приказ — значит, они собрались у него в кабинете; тут в трубке щелкнуло и ворвался голос секретаря райкома Зыкина:

— Жарников! Ты понимаешь, что творишь!.. Я тебя спрашиваю, понимаешь, что творишь?!

— Ты откуда взялся? — удивился Михаил Степанович.

— Я не взялся,— захлебываясь собственными словами, кричал Зыкин.— Я на котлован приехал!

— Ишь какой герой!

— При чем тут герой! Вы завод угробите, понимаешь! Если мартен полетит... Ты зачем туда поехал? Думаешь, не знаю, зачем ты туда поехал? Мы с тебя за это еще в полном порядке спросим.

«С параллельного говорит»,— отметил про себя Жарников и сказал, стараясь быть спокойным:

— Почему кричишь так, Зыкин? Ты хороший человек, сам инженер, мы тебя выдвигали, а ты теперь кричишь.

— Не выдвигали, а выбрали,— сказал как припечатал Зыкин.— И это еще не значит, что тебе поблажка будет. В ответственный момент с завода сбежал — и куда, к...

— Ну, договаривай.

— Что там договаривать, тут каждый знает.

«Как это все узнается»,— усмехнулся про себя Жарников, а в трубку сказал:

— Ты хотел крикнуть «к бабе», Зыкин. Вот как нехорошо, мы с тобой за культуру боремся, а ты... Возьми себя в руки, потом ведь стыдиться будешь!

Опять в трубке щелкнуло, теперь уж вклинился голос Спешнева:

— Есть ключ, Михаил Степанович. Сейчас сейф откроем.

— Ну, давайте,— сказал Жарников, окончательно обретая свою всегдашнюю деловую форму.— Я подожду. Только ты этого паникера больше к трубке не подпускай.

— Какого паникера? — не понял Спешнев, но тут же догадался, о ком идет речь, и смущенно протянул: — А-а...

Пока они там открывали сейф, искали папки со старинными планами, Жарников попытался представить, что произошло. Завод у них старейший, еще с демидовских времен, но с той поры сохранилась лишь домна,

похожая на средневековую башню, комсомол все собирается в ней устроить музей, да что-то затянули они с этим. За многие годы завод реконструировали не раз, большую перепланировку произвели в годы первых пятилеток, потом в войну, а лет пять назад снесли оставшиеся старые цеха и построили два новых трубопрокатных, сейчас это большой завод, ну не такой, как, скажем, Челябинский трубный, но все-таки это громадина; и конечно, могло так случиться — древняя труба, которую клали еще мастера во времена Петра Великого, оказалась неуказанной в новых схемах водоснабжения, и экскаваторщик поддел ее ковшом и выворотил. Котлован не такой уж большой, там глинистое место, и вода стремительно наполняет его, как амфору... Нет, не дай бог, если она ворвется в цех, ринет под печи, где температура... Может быть и взрыв, все может быть, а главное — остановка неминуема, это на месяц, если не больше. Нет, Спешнев не даст, не такой он человек. Он придумает что-нибудь. Ведь хорошо кто-то сказал: закон настоящего производства — лучше избегать трудностей, чем преодолевать их. Да как избежишь, когда они сами лезут из всех щелей... Кто мог предугадать эту историю с трубой, когда она уходит чуть ли не в глубины веков; да еще экскаваторщик, наверное пацан какой-нибудь, увидел воду — и тягу. Ну что там? В трубке зашеле-стело.

— Есть, Михаил Степанович,— воскликнул Спешнев.— Так я и знал. Занятная схема. Вот, черти, как делали.— В голосе его звучало восхищение.

— Ты говори: в чем там дело?

— Труба-то у них на самотеке, Михаил Степанович. От озера под уклон идет, потому и давление сильное. И задвижка есть. Она у старой домны. Копать надо... Часа полтора провозимся.

— Вы шебаршитесь, а у котлована как?

— Насосы пока справляются, на пределе держим.

— Ну, действуй. Через час доложишь, все равно спать не буду. Слышишь?

— Сделаем! — крикнул Спешнев и повесил трубку.

Жарников постоял у телефона, он хорошо представил, как в заводском дворе идет авральная работа; на котлован, наверное, кинули пожарную команду, гудят насосы, гонят мутную, желтую воду к озеру; Спешнев вызвал бригаду землекопов, а может быть, подогнали экскаватор к домне, грунт там тяжелый, сбитый плотно, да, кажется, еще сверху шлаку насыпано; как же Спешнев думает, что за полтора часа справится?.. Только бы вода не ринулась в цех...

В комнате за шкапами заворочалась старуха дежурная, Жарников вышел в коридор, дверь на улицу была распахнута, слышно, как за крыльцом плещется дождь, но прохлады не было, в открытую дверь тек парной воздух, смешивался с духотой коридора. В темноте шла своя жизнь: в комнатах храпели, бормотали, постанывали, а где-то совсем близко за углом в коридоре не спали, может быть, мучила бессонница, а может, успели отоспаться днем и сейчас негромко разговаривали.

Возле бака с кипяченой водой стоял стул. Жарников сел, прислушался к тому, что говорил за углом хриплый немолодой голос, прерываемый негромким кашлем курильщика.

— ...И получила тут баба письмо, что мужик ее в госпитале от тяжелых ран в сибирском городе Тюмени помер, там же на погосте захоронен, поставлена ему на могилу звезда. Отплакала свое сколько положено и стала в дорогу собираться, в Сибирь. Баба молодая, с лица заметная, на что наши бабы под Козловом статью известны, а она все равно в отличие. Два вернувшихся солдата по ней сохли. А между прочим, на мужской пол в те времена спрос не такой, как нынче, был. Тогда мужик имел превосходящий во всем перевес. Вот она и говорит: поеду в Тюмень-город на

погляденье, где муж зарыт, могилу приберу, отплачу в свой черед, а потом уж сызнова жизнь зачинать буду. Стали собирать ее по дворам, кто мушцы две горсти, кто сухариков, где богаче — сальца кусок, лишнего во дворах тогда не ищи, по весне на крапиве и коре перебивались; и отравили бабу в дальнюю дорогу...

Жарников слушал этот неспешный рассказ, и потянуло от него полузабытым запахом детства; сколько наслышался он таких историй, когда мальчишкой сидел на узлах в вокзальной тесноте, набитой согнанным с родных мест народцем в крутой военный год, и потом, у барака, когда вечерами, выпив по маленькой, толковали на шлаковой завалинке мужики, пахло печеной картошкой, стираным бельем и угольным дымком — это и был запах его детства, запах уральских рабочих бараков. Рассказчик, откашлявшись — он был опытным повествователем, знал, где нужно сделать паузу, — продолжал:

— Почти месяц добиралась баба до Тюмень-города на пятьсот вешелом. По первому делу пошла искать, где госпиталь, чтоб ее оттуда на погост направили. Тут встречает она одну старушку, так не сказать, чтоб хорошо, но чистенько одетую. Конечно, женский разговор, и выкладывает она ей, что, мол, на погляденье могилы мужинькой из такой дали приехала. В старушке жалость поднялась, она и говорит: у меня заночуй, изба большая, места хватит. Идут они. Дорогой старушка про свою жизнь говорит и хвастает, как хорошо им тут, сытно, дочь по медицинской части, а в больницах свой приварок есть, и муж у дочери попался хороший, не то чтоб непьющий — таких не сыщешь, — но меру знает. Приходят они в избу. Старушка на чистую половину не пускает, говорит бабе: поначалу иди попарься, во дворе банька истоплена. Сходила баба, отмылась с дороги, а в мешке у нее сменка чистого была. Вошла в избу — старушка и то ахнула от такой красоты. Тут повела она ее на чистую половину, все показывает, потом на стенку пальцем — там фотокарточка. А вот это, говорит, моя дочка с зятем. Как глянула наша баба, сердце зашло: на фотокарточке — ее мужик, живой-живехонький. Сначала в ней все от радости загорелось, потом поняла что к чему. Вот какая переверть... Давай-ка закурим еще, потом доскажу...

За углом послышалась возня, покашливание, слышно было, как чиркнула спичка. Жарников тоже полез за новой сигаретой, хотя только что выбросил окурок за крыльце, и, поймав себя, что захотелось ему крикнуть: «Ну что ты там, давай дальше», улыбнулся.

— Ну, а виду баба не подала. Тут в сенях шум, дверь стукнула. Старушка туда, говорит кому-то: «А у нас гостья». Спрашивают ее: «Какая такая гостья?» Тут у бабы сомнения нет — ее мужика голос. Подобралась. Видит, входит докторица та, что на фотокарточке, и родной ее муж. Он, как увидел бабу, закаменел. Это каждый про себя знает, каждый мог испытать: сердце как тискаами сдавит, а все тело затвердеет, и правда — камень. Но докторица ничего. У нее глаз не зоркий был. Старушка всех к столу зовет, графинчик ставит. Выпил мужик, сердце ему отпустило. Баба тоже не дура, выпила. Ее докторица спрашивает: каким, мол, путем в наши края? А баба мужику в глаза: отпевать дролю родного на чужой погост. Мужик лицо прячет, потом случилось — старушка с дочкой на кухню вышли, он ей и шепчет: «Выйдь в сени, я тебе чемодан вынесу, и денег на. Ты на станцию беги, два билета бери. Я к тебе прибуду». Сделала так баба, как он сказал, вышла в сени — он ей чемодан, она на станцию, два билета берет. Едва поезд подошел, видит — и мужик бегом. Тут дорогой и прояснилось все: раненый он в госпитале лежал, докторица его выходила, а мужик он справный, возле себя и пристроила, а чтоб концы отрубить, к нам в деревню письмо прислала, что он, мол, покойный. А ему тоже нашептала, что известие есть, будто жена его от голоду на погост попала. Так привезла баба к себе мужика. Док-

торица потом, чтоб позор с себя снять, письмо на деревню отписала: простите, мол, мои черные помыслы... Вот так.

— Ну, а дальше что? — спросил кто-то за углом.

— А ничего, — ответил с зевком рассказчик. — Живут.

— А я думал, еще что.

— А еще то: один из тех солдат, что по бабе сох, как она мужа вернула, в город Елец подался и шибко там пил, пока в охрану завода не нанялся. Так тот мужик я сам был. Так и вся жизнь стоит: кому радость, кому горе, кому стыд. Еще покурим и, может, покимарим немного, а то уж свет скоро...

За углом заскрипели раскладушками, потом долго вздыхали, бормотали, а Жарников сидел, сожалея, что так быстро закончил рассказчик. Захотелось встать, пойти за угол коридора, найти этого рассказчика, заставить его снова говорить, но ведь, пожалуй, тот и не поймет, пошлет подальше.

Сколько таких людей он навидался еще в юности, когда два года проработал таксистом. Он хороший был шофер, по-настоящему чувствовал дорогу, и реакция у него была быстрая. В машине, собственно говоря, и решилась его судьба. На стоянке сел к нему грузный человек в лихо заломленной зеленой шляпе, буркнул: «На завод»; время было вечернее, шел дождь. «Ты поживей», — сказал грузный, Жарников это понимал, дал хорошую скорость, и на перекрестке произошла история, которая потом и определила его судьбу: идущий впереди грузовик резко затормозил, за ним шла «Победа», водитель ее не успел сбросить скорость, ударился о колесо грузовика; «Победу» развернуло, она встала поперек дороги, а по левой стороне двигался, сверкая фарами, встречный поток, в одно мгновение Жарников понял: «Поздно!» — сейчас они врежутся в бок «Победы»; так бы и было, если бы он начал тормозить, но он не сбавил скорости, вылетел на осевую перед самым носом идущего навстречу самосвала, круто вывернул руль направо. Он и сам толком не мог сообразить, как они уцелели, и, когда остановился, грузный посмотрел на него, сказал спокойно: «Силен ты, парень», тут же вынул блокнот, написал записочку, сунул ее в руку Жарникову, сказал: «Зайди завтра». Это был пропуск в кабинет Околичного, и только прочтя его, Жарников удивился — как сразу не узнал этого человека, о котором шумел весь город. Через несколько дней он уже был шофером директора завода, самого знаменитого в их области.

Этот грузный человек с рыхлым, тестовидным лицом, на котором выделялись под маленькими колючими глазами нездоровые синяки, человек, которого побаивались за крутой характер, считая, что в нем мало от самодура, заставил Жарникова учиться, и Жарников закончил сначала два курса политехнического заочно, а потом перешел на очное отделение. Так он стал инженером, и Околичный следил за каждым его шагом на заводе.

Ему здорово повезло в этой жизни, так ему и сказали потом в министерстве, когда назначали директором завода, не своего, конечно, другого. К тому времени он был известен как один из участников огромного дела по созданию холоднокатаной трансформаторной стали. Они действительно сотворили на заводе чудо, но Околичного уж не было в живых: этот шумный, широкий человек, бабник и пьяница, не имевший никакого инженерного образования, но знавший все тонкости заводского дела и потому снискавший всесоюзную славу одного из лучших командиров производства, умер от инфаркта миокарда у себя в кабинете. Казалось, о нем быстро забыли. Но четыре года назад, когда Жарникова назначили директором, кто-то спросил на коллегии: «А не молод ли для директора?» — и тогда ему ответили: «Ученик Околичного». Вот что решило.

Все-таки Околичный держался в памяти людей, и хотя у Жарнико-

ва к нему давно был свой счет и он сумел разобраться в сложном и путаном характере человека, у которого начинал работу шофером, многое не принимал в нем, все же Жарникова так и считали учеником Околичного. Спешнев ведь признавался, что в первый год совместной работы всерьез собирался уходить с завода только потому, что со студенческих лет восставал, как он говорил, против «наглой смелости» знаменитого командира производства, и думал, что ученик должен копировать учителя. Но достаточно было Спешневу год поработать с Жарниковым — и они стали друзьями...

В ночную тишину коридора ворвался телефонный звонок, дежурная заворочалась на кровати, но Михаил Степанович опередил ее.

— Жарникова просят, — раздался сонный голос телефонистки.

— Да, я.

И тут же зазвучал веселый голос Спешнева:

— Миша, ты? Считаю, сдыхались. Отрыли! Там такая задвижка чугунная — любо посмотреть на работу, хоть в музей!.. Перекрыли воду, убывает в котловане.

— Ну, слава богу, — вздохнул Жарников. — Проследи, чтоб больше никаких чепе не было. Докладывай, что там по цехам?

Наверное, Спешнев не ожидал такого поворота, он все еще был наполнен горячкой авральной работы, возбужден тем, как ему ловко и быстро удалось перекрыть путь к серьезной аварии, и потому, помолчав, пропел в трубку:

— А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.

— Послушай, Игорь, — мягко сказал Жарников. — У нас ночь, люди спят, и мне не до шуток.

— Ясно, — сказал Спешнев и стал докладывать, и, слушая его, Жарников понимал, что завод работает в хорошем ритме.

Да, завод работал в хорошем ритме — авария с трубой не в счет, — а ведь он сидел чуть ли не сутками у себя в кабинете, уехал, торчит в девяти тысячах километров от завода, а там легко обходятся без него; он понимал, что обида эта зряшная, но справиться с ней не мог.

— Ну, все наконец, — сказал Спешнев. — Только еще один пункт, Миша. Кирилл Максимович ведь завтра...

— Знаю, — перебил Жарников, хотя на самом деле за всей этой кутерьмой успел забыть о приезде заместителя министра. — Ну и что?

— А если тебя не будет?

— Сам покажешь завод. Или не сможешь?

— Смогу, конечно, да что ответить...

— Так и ответь, как Зыкин говорил: к женщине директор уехал.

— Но, Миша...

— Что Миша? Не дурак же он, Кирилл Максимович, поймет, что холостым мужик всю жизнь жить не может. А этот паникер у тебя еще?

Тут же ворвался голос Зыкина:

— Ты почему меня так называешь?

— Слушаешь? — усмехнулся Жарников. — Так вот слушай: я ведь таксист хороший.

— Не понял, — сказал Зыкин.

— А ты подумай. И будь здоров! — ответил Жарников и повесил трубку.

Расчет таксиста он, конечно, зря; сам ведь не любил, когда так капризничали начальники цехов или служб: мол, я и уйти могу, зачем мне эта должность, когда у меня специальность редкая. Все это вранье: тот, кто стал организатором, им же и будет. Зря он расхвастался своей жизнью. Вот же заныла душа, когда сидел на стуле и слушал рассказ человека за углом коридора. Ведь не случайно это...

Жарников вышел на крыльцо, уже рассвело, дождь перестал, и

вязко стелился туман над лужами, жидкий свет расплзался вокруг, и низкое небо было непроглядно-белым, и от вида этого серого утра едва зародившаяся тоска усилилась в Жарникове. Спать ему не хотелось, не хотелось возвращаться в душную комнату, чтобы ворочаться там на кровати, и он побрел по мокрой дорожке, продолжая думать о своем.

Да, что-то утратил он после того, как стал директором, жизнь сдвинулась и стала чем-то напоминать конус: у основания — дело, работа, она расширилась, захватив самую большую площадь, а на вершинке — его личное, душевное; мир, расширившись в одном, сузился в другом. Уже нельзя было бесцельно погулять по городу, нельзя было пойти с приятелями после смены в забегаловку, чтобы выпить по кружке пивка, много появилось этих «нельзя», даже о женщине, о которой думал он в часы бессонницы — другого времени для этого не было, — должен был молчать, и людей вокруг стало мало, это у него-то, заводилы, любящего сборища и шумные застоля.

Правда, был у него один день из недели, который он и любил больше остальных, — это когда шел директорский прием; в кабинет его собирались представители парткома, завкома, начальники служб, они сидели все вместе за отдельный стол, чтобы Жарников мог сразу получить нужную справку на жалобу или же решить эту жалобу тут же на месте. Кабинет его в этот день был открыт для всех, кто желал с ним встречи, и люди приходили, садились по другую сторону стола, он близко видел их глаза, жадно слушал их рассказы, а они были самые разные: о спорах с мастерами, о жилье, о яслях, о любовницах и женах, и он улавливал в этих рассказах сложную и многопутаную жизнь поселка, пытался проникнуть в нее, найти закономерности, схожие с теми, которым подчинялось производство, и всегда у него оставалось ощущение — он так и не понял чего-то главного; где-то рядом шла своя жизнь, могучий поток, а он стоял на берегу. Странно, что близкое этому чувство оставалось у него после каждой встречи с Ниной: он никогда не знал, что может выкинуть она в следующую секунду, она могла вдруг встать и порывисто уйти, оттолкнуть его, он не понимал, чем она живет, что таится в ее душе, она была близкой и далекой, и, может быть, больше всего его мучало желание проникнуть в ее незнакомый ему мир...

Арсеньевое оказалось красивым местом, как и многие молодые города, которым едва наберется десять лет, был он построен из белого кирпича, дома в основном стандартной архитектуры, как и в заводском поселке, где жил Жарников, но был в этом городе свой простор, улицы его раскинулись в пышной долине, были широки и зелены, за городом поднималась изумрудная гора, а где-то дальше, вдали, плыли синие вершины Сихотэ-Алиньского хребта. Впрочем, Жарников так и не успел походить по городским улицам, он добрался автобусом до поселка Семеновка, поднялся на второй этаж, нажал кнопку звонка и тут же испугался: может быть, Нины нет дома, правда, день был субботний, но он не дал телеграммы, не предупредил.

За дверью сначала щелкнул выключатель, потом замок, и он увидел Нину, стоящую по ту сторону порога, она была непричесана, пепельные тонкие волосы лохматились, пронизанные светом горячей под потолком лампы, отливали золотистым, большие черные глаза застыли, руки она держала у груди, прикрывая так запах синей ситцевой кофты; он сразу заметил, что за время их разлуки в ней не произошло перемен — так же трогательно и беспомощно выглядела ее худая, длинная шея, такой же сильный свет исходил из ее глаз, что Жарников, как и при первой встрече, испытал смешанное чувство испуга и жалости и так же стоял очарованный.

— Ты? — спросила она.

— Пустишь? — попытался усмехнуться он и не смог.

Потом он сидел в небольшой комнате, где не было никакого порядка; самодельный стол с крышкой из прессованных опилок — такими плитами заделывают шкафчики и кладовки в новых домах, — неуклюжий шкаф, длинные полки с книгами; за стеной переговаривались соседи, бренчали посудой, а Нина сидела в низком кресле, поджав под себя ноги, обнажив загорелые гладкие колени, смотрела на него, а он бормотал, что у него на несколько дней отпуск, и вот он приехал.

— Зачем приехал?

Видимо, она не поняла, подумала, наверное, что у него командировка, и он снова стал ей объяснять, и тогда она сказала ласково:

— Я тебя покормлю, ты ведь голодный с дороги.

Она хлопотала на кухне, а он бродил по ее комнате, в заводском поселке он знал лишь новый дом, где поселилась она после того, как снесли барак, но подняться к ней в комнату не мог, весь бы поселок тотчас узнал об этом от соседей, также и она не приходила в его директорскую квартиру, встречались они несколько раз в Свердловске у какой-то подруги Нины, проделав по сто двадцать километров каждый своим путем. Теперь он оглядывал ее жилье с убогой обстановкой, дощатыми стеллажами, где стояли книги по экономике, альбомы старинных икон и неизвестных ему художников.

«Удираю от тебя, — вспомнил он ее слова перед отъездом. — Боюсь стать директорской женой».

«Нет, не понять мне ее, — подумал он. — Мне под сорок, а ей двадцать шесть».

То, что было для него серьезным и сложным, она отбрасывала с легкостью, иногда смеялась над его заботами, ее не тяготили их тайные встречи, и сейчас он подумал — наверное, только он мучался их разлукой, а она, по обыкновению своему, отнеслась к этому просто, только и объяснив: «Ну, хватит, а то меня так затянет, что я и себя потеряю». Он испугался ее отъезда и стал говорить: хватит, мол, дурака валять, пусть забирает свои вещички и переезжает к нему, если хочет — будет свадьба, все будет, как она хочет. «Свадьба, — сказала она, — фальшивые моральные ценности вашего поколения». Он не понял, и она стала объяснять: «Я тебя полюбила, Миша, только тебя, а не твой быт. Что я буду там делать, в твоей квартире? Ждать, когда ты придешь? Готовить закуски для Спешнева и ему подобных. Вот уж чего я не смогу сыграть, так это роли директорской жены. Скучно. Я люблю жить, чтоб никому не быть обязанной». Тогда он ей сказал: «Кукушка ты, черт тебя дерит». Она не обиделась.

В первое время после ее отъезда он испытал облегчение: вот все и кончилось, не нужно больше никаких тайн, не нужно выдумывать поводы для отъезда с завода, — и вместе с этим облегчением пришла и тоска.

Нина вернулась из кухни причесанной, в белой свежей кофте, принесла шипящую яичницу с салом, еще какие-то закуски, вынула из шкафа початую бутылку водки.

— А ты молодец. — Она смотрела на него весело и нежно. — Я не думала, что ты можешь вот так взять и приехать. Честное слово, ты замечательный мужик!

Ему стало хорошо, уютно, он подумал, что и в самом деле он молодец, сумел приехать — это было в ее стиле, — и теперь, наверное, уж все образуются, они смогут понять друг друга.

Она накормила его, застелила тахту свежей простыней, сказала:

— Ты ложись, отдыхай, а мне на завод надо, часа на два, не больше.

Она поцеловала его и ушла. Он и в самом деле очень устал, дорога оказалась не такой простой: посадка и ожидание в Красноярске, потом несколько часов во Владивостоке, там пересадка на небольшой са-

молетик, который трясло в полете, как разбитую телегу. Было немного обидно, что Нина ушла, но ведь он и не пытался ее удерживать — дела так дела.

Странно, но они никогда не ссорились, она умела уходить от этого, когда возникали споры. А они возникали, самым крупным, пожалуй, был спор о березовой роще, что стояла на границе поселка; да, красивая роща, ничего не скажешь, но вокруг и без того были леса, а нужна была строительная площадка под жилые дома. Нина первая ему сказала: «Рубить эти деревья нельзя. Природа нуждается в сохранении». Он тогда много наслушался таких разговоров; все словно разом спохватились, что есть леса и реки, и стали кричать: «Природа, природа!» А он ответил ей: «Настоящего хозяйственника интересует использование, а не сохранение. Если эта самая природа не приносит пользы обществу, то беречь ее значит считать: вещь важнее человека. Нам дома нужны людей селить, а не кусточки». Она не умела спорить резко, она сказала, чуть посмеиваясь: «Красота ведь тоже материальна, Миша, и она для людей». Черт с ней, с этой рощей, оставили они ее, никуда она не делась, стоит.

Он заснул крепко и сладко, давно он так легко не засыпал, и, когда проснулся, увидел за окном зорьку, сначала подумал, что это закат, но была зорька так свежа и ярка, что сообразил: встает солнце; шевельнувшись, увидел рядом с собой Нину, она спала безмятежно, совсем как ребенок, почмокала во сне губами; одеяло сползло с ее плеч, он боялся пошевелиться еще раз и так долго лежал, наслаждаясь собственной нежностью к ней. Она раскрыла глаза, потянулась и обняла его.

— Хорошо мне с тобой,— сказала она,— это удивительно, как хорошо. Если бы можно было так все время...

— Ты уедешь со мной,— сказал он,— хватит нам так жить. Ты в одном конце, я в другом. Ненормально.

Она поднялась, стала одеваться.

— Что же ты молчишь? — спросил он.

Она вынула из губ шпильку и сказала тихо:

— Не надо, Миша. Такое красивое утро, а мы его испортим.

Он рассердился, тоже поднялся, быстро оделся и закурил.

— Ты мне все-таки объясни. Тебе не восемнадцать, в двадцать шесть прежде в старых девах ходили. Ты что же, так и хочешь век вековать в кукушках?

— Нет, зачем же,— ответила она, расчесывая волосы.— Наверное, когда-нибудь и я стану женой.

Он замер посреди комнаты.

— А разве ты еще не жена мне? — спросил он.

— Нет. Я твоя любовница. Может быть, это и лучше.

Он и прежде не выдерживал прямого взгляда ее жарких глаз, старался отвести лицо, а сейчас чуть не задохнулся — взгляд показался ему наглым, обнаженным, обида за так легко утраченную нежность окончательно вывела его из себя, и он стал говорить резко, что ничего не может понять в ее желаниях.

— Ну вот,— вздохнула она.— Я так боялась, что это утро будет испорчено.

— Ты мне нужна,— сказал он со злостью.— Ты мне очень нужна.

— Слушай, Миша,— вздохнула она,— ты думаешь, я пижоню? Честное слово, нет. Даже представить не можешь, как я рада, что снова тебя вижу. Но не могу через себя переступить. Как представляю себя директорской женой, так — тоскливо. Хочешь не хочешь, а вокруг тебя пустота. Люди косятся, кто с опаской, кто с подхалимской ухмылочкой. Не могу... В общем, я тебе уже говорила.

— Так что же мне, с работы уходить?
 — Ну зачем же так,— улыбнулась она.— Совсем как мальчишка.
 — Да плевать тебе, кто как посмотрит. Я ж тебя не в колбу посажу. Работай в своем плановом отделе, как работала.
 — Не получится.
 — Ну, вот что — ведь не дурак же я, что приперся сюда.
 — Может быть,— ответила она спокойно.— Если ты в этом раскаиваешься.

Ему захотелось ее ударить, он чуть не взвыл от этого желания и тут же испугался, устало опустился на стул, сказал тяжело:

— Ладно. Пусть будет так.

Напрасно он мчался сюда, напрасно пытался возродить ушедшее, ничего из прошлого нельзя вернуть.

— Пусть будет так,— повторил он, встал, взял свой плоский чемоданчик-портфель, перекинул через руку плащ.

Она успела преградить ему путь, прошептала: «Миша», впервые он увидел в ее глазах мольбу, она уколола его жалостью, но тут же он испытал злорадство — должно же быть какое-то возмездие за пережитое им унижение.

Потом, когда он улетап из маленького арсеньевского аэропорта, то, утверждаясь в своей правоте, думал: «Зачем мне все эти сложности. Я рожден на простом. Все должно быть у меня ясно. Клава была простая баба. Стирала, варила, штопала. Все могла... Просто должно быть и естественно. А надуманные сложности...» Но мысли эти не успокаивали, сквозь них пробивался кроткий взгляд Нины, и становилось мутно и пакостно.

Сейчас, шагая по мокрой дорожке мимо ельника и вспоминая все это, Жарников задумался: где-то совсем недавно он слышал нечто подобное о простоте. Ага, да это же тот пацан Пельменщиков рассуждал, и Жарников усмехнулся: не даром ведь Николай врал, что они размышляют одинаково. Жарников все-таки вспомнил его. Года полтора назад вырвало из рольганга горячую полосу металла в прокатном цехе, а парень стоял рядом с Жарниковым, раскаленный металл, шипя и грохоча, забился, как живой, по-змеиному на полу, прижимая Жарникова и Пельменщикова к барьеру, грозя накрыть их; парень обезумел, наверное, ему пришла в голову мысль, что он сможет перескочить через полосу, он было рванулся, ослепленный, вперед, но Жарников сумел прижать его к барьеру, не случись этого — сгорел бы парень. «Я, можно сказать, вам жизнью обязан, Михаил Степанович». Дурак. Если посчитать кто кому и сколько обязан, то человеческой жизни не хватит на расплату.

Было восемь, когда Жарников, промочив ноги, вернулся в гостиничную комнату; все еще спали, только Танцырев был одет и побрит. За окном просигналила машина, Жарников взглянул туда, увидел молочную «Волгу» с надписью «Скорая помощь», понял, что пришла она за Танцыревым.

— Вы в город? — спросил Жарников больше из вежливости, но тут же понял, как хочется ему хотя бы на время покинуть этот аэропорт.

— Да,— кивнул Танцырев.

— Можете захватить с собой?

Танцырев пристально посмотрел на него цепкими серыми глазами, и только сейчас Жарников заметил, как осунулось сухощавое лицо этого человека, как весь он был внутренне натянут.

— Ну что же, пожалуй,— ответил Танцырев.

Сначала было просто весело — повстречала известного артиста, буду о нем девочкам рассказывать; пожалуй, засомневаются, но ведь знают — Верка не врет; а потом прищемило — и где? — в зале Дома культуры. Она сидела в третьем ряду, видела лицо Андрея Воронистого. Голос звучал гулко:

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Вера не слышала аплодисментов, зал отделился, уплыл в темноту, оттуда доносились лишь слабые отголоски жизни; все, что было дальше, шло где-то по ту сторону сознания: Андрей читал стихи, зал аплодировал, а Вера думала только о своем.

Она попала в этот Дом культуры неожиданно-негаданно. Три бойкие девочки ворвались утром в гостиницу, кинулись к Воронистому, застрекотали разом: «Узнали — вы тут.. Молодежь просит.. Ну, на часок всего, не больше.. Откажетесь — не поймут вас дальневосточники, товарищ Воронистый!»; он пытался им возражать, но они не слушали — аэропорт все равно закрыт до шестнадцати: «Нам без вас и возвращаться нельзя... Народу полный зал». Смотреть на это со стороны было смешно: три девочки вились вокруг крепкого мужика с испуганными глазами; казалось, каждая норовит клюнуть его в темя, а он даже не мог отмахнуться; спасаясь, оборотился к ней, спросил: «Поедем?» Она рассмеялась: «Я то уж...»; но три девицы не дали ей договорить, подхватили и чуть не силой повели к выходу.

Она знала эти стихи, они давно стали песней, не раз ее пела с подружками, но Андрей прочел их так, будто и слова были другими и другой был смысл; она бы не смогла объяснить, только чувствовала: он словно подобрал в себя ее страдания.

Не сегодня это началось и не вчера, давно точило: не так, Верка, живешь. А как? Ходишь по земле, ждешь, ждешь, а чего? Никто не мог ответить. И этот парень, что стоит сейчас на сцене, сжимая никелированный штырь микрофона, тоже не ответит... Совсем недавно думала, что поможет один, как ведь кинулась к нему, сейчас он бродит где-то в аэропорту, потащился за нею как тень. Были дни, когда надежды сошлись на нем. Чем кончилось?

Сушь над Зеей стояла страшная; река пересохла, обнажив широкие желтые плесы и отмели, в верховье лежали курганами бревна, не было ни сплава, не ходили пароходы, доносило к стройке запах паленого — где-то горели леса. В кабине на кране смену выдержать было тяжело. Отработав, пошла подальше от котлована, хотелось поваляться в тени кустов, выкупаться. Тут и случилась эта история.

Увидела сумку на берегу, затертую, замасленную бригадирскую сумку. Заглянула в шурф. Он стоит, белый как покойник, косит глазом на валун. Подала шест. Выскочил. Когда шурф засыпало, сказал синими губами: «Век тебе этого не забуду». Испугался, долго сидел молча. Она жалела: такой парень на пустыже мог погибнуть, да еще бы и не нашли. Забыла, что сидит с ним рядом в одной рубашонке, все остальное повесила сушить на куст. Он отошел, потянулся к ней, могла и оттолкнуть, но не захотела.

Трое девочек в комнате. Одна — на смену, другая — к подружкам. Всегда так делали. Старый общежитский закон, усвоила его еще в Салавате, куда приехала из деревни после смерти матери. Продала по дешевке избу на снос. Хороший был еще сруб, крепкий, отец сложил из

отборной сосны, когда молод был. Плохо жила в Салавате. Безразлично. По утрам гудела голова от угарного запаха химкомбината. Работа тяжкая, как у всех подсобниц. Вечерами с подружками пила вино, чтоб полегче было, и — на танцплощадку. Иногда просыпалась, а рядом — мятая рожа. Дура девка. А, плевать куда несет, пусть несет. Потом поняла: все эти у танцплощадки — сволочь. Стала жадной, завела книжку, начала копить. Пошла учиться на крановщицу. Хорошая работа, настоящая. Профессия. Научилась одеваться, за собой следила. Подружки старые не отставали. К черту вас! Вербуют на Зейскую ГЭС, там и платят крупней. Денег надо много. С ними можно куда хочешь и все что хочешь.

Руки крепкие, тело сильное. Зовут на сверхурочную — пожалуйста. Две смены так две смены. В дождь, в мороз, в ветер, в зной. Огаркова выручит, безотказная баба. Была и радость: несла пользу не только себе, но и людям. Приходила в клуб — расступались. Продащицы одежду откладывали — Вера не поспеет. Иногда выбирали в президиум, инженер шептал на ухо горячие слова, знала — женат. Черт с ним, пусть пострадает, она уж настрадалась. Лихая девка Верка, работница первой руки, не тронь — лапы отобьет.

Этот, спасенец, пришел один раз, второй — встретила, как никого не встречала. Потом стал командовать — приезжай ко мне, то-то и то-то сделать надо. Жил в центре, где старые бревенчатые дома и деревянные тротуары, снимал комнату. От поселка строителей до того места — автобусом или попутной. Месяц ездила, потом сказала: «Зачем нам врозь? Давай уж навсегда. Мне квартиру дадут, я на ГЭС не последняя». Но началось все не с этого, началось еще раньше.

Не было тепла, он как деревянный, поговорить не о чем, на все ответ: «Не поймешь. Не твоего ума». Зря он думал — не понимает. Все понимала. Видела таких — крепкозубых, с замахом, как кувалда. Приглядывается, выжидает, а потом как шарахнет, смотришь — у него под началом сотни. Свою игру играют, только ей и заняты, на других плевать. Все же была надежда: сильный мужик — это хорошо, если только вместе. Будет смысл и полнота жизни будет. Только бы вместе. А он сказал:

— Не могу себя повязывать. Мне якорь рано бросать. Мне еще свобода в действиях нужна. А если дом, то уж и ребеночка родишь. Считай, завяз я, нет моих планов.

Тогда она и спросила:

— Значит, я тебе только по мужчинскому делу нужна?

— А ты как думала?

Пошел он к черту, она сама себе хозяйка, она баба гордая. Стоит бровью повести — инженерская семья вдребезги, бросит и детей и мам. Но никому зла не хочется делать. Если радости, то за свой счет, за чужой не надо, за свои кровненькие. А этому спасенцу ноги мыть — не нанималась.

Был воскресный день, подняло реку, плыли плоты по Зее. Теплоход «Заря» пристал к причалу. Спрыгнула на мокрый бревенчатый помост. В руках два ведра с грибами. Ездила с подружками в тайгу. Грибов набрали отборных. Увидела — Николай стоит на берегу. Хотела пройти мимо, дорогу загородил. Подружки убежали к машине, теплоходик пошел вниз по реке, и остались они вдвоем.

— Почему не приходишь?

— Кончили. Хватит.

— Решила бросить?

— Бросила.

— Меня бабы не бросают. Такого не было. Сам брошу, когда надо будет.

— Не пугай, не запугаешь.

— Не пугаю, учу. Закон простой: раз уступишь — второй раз за глотку схватят. Завтра придешь как всегда.

Рассмеялась:

— Мне приказ твой что собачий лай.

Тут же увидела: сейчас ударит, поняла это по косо́й белозубой улыбке. В руках ведра — не загородишься. Он ударил. Сильно, с хрустом. На ногах не устояла. Сказал негромко:

— Завтра придешь. Жду.

Ползала по песку, заляпанному мазутом. Подбирала грибы. Всю трясло, щека опухла. Но злости не было: только обида и страх. Ведь еще так может. В общежитии отмылась, растерла щеку бодягой, чтоб не было синяка. Смешно, но думала о нем уважительно: «Сильный, пес, ничего не боится. Да и я не слабая».

На другой день казалось: смена быстро идет. Точила мысль: а не пойти ли? Все будет, как было. Поживут, может быть, и наладится. Ей двадцать два, ему двадцать пять. Еще неизвестно, как повернется жизнь. Можно его и лаской приручить. Все же не пошла, переборола себя. Ту девочку, что в Салавате была, воскрешать толку нету.

Еще день прошел. Со смены старалась идти со всеми. Из общежития не выходила. Он сам пришел:

— Повезло тебе. В Благовещенск на три дня улетаю. Вернусь — встречай.

Тут-то она и решила: уеду. Не совсем, в отпуск. На другой стройке все надо начинать сызнова — и почет и хороший заработок.

В отпуске можно гулять два месяца. В постройке висит объявление: есть путевки в Болгарию, на Золотые Пески. Дорого, но постройком скидку дает. Да что деньги. Не солить. Месяц в Болгарии, а там можно по России поездить, города посмотреть. Два месяца — срок. Может, забудет, а нет — другим путем образуется.

Оформляли долго, ушла неделя. Говорили: и так поблажка, обычно месяц, но тут путевка горит, и человек она известный. Лететь в Москву, а там — группой.

Был чистый день, когда собралась улетать. В деревянном голубом домике аэропорта — буфет. Набились общежитские подружки. Купила две бутылки шампанского. Смеялись, завидовали. Пришел самолет. Вышли на зеленое поле. В синем мареве — серые горы. Залюбовалась. За спиной баском:

— Будем попутчиками.

Оглянулась — Николай. Кто-то из девчат фыркнул, спросил:

— Тоже в Болгарию?

— Нет, я тут канаты отрубил. На запад переселяюсь.

Посмотрел на Веру, сказал со значением:

— Дорога длинная, в пути обсудим.

Ей стало весело. Подумала: «Если он за мной, то и верх теперь мой. Я хозяйка».

Люди шумели, аплодировали, несколько голосов истошно вопили: «Бис!» Андрей стоял, держась за штырь микрофона, он был сейчас неподвластен самому себе, словно за него кем-то со стороны был сделан выбор: его заставили сесть в машину, привезли в клуб, вытолкнули на сцену, и чтобы отгородить себя от зала, он отдался силе памяти, где хранились многожды повторяемые слова и жесты; мысли же и чувства находились в ином измерении, они не объединялись с его поступками, движения координировались как бы отделенным от них механизмом.

Ночью он позвонил домой и узнал от тетки: они не дождалась его, ждать было нельзя, и похоронили мать; тетка говорила, что все устрой-

лось хорошо, нашлись добрые люди, и для матери отвели участок на кладбище в городе, на Васильевском острове, а это нелегко, хоронят больше на дальних окраинах, и еще она говорила о том, что сейчас в их комнате на Одиннадцатой линии собрались мамины старые подруги; она все время всхлипывала, в трубке булькало, и ему казалось — у самого уха шевелились ее мокрые губы. Ему нетрудно было представить, как они там сидят, старые женщины, в их большой комнате с потрескавшимся лепным потолком, за круглым столом: их соседка Надежда Степановна, худая, костлявая, с неловкими сутулыми плечами, с некрасивым ртом — зубы ее были испорчены цингой, только глаза сохранили свой пронзительный черный блеск; две актрисы, вышедшие на пенсию, а может быть, и еще кто-нибудь, — сидят молча, с замкнутыми лицами, и каждая думает о своем; их молчаливое сидение будет длиться до тех пор, пока кто-нибудь не вздохнет и не скажет: «Пора» — и тогда они наденут, помогая друг другу, поношенные плащи и молчаливо разбредутся. Это представить было можно, другое не умещалось в сознании: матери там нет, среди этих женщин, которые любили собираться у них дома по праздникам.

Когда тетка назвала ему кладбище, он вспомнил, что был там — оно находилось неподалеку от дома, и однажды зимой, прогуливаясь, он забрел в те места, сначала попал на неудобную площадь с кольцом трамвайных путей, окруженную закопченными кирпичными стенами старых домов, и обрадовался, когда оказался за кладбищенскими воротами, там было покойно и хорошо: старые заснеженные липы, очищенные дорожки, он шел по ним, пока не увидел заиндевелую, красного гранита глыбу, на ней были высечены три детские головки, и под ними стояла надпись: «Здесь лежат дети, они убиты снарядом 6 января 1942 года» — и дальше шел список. Ему стало жутко, он сразу же вспомнил, как испытал однажды такой же страх. Возвращались белой ночью с актерской попойки, шли мимо Гостиного по Невскому, и старый актер остановился, притопнул ногой и сказал: «А они-то все тут лежат». Андрей не понял, о ком речь, и тогда актер стал говорить, что в блокаду не всех, кто погиб под развалинами и в снарядных воронках, сумели увезти из города, часть из них так и осталась навечно здесь. Услышав этот рассказ, Андрей замер, ему казалось, он не сможет сделать и шагу по асфальту; почудилось, что те, кто погиб в блокаду, где-то там, в немой мгле, чутко прислушиваются к любому звуку, доносящемуся сверху.

Зал то отчетливо вставал перед ним, и он видел людей, сидящих в рядах, их глаза, лица, иногда улавливал шуршание конфетных облачков, и, чтобы забыть, напрягал память, выталкивая из нее слова монологов; иногда же зал уходил, стушевывался во мгле, но Андрей усиленно воли продолжал свою работу.

Вера торопливо вытерла слезы, она забыла все, что слышала, осталось лишь чувство освобождения, какое бывает после долгих беспричинных слез; она уж успела забыть, что можно вот так плакать, было это с ней только в деревне, когда уходила на любимый взгорок за околицу, откуда виден был весь порядок и большая черемуха возле избы.

Одна из тех девиц, что привезла ее сюда вместе с Андреем, потащила за кулисы. Они прошли по лестничным переходам и оказались в узкой длинной комнате со множеством зеркал на стенах.

Бойкий парень с жидкими усиками совал Андрею микрофон, спрашивал что-то о кино, Андрей с трудом отвечал, потом потянулись девушки, они нанесли с собой цветных фотографий из тех, что продаются в газетных киосках — серия «Киноактеры», — Андрей торопливо подписывал их. Вера видела, как ему нехорошо, ей было жаль его, хотелось растолкать всех этих девиц, прикрикнуть на них, подойти к нему, обтереть лицо влажным платком. В жалости к нему было нечто новое для

нее, она никого еще так не жалела. «Неужели не видят, как он выматался. Эх, люди... Вам бы так наработаться».

Когда он сказал ей о смерти матери, требуя к себе, как ей показалось, сострадания, она усмехнулась — чужое горе не могло ее тронуть, много своего осталось позади. «А мне некому долги отдавать. Вот так-то, артист!» Ей думалось, что в этом не было жестокости, у каждого есть свои беды, их незачем выставлять наружу, если каждый позволит — люди захлебнутся, на то ты и человек, чтобы не допустить этого. Теперь же мука его была понятна ей, это была мука работника, выжившего себя до конца, открывшего все свое мастерство на глазах у людей; она знала, как нужен бывает после эдакого труда покой, ничего нет тяжелее, когда тебя лишают его в такой час.

В комнате наконец осталось человек пять. Вера вышла из своего угла и сделала то, что хотела: вынула из сумочки платок, смочила его под графином, обтерла лицо Андрея.

В аэропорт ехали машиной, Андрей сидел, заваленный цветами, а три девицы стрекотали всю дорогу:

— Ах, как хорошо. Ах, как прекрасно.

Когда подъехали к вокзальной площади, Андрей отдал девицам цветы и облегченно вздохнул:

— Ну вот, можно и подышать.

Он закурил, и они пошли не спеша тротуаром вдоль стеклянной стены вокзала.

— Трудное у тебя дело,— сказала она.— Час работы, а потрудней, чем кайлом смену махать. Это бы я не смогла.

Он не отвечал, и тогда она спросила:

— Тебе интересно жить?

Андрей остановился и подумал: интересно ли жить? А черт его знает! Все сейчас перепуталось, смешалось. Конечно же, у него есть свое дело. Иногда его просто бесило, что ему завидовали. Странно, что в людях вдруг закипает злоба к ближнему, понять ее бывает трудно. Однажды Андрей увидел это дома, когда взорвалась их соседка Надежда Степановна. Он знал ее с детства, эта женщина моталась по тяжким командировкам, она была геологом, и, судя по всему, не очень везучим, всю жизнь она что-то искала, но все, что надо было найти, находили без нее, а она не могла остановиться до старости и ездила, ездила, несмотря на неудачи, возвращалась домой довольной, приходила к матери, рассказывала, подергивая костлявыми плечами, и мать ее слушала с жадностью, и Андрей видел — завидовала. Они любили друг друга, не было случая ссоры между ними, и только однажды случился с Надеждой Степановной приступ злости.

Андрей зашел случайно, когда они сидели за столом, и услышал крик соседки: «Ты, утешительница! Что ты знаешь?! Лепечешь благостные слова. Тебе б, как мне, одной: без детей, без мужа. Ходит твой в знаменитых, ты и хвост трубой. А тебе бы мою жизнь, ты бы запела. У-у-у, как бы запела! Блаженная!» Все, что она кричала, имело отношение только к ней самой, мать тут была ни при чем, у матери своих бед было достаточно — и то же одиночество, и потеря работы,— да, ей хватало своего, но эта женщина, их соседка, посчитала возможным вылить свою горечь ни на кого-нибудь там, кого она могла считать виновным в своих бедах, а на самого близкого, ей так было легче. Потом Надежда Степановна стыдилась своей вспышки, но запоздалый стыд не все сглаживает, выплеснутая злость держится в памяти острее и заставляет быть настороже... Интересно ли ему жить? Что он может ответить? Только что ему было интересно в Находке, когда он нашел главное в своей роли, и стоял, замерев у камеры, грузный режиссер, это было ему интересно, он этим жил и был счастлив, пока не полетело

все вверх тормашками. Зачем этой женщине его ответы, что она может из них сотворить?

— Наверное, интересно,— сказал он,— когда есть самое главное — поклонение мудрости и красоте, тогда все в порядке. Но только если оно есть...

Андрей сказал это и тут же вспомнил: мысль эта не его, а матери, он невольно повторил ее слова, так же как только что читал стихи со сцены, память выбросила их на поверхность.

Вера слушала с уважением, хотя и не поняла, о чем он говорит, решила: в этих словах таилось нечто важное для него, какой-то секрет его дела, проникнуть в него она не могла, как в иной любой секрет неизвестного ей труда. Этот человек был из другого мира, но она сумела его пожалеть и сейчас думала: может быть, он знает то, о чем она лишь догадывалась, о чем тосковала в последний год,— ведь должны же быть какие-то радости, лежащие за чертою работы, но не те, что дает вино и встречи с такими, кто крутился у танцплощадки в Салавате.

Они остановились неподалеку от подъезда вокзала, мимо них шныряли люди; Вере показалось, что воздух стал светлее, туман исчез с ветвей деревьев, она взглянула в небо и увидела голубой клочок, он был так неожидан, что она невольно вздрогнула и, еще не веря себе, воскликнула:

— Смотрите-ка!

Андрей впился глазами в этот небольшой чистый просвет и, приподняв палец, прислушался. Было тихо, никакого шума моторов. От этой тишины у Веры защемило на сердце: вот-вот щелкнут над всем аэропортом динамики и ворвется голос диктора: «Внимание! Внимание!» Ей показалось, что все, кто был сейчас на площади, в парке, на вокзале, замерли, глядя с надеждой в небо, еще минута, две, три... еще мгновение — и надо бежать к регистрационным стойкам, занимать очередь, толкаться, нервно ждать, когда объявят твой рейс, еще совсем немного — и закружится, понесется людской поток. «Все»,— подумала Вера. Вот-вот голос диктора прозвучит, как выстрел стартового пистолета, и этот человек, стоящий рядом, исчезнет, и она так ничего от него и не узнает. Ей представилось, что лететь ей придется не куда-то в Европу, а обратно на Зею, возвращаться в общежитскую комнату, где вместе с ней живут еще две подружки, там, в брусчатом доме, чисто и тепло, она будет жить в этой комнате, приходить туда после работы, приносить покупки из магазина и думать по вечерам о жизни и о том, что может еще ждать ее в ней. «Все-то у меня есть,— подумала она.— И баракла полон шифоньер, и две книжки с кругленькими, не считая процентов. Захочу — и квартиру дадут, сама виновата, не желала. Одной, мол, без подружек, в тоске пропадешь. Все есть, а все же чего-то нету...» И ей стало обидно, что Андрей молчал, ей хотелось, чтоб он первым сказал ей что-то на прощание, хотя и понимала — ничего от него ждать не надо...

— Ну вот,— сказала она.— Нам и прощаться надо.

— Да, да,— кивнул он озабоченно,— кажется.

Тут же Вера увидела Николая, он шел, пересекая площадь, помахая чемоданом, шел не спеша, плечи развернуты, рукава серой рубашки закатаны по локоть, он помахивал свободной рукой и, когда подошел, поставил чемодан возле ноги.

— Заискался,— сказал он, не глядя на Андрея, словно его тут и не было.— Надо очередь подзанять, говорят: объявят скоро.— И тут же улыбнулся той своей особой крепкозубой улыбкой, когда губы стягивались в углах жесткими складками.— Ну что же, Верочка,— сказал он ласково, и ей сразу не понравилось, как он это сказал, и она насторожилась.— Улетай в теплые края, потом, если надо будет, я тебя найду.

— Как это найдешь? — спросила она.

— Сказал: если надо будет.— И в голосе его сразу пробилась командная нотка, он хмыкнул.— Небось подумала, голубка, верх твой. Так чтоб ясно было: никакого твоего верха нет. Просто недосуг мне. Вот определяюсь, тогда решать буду, искать тебя или нет. Куда же ты денешься?

— Никуда я не денусь,— зло сказала она.— Куда мне деваться?

И ей стало горько и досадно, потому что она вдруг поняла: все, чем она мучилась на Зее, думая об этом человеке, все это никчемное для него, пустое, он сам давно в душе отбросил ее, может быть, после первой же встречи отбросил, потому что и не любил никогда, как, наверное, вообще не любил ни одну женщину, а только пользовался ими, а потом только глумился, делая вид, что хочет ее удержать при себе, и сейчас он глумился, чтоб оставить в ней хоть каплю страха, потому что она раз захотела доказать, что не боится его.

— Вот и я говорю,— сказал он и с усмешливым любопытством покосился в сторону Андрея.

И Вере тотчас захотелось, чтобы Андрей, человек, с которым она была рядом эти сутки и к которому потянулась, сумел бы сказать сейчас Николаю что-нибудь такое, чтоб все это тягостное тут же и кончилось, она с надеждой повернулась к нему. Острым взглядом своим Пельменщиков тотчас подметил ее движение и весело хохотнул:

— Ну-ну, неумная ты баба, Верка, как я погляжу.— И кивнул в сторону Андрея.— Там защиты не ищи. Эти-то говоруны сами бабьей жалостью живут. Эх, Верка, мужика от слюнтя отличить не можешь.— Он вздохнул, продолжая весело улыбаться, словно радуясь чему-то своему, и склонился так, чтоб подхватить чемодан.

И в это время Андрей шагнул к нему, сказал сердито:

— Позвольте...

— Что? — спросил Пельменщиков, сразу выпрямившись, и согнул в локте руки.— Что позволить-то, а? — сказал он со своим обычным насмешливым любопытством, изучая лицо Андрея.

— Да какое вы имеете право...

— Ага,— утвердительно кивнул Николай.— Правильно. Так и знал: права начнет качать.— Он опять улыбнулся и, внезапно сжав кулак, сказал подчеркнуто спокойно:— А вот такого права не хочешь, артист?!

— Не смей,— вскрикнула Вера,— слышь ты, не смей!

— Не буду,— покровительственно сказал Николай.— Да и за чем? — И теперь уж в глаза прямо взглянул Андрею.

Они стояли друг против друга, разделенные небольшим пространством, и Андрей увидел в острых глазах этого человека радость, чувство превосходства, всего секунду он смотрел так, но ее хватило, чтоб Андрей почувствовал: этот, если нужно, не остановится, если нужно, пойдет на все — вот о чем говорил его взгляд.

— Так-то, артист,— сказал Николай спокойно.— Я бы сейчас тебя сделал, честно, двумя бы ударами сделал, ты бы и не пикнул. Но мне из-за тебя ни к чему неприятность получать. Я таких, как ты, и к вниманию не принимаю. Все одно что хлам. Так что живи и будь здоров! — Он подхватил чемодан и быстро пошел прочь пружинистой, легкой походкой.

Напряжение ослабло в Андрее, и тут же он услышал всхлип, быстро обернулся и увидел, как некрасиво исказилось лицо Веры.

— Вы что? — удивился он.

— Мямля,— тихо сказала она и вдруг вскрикнула: — Уйди ты от меня!

Она сорвалась с места, кинулась к подъезду вокзала, где толпи-

лось множество людей. Андрей побежал за ней, зацепился за чей-то рюкзак, наткнулся на стеклянные двери, с трудом справился с ними, и когда наконец ворвался в вокзал, то тут же остановился; люди, нагруженные вещами, двигались в два потока в разных направлениях, плотно прижимаясь друг к другу, как это бывает в московском метро в часы пик, и он остановился, не зная, в какую сторону ему кинуться...

12

Когда фамилию Лизы трижды выкликнули по радио и просили подойти к справочному бюро, она сразу поняла в чем дело.

— Это отец, — сказала она. — Из поселка приехал.

— Ты не хочешь с ним встречаться? — спросил Семен.

— Почему же? — Она сморщила нос и покусала губы. — Вообще-то не хочется сейчас... Но это будет трусостью. — И тут же решительно сказала: — Пойдем!

— Боишься, что он тебя уговорит опять ехать домой?

— Нет, он меня не уговорит. Все-таки жалко его, он, наверное, сильно переживает.

Они вошли в вокзал. Здесь образовалось как бы множество семей, и каждая была отделена от другой, даже перегородки были сделаны из чемоданов и кресел, словно все пространство разграничили на крохотные территории, и если повнимательней взглядеться, то каждая семейка — а она составила из случайных людей за исключением тех, кто ехал группой, к примеру ребята из студенческих стройотрядов, — так вот, каждая семейка жила своей характерной жизнью. В одной в центре внимания был ребенок, все возились с ним, нянчились, и это их объединяло, потому что у каждого, наверное, из этих людей где-то остались свои дети; в другой распивали поллитровку, вели мужские беседы, и это тоже объединяло; в третьей читали газеты и спорили о шаткости международного положения...

Пока Семен и Лиза пробирались к справочному бюро, чего только не наслушались:

— Во Владике забегаловка по прозвищу «Попугай». Все эту зеленую хибару знают. «Попугай» — потому что повторяют. Больше пива в жару и не найдешь нигде, только там...

— Здесь и китайцев никогда не было, а названия все тунгусо-монгольские. Чего их менять? У меня жена ительменка, сам русский, а жена ительменка. Слыхал?..

— Сначала пуля по каске ширкнула, ничего, не задело. Тут смертник на танк бежит, желтая лента на груди — взрывчатка, значит...

— Езда была горькая, через Малиновый перевал, через Дубовый, до самых Тетюхе туман, гололедка. Думал — кранты. Добрался, а ее уж земле отдали...

— Ребята в строительном служат — и служба идет, и на книжке тысячи полторы-две накопится...

— В Москву техасы вези, по сорок рублей идут, у нас в Находке по шестерке навалом. Пачку в сотню бери, дорогу оправдаешь и там хорошо поживешь. Москвичи на техасы липки...

— Весь город — граница. Сейчас потише стало, а то, бывало, в шесть утра динамики включают, орут с китайского берега, все и просыпаются. Всего жди, каждый день могут, как на Даманском...

— Народ туда-сюда шастает, в город по пятьдесят семей с запада приезжает, а тридцать — сорок уезжает. Глядишь, за пять лет полное обновление поселку происходит...

— Вода с небом смыкается, одно слово — тайфун, якоря не держат. Японцы на берегу собрались, по телевидению показывают, как мы кон-

цы отдаем. Им кино, а нам крышка. Хорошо, кэп в просвет скалы увидал...

Он пробрался к стеклянной будке справочного бюро, но никого не обнаружили возле нее; Лиза обратилась к дежурной, и та ответила, что тут крутился целый час какой-то мужчина, куда ушел, она не знает, но, кажется, спрашивал что-то насчет гостиниц.

— Значит, туда пошел,— сказала Лиза.— Он найдет, он дотошный.

— Ну что же, двигаем к себе,— предложил Семен.— Будем ждать.

Лиза подумала и просяще посмотрела на него:

— Только знаешь что, Сеня, я тебя очень прошу, ты от меня не уходи. Даешь слово?

Он понял: она вообще-то храбрится, а на самом деле ей страшно-вато, потому что не очень уверена в себе, и это понятно — как бы ты ни относился к родителям, все же жизнь прожил под их опекой, привык, что они не только тебя кормят и одевают, но и приказывают как поступать, и если они по-настоящему нажмут, то не всегда хватает сил настоять на своем, особенно девочке: девочки больше подвержены послушанию.

— Ладно, буду с тобой,— пообещал Семен, и только они собрались идти, как какой-то мальчишка вцепился в его штанину и стал дергать. Артынов ахнул: это был Степка в синей матроске, в той самой, в которой любила выводить его Катя к берегу океана.

Семен засомневался — может быть, почудилось, что это сынишка лейтенанта, — как тут же появилась и сама Катя. Она быстро подхватила Степку на руки и, отводя лицо, собралась отойти, даже не поздоровавшись. Но Артынов быстро взял ее за локоть.

— Катя, это вы?

Она повернулась.

— Ну, я. В чем дело?

— Здравствуйте,— растерянно пробормотал Семен.

— Ну что ж, здравствуйте.— Она косо усмехнулась; Степка тербил ее темные волосы, и она машинально отвела его руки.

— Как вы здесь оказались, Катя? Ведь когда я уезжал, вы еще были на заставе.

— А ты такой внимательный, прямо самый зоркий. Настоящий часовой рубежей. А то, что в одном самолете с острова летели, не заметил.

Конечно, подумал Семен, это вполне могло быть, потому что в «АН-24» с полсотни пассажиров, да он еще был занят мыслями об Ирине, мог и не заметить Кати, а может быть, она сама избегала встречи, ведь если бы захотела, то и окликнула. Если бы лейтенант отправлял Катю на материк, скажем, погостить у его или ее родителей, то об этом заранее знала бы вся застава и сам лейтенант обязательно обратился бы к Артынову за помощью, иначе и быть не могло: у Кати вещи и ребенок. Оставалось только одно: она сама внезапно покинула остров, недаром ребята говорили, что у Кати не все ладится с лейтенантом, но на всякий случай Семен спросил:

— Вы домой, отдохнуть?

— Брось дурака валять,— сказала она сердито.— Все вы знаете, вся застава знает, а ходят, как шаров наглотались. Делают вид.

— Что мы знаем? Ничего мы не знаем.

— Паинька,— покачала она головой.— Может, уговоривать начнешь вернуться? Сам отслужил и — в Москву. А мне там сколько еще лет торчать? А потом? Опять какая-нибудь дырка на краю земли.

От растерянности Семен тут же сморозил глупость:

— Бывает, и в Крыму служат, там тоже граница.

Она рассмеялась зло и некрасиво, у нее обнажилась розовая верх-

няя десна, прежде он не видел, как она смеялась, и Семену стало неприятно.

— Служат,— сказала она.— Я-то ведь не служу, я домашнее животное, как кошка. Три года меня по шерстке гладили и даже мяукать не давали. На сопки да на волны все глаза проглядела, телевизора и того нет. Что я видела?

— Так вы что же, лейтенанта бросили?

— Переживет,— сказала она.— Он работу любит, не меня.

Тут Семен разозлился, потому что сразу представил, как остался один лейтенант на заставе, он был хороший человек, многому научил его, она права — работу он любил; Семену стало жаль его: ведь это очень трудно — остаться на острове, на дальней заставе без семьи.

— Вы же знали, куда ехали за ним? Знали, спрашиваю?

— Ты на меня не ори. Ишь, какой командир... Знала, да душой была.

— Люди не такое терпят ради любви.

— Ишь ты! А с мое потерпи, тогда поговорим на равных.— Она была так зла, словно это Артынов, а не кто иной был виноват в ее несчастьях.

— Но у вас же сын,— хватаясь за последнее, произнес Семен.

— У меня сын,— подчеркнуто сказала она.— Мы и проживем. Алиментами государство не обидит. Ну, ты иди. Мне с тобой некогда. Вон тебя девушка ждет.— И опять усмехнулась.— Нашел уж себе. Все вы такие быстрые — как из армии, так словно с цепи сорвутся. Детей с ходу понаделают, а потом женщины страдают.

Она быстро повернулась, не успел Семен опомниться — и Катя со Степкой исчезли с глаз, словно их и не было.

Семен и Лиза вышли с аэровокзала, и вот тогда его начало настоящего трясти.

— Ну и стерва! — сказал он.— Кто бы мог подумать, что она такая стерва.

— Это жена вашего начальника? — спросила Лиза.— Я правильно поняла?

— Ты правильно поняла. Только вот мы ее раньше понять не могли.

— А ты зря так ругаешься,— спокойно ответила Лиза.

— То есть как это зря?

— А так и зря. Если она его уже не любит.

— А что же раньше думала?

— Раньше — любила. Думаешь, любовь — это один раз и навсегда? Мои ведь тоже, наверное, сначала любили. Никто их силой не заставлял жениться. Все сами... А потом... Потом-то смелости и не хватило. И вот что получилось. У нее есть профессия?

— В каком-то сибирском хоре пела.

— Вот видишь. Наверное, привыкла, чтоб всегда было много людей. Может быть, и поклонники. А потом на острове — одна. Тоже не легко.

— Ну, а если бы война,— все еще злясь, сказал Семен.— Он бы на фронт, а она деру.

— Когда война, то все другое. И нельзя вот так рассуждать: если бы... Ты не кипятись, я ее вовсе не защищаю. Я ведь не знаю, как у них да что. Но и осуждать не надо, если по-настоящему не знаешь. Осуждать легче всего.

Он чувствовал: Лиза в чем-то права, вообще она умница; все же не мог успокоиться, уж очень взбесила эта встреча, все равно Семен был на стороне лейтенанта; в таких делах, наверное, всегда становишься на сторону того, кто тебе ближе, и очень трудно посмотреть на все

это так, словно ты посторонний. Лизе было легче, она не знала, как они жили на заставе, не знала, как все ребята будут переживать за лейтенанта.

Семен не стал спорить с Лизой. Да и зачем? Все это очень сложные дела, и тут трудно по-настоящему отыскать правого и виноватого.

В гостиничной комнате за столом сидел отец Лизы — Семен сразу это понял, как взглянул на этого человека, у него было нечто общее в выражении лица с дочерью, но трудно бывает объяснить, что же именно, потому что внешне отец Лизы был мало на нее похож: полный, с обрюзгшими щеками, под крепким носом с горбинкой — пышненькие усы, он их нервно приглаживал двумя пальцами, а глаза у него были не серые, как у Лизы, а коричневые, и затаилось в них что-то по-собачьи грустное. Увидев Лизу, он тяжело поднялся, стало видно — у него обозначилось кругленькое брюшко. Она подбежала к нему и поцеловала в щеку.

— Здравствуй, отец.

Он погладил ее по голове, прижал к себе и так постоял, тяжело дыша, глаза при этом у него еще больше погрузнели. Он судорожно втянул в себя воздух и сказал:

— Что же ты, а? Как же это ты того... Нехорошо. Мать скисла... Сердце у нее...

— Ты сядь, отец,— сказала Лиза.— Ты, пожалуйста, сядь. У тебя вид больной.

— Э-э, что вид, при чем тут вид.— Но все же послушно сел, полез в карман.— Курить тут можно?

— Да, да, кури.

Он достал пачку сигарет «Столичные», закурил, но спохватился, неловко протянул пачку Лизе.

— Нет,— сказала она.— Я бросила.

— Ну-ну... Это хорошо.— Он посмотрел на Семена, как-то затравленно, жалко посмотрел и сказал: — Может быть, выйдем, там поговорим?

— Нет, отец,— сказала Лиза.— Мы здесь поговорим. Вот, пожалуйста, познакомься, мой друг Сеня.

— Друг,— как эхо повторил он.— Значит, друг.— И чуть приподнялся, протянул Семену руку, она оказалась большой и пухлой.— Очень приятно. Валерий Зиновьевич. Очень приятно.

— Мы при нем поговорим,— сказала Лиза.— Я так хочу.

— Ну-ну,— протянул Валерий Зиновьевич.— Если ты настаиваешь... Я не спорю. Да-да, я не спорю.

— Я тебя слушаю, отец.

Лиза села напротив него и посмотрела ему в глаза.

Он помолчал, вращая в толстых пальцах сигарету, наконец сказал, теперь уже более твердо:

— Не так ты все сделала, Лизок. Разве нельзя было по-хорошему? Ну, захотела в Ленинград к тете Насте, разве мы бы тебя не отправили?

— Я все так сделала, отец. Мы ведь с тобой об этом говорили еще раньше, до того, как я на завод техничкой пошла. Я не виновата, что ты не поверил.

— У тебя всегда были заскоки, мы с мамой предупреждали...

— Вы за меня не бойтесь. Ты ведь умный, ты ведь сам должен понять, что когда-то мне нужно было так сделать.

— Разве тебе плохо у нас?

Она передернула плечиками, словно ее начинало знобить, хотя в комнате было душно, как все эти дни.

— Я тебе говорила. Совсем не потому я ушла, что мне чего-то не хватало. Наоборот, слишком много у меня всего было, просто не нравилось мне, как дома...

Валерий Зиновьевич вскинул голову, быстро посмотрел в сторону Семена, мясистые щеки его покрылись краснотой.

— Перестань,— сердито сказал он.— Это тебя не касалось.

— Ты, папка, не сердись,— вздохнула Лиза.— Но это меня касалось и сейчас касается.

— Мы для тебя все,— с одышкой проговорил он.— Разве в чем-нибудь отказывали? Да, кроме тебя, у нас и нет никого.

— Есть,— сказала она.— Но дело совсем не в этом. Мне ничего не надо, я должна все сама. Хочу так... Ты ведь тоже когда-то начинал сам. Это-то ты можешь понять?

— Что же, у вас сейчас мода такая? — усмехнулся он.— Отказ от всего, вроде хиппи?

— При чем тут хиппи? Я их не видела и не знаю. Да и не люблю я никакой моды. Терпеть не могу, чтобы у всех было все одинаковое. Просто считаю, что должна узнать, чего стою, без всякой чужой помощи. А это можно проверить только в деле. Ты сам говорил... Странные вы люди: когда говорите — все правильно, а когда до дела дойдет... Ну, почему ты понять не хочешь?! — в отчаянии воскликнула она.— Сами так живете и хотите, чтобы я...

— Перестань! — прикрикнул он на нее, теперь не только лицо, но и шея у него стала красной, и он заговорил, волнуясь, видимо, мысленно махнув рукой на то, что в комнате были посторонние: — Что ты о нас знаешь? Да и понять ничего не можешь. Заладила: «Не так живете, не так живете». Посмотрим еще, как ты жить будешь. Смолоду все кажется — трин-трава. А ведь мы с матерью твоей двадцать лет вместе. Ну и что же, что у каждого свое было, вырастешь — узнаешь: у многих так бывает, а все равно вместе. Сколько я людей знаю, гладкую жизнь никто не прожил. Ты думаешь, мы с матерью вместе, потому что боимся: суды-пересуды, да с квартирой трудно, и общственность по головке не погладит. Не боимся. Вот знай: не боимся! Может, вначале это и было, а потом нет. Мы потому вместе, что уж не можем друг без дружки. А ты это не поймешь. Подумаешь — развод, плюнуть и забыть. Приросли мы друг к другу, нам так теперь и доживать...

Он закашлялся, стал обтирать платком красное лицо, потом откинул голову и тяжело задышал. Лиза с жалостью смотрела на него.

— Не надо, папка,— тихо сказала она.— Я не хочу тебе зла, слышишь, папка?

Он не отвечал, нервно курил. Лиза погладила его по руке.

— Может, я не все понимаю, но ты мне дай понять. Ну, пожалуйста.

— Решила и решила,— глухо сказал он.

— Ты и маме скажи, пусть она не волнуется. Я вам письмо напишу, обязательно напишу, как в Ленинград приеду. Да и тетя Настя там. Зачем вам волноваться?

— Значит, домой не вернешься?

— Я уж сказала. Все в порядке, папка. Другие ведь уезжают, и ничего.

— Ну-ну.

— А ты сейчас — домой. До поселка ведь только к вечеру доберешься. Маму поцелуй.

Он еще помолчал, потом покорно поднялся, стоял грузный, растерянный. Лиза поцеловала его в щеку, глаза у нее повлажнели, но она справилась с собой, проговорила:

— Я не провожаю. Так лучше... Мне лучше. Иди.

Он двинулся было к дверям, потом посмотрел на Семена своими грустными глазами, горько усмехнулся и тут же пригладил усы двумя пальцами, наверное, для того, чтобы скрыть эту усмешку, и медленно пошел из комнаты.

По правде говоря, Семену жаль было их обоих — и Лизу и Валерия Зиновьевича. Он подумал о своем старике, вспомнил, какой он был, когда Семен отказался идти в институт и его призвали в армию; отец прямо-таки не находил себе места, это потом успокоился и стал говорить, что армия — это тоже неплохо, там дают хорошую закалку, но Семен-то видел, как у него скребло на душе. Почему все-таки старики не понимают самого простого, того, о чем сказала Лиза: любой должен попробовать и испытать, чего он стоит в этой жизни.

Семен сел напротив Лизы, взял ее руку, зажал в своих ладонях.

— Знаешь что,— сказал он.— А зачем тебе ехать в Ленинград, давай поедем вместе. Правда, я еще не знаю, как у меня там дома, но все равно давай поедем.

— Смешной ты,— вздохнула она.— Тогда уж все, что я задумала, полетит к черту. Я ведь хочу пожить одна.

— Тогда давай сначала полетим в Москву, а потом уж в Ленинград. Может быть, я с тобой махну.

— Нет,— сказала она.— У меня денег в самый-самый обрез. Билет в Ленинград я купила.

— У меня немного есть. Я тебе дам.

— Мне не надо. Да ведь Москва и Ленинград — это совсем рядышком, не то что Дальний Восток...

13

Танцырев чувствовал себя скверно, это бывало с ним перед операцией — никогда не знаешь, чем она закончится, неизвестность вызывала в душе перепады. Шеф сказал как-то одному из журналистов, восхитившемуся смелостью хирурга: «Это не наша смелость, а больных, мы за нее и держимся». Он был прав, каждый хирург, наверное, знает, с каким напряжением приходится перебарывать страх, чтобы только, ради бога, его не заметили другие, не передался бы он тем, кто будет ассистировать. Танцырев бывал на операциях, когда хирург начинал швырять зажимы на пол, обкладывая матом сестер — это было отвратительно. Танцырев давно уж понял: нервность и ругань прикрывают слабость квалификации.

Лучше всего не думать о том, что впереди. Когда темно-рыжий в очках с золотистой оправой попросился в машину, Танцырев обрадовался: с ним легче скоротать дорогу, за разговорами она промелькнет быстро,— но Жарников молчал, положив на переднее сиденье руки, постукивал пальцами, покрытыми золотистыми волосиками, и внимательно смотрел вперед за ветровое стекло. Там творилось черт знает что: туман полосами слоился над асфальтом, как табачный дым в прокуренной комнате; водитель включил фары, и полосы зыбко зашевелились, казалось, дорога потеряла твердость и машина двигалась по поверхности струящейся воды.

Во рту скопилась табачная горечь, но Танцырев достал новую сигаретку; в курении заключен отличный самообман,— мол, оно успокаивает,— черта с два, но без сигареты еще тяжелее. Все-таки много сил расходует он и его товарищи, волнуясь до и после операции. Наверное, зря. Он думал об этом еще в Лондоне, когда во время конгресса один из молодых врачей, снискавший мировую известность, пригласил Танцырева к себе в клинику на операцию. Он был так любезен, что позволил

стоять у стола, хотя в операционной наверху был стеклянный смотровой фонарь. Англичанин сделал операцию легко и красиво, ничего грубого, все естественно, как в природе. Когда он вымылся и переоделся, то пригласил Танцырева прокатиться по Лондону. Странный парень, в клинике в голубом халате и шапочке он выглядел строгим, застегнут на все пуговицы, а тут сразу превратился в двоюродного брата хиппи, сел в новенький «мерседес» в мятых штанах с заплатами, в красной трикотажной рубашке, поверх которой на цепи — распяты, длинноволосый, точь-в-точь один из тех шалопаев, что торчат, прижимаясь к стенам домов, на Пикадилли, неподалеку от Эроса; ничего не поделаешь — мода. Он сразу сказал, что терпеть не может роскошных ресторанов, и, если Танцырев не возражает, они заглянут в бар — это было питейное заведение с несколькими столиками и крохотной эстрадой.

Танцырев ожидал, что хирург начнет говорить об операции, но тот молчал, глаза у него были веселыми, он с удовольствием слушал певца. Танцырев подумал: девочка, которую оперировали, лежит в послеоперационной палате, прошел уже час, а хирург ни разу не подошел к телефону, и тогда Танцырев спросил: намерен ли тот сегодня вернуться в клинику? Хирург удивился.

Танцырев повторил свой вопрос, тогда хирург рассмеялся, стал объяснять: свое он сделал, все остальное его не касается, в клинике есть люди, каждый отвечает за то дело, за которое получает деньги, он передал больную в руки послеоперационных сестер, и теперь они должны заботиться, чтоб все было в порядке.

Потом они разъезжали по Лондону, а Танцырев все думал о словах англичанина.

Да, конечно, это отлично, когда каждый делает великолепно свое дело, не надеется на других, не перекладывает заботы на чужие плечи, он сам стремился к этому в клинике, но все-таки не смог бы быть вот таким спокойным после сложной операции, сделал — и забыл, нет, не смог бы; он бы торчал в клинике, сверял показания больной, может быть, даже остался ночевать у себя на диванчике в кабинете, а если бы не остался, то звонил много раз из дому, и вовсе не потому, что был не уверен в своей работе, а просто не привык полностью доверять тем, кто оставался у больного. А ведь сестры были у него хорошие, весь персонал подбирал он сам и все же не был до конца спокоен, что все будет сделано так, как он указал. Может быть, за всем этим пряталось постоянное волнение за состояние больного, и ничего тут нельзя было поделать.

Жарников повернулся к нему, посмотрел сквозь толстые очки голубоватыми глазами, спросил:

— По какому делу, извиняюсь, в город?

— На операцию. Попросили. Надо помочь, — охотно отозвался Танцырев. — А вы, если не секрет?

— А я просто так. Надоело там торчать. А что, сердце оперировать будете?

— Да. Девочка лет трех.

— Ясно, — сказал Жарников и вздохнул. — Меня вот всякие болячки стороной обходят, с медициной имею дело только косвенно. Вот больницу у себя построили. Хорошая больница. И врачи вроде бы нормальные. Иногда мне кровь портят, то денег просят, то за гигиену борются, — усмехнулся он. — Все так. И все же я думаю: серьезно прихватит — мало кто поможет.

— Это уж предубеждение.

— Нет, зачем же. Жена у меня от сердечного приступа скончалась. Несколько лет лечили, никто не помог. — Он задумался и произнес с трудом: — Человека нет, а все кажется, он только временно от тебя от-

был. Сейчас еще по ночам просыпаюсь, слышу, как она в тапочках по комнате ходит. А иногда бывает, засидишься на работе до одурения, посмотришь на телефон и подумаешь: «Что же она не звонит?» Так вот и живу. Привык к ней. Девять лет были вместе. Детей не завели, она не могла. А теперь вот ходит за мной тенью. Вам, наверное, это непонятно, вы ведь смертей много видите, в этом уже обычность есть.

Что-то было гнетущее в его словах. Танцырев неприятно поежился, подумал: врачи стараются об этом не говорить, все чувства прячут в себе, а наружу выступает только мысль: где была ошибка, — только эта мысль, и больше ничего, и так должно быть, если же отдашься чувству — не выдержишь встречи в морге с умершим, а главное, не сумеешь понять, где ты проиграл, а это нужно, чтоб такое не могло повториться. Все же этот человек говорил сейчас о другом, он говорил о смерти, которая касается тебя лично.

Однажды Танцырев думал об этом, он думал — нельзя людей приучать к мысли о неизбежности конца, она страшна тем, что вселяет покорность и самоотречение, делает все надежды несбыточными, а все порывы бесцельными, вера в эту мысль заранее ведет к поражению, потому глупо говорить: я ее не боюсь. Нет, что касается Танцырева, он боится; это вовсе не значит, что если смерть реально нависнет над тобой, то надо отбросить все человеческое и трусливо пятиться — это уж другое, то вопрос достоинства, — но он боится смерти, потому что твердо знает: за ней ничто. Если она придет, то можно желать лишь — пусть она будет краткой, длительная смерть — только продление невыносимых страданий.

«Веселый у нас разговор, веселые мысли, — подумал он с усмешкой. — И это перед операцией». Он тут же постарался сменить тему.

— Помнится, вы что-то о женщине говорили. Недосказали, кажется?

— Что о женщине, — хмуро ответил Жарников. — Была женщина.

— Ушла?

— Нет, и не ушла и не пришла. Наверное, мы разного поля ягоды. Не могу понять.

— Трудно без нее? — доверительно спросил Танцырев.

— Трудно, — признался Жарников. — И без нее трудно и с ней.

Этот темно-рыжий говорит загадками; впрочем, в парадоксальности его слов есть точность — что-то похожее происходит у Танцырева с Нелей; ведь когда ее нет рядом, он тоскует, ему явно не хватает ее, в то же время, когда она бывала рядом, в нем возникала злая обида, казалось — эта женщина механична, все у нее точно распределено, нет тех бурных порывов, к которым привык он, когда была Маша, и он с неприязнью думал о Неле: «Слишком мало женственности».

— Обычная ситуация, — ответил он. — Часто так бывает.

— Может быть, — сказал Жарников. — У меня раньше не было. Опыта не имею.

Все-таки этот темно-рыжий в табачном костюме нравился Танцыреву, была в нем приятная грубоватость, присущая натурам открытым и честным, странно, что он принял его с первого взгляда за какого-то дельца. Впрочем, он действительно оказался хозяйственным, но это еще ничего не значит, хозяйственник и делец — две разные категории, Танцырев убедился в этом после того, как принял клинику и нужно было добывать приборы, оборудование, все вплоть до пижам для больных. Некоторые из его коллег прибегали к помощи пробойных посредников; Танцырев, попробовав такой путь, быстро убедился: за что бы они ни брались, рано или поздно приносило одни неприятности, поэтому он послал этих посредников подальше, занялся всем сам — прямой путь оказался сложнее, зато если он приносил успех, то прочный. И по-

няв это, он проникся уважением к тем, кто был настоящим хозяйственником, то есть вел дело сам честно и открыто, хотя это было порой и невыносимо трудно.

Они подъехали к больничным воротам.

— Может быть, вас куда-нибудь подвезти? — спросил Танцырев.

— Не знаю, — ответил Жарников. — Пожалуй, не надо. Где-нибудь тут поброжу.

Танцырев подумал: а не взять ли его с собой, пусть посмотрит.

— Послушайте, — сказал он. — А не хотели бы вы взглянуть, как это делается? Если есть любопытство, то прошу. С нервами у вас ничего?

— Как будто нормально.

— Так что же?

Жарников ответил не сразу, докурил сигарету, тяжело выпустил струйку дыма.

— Идемте, если можно.

Они вышли из машины. На крыльце ожидал Ростовцев, пошел навстречу, улыбаясь, протягивая обе руки, одет был по-праздничному: в новенький темный костюм, в белой рубашке с галстуком.

— Ты, Володя, извини, я пригласил всех своих. Фонаря у нас нет, будут в операционной. Но ты не беспокойся, впрочем, сам знаешь...

«Все-таки это скверно, когда такое сборище. Не цирковое представление... Но что поделаешь, так было, так будет». И сказал:

— Вот знакомься, директор завода Михаил Степанович.

— Очень рад, очень рад, — закивал Ростовцев, он вел себя так, словно впереди была не работа, а торжественное собрание.

В кабинете их ожидало человек восемь, все молодые, бородатые, усатые: наверное, каждый старался выглядеть старше своих лет, все-таки хирурги, молодым больные не очень доверяют. Ростовцев представил их по очереди, и они тут же ушли. Танцырев заметил, как Жарников, с любопытством оглядывая кабинет, посмотрел на его портрет, удивленно вскинул брови, и Танцырев почувствовал гордость: «Пусть знает. — Но тут же упрекнул себя: — Опять мальчишество».

— Можешь переодеться, — сказал Ростовцев и отворил шкаф.

Танцырев снял с себя костюм, натянул приготовленные специально для него легкие пижамные шаровары, больничную рубашку, поверх нее халат, в предоперационной ему дадут другой. Вошла сестра, сказала:

— Все готово. Пора.

Прошли коридором; пока натягивал бахилы, менял халат, долго мыл руки, опять пришло волнение: нет, не надо было соглашаться, тетрада Фалло — опаснейший диагноз, а он десять дней не работал, после длительного перерыва всегда теряешь точность и надо начинать с операций полегче, да еще Ростовцев устроил тут целое представление. Мысли эти были никчемные, знал ведь — отказываться было нельзя, такие операции мало кто делал в стране, отказаться — потерять престиж, весть об этом быстро облетит медицинский мир; да врач и не имеет права отказываться — какой же он тогда, к черту, врач? Но вот уже завязана сестрой маска. Подняты руки в перчатках. Надо идти.

Больная на правом столе, лежит на боку, укрытая простыней, освобождено только операционное поле, сестра обкладывает его салфетками; привычный шумок измерительных приборов, ритмичная работа дыхательной машины. Он прошел к своему месту, не обращая ни на кого внимания, взял с сестринского столика скальпель. Теперь ничего не было, только этот почти квадратный участок тельца; сделал надрез осторожно мягким движением руки, девочка еще мала, все впереди, надо думать и об этом, не оставлять шрама на груди. Руки начали свою работу, другие руки помогали им; Танцырев не подавал команд, его понимали без

слов; да, хорошие ребята у Ростовцева, и он сам... Как всегда, во время операции в голову лезет всякая чепуха: интересно, о чем говорил вчера Петр с Машей, когда вернулся домой, как объяснил ей отказ Танцырева поехать к ним в дом. Вскрыта плевральная полость, пока все нормально, никаких неожиданностей, хотя легкие... Так о чем же они могли говорить?.. Внимание! Начинается главное. Руки все чувствуют, сейчас вся его энергия сосредоточена в них; вскрыт перикард, сердце обнажено... А где этот темно-рыжий? Надо ему показать, он ведь никогда не видел человеческого сердца, и, может быть, это для него единственный случай. Танцырев оглянулся. Жарников стоял у окна за сестринским столиком, лицо укрыто марлевой маской, видны только очки в золотистой оправе, розовый лоб с залысынами покрыт испариной, душно в операционной.

— Михаил Степанович,— позвал Танцырев. Жарникову дали подойти.— Взгляните, вот сердце..

Достаточно. Надо идти дальше, операция, по сути, только еще началась...

Жарников перешагнул порог операционной с холодком ужаса. Когда же началась молчаливая работа у стола, страх стал угасать, все делалось быстро, но без спешки, и он даже подумал: «Красивая работа». Но достаточно было увидеть под пальцем хирурга сердце и осознать, что оно существует не само по себе, а это обнаженное сердце девочки, лежащей на столе, укрытой простыней, как все сдвинулось, он едва удержался, чтобы тут же не упасть, похолодели виски, онемели кончики пальцев. Кто-то успел подхватить, вывел из операционной, резкий запах нашатыря привел его в себя. Жарников содрал бахилы, халат, прошел покачиваясь по коридору и, только когда опустился на влажную скамью в больничном скверике, вздохнул свободно и с наслаждением закурил.

«Да-а,— подумал он.— Вот это да-а, это ж какие нервы надо иметь».

Он почувствовал, что рядом с ним кто-то есть, обернулся и увидел женщину, костистые плечи ее были приподняты, руки лежали на коленях так, словно были отъединены от тела, взгляд зеленоватых глаз пуст, на простоватом лице безропотная покорность, будто внутри женщины что-то отмерло и она примирилась с этой потерей. Он угадал — это мать, только она могла сидеть здесь и ждать своей участи, только мать девочки, и Жарников понял, что женщина эта сама находится где-то сейчас на границе жизни и смерти и нет ничего страшнее ее ожидания. Он так это остро почувствовал, что снова перенесся мыслью в операционную, увидел стекающую по трубке кровь, пульсирующий темно-бурый комочек сердца; он знал то, что не знала эта женщина, он видел раскрытую рану на груди девочки, и ему сделалось по-настоящему страшно: «Не дай бог там что-нибудь случится» — и тут же подумал, что не только мать, но и он сам не выдержит, если произойдет в операционной самое страшное. «Сколько еще горя на земле. От одной природы сколько горя, да мы ещё друг дружке добавляем. За пустяк иногда так шарахнем, а он за сердце — и нет его. Потом все ахают: да кто же знал, что у него болезнь, крепкий был, не такие выговора получал...» Он вытер лицо влажным платком.

Ему внезапно вспомнилось, как на том заводе, где директором был Околичный, умер инженер Рыбак — худой, изможденный туберкулезом человек, все знали о его болезни, но забывали — он работал так, словно своей неистовостью хотел отделаться от недуга. Рыбак был сильным инженером, возглавлял группу по холоднокатаной трансформаторной стали, в которую входил и Жарников. И надо же было так случиться, что Рыбак попал под паршивое настроение Околичного, кажется, ему по какому-то поводу вломили в обкоме, и, как всегда, он отыгрывался на

подчиненных, раскричался на планерке, стал высмеивать Рыбака, а тот был не из тех, что спускают: «Завод не ваша вотчина, товарищ Околичный». Вот этого уж директор не мог простить: «Мы и премии даем, мы, если надо, и сечем. Зазнаек народ не потерпит». Бывали у Околичного вспышки и похуже, знали — директор погорячится, отойдет. Рыбак не выдержал, пришел к себе домой и умер. Смерть его потрясла тогда Жарникова, пожалуй, не столько смерть — Рыбак все же был очень больным человеком, — сколько похороны: на них собрался весь завод, все почитали инженера, знали, как много он сделал, а весть о том, что он испугался дать отпор на планерке Околичному, облетев заводских, еще больше возвысила Рыбака. Но Околичный ничего не понял или сделал вид, что ничего не понял, сам выступил с речью на могиле, приказал литейщикам отлить надгробие.

«От одной природы столько горя, а мы еще друг дружке добавляем». И опять всплыло перед ним лицо Нины. «А все же скотина я».

Наверное, он долго сидел на скамье, курил одну сигарету за другой, с дерева срывались капли на песчаную дорожку. Женщина ждала, и он ждал.

На крыльцо быстро вышел Танцырев, за ним, прихрамывая, Ростовцев, оба были без халатов, в костюмах, бегло оглядели скверик, остановились взглядом на женщине. Она порывисто поднялась, и Жарников вскочил вместе с ней. Женщина шла навстречу врачам, покорная скорбь лежала на ее лице, в пустых, оледеневших в зеленом блеске глазах затлела надежда. Жарников с напряжением ждал. Танцырев быстро шагнул к женщине, видимо, угадав, кто она, сказал:

— Все хорошо, девочка будет здорова.

Женщина остановилась, робкая надежда в ее взгляде сменилась недоверием, наверное, она так покорилась своей участи, так убедила себя в неизбежности самого страшного, что сразу не поверила случившемуся. Тогда Танцырев уже без той мягкости в голосе резко повторил:

— Девочка будет здорова.

На этот раз глаза ее ожили, наполнились влажным теплом, и женщина, вздрогнув костистыми плечами, выпрямилась, казалось, она вот-вот вскрикнет, но тень тяжелой горести упала ей на лицо, тень пережитого за день и за много других дней и ночей, но тут же исчезла, сменившись ответом радости; женщина облегченно заплакала и отвернулась.

Ростовцев подхватил ее под руку, провел к входу и там кликнул кого-то.

Жарников с благодарностью посмотрел на узкое осунувшееся лицо Танцырева, под глазами выступили нездоровые полукружия. «Слава богу, все хорошо...» Но тут же у Жарникова мелькнула мысль: а если бы все произошло не так, если бы девочку не спасли, смог бы этот хирург вот так, один на один, выйти к матери и сказать ей об этом? Любопытство Жарникова было так сильно, что он не сдержался и спросил:

— Владимир Алексеевич, а если бы... — Он не договорил, ему трудно было сейчас произнести слова о смерти. — Вы бы ей сказали?

— Если бы, если бы, — пробормотал Танцырев.

— А все-таки? — решил настоять на своем Жарников.

— Сказал бы, — раздраженно ответил Танцырев. — Куда денешься?

Жарников понял: он бы действительно сказал, может быть, уж не раз и говорил такое родным тех, кто погибал в операционной; и это показалось Жарникову страшным, он тут же разгадал смысл слов хирурга: в них таилась суровая честность его ремесла, а может быть, и других ремесел, суть ее в том, что как только мы начинаем обманывать тех, для кого творим, мы обманываем и себя; как ни горька истина, она должна быть сказана, иначе в тебе самом поселится ложь, она растет,

как опухоль, разъедает душу, вот почему сокрытие правды для мастера — начало конца.

— Вот так-то,— пробормотал Жарников, словно подводя черту.

Они сидели втроем в кабинете, на столе — кофе, бутылка коньяка, ломтики сыра. Жарников в разговоре не участвовал — речь шла о деталях операции, Танцырев же ловил себя на том, что пытался обращаться не к Ростовцеву с объяснением, а к этому темно-рыжему: уж очень он внимательно слушал их речь, насыщенную специальными терминами. Странно, что она его так заинтересовала, а может быть, сказалась директорская привычка — сидеть на совещаниях с видом полнейшей заинтересованности. Танцырев вместе с Ростовцевым проходили словесно весь ход операции, особо остановившись на том месте, когда все оказалось на грани. Танцырев успел ощутить, как жизнь начала угасать под его пальцами, но он не дал ей ускользнуть, а ведь еще бы немного... Ростовцеву нужен был детальный разбор, клиника готовилась к таким операциям, сколько же можно посылать больных в Новосибирск.

Танцырев не выпускал из поля зрения Жарникова. Все-таки он оказался любознательным человеком, это хорошо; а с нервами у него не очень, сестра сказала, что выволокла его в обмороке. Это бывает и с очень сильными людьми; как-то у них в операционной грохнулся с высокой подставки оператор со студии научно-популярных фильмов, его тут же потащили на второй стол, чтоб оказать первую помощь; почему-то этот случай до сих пор вызывает в клинике приступы смеха, хотя ничего веселого в нем нет.

— Ну вот и все,— сказал Ростовцев, отодвигая от себя записи.— Еще раз тебе спасибо, Володя. Мои ребята тоже тебе благодарны. Выпьем?

Едва они выпили по рюмке, как в дверь стукнули. Танцырев оглянулся и увидел Машу. Она шла к нему улыбаясь, он заметил: она еще больше пополнела, но теперь не казалась такой низенькой, как прежде, шла прямо, в легком костюмчике из голубоватой льняной ткани, с коротенькой юбкой, обнажавшей стройные ноги, от улыбки на ее тугих щеках образовались ямочки; ему всегда нравилось, как она улыбается. Танцырев тут же поднялся ей навстречу.

— Здравствуй,— сказала она, подставила щеку для поцелуя.— Решила сюда прийти, раз ты от меня скрываешься. Ты почему скрываешься?

Он поцеловал ее и рассмеялся:

— Нашел политическое убежище в кабинете твоего мужа.

Сказал и сам почувствовал — шутка не получилась; он стоял перед ней, стараясь скрыть растерянность, уж очень она неожиданно вошла и застала его врасплох.

— Выпьешь с нами? — спросил он.

— Нет. Я ведь с работы на минуточку. Испугалась: ты улетишь, а я так тебя и не увижу.

Он пододвинул ей стул, но она продолжала стоять, разглядывала его лицо, немножко щурилась при этом, потому что была близорука, хотя и не носила очков, но от этого взгляд ее становился таким, будто она целилась.

— А ты мало изменился, ни одного седого волосика. Наверное, тебе не верят, что ты профессор?

— А я скрываю,— попытался он отшутиться, ему было неловко, что она так смотрит: в комнате сидят Петр и Жарников.

— Ну вот что,— неожиданно сказал Ростовцев.— Не хотите ли, Михаил Степанович, клинику посмотреть? Может быть, пригодится вам. Наверное, ведь и заводская больница есть.

— Охотно,— тотчас отозвался Жарников.

Они шумно двинули стульями и прошли мимо Маши и Танцырева так, словно обогнули запретную зону, где надо было соблюдать осторожность. Маша по-прежнему стояла, разглядывая его, и он неожиданно почувствовал к ней нежность, четыре года он ее не видел, и вот теперь она была перед ним, первая его жена, теперь ставшая чужой.

— Ты стала совсем красивой,— сказал он тихо.

— Научился,— улыбнулась она.— Раньше ты не умел так говорить. Она тебя научила?

— Ревнуешь? — ласково усмехнулся он.

— А ты как думал! Я ведь ее никогда не видела. Кажется, ее зовут Неля? И еще я знаю — она биолог. Возится с дрозophilой. Видишь, сколько у меня сведений. Вполне достаточно, чтобы ревновать.

— Ты ведь любишь своего Ростовцева.

— А это не мешает.

— Значит, все-таки вспоминаешь?

— Конечно.

— А тот наш последний год вспоминаешь?

— Ты дурачок. В тот год ты мне больше всего и нравился, потому что был настоящим мужчиной, а не безразличным олухом, как раньше.

— Но ведь ты не осталась.

— Сам прогнал. Если бы очень захотел, именно тогда бы я и осталась.

Ему нравилось в ней сейчас все — и как она смотрела и как говорила.

— А ты все-таки зря вчера не приехал. Был отличный пирог с рыбой, не часто такой удается. Теперь будешь жалеть.

— Уже жалею.

— Ну вот,— вздохнула она.— Мне пора, ждут больные. Хорошо, что я тебя повидала.

Она быстро отвернулась, пошла к дверям.

В аэропорт их вез Ростовцев на своей «Волге»; едва выехали из города, как увидели — туман исчез с дороги, на нее упал косой луч солнца.

— Ну вот,— обрадованно сказал Танцырев,— кажется, есть шанс улететь.

Жарников напряженно смотрел в небо, сразу же стал прикидывать: если удастся сегодня вылететь, то, пожалуй, он сможет точно попасть к приезду Кирилла Максимовича. Видимо, Спешнев все подготовил, и тогда Жарников сам покажет завод заместителю министра. Так и не ясно до сих пор, зачем он едет, тут все может быть: и особый заказ вроде той трансформаторной стали на заводе, где директорствовал Околичный, тогда ведь тоже все произошло внезапно, из-за политической конъюнктуры: зарубежные поставщики отказали в этой стали, пришлось срочно создавать свою; может быть, заводу дадут иной профиль, а может быть, все дело в нем, в Жарникове, есть смысл куда-нибудь его перебросить, ведь все-таки при нем завод отлично справлялся с программой и Кирилл Максимович решил на месте ознакомиться с его работой; конечно же, все может быть, и Жарников должен находиться на заводе.

«Надо бы лететь, надо бы...» — думал он, в то же время рядом с этой четкой, трезвой мыслью возникала и другая, туманная, неясная, точившая изнутри,— слишком незавершенной была его поездка. «Да как же ее завершишь?» — раздраженно отвечал он себе и, чтоб отделаться от этого, начинал думать снова о заводе. Было ведь о чем подумать. Завод — не только цеха, это и поселок, столовые, Дом культуры, дом от-

дыха, ясли и больница... Конечно же, и больница. Хорошо, что он посмотрел сегодня, как все устроено у Ростовцева. Было на что посмотреть, в свою-то заводскую больницу он заглядывал раза три, не больше. Помните, главврач жаловался: оборудование у них старое, да и мало его, просил денег, а он отвечал, скупясь: «Все деньги просят, все мало. С деньгами каждый дурак комфорт устроит, а вы попробуйте поэкономней да повыше качеством. Внутренние ресурсы ищите». Глупости говорил, потому что думал тогда о цехах, а не о больнице, а там людей лечат... Вон они лежат у Ростовцева в палате — крохотные девочки и мальчики, еще и в школу не начали ходить, а уж негодное сердце, а эти вот ребята, врачи, делают из них здоровых людей. И получают ведь мало, у них в заводской больнице даже главный имеет ставку ниже сталеваара или прокатчика, а ведь шесть лет учился да годы практиковал...

«От одной природы сколько горя, а мы еще друг дружке добавляем». Когда он обходил с Ростовцевым палаты, то за ним потянулось воспоминание детства, все эти больные, лежащие на кроватях, игравшие в шахматы в столовой, напоминали ему других искалеченных людей: безногих и безруких, с рваными шрамами на груди и животах. В субботу в поселковой бане, когда был мужской день, он со страхом разглядывал этих людей, изувеченных войной, той самой войной, откуда не вернулся его отец. От взгляда на эти увечья во всем теле возникала боль. Сейчас все меньше и меньше остается людей, отмеченных ранами войны, они уходят из жизни, уходят все равно преждевременно, всю жизнь промаявшись от задевшего их куска металла. А ведь были такие дни, когда они жили, не думая, не гадая, что придется идти на поле сражения, все бросить, сменить нормальную жизнь со своими житейскими заботами во имя того, что зовется долгом, и жить в грязи, землянках, бежать на пулеметы и пули. Не думали, не гадали, а пришлось. Кто же может поручиться, что и Жарникову еще не придется? Ведь не стар.

Машина подъезжала к аэропорту. Жарников увидел площадь, по ней двигались торопливо люди, тащили чемоданы и рюкзаки; в парке за деревьями несколько парней сворачивали туристские палатки. «Значит, скоро лететь», — подумал Жарников, и тут же у него тоскливо, невыносимо тоскливо заняло сердце. «Куда... Куда лететь?» Еще не успела затормозить машина, как он понял, что в нем давно зрело решение и он только не в силах был признаться себе в этом, но оно созрело, и ему от него не отделаться. «Не могу я такой вот прилетать домой. Хоть тресни, не могу...» Он знал себя, знал — замучают по ночам Нинины глаза, все равно наступит срок, он не выдержит и снова помчится к ней; так зачем же откладывать этот срок? «Приеду к Нине, — думал он, — выложу все начистоту, не можем мы врозь. Когда она будет рядом, тогда и сумею понять ее... Да, может, и не нужно понимать друг дружку до конца. Настоящий человек — как бездонный колодец, ему нет завершения, как нет его у жизни... А завод? Спешнев покажет завод Кириллу Максимовичу. Потом вернусь, все расскажу по чести, пусть судят, должны же люди понимать такое, а если не поймут — для них же хуже, не для меня...»

— Прибыли, — сказал Ростовцев и остановил машину.

Жарников вышел, взглянул в небо и почувствовал легкость на душе. «Точка! — радостно подумал он. — Лечу к Нине, пусть хоть земля об небо стукнется...»

Ушли туманы — остатки разбившегося тайфуна «Клара», — с бетонных дорожек взлетали самолеты, оглашая торжествующим ревом пространство; редели длинные очереди у багажных стоек, разрушались

маленькие сообщества людей, созданные по воле случая на перекрестке воздушных дорог. Опустела и наша комната в летней гостинице; может быть, пройдет немного времени, здесь соберутся новые люди и произойдут новые истории, а те, кто покинул ее, по-разному отнесутся к случившемуся: одни его быстро забудут, других оно будет долго тревожить воспоминаниями, пережитое станет прошлым, каждый раз они будут открывать его заново, и, как всякое вновь открытое прошлое, оно будет спорить с настоящим.

Всего три дня было закрыто небо над аэропортом, но именно там я понял, что ожидание нельзя измерять почасовой или посуточной мерой, это не временная категория, а состояние души, потому для него не годится календарная система, как и любое другое измерение, для каждого человека оно имеет только свой, особый смысл, как надежда и вера.

Разлетались в разные края лайнеры, увозили людей...

Ростовцев, как только объявили посадку, сбегал к какому-то начальству и сумел посадить Танцырева в первый же самолет, отправляющийся рейсом на Москву. Все-таки есть нечто отличное в положении таких врачей, как Петр, от столичных; его действительно знает, наверное, полгорода, вся его жизнь проходит на глазах; больных, которых он оперировал, или их родных он может запросто встретить, прогуливаясь по улице.

Размышлять об этом, сидя в кресле, было приятно, размышлять и смотреть в ослепительную синеву неба, открывавшуюся над волнистым снеговым простором облаков. К Танцыреву пришло чувство освобождения, словно он вырвался из круга некой побочной жизни, начавшей его засасывать; теперь же впереди открывались привычные ему будни, по которым он начал тосковать, ведь в какой-то момент показалось: отход в сторону может длиться чуть ли не вечно и он так и не вернется к своему, настоящему. Прежде он и не предполагал, что может так тосковать по клинике, помощникам и дому, да, да, именно по дому: все-таки там было его убежище, где можно отойти от тяжелой работы и где ждала его Неля. Он знал — сейчас она волнуется, не раз звонила в клинику, чтобы проверить, есть ли от него вести; даже представил, как она говорила по телефону холодноватым голосом, за годы жизни с ним научилась скрывать свои чувства.

Табло «Не курить» погасло. Танцырев достал сигареты, тут же обнаружил, что у него нет спичек, приподнялся со своего места, чтоб у кого-нибудь прикурить. Через два ряда сидел, раскуривая трубку, бородатый человек в морском кителе, с очень ясными голубыми глазами. Танцырев сразу узнал его — это был тот судовой эскулап, что на вокзале посоветовал ему поискать пристанища. Бородатый тоже узнал Танцырева. Протягивая спички, сказал:

— Ну как, коллега, морской прогноз оказался точным?

— К сожалению, — ответил Танцырев.

— Это почему же? — рассмеялся бородатый. — Или бесполезно провели время? А я ведь видел вас с доктором Ростовцевым.

— Знакомы с ним?

— Стажировался у него. Между прочим, я и о вас наслышан был от него же. Честно говоря, не признал сначала. Доктор Ростовцев частенько на ваши работы любил ссылаться.

— Что же в судовые лекаря пошли?

— А из меня хирург дрянной получился. Таланта нет. К тому же я бродяга. У каждого свои радости.

— Может быть, — ответил Танцырев.

Ему льстило, что бородатый знал о нем, но возвращаться мыслями к Петру Ростовцеву не хотелось, все осталось позади, с него хватит.

— Если заскучаете, коллега, — сказал морячок, — рад буду побеседовать.

Танцырев сел в кресло, стал смотреть в окно, в синее солнечное небо и почувствовал: та легкость и освобождение, что пришли к нему, были разрушены. Напрасно он решил: все, что было в аэропорту и городе, осталось позади. Нет, все осталось в нем, и от этого никуда не деться. Как бы ни пытался он избавиться хотя бы от встречи с Петром Ростовцевым, она еще жила в нем и, наверное, долго будет жить. Он защищался от самого себя: «Мне все давалось не легко, Петр. Ты это знаешь. Голодное военное детство и студенчество, когда мы по ночам грузили уголь, чтобы было на что пообедать, хотя надо было беречь руки. Потом работа. Тебе ли это не знать? И вот когда было построено хоть какое-то здание, обретен покой, нужный только для того, чтобы еще больше отдаться работе, приходишь ты, мой друг, чтобы все разрушить. Твоим союзником становится самый близкий мне человек — Маша. Что мне оставалось? Отступить? Примириться с разрухой? Или же отстаивать завоеванное? Я выбрал последнее».

Но он и напал на себя: «Хотя тебе понадобилось выдворить меня из Москвы». И опять защищался: «Да! Цель тут оправдывала средства». И опять напал: «А тебе не приходило на ум: если приходится целью оправдывать средства, то есть что-то недостойное в самой цели?»

Нет, ничего такого у него не было с Петром Ростовцевым, тот сумел сказать ему лишь одно — он не забыл его злости; Маша забыла, даже сумела по-женски все обернуть в свою пользу, а Петр не забыл и никогда не забудет, хотя сделал все, чтобы отдать самую высокую дань его профессиональному мастерству.

«И не надо забывать, — беспощадно подумал Танцырев. — Не надо... Пусть мы устали от непримиримостей и крайностей, а забывать не надо. Я бы на месте Петра не забыл...»

Впереди много дел. Он вернется в клинику, начнутся операции, опять он будет приглушать перед ними нервную дрожь, не спать ночами, справляться о больных и думать, как избежать неудач. Да, у него есть работа. А что еще? Есть еще Неля... А когда-то была невысокая полненькая женщина, ее ласковый взгляд и поныне сохранил отблеск любви. Как же он потерял ее?.. Может быть, и в Неле он не понимал чего-то главного и опять в один из дней повторится то, что случилось у него с Машей: он вернется домой, а ее нет... Вот этого бы он не хотел. Возвращаться в пустую квартиру, слушать несуществующий скрип шагов. Кто ему говорил об этом? Ага, темно-рыжий, он же еще сказал, что до сих пор поглядывает на телефон: не позвонит ли жена, которой давно нет... А, черт, как все-таки хочется простой, бестревожной жизни, была бы работа, семья, дети... Ведь он любит детей, славно ладит с ними в клинике. Вот у Ростовцева сын, этому действительно можно по-настоящему позавидовать. Почему же ему раньше не пришла в голову такая обыкновенная мысль?..

Семен Артынов попал в самолет не сразу, пришлось пропустить три взлета. Ему досталось место в самом хвосте, кресла здесь стояли повыше, и он видел почти весь салон — женщины с детьми, морячки, студенты в форме строительных отрядов и множество другого народа. Только сейчас, когда самолет набрал высоту, он с тревогой подумал: а что же там ждет его, дома? До сих пор о нем кто-то постоянно заботился и контролировал поступки: до армии — отец и школа, а в армии — уставы и командиры, теперь же ему самому отвечать за себя; начнется

жизнь, подчиненная цели — обрести профессию, это на первых порах, потом появятся другие цели, и они будут диктовать; достаточно сделать выбор — и воляность остается позади, она исчезает вместе с ожиданием. Он весь отдался этим размышлениям и только мельком вспомнил о Лизе — она вылетела раньше него; Семен подумал: а ведь у нее все так же, те же заботы, впрочем, не только у нее, но и у Ирины, хотя та живет на острове, но стоит ей покинуть его и направиться в путь... Он встретил этих девушек, каждую из них пожалел по-своему, и каждая заняла в какой-то отрезок его жизни свое место в душе, может быть, что-то и оставила в ней, но теперь уж это было позади.

Андрей Воронистый полулежал, вытянув ноги, откинув спинку кресла до конца — так ему было удобней; он прикрыл глаза, намереваясь вздремнуть под однообразный гул двигателей, но вскоре понял, что это ему не удастся. Прошло часа три, как он расстался с Верой, ему не составило большого труда пробиться в самолет; он пошел напрямик к регистрационной стойке сразу же, как услышал объявление по радио, его пропустили вперед, несмотря на большую очередь, в толпе его узнали, и он невольно воспользовался этим. Прошло почти три часа, как Вера, метнувшись от него, исчезла, и его внезапно озарила догадка, что эта женщина, добивавшаяся его внимания, ждала от него совета, как всегда его ждут от тех, кто оказывается на виду; он не понял ее, и она оказалась обиженной. «Какая гадость вышла, — думал он. — Как же я сразу не заметил». Тут же он понял: даже не это было главным, а то, что она безмолвно попросила его защиты, а он остался глух. Он тут же начал искать оправдания — мол, был поглощен своими мыслями, — но это не успокоило. «А этот, в серой рубашке», — вспомнил он и тут же предоставил, как тот стоял против него, в острых глазах парня была радость. Андрей усмехнулся: ведь такого он пытался сыграть перед камерой в Находке. Возле вокзала на тротуаре по одну сторону стоял он сам, Андрей Воронистый, а по другую — созданный им характер; в любую секунду Андрей мог стать жертвой придуманного им героя... «Убив, убил себя». Он сразу же вообразил, как бы это могло случиться: нет, у этого парня в серой рубашке вряд ли бы остекленели глаза, и не стал бы он живым мертвецом, а просто бы перешагнул через свою жертву. Зло не виделось больше как нечто отвлеченное, оно имело плоть, ходило рядом, по пятам и не могло уничтожить себя. «Убив, убил себя». Формула оказалась ложной. А как радовались они в тот день в Находке, когда он сыграл это перед камерой, вся группа радовалась, считая, что наконец-то удача; а никакой удачи не было, он придумал эту историю, и сейчас, когда сравнивал ее с увиденным, все, что происходило на съемочной площадке, начинало выглядеть как спасительный обман, и сам, уверовав в него, он заставил поверить и других. «Вот так, — думал Андрей, — все разрушается, когда сам наталкиваешься на правду. От ума все делается, рассудком, а в жизни-то все сложнее, мы осколки подбираем». Всю работу надо было начинать сначала. С этим ясно. Но обращенный только к нему, просящий взгляд женщины...

Андрей неуютно заворочался в кресле и стал думать, как прилетит в Ленинград, пойдет на кладбище, отыщет могилу матери, потом ему снова придется лететь в Находку, там ждет группа... «Попал я в какой-то круг», — подумал он, и ему остро захотелось увидеть мать, будто с ней так ничего и не произошло; приехать домой, обнаружить ее сидящей за столом, раскладывающей карты в любимом пасьянсе; он даже вздрогнул от этого желания и прикусил до боли губу, поняв его неисполнимость. «А что я знал о ней?» Этот вопрос прозвучал в нем внезапно, и он тут же стал лихорадочно перебирать в памяти известное: гибель отца, ранение, одиночество, тоску по театру. А еще что? Она жила рядом с ним,

учила его, он искал у нее слова утешения; она всегда ждала его, иногда до глубокой ночи, когда он задерживался на съемках или уходил к кому-нибудь на квартиру после спектакля, где пили водку при свечах, заедая печенной в духовке картошкой, играли на гитаре, спорили, рассказывали веселые истории, — он любил эти пирушки, они были частью его жизни, отдыхом после труда; а мать жила, может быть, не только ожиданием его, были у нее подруги, соседка Надежда Степановна, да, видимо, и многое другое, этого он не знал и уж никогда не узнает. «Как же это так? Ведь она была самой близкой... Да я же в какой-то оболочке живу. Люди где-то рядом, только рядом...» И тут же опять ему вспомнилась Вера. «Может, поэтому-то и не понял. А ведь считаю — для таких, как она, и живу. И вот случилось — позвала, а не понял... Скверно-то как».

Вера летела в другом самолете, обида ее быстро прошла, ей было приятно в большом чистом салоне, где сидело много людей, она подумала об Андрее: «Плохо я сделала, убежала, не попрощалась, как дикая», но и эта мысль быстро забылась, она вспомнила, что все у нее впереди, поездка только началась, наверное, еще много интересного встретится. «Да и уже есть что рассказать девчатам. Подумать только — Воронистого повидала. А что еще будет?..»

Плыли лайнеры в небе, шло огромное передвижение людей, они встречались на перекрестках, томились в ожидании, порой не замечая, что не только дорога, но и дни остановок приносили им перемену; встречались, потом снова двигались своим путем, и расставания не всегда означали конец, они часто бывали только началом. Я прилетел на остров, поселился в растрескавшемся от частых землетрясений домике, у скалы, о которую с шипящим шумом разбивались волны. По вечерам с крыльца домика океан во мгле казался загадочным и изменчивым.

Иногда на крыльцо выходил лейтенант, муж той женщины со скуластым по-татарски лицом, которую видел я по утрам с девочкой на пепельном песке, он курил трубку, сосредоточенно пыхтел ею — в комнатах курить было нельзя — и говорил мне, что ехали они сюда с Украины, ехали поездом, потому что жена боится самолета, а потом теплоходом, долго ехали, но пройдет еще день-два — и он с семьей направится дальше, на другой конец острова, там они будут жить на заставе, и, заканчивая свой рассказ, вздыхал:

— Скорее бы...



ПЕТРУСЬ БРОВКА

★

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ

С белорусского

Моя весна — за дальней далью,
Осенний холодок в крови.
Под ветром дней пооблетали
Все листья с дерева любви,

Дрожат ветвей сухие пальцы,
В них жизненный скудеет сок.
Один листок еще остался —
Зеленый хрупкий огонек.

Мерцает он в дождливой хмури,
Порою погружаясь в сон.
Должна большая грянуть буря,
Чтоб напоследок вспыхнул он.



Рассвет, словно в явь превращенное
Завтра,
Льняную скатерку покрыл позолотой.
Не зря получила название з а в т р а к
Семейная трапеза перед работой.

Торжественность некая в этом обряде.
Сидишь за столом в окружении близких.
Горячие на сковородке оладьи,
Картофель рассыпчатый в глиняной миске.

Все подано вовремя, к раннему часу.
Кто солью картофелину посыпает,
Кто тянется кружкой к свежему квасу,
А кто молоком не спеша запивает.

Но вот и насытились все постепенно,
И старый и малый — за дело пора им.
А солнце в глазах отразилось. И стены
Окрасило охрой, задело их краем.

Горе от хвори, от горькой разлуки.
У горя — длинные руки.

Всюду настигнет, ворвется в жилище,
С вестью дурною в дороге разыщет.

Полные бед, эпидемий, разрухи,
У горя длинные руки.

Горе леса подожжет, не жалея,
Колос повалит рукой суховея.

Выдует зерна рукой ветровою,
Поле размочит рукой дождевою.

Вызвав подземные громы глухие,
Город разрушит рукою стихии.

Вооруженной рукой в озлобленье
В дальней стране расстреляет селенье.

Руки, что сеют пожары и штормы,—
Сколько их, грубых, хватистых, черных!

Горе, таящее кривду и муки...
Как бы отсечь ему длинные руки?

Березы — словно в небе звезды.
Я подсчитать их не берусь.
Для нас как матери и сестры
Твои березы, Беларусь.

Я не последний и не первый
Стихами воспеваю их.
Не меньше песен тех, наверно,
Чем листьев на ветвях густых.

Ах, если бы стихотворенье
Могло предотвратить урон
И отвести порой весенней
Топор, что в роще занесен!

Перевел Яков Хелемский.



ЛЕВ СЛАВИН

★

РОМАН С БАШНЕЙ

Рассказ

Начнем с того, что в 1970 году я прочел роман Курта Воннегута «Бойня № 5», где впервые пером писателя описана гибель Дрездена, как известно, разрушенного с воздуха американскими и английскими боевыми самолетами в течение трех суток в феврале 1945 года.

В том же 1970 году я приехал в Дрезден под сильным впечатлением от этого поразительного романа и подумал тогда, что Дрезден отныне город Воннегута, конечно, в том смысле, в каком Петербург — город Достоевского или Лондон — Диккенса.

Хотя должен сказать, что Воннегут видел не все. Он не видел, к примеру, печку, сделанную из полутонной фугаски. Признаться, и я не встречал раньше такого своеобразного использования боевого оружия. В дни войны мне приходилось видеть в окопах светильники из гильзы отстрелянного патрона крупнокалиберного пулемета, пепельницы — из поршня подбитого мотора, табакерки, выточенные из плексигласового купола рухнувшего самолета. Февраль — месяц холодный. Дрезденская жительница молодая девушка Марта Д. тщательно присматривалась к валявшимся вокруг фугаскам. Она не кинулась на первую попавшуюся. У нее был богатый выбор. Она нашла наконец бомбу с довольно прилично сохранившимся корпусом. Марта не смогла бы сказать, на какой улице она сделала эту приятную находку, потому что после ночи 13 февраля улицы в Дрездене потеряли свои очертания. Марта превратила эту бомбу — одну из тех, что убили в течение трех суток 135 тысяч ее сограждан, — в печь. Она спасла Марту от замерзания и сохранила ей жизнь. Я видел эту бомбу-печь в музее истории города Дрездена. Я с уважением смотрел на столь человеколюбивого убийцу.

Я видел также Марту Д.

Приехав в Дрезден, я поселился в реставрированной гостинице «Гевандхауз» возле ратуши, на цоколе которой видны шрамы от разрыва фугаски. Их ничего не стоило бы заделать, но они сохранены как память о тех диких февральских ночах.

Ратуша увенчана высокой башней, и надо сказать, что она страшно привязалась ко мне, как если бы она была не башней, а собакой. Ее старое каменное тело застилало почти весь проем моего окна, и с течением времени мне стало казаться, что она живет у меня в комнате. Поначалу было похоже, что она пытается занять должность моего личного будильника. Этот грандиозный будильник обладал двумя голосами. Четвертушки часов отбивал Маленький Колокол, очень, по-видимому, довольный своей самостоятельностью. Целые часы отбивал сам Большой Колокол. Все же Маленький успевал забегать вперед со своим

высокими звонкими взвизгами. А потом комната, улицы, город наливались глубокими голубыми вздохами Большого.

Когда я уходил из гостиницы, Башня следовала за мной с какой-то поистине собачьей верностью. И когда я оглядывался на нее, она мне дружески подмигивала своим большим сияющим глазом, на котором так отчетливо обозначалось время. Впоследствии я уехал из Дрездена в Эрфурт, мне было жаль расставаться с Башней, и я думал, что ей тоже жаль, и смутно надеялся, что она последует за мной.

Правда, в Эрфурте тоже оказалась башня. Но какая-то угрюмая, неуклюжая. И хотя она лезла из кожи (вероятно, правильнее сказать: лезла из камня), чтобы понравиться мне, в ней не хватало изящества, я сказал бы, светскости и уж никаких даже намеков на остроумие, которым так отличалась та, в Дрездене. Кроме того, в дрезденской была мощь, недаром она устояла, когда американцы и англичане с неба испепеляли город, и она пережила Гитлера, а до него Вильгельма II, и помнила еще то время, когда Германию называли страной философов и музыкантов.

Да, это у меня был, можно сказать, настоящий роман с Башней.

Однако я хочу рассказать и о другом романе, нет, не моем, а Марты Д., что я и выполню несколько позже.

Когда я выходил из отеля «Гевандхауз», я попадал на маленькую площадь, посреди которой бьет небольшой круглый фонтан. Она так соразмерна, эта площадь, так спокойна, так уютна, что кажется мне знаком этого города, наиболее чистым выражением его живой элегантной сущности. Я не уставал приходить сюда, иногда я присаживался на борт тихо журчащего фонтана, и неторопливое благоухающее спокойствие Дрездена входило в меня.

Дрезден называют северной Флоренцией, иногда немецкой Флоренцией, вероятно, потому, что здесь много искусства. По правде сказать, здесь, конечно, нет ничего равного флорентийской площади Синьории, и я ни за что не уподоблю горбатенький мост Понте-Веккьо над Арно, весь уставленный лавками ювелиров и сам словно выточенный ими, этому грохочущему железному хоботу над Эльбой, который дрезденцы самоупоенно прозвали «голубым чудом». Но все же, скажу еще раз, здесь много искусства, притом не только упрятого в музеи, но и на улицах, площадях, фронтонах домов. Сам город — произведение искусства, и это отличает его от Берлина, от его холодной величественности.

И это несмотря на то, что в центре города мрачнеею руины Королевского замка и церкви Фрауенкирхе. Из пустых оконных глазниц прет бурьян, какой-то невероятно пышный, древовидный, что ли. На втором этаже господь бог вырастил целый сад сорняков, устрашающую флору развалин... Но даже и это зрелище не в силах опровергнуть мягкую прелесть Дрездена. Может быть, это происходит потому, что трудно старому русскому солдату, оборонявшему свою землю в двух мировых войнах от бражеских нашествий, трудно, говорю, ему чрезмерно расстраиваться при виде следов былых сражений на чужой земле.

Кроме Марты, у меня не было в Дрездене знакомых, если не считать рафаэлевской Мадонны Сан-Систо, более известной под прозвищем Сикстинская мадонна, или, как ее у нас называли, Сикстинка. Но она так изменилась, товарищи! Летом 1955 года я видел ее в Москве в Музее имени Пушкина. Почему-то там она казалась шикарней. Такова, очевидно, сила первого впечатления. А здесь, у себя, она словно опустилась, потускнела, как это бывает с некоторыми женщинами, когда они возвращаются из гостей домой, стирают с лица румяна, перепрыгивают из вечернего туалета в затрапезный халатище и погружаются в кухонные заботы, даже не очень стесняясь присутствия посторонних — в

данном случае папы Сикста VI, святой Варвары и целого сонма чистеньких благовоспитанных ангелочков.

Марта была одной из немногих уцелевших жительниц Дрездена. Спасло ее, собственно говоря, то, что утром 13 февраля она поехала провести денек в предместье Дрездена — Вайсер Гирш. Погнала ее туда усталость. Усталость от войны. Правда, война долго щадила Дрезден. Его ведь ни разу не бомбили, и поэтому туда сбежалось множество народу со всей Германии — конечно, главным образом женщины, старики, дети. Еще инвалиды, которых тошнило при воспоминании об окопах. И еще раненые, их здесь кое-как заштопывали, чтобы поскорее отправить обратно на фронт. По пока что они резво притопывали за дамочками, и это от них тоже, и от дрезденского многолюдства, и от надоедливых поисков еды, и от мыслей о том, «что же, в конце концов, будет со всеми нами», бежала Марта Д. в хвойную тишину Вайсер Гирш (что означает Белый Олень), сейчас слегка припорошенную негустым снегом.

Здесь она увидела заколоченный ресторан, телефонную будку с оторванной трубой, отель, превращенный в госпиталь. На теннисной площадке был выстроен барак, где выдавали продукты по карточкам. Маленький кинотеатр был открыт, но он пустовал, всем надоели военные кинохроники. Кирха, стоявшая в самом парке, была закрыта, и непонятно, ведется ли в ней служба.

По аллее медлительно шагал худой старик в хорошо сохранившемся демисезонном пальто и широкополой бархатной шляпе, из-под которой торчали большие прозрачные уши. Шею его обнимал твердый стоячий воротничок, для военного времени довольно чистый, охваченный широким старомодным бантом. Старик торжественно нес свое значительное лицо с трагически изломанными бровями. Толстая нижняя губа его, несколько отвислая, шевелилась, словно он про себя сочинял стихи на ходу. Марте показалось, что он похож на капризного льва. Ей шепнули его имя: Гергарт Гауптман, знаменитый писатель. Он приехал сюда, потому что Дрезден и его окрестности — единственный тихий уголок во всей Германии.

Марта пошла за писателем как замороженная. Она знала, что хотя он остался в Германии, но не осрамил себя прислуживанием нацистам. Набравшись храбрости, она подошла к нему.

— Господин Гауптман...— сказала она.

Машинальным жестом воспитанного человека старик приподнял шляпу. Ветер тотчас взметнул его седую гриву.

Глотнув слюну, Марта преодолела спазму робости и продолжала:

— Я играла фею Раутенделейн в вашей пьесе «Потонувший колокол». В любительском кружке на фабрике... Ах, как это прекрасно... Простите, господин Гауптман, я просто хотела сказать, как мы любим ваши пьесы...

Гауптман наклонил голову и, как казалось Марте, внимательно и благосклонно прислушивается к ее словам. Воодушевленная этим, она решила спросить:

— Осмелюсь узнать, господин Гауптман, вы, вероятно, сейчас готовитесь порадовать немецкий народ какой-то новой...

Она не докончила, потому что Гауптман вдруг выдвинул из крахмального воротничка свою худую змеиную шею и резко проквакал:

— Кворракс! Кворракс! Бре-ке-ке-ке-кекс!

Девушка в панике бросилась бежать.

В феврале дни короткие. Марта легла спать рано в небольшой комнатке госпиталя, куда ее впустила знакомая монахиня-медсестра. Уже засыпая, Марта вспомнила, что эти странные лягушачьи звуки, которые издал знаменитый писатель, это ведь не что иное, как реплики

из «Потонувшего колокола». Ну конечно! Как она могла забыть! Их выкрикивает сказочный персонаж Водяной, обитающий на дне реки. Марта засмеялась и решила, что завтра же принесет извинения господину Гауптману за свое глупое поведение. Но она увидела его раньше.

Часов около одиннадцати ее вдруг разбудил глухой беспрерывный грохот. Она выбежала на террасу.

Вдали горел Дрезден.

Курт Воннегут приводит в своем замечательном романе цитату из предисловия американского генерала Айры Икера к книге англичанина Дэвида Эрвинга «Разрушение Дрездена»:

«Я глубоко сожалею, что бомбардировочная авиация Великобритании и США при налете убила 135 тысяч жителей Дрездена, но я не забываю, кто начал войну, и еще более сожалею о гибели более чем пяти миллионов жизней воинов в настойчивом стремлении союзников окончательно победить и бесповоротно уничтожить фашизм».

Хорошо. Допустим. Между прочим, не мешало бы этому генералу хотя бы упомянуть и о двадцати миллионах жизней, которые положил Советский Союз в борьбе с Гитлером.

Но я сейчас о другом. Я тоже хочу процитировать и тоже англичанина, очень известного английского военного историка Фуллера,— из его книги «Вторая мировая война»:

«В первую ночь (то есть 13 февраля.— Л. С.) 800 американских бомбардировщиков сбросили 650 тысяч зажигательных бомб вперемежку с четырех- и двухтонными фугасными бомбами. На следующий день американцы предприняли налет на город армадой, насчитывавшей 1350 бомбардировщиков и 900 истребителей сопровождения, и повторили его еще раз 15 февраля 1100 бомбардировщиками. В это время город был наполнен тысячами беженцев, пытавшихся спастись от армий маршала Конева. Началась ужасная кровавая бойня...»

Для чего она была учинена — эта кровавая бойня? Я продолжаю перестрелку цитат. Курт Воннегут цитирует второе предисловие к книге Дэвида Эрвинга, написанное британским маршалом Робертом Сондби:

«Никто не станет отрицать, что бомбардировка Дрездена была большой трагедией. Ни один человек, прочитавший эту книгу, не поверит, что это было необходимо с военной точки зрения».

То же утверждает и цитируемый мной автор, Фуллер, даже еще более веско:

«Предлогом для оправдания этого акта вандализма служило то, что союзникам якобы важно было помешать немцам использовать Дрезден, являвшийся важным узлом дорог, для спешной переброски войск с целью остановить русское наступление. Однако для того, чтобы парализовать работу этого узла дорог, достаточно было бы непрерывно бомбить выходы из города, другими словами, блокировать город с воздуха, а не засыпать его бомбами».

Но в чем же все-таки глубинная причина этого массового убийства, превзошедшего по количеству жертв Хиросиму?

Мой Фуллер видит ее в «варварской жажде разрушения». Курт-воннегутский Сондби полагает, что «это было страшное несчастье, какие иногда случаются в военное время, вызванное жестоким стечением обстоятельств. Санкционировавшие этот налет действовали не по злобе, не из жестокости...»

А из чего?

Пока Марта, и стоящий рядом с ней Гергарт Гауптман, и раненые, и монахини из госпиталя, и все прочие с ужасом смотрят на горящий Дрезден, а ураган, поднятый этим ливнем взрывов, доносит к ним из Дрездена, за 25 километров, обугленные клочья бумаги, и Гауптман, не отрывая глаз от этой гигантской жаровни, в которой выпекались десят-

ки тысяч людей, шепчет: «Кто научился плакать, тот снова научился, глядя на это...» — попытаемся разобраться, где же причина этого неистового налета на беззащитный город.

Дело в том, что как раз накануне закончилась Ялтинская конференция, участники ее, руководители антигитлеровской коалиции, еще не разъехались, и Черчилль, по чьему личному распоряжению и был учинен этот террористический налет, шмякнул на круглый стол только что закончившейся конференции испепеленный Дрезден как наглядное доказательство англо-американской воздушной мощи. Ну, к тому же не пренебрег еще и тем добавочным соображением, что к Дрездену приближаются советские армии,— зачем же отдавать России целенький город, кушайте развалины...

Примерно через полгода из тех же соображений была сброшена атомная бомба на Хиросиму. Сделавший это летчик Изерли сошел с ума. Летчики, бомбившие Дрезден, не сошли с ума. Их были тысячи. Ответственность за преступление была распылена. Каждый из этих тысяч Изерли рассуждал: «Я сбросил только мой скромный бомбовый паек. Остальное меня не касается...»

С Мартой и ее мужем я познакомился в кафе на площади Альт-марк. Я присел на свободное место за их столиком. Марта узнала во мне русского, мы разговорились, и она рассказала мне свою историю. Позже я был в их квартирке в одном из новых домов на Ленинградерштрассе. Муж работает в строительном комбинате. Это спокойный любезный толстяк, который обходится без шеи. Большая курчавая голова его сидит прямо на массивных плечах, и он вращает ею, словно она насажена на невидимый стержень. Его хобби — сочинение афоризмов. Он записывает их в тетрадь. Я списал некоторые из них, чем доставил ему большое удовольствие:

«Каждую минуту надо быть гениальным».

«Немцы не только фашисты и антифашисты. Как и во всем мире, были и просто обыватели, которые ради выгоды готовы стать либо ангелами, либо чертями».

«Зубные врачи искажают наши лица».

«Все мы бывшие дети».

«Когда говорят о ком-нибудь, что ничто человеческое ему не чуждо, то порой имеют в виду, что ему не чуждо как раз ничто животное».

Однако уцелев в Дрездене во время февральской бойни и не замерзнув благодаря печи-бомбе, Марта едва не погибла в мае 1945 года от руки нациста.

Когда передовые советские части подходили к Дрездену, навстречу им вышла группа антифашистов во главе с профессором Р. Фетшером. Они вышли приветствовать войска, освобождающие их от нацистской тирании. В этой группе была и Марта. Фашистские подонки, прятавшиеся в развалинах, стреляли им в спину. Профессор Фетшер был убит. Марта спаслась.

Ее сыну Вальтеру сейчас 24 года. Только недавно Марта открыла ему тайну его рождения. Она показала мне фото его отца. С полинялого снимка глянуло на меня скуластое лицо младшего сержанта инженерно-технических войск Семена Халютина. Нос короткий, глаза маленькие, да еще щурятся. Но, может быть, в прищуре и таится обаяние этого некрасивого лица, полного доброты и удачи. То был счастливый стремительный роман. Они решили пожениться немедленно после победы. Семен Халютин был убит миной, разорвавшейся под его руками, когда он разминировал здания побежденного Берлина.

Вальтер похож на отца, тот же короткий, как бы еще не вполне сформировавшийся нос, те же серые чуть прищуренные глаза, то же открытое веселое лицо. Когда Вальтер узнал, что его отец русский, он

был потрясен. Он не поверил в его смерть. Он вбил себе в голову, что настоящая фамилия его отца не Халютин, а Ханутин. До сих пор на одной из колонн дворца Цвингер в Дрездене видна надпись, сделанная когда-то советским сапером:

Музей проверен
Мин нет
Проверял ХАНУТИН

И Вальтер поехал в Россию искать отца. Он вообразил, что этот Халютин-Ханутин страдает от невоплощенного чувства отцовской любви. Бродя по Москве, он был уверен, что отец и он не раз сталкиваются в уличной толпе, может быть, соприкасаются локтями и расходятся, не узнав друг друга. Но хотя Вальтер и не встретил отца, он нашел нечто для него не менее важное: в душу к нему хлынула Россия. Да, Россия с ее лесами и широкими поймами, с ее болями и надеждами, иконами и луноходами, с ее добродушием и щедростью, и Достоевским, и Василием Блаженным, с ее беспечностью, и ухарством, и терпеливостью, с ее ржаным хлебом с розовыми пятнышками тмина, страшно вкусным, с Инной Чуриковой, московской Жанной д'Арк, вдохновенной русской мужичкой, о которой Вальтер подумал, что, повзрослей она столетий так на два, она стала бы боярыней Морозовой, а в XIX веке — Софьей Перовской, а в войну — Зоей Космодемьянской...

Курт Воннегут вспоминает в своем романе, что президент Трумэн, сбросив на Хиросиму атомную бомбу, заявил:

«Японцы начали войну нападением на Пирл-Харбор. Они получили стократное возмездие».

А вот Дрезден отомстил своим убийцам тем, что возродился. Это тоже возмездие, и в нем есть благородство. Быть может, это единственная достойная человека форма отмщения. Самые руины среди возрожденного города как бы говорят: всякое злодеяние не только отвратительно, но и бесполезно.

Вот почему вместо разочарования жизнью, которое ощутил здесь Курт Воннегут, я, бродя по Дрездену, по его радостным улицам, словно прорубленным в огромном кристалле света, ощутил очарование жизнью. Мне не хватило рук, чтобы обнять на прощанье каменный торс моей милой старой Башни. Я только помахал ей рукой, и она подмигнула мне своим сияющим глазом совершенно по-заговорщицки.



ИВАН АКУЛОВ

★

УГОЛЕК

Рассказ.

Малахову не понравились все трое, потому и говорил с ними сердито, неуступчиво, и скажи бы они, что уходят, не стал бы держать: идите, откуда пришли, в другом месте ищите простаков. Они же много перевидали таких, как Малахов, и вели себя с упрямой степенью, сознавая, что ему без них не обойтись: позовет не сегодня — так завтра. Цену сразу положили большую и тоже ни рубля не хотели скотить, рядились не как частники. Косарев, старший артельщик, в заношенном, истончившемся полушубке под широким твердым ремнем, сидел у председательского стола и катал в куцых пальцах папиросу, обсыпая полы своего полушубка табаком. Не поднимал глаз на Малахова, вроде смущался, но гнул свое:

— Гордей Иванович, нам иначе нельзя. Везде так. Это только кажется — гребем. При нашей работе на одних харчах что проешь! А домой? Ты ведь нам мяса да молока дешевле других не продашь?

— Не продам.

— Вот то-то и оно. Значит, сколь положили, столь и положили. Лишку не берем. Лишку нам не надо. Зачем нам лишку...

Старший артельщик Косарев — говорун плохой, запутался на последнем слове, совсем потупил глаза и начал толстой ладонью разглаживать на столе вытертое и пропыленное сукно. Подождал, что скажет председатель. Но председатель молчал. И тогда стоявший у косяка с шапкой в руках Братанов, рослый, молодой, начисто облысевший, ядерно-красный, с синими детскими глазами, заговорил, все более краснея от раздражения и обращаясь к Косареву, будто тут не было председателя:

— Ты, Михаил, ему скажи, мы не застрахованы. Случись с нами какая штука — он в стороне. Я, может, невзначай, а может, шутя, любя, нарочно себе ногу оттяпаю, и никто мне не заплатит. Скажи это ему, Михаил.

— Чего ж сказывать, — шевельнул Косарев плечом. — Чего сказывать — он сам не глухой.

У залощенной до блеска теплой печки на стуле сидел третий, Иван Квасоваров. Положив ногу на ногу, он читал замусоленный журнал «Свиноводство», сильно сминая непривычными пальцами и без того мятые страницы. Листал он его уже не по первому разу и ни на чем не мог остановиться и ничего не запомнил. Ему было лет под сорок. Он сух, черняв, будто подвялен, под коричневой крепкой кожей каменели крупные желваки, делающие лицо его азиатским и жестким. Он не сказал еще ни слова, но в том, как он без внимания листал журнал, в том,

как выжидательно косились на него Косарев, старший артельщик, и молодой плотник, председатель Малахов угадывал, что сухопарый и есть главная фигура в наемной бригаде. Малахов вообще не любил таких поджарых, как Квасоваров, у которых почему-то не растет борода, но зато они очень самоуверенны, то ли от крепкого здоровья, то ли от глупости.

— Нам иначе нельзя,— опять пошевелил плечом Косарев и, вздохнув, поскреб заросшую седой запущенной бородой щеку.

Малахов, не поднимаясь с места, дотянулся до своей суконной фуражки, опрокинутой на подоконнике, приготовился надеть ее, держа в обеих руках за козырек и узкий засаленный околыш.

— Жили мы, мужики, без вас и еще проживем. А кто вас набаловал рублем — руки бы тому оборвать.

— Ты, Михаил, ему скажи,— волнуясь и краснея, снова заговорил молодой плотник и сердито нахлобучил шапку, став вдруг меньше ростом, будто осел.— Скажи ему, в «Калининце» мы поставили коровник, там молиться на нас собирались...

— Так уж и молиться? — Малахов поглядел сперва на молодого плотника, потом на Квасоварова.— Небось всю наличность в колхозе забрали?

Квасоваров вдруг свернул журнал трубкой, сунул его на стол и твердым взглядом своих глаз в смуглых тонких веках уставился на Малахова:

— Мы, товарищ председатель, в чужих карманах денег не считаем.

Малахов будто не слышал слов Квасоварова, надел фуражку, натянул козырек до бровей, достал из кармана связку ключей, звякнул ими, и старший артельщик Михаил Косарев понял, что пора выметаться, встал, одергивая полушубок, покосился на Квасоварова. «Пришел просить работу, а ведет себя, как хозяин», — обиженно подумалось Малахову, и он заключил, сожалеюще причмокнув губами:

— Всё, мужики, будем считать, что не спелись. Других поищем, подешевле. Я думаю, найдутся.

— Как не найтись,— спокойно, явно тая иронию, согласился Квасоваров и вышел из кабинета, не простившись. Вышли Косарев и Братанов, тоже не простившись. Малахов остался сидеть, в фуражке, с ключами в руке, все же не уверенный до конца, правильно ли поступил, выставив плотников: к осени без ругани, без нарядов срубили бы они колхозу свинарник, а деньги — что, они как вода: пришли, ушли и опять пришли. Он вскочил и бросился было останавливать артельщиков, но у дверей замешкался, постоял немного и отошел к окну. Плотники шаг в шаг, гуськом, переходили дорогу. Первым шел Косарев, сутулясь, не двигая прижатыми локтями. Перед тем как ступить на коричневый и вспученный морозом лед в широкой канаве, попробовал его подшитым валенком и повернул к мосточку. Двое других тоже повернули за ним. Шагали они деловито, без разговоров и, такие разные, чем-то были похожи друг на друга. «Обнаглели, шабашники,— возмущался Малахов оттого, что плотники взяли и ушли.— Ведь вот до чего дожили, не к тебе работник, а ты к нему. Встали и ушли, будто у них десятки приглашений и подрядов. Ну, обнаглели... М-да...»

Малахов далеко провожал взглядом плотников, до самого поворота, и потому видел, как они остановились у обшарпанной церкви, заселенной нелюдными галками. Квасоваров, закинув голову, указывал товарищам на голый обрешетник купола, потом широко разводил руками, будто беремья соломы нес, наклонялся то влево, то вправо и опять указывал вверх, только уже не на купол, а на лепной полуотбитый карниз. «Зря я им отказал», — окончательно передумал председатель и крикнул:

— Жигалев!

Шофер Жигалев всегда сидел в коридоре на окне, поставив одну ногу на широкий подоконник и обняв колено сомкнутыми в замок руками. «Вывалишь вот раму-то — другого места не нашел», — ругали конторские счетоводы Жигалева, но он невозмутимо сидел на облюбованном месте, глядел на улицу и ждал, когда председатель потребует к делу.

— Слушаю, — лениво и не сразу отозвался Жигалев и широко растворил дверь, не собираясь входить.

— Плотники от меня вышли, трое. Догони их.

— Какие были?

— Пусть вернутся.

Не прикрыв дверь, Жигалев вразвалочку пошел на улицу, говоря чересчур громко, с явным намерением, чтобы слышал председатель:

— Давай, давай, швыряй им, живоглотам...

Малахов вернулся за стол, без надобности открыл и закрыл выдвижной ящик, расправил свернутый в трубку журнал, смуро думая: «Строить надо, а рук своих нету. Перевелись мастеровые руки. Нанял — живые денежки ушли на сторону, и всякий-каждый торопится с попреком: бездомово хозяйствуем...»

Отворилась дверь, и вошел Жигалев, плосколицый, с вдавленной переносицей.

— У меня баки порожние...

— Плотников вернул?

— Они не больно-то обрадовались.

— Не на свадьбу приглашаем, само собой.

— Да и вообще. Разбогатели мы шибко, Гордей Иванович: милости прошу на нашу лапшу, наша лапша для всех хороша. А они еще жмутся — хочу да не хочу: жулье.

— Ты мне делом ответь, вернул их?

— После обеда, сказали, придут сами. Сейчас они пошли в лавку. Водку ж привезли Настасье: вот налимонятся, так жди их.

— На этих не похоже, чтоб пили, — неожиданно для себя защитил шабашников председатель и, как бы оправдываясь, объявил: — Узнаю, что пьют, — на порог не пушу.

— Баки у меня пустые, и Степка капли не дает: жгем вроде больше всякой нормы. Вот и выходит, копим крохами, а валим ворами.

Малахов руководит большим хозяйством и многих мелочей не замечает за людьми, старается не знать пересудов и слухов, но на этот раз Жигалев своим упреком рассердил председателя.

— У тебя, Жигалев, пацан день-деньской гоняет на мотоцикле, а много ли ты покупал горючего для него?

— Народ наболтает.

— Много, спрашиваю, покупал? При чем тут народ? Вот, Жигалев, в этом и беда наша: у хлеба-де не без крошек.

— Я же и в виноватых.

— В такой же степени, Жигалев, как и шабашники. Каждый — себе.

— Это же жулики, грабители. Мыслимо ли, на круг сорок рублей без малого поденщина обходится?

— Да вот мыслимо, оказывается. И свинарник обойдется дешевле, нежели самим строить.

— Да ты это что говоришь, Гордей Иванович?

— То, что слышишь. Дешевле. Могу я, скажем, заставить своих работать по пятнадцать — шестнадцать часов в сутки? Ну вот тебя, к примеру?

— За деньги-то как поди.

— Берись. Ну?

— Я не плотник. Эх, Гордей Иванович, взялся бы я с тобой спорить, да уж ты такой человек — все равно оборешь. Вот поддернул пацана моего, а к чему?

— Иди, Жигалев, в бухгалтерию, выписывай накладную на горячее. Подпишу я ее, и поедем в «Калининец», посмотрим, что они построили там. Может, и в самом деле их гнать надо. А может, в ноги им поклонимся.

«Ну язва, будь он проклят,— ругался про себя Жигалев, выходя от председателя.— Сравнял меня с шабашниками. «Каждый — себе». Нет, скажи, как у него это просто: я пацану плеснул ложку горячего, так он высказался. А этих живодеров приголубит — ведь они колхоз до костей обсосут. Ну, Гордей Иванович, погоди...»

Минут через сорок они выехали в Гальяново, в колхоз «Калининец», молчаливые, не милы друг другу до крайности. Председатель всем, сердцем хотел, чтобы коровник оказался хорошей и добротной постройкой, а Жигалев, уж и сам не знал почему, со скрытой радостью надеялся, что пьяницы-плотники ничего путного сделать не могли. Когда проезжали мимо магазина, то увидели плотников: те сидели на высокой завалинке и грелись на мартовском, скудном еще солнышке, пережидая обеденный перерыв. Перед ними стояла Онька Маленькая в плюшевом жакетике и ярко-зеленой юбочке, туго натянутой на широкие бедра. Онька была весела и, откинув назад голову, весело взмахивала вязаными рукавичками. Малахов, увидев эту картину, отвернулся и готов был вообще не ездить в Гальяново, но ничего не сказал. Да Жигалев и без того понял председателя, потому и взбодрился, заныл:

— Эти поработают, раз с Онькой заперемигивались. Надо же, как это у них все ловко-то выходит: и Онька уже тут. Живут люди. А ты ишачишь день и ночь, и слова доброго никто тебе не скажет.

Вернулись домой уже по сумеркам. Даже в колхозной конторе никого не было. Жигалев угнал машину в гараж, а Малахов, постояв у конторы, пошел к магазину, чтобы узнать, где остановились пришлые плотники. В магазине, с низким, покрашенным грязными белилами потолком, пахло подсолнечным маслом, кислым разливным вином и земляничным мылом. У прилавка стояло человек пять, и по-стародавнему зазывно звенели медные чашки весов. Как только вошел председатель, сторожиха заложила в дверную ручку обглоданную палку и закричала кому-то через дверь:

— Заперто уж.

Последним в очереди стоял старший артельщик Михаил Косарев в своем полушубке распяской, отчего полушубок высоко задрался на спине. Уж только по этому Малахов заключил, что плотник пьян, и хотел уйти, но Косарев заметил его и, выставив на прилавок две пустые бутылки, заговорил:

— По вашей милости, Гордей Иванович, ночевать остались. А точные нам выплатишь?

— Пропьете все равно.

— Куда ж деться, душа, как и брюхо, тоже своего просит.

— Где вы остановились?

— А вот, как ее?..

— У Оньки,— подсказала сторожиха, придерживая запор.

— Ну зачем же так.— Косарев коротко и осуждающе глянул на сторожиху и, подвинув по прилавку бутылки, продолжал: — Анисья Николаевна приютила. Женщина она молодая, но душевная. Мы ведь не любители этого,— Косарев указал виноватым глазом на бутылки,— это

уж по нужде. Все по нужде делается. А мы вот и веселимся по нужде. Нужда... гм...

Косарев запутался на слове, пошевелил плечами.

— Тебе чего? — спросила его продавщица. — Ну, право, вина, что ли, еще?

— Его самого. Солярки этой — две бутылки.

— Брал бы уж больше. Все равно не хватит.

— Нам хватит. Мы не жадные.

— Глядите-ка, какие они, — продавщица улыбнулась председателю и стала наливать в бутылки Косарева черную густую жидкость.

Когда вышли на крылечко, председатель сказал:

— Ты не забудешь? Не заспишь? Завтра к семи утра жду вас.

— Пропустословим, Гордей Иванович, а нам время — деньги.

— Съездил я в «Калиинец», поглядел вашу работу: и рад бы придраться, да не к чему.

— Руками сделано, а, Гордей Иванович? — чуть не всхлипнул Косарев.

— Лес тонковат только.

— Ох ты, отец родной, — Косарев суетливо поставил бутылки на завалинку и, прижимая руки к груди, совсем растрогался. — Отец ты мой родной, Гордей Иванович, я ли не говорил хозяевам. А мороки-то что было! Все понимают, все соглашаются... Гордей Иванович, может, ты зайдешь? Тут недалеконько. Тополя, овражек...

— Сегодня не пойду.

— Конечно, конечно, вот, скажут, стакнулся уж с шабашниками. Конечно. — Косарев взял бутылки и пошел по дороге. Полушубок на нем задирался сзади, и походило, что Косарев был очень сутул.

Затяжной мартовский вечер совсем на исходе. Темное небо с частым высевом звезд и едва приметным светом ислетшей закатной зари было нехолодным и близким к земле, будто и лежало оно своими краями где-то совсем рядом, за околицей. Мягко похрустывал снег. Подвинулись вроде к дороге, потеплели как-то вкрадчиво тополя на кромке оврага. Дорога и снег, даже изгородь, спускающаяся в овраг, и кустарник на той стороне, едва-едва различимый, — все казалось потаенно живым и чутким.

«И всегда-то так, — бодро думал Косарев, выбираясь из оврага и совсем не чувствуя, как зашлись его голые руки на стылом стекле бутылки. — Всегда-то так, вдруг — и пришла. Еще и снег хрусткой, и морозец жмет — я те дам, а она своим скрадом, по-за деревьями, по овражкам да кустикам и запохаживает, и запохаживает. И ночью все. Ночью... «И рад бы придраться, — говорит, — да не к чему». Вот в том-то и дело, Гордей Иванович, что не к чему. По-другому, Гордей Иванович, мы не можем. А лес тонок. Заметил. Ну — дока! Вот и гляди, у тебя б такого не было. Тонкий лес, считай, двойная работа. Крупную лесину вкатил — на глаз даже прибыльно...»

Дом Анисьи тремя окнами выходил на дорогу, и все три окна светились очень ярко, потому что были задернуты какими-то красными занавесками. В палисаднике, забитом алым снегом, загадочно темнела не то рябина, не то черемуха. Глядя на деревцо, Косарев опять подумал о весне и плечом толкнул ворота.

На крыльце стоял Квасоваров и дрог по нужде в одной рубашке. Застегнув штаны, открыл перед Косаревым дверь:

— Тебя за смертью посылать.

Слепой от света, оскальзываясь на крашенных половицах подстившим валенками, Косарев прошел к столу и поставил на кромочку бу-

тылки, уж успевшие запотеть в тепле. Начал раздеваться, с болью разгибая окоченевшие пальцы. Зябко шмыгал носом.

Квасоваров сразу, видимо, продолжая прежнее дело, принялся щепать лучину на пороге кухонной двери. Щепал он прямослойное березовое полено, зажав его ступнями. Толстый кованый нож легко, с сочным пощелкиванием драл древесину, и гнутые упругие лучинки далеко разлетались по полу. Квасоваров сгребал их в кучу и приговаривал:

— Одного, много — двух поленьев на все варево хватит.

Братанов и Анисья сидели за столом и стряпали пельмени. У Братанова пальцы толстые, ногти с полтинник, а пельмени он вертит ловко, играючи, кажется, сами они плывут у него из рук на доску, застланную холщовым полотенцем. Анисье уж больно по душе эти налитые силой молодые руки, которые с трогательной бережью лепят пельмени и ровными рядками, один к одному, укладывают их на чистый холст. Анисья не слышала, что сказал Квасоваров, не слышала, как кряхтел и охал Косарев, разминаясь с мороза, — она думала о чем-то своем, и обветренные губы ее были все время приоткрыты в безотчетной улыбке.

Косарев подошел к столу, сел на скрипучий стул, но тут же приподнялся опасно.

— Садись, садись, — повеселела Анисья, и руки ее снова задвигались. — Он, окаянный, уж сто лет скрипит. Давно бы выбросила, да материно, не дает. Вон и шкафишко бы исщепать надо.

Косарев взял бутылку с вином за самое горлышко, понюхал из кулака:

— Голимый карасин.

— А что ты думаешь, — поддакнула Анисья, — взяли да бахнули в мазутную цистерну и — к нам.

— Да нет, — возразил Косарев с серьезным видом, — просто уж такое паршивое вино. — Он убрал со стола бутылки и поставил их на окно за занавеску.

— Ну вот, мужики, председатель велел завтра к семи утра в контору.

— Видел, что ли?

— Видел. Хоть провались со стыда: на полке водка стоит, а я беру эту, прости господи, косорыловку.

Квасоваров бросил нож на лучину и зло усмехнулся.

— Ну, скажет, послал господь брандахлыстов. Пропились, родимые, до ручки. Работу нашу в «Калининце» похвалил. Ездил он туда. Я думаю, нарочно.

— Похвалил, говоришь? — встряхнулся как-то весь Квасоваров. — Что же ты тянешь? Как он сказал?

— И рад бы-де придраться, да не к чему.

— А еще?

— А лес, говорит, тонок.

— Это не наше дело, что лесишко неказистый. Давай, Митя, крути-накручивай. Значит, не зря мы тут, — похлопал по плечу Братанова.

— По такому делу и водочки б не грех взять, — подсказала Анисья. — Достряпаем, и я сбегаю. Настюха иногда берет домой. А живет она тут, прямо за овражком.

— Ты, Анисья Николаевна, одна живешь? — спросил Косарев, приглядевшись к женщине, и начал гладить бороду, обнимая большой ладонью чуть ли не все лицо.

— Если б одна. Свекровка есть. Муж.

— Где ж они?

— Свекровка на свадьбе в Мостовой, любит сватя почужу шастать. Стряпать она мастерица — вот и возят ее. Есть от кого ездить:

Онька приберет, Онька вымоет, Онька скотину управит, а еще огородишко. Работу в колхозе я уж не беру. Муж тоже дома не живет. Колхоз в городе квартиру заезжую держит, так он, Николай мой, при ней: топит, караулит, ворота отпирает да запирает.

— Не боишься, что испортится на стороне?

— Он у нас смирный. А я ему самая любящая.

Косарев удовлетворенно хмыкнул:

— Что же он тебя к себе не возьмет?

— А дом, хозяйство — на кого? Он звал, да что я там забыла? Здесь я с пяти утра и до ночи при деле. Как встала, так и пошла по кругу.

— А и мастер ты поболтать, — с укоризной сказал Братанов хозяйке.

— Люблю, — весело согласилась она. — Вообще люблю общество. А уж поговорить само собой. С добрыми людьми и выпить умею.

— А сочни кто за тебя будет катать?

— Батюшки светя! — воскликнула Анисья, увидев, что у Братанова кончились сочни. — Винюсь, винюсь. — Она начала быстро катать скалку, с красивой женской неловкостью приподняв над столом локти. Братанов отряхнул муку с рук и, как всякий крупный человек, опасаясь что-нибудь зацепить, вылез из-за стола.

— По сорок штук на брата есть. Еще десятка по два и с хлебом — по уши.

— Сосчитал уж, — заметил Квасоваров.

— Пельмени всегда надо считать, еда праздничная.

Гремя заслонкой, Братанов достал из загнетки уголек и, втиснувшись обратно за стол, застряпал уголь в пельмень.

— Это еще зачем? — удивилась Анисья, даже скалку из рук выронила. — Отравить нас собрался?

Косарев, крутя косматой головой и смеясь, поднялся, ушел к порогу курить, а на его место сел Квасоваров, прилаживаясь напильником к затупленному и выщербленному хозяйскому ножу:

— Про вас здешних, верхотурских, правду рассказывают, что вы на болоте завелись. У вас тут все не как у людей: лепешки называете блинами, блины оладьями, обливные булочки шаньгами.

— Да уж наскажешь. — Анисья недоверчиво поглядела на Квасоварова и поджала губы.

— Где ты видела, чтобы пельмени да были без угля? Без угля ты их живьем глотать станешь — пойдешь про тебя напасись. А с угольком каждый пельмешек зубом ощупаешь. Не быстро, значит.

Косарев улыбнулся:

— Я думаю, как он его повернет, этот уголь? А ты погляди, он его приспособил. А у нас не так говорят. Кому попадет пельмень с углем, тот и счастливый. Бывает — слышишь, Анисья Николаевна? — бывает, живет человек, всю свою жизнь изживает, а знать не знает, счастливый он или несчастливый. А уж если пельмень с угольком выловил — тут сомнения нет. Тут все ясно. Тут какое еще сомнение...

— Все, — объявил Братанов и опять отряхнул с рук муку. — Михаил, бери пельмени и неси на мороз.

— Мы же их будем варить сейчас. Зачем на улицу-то? — оторопела Анисья.

Братанов вообще не отвечал на вопросы Анисьи, а Квасоваров и Косарев не знали на этот раз, что сказать. Однако Косарев взял доску и осторожно понес ее на вытянутых руках; Квасоваров распахнул перед ним дверь. Пельмени вынесли на крыльцо.

Анисья прибрала стол, начерпала в чугунок воды.

— Квасоваров, ты щепал лучину — разводи огонь. А я сбегаю к Настюхе. Чего уж там, давайте деньги.

Мужики молчали.

— Настюха — моя подруга. В ночь, полночь... — Надевая шаль и обматывая концы ее вокруг шеи, наказывала еще: — Ты, Квасоваров, трубу шибко не открывай, тяга и без того — горшки выдергивает. Пельмени-то вовсе, что ли, вынесли?

— На крыльцо.

— Лешак вас задави, там же собака!

Все четверо, даже Квасоваров с кухни, бросились к двери. В сутолоке хозяйка кулаком плашмя лупила Братанова по жилистой спине:

— Это ты все, ты, ты...

В холстине света, падавшего на крыльцо через настежь открытые двери, увидели доску с полотенцем и пельменями: никто их не потревожил, но доску занесли в сенки и сенки заперли.

Квасоваров сказал:

— За водкой, Анисья Николаевна, не пойдешь.

— Да вы что, мужики? Ну нет денег — на свои возьму. Потом отдадите.

— Деньжонки есть. Есть деньжонки. Без деньжонок как нам...

Анисья натянула на плечи телогрейку — стала совсем круглой, веселая от своей решимости, шагнула к двери. Братанов заступил ей дорогу:

— Мы не из скромных и на дармовщинку да под хороший закус многолько вздымем. А какой у нас праздник? Утром нам в контору, слышала ведь? Да и возьмишь ты у ней полбанки, а завтра по всему селу: шабашники всю ночь гудели — Настю с постели подняли.

— Уж это как пить дать, — согласилась Анисья и задумалась, растегивая пуговицы: — И все равно чудные вы, мужики. Нет, непростые. Особенно этот вот, Братанов... А если жена у тебя есть, Братанов, счастливая она, должно.

— Нету у него жены, — сказал Косарев.

— Соли давай, Анисья Николаевна, — закричал Квасоваров с кухни, где было светло от пламени и жарко трещала сухая лучина. Косарев ходил по избе, мучаясь голодом, и когда представил, как холодные пельмени будут падать в крутой кипяток, то не выдержал и подумал вслух:

— В студеное молоко их макать, горяченькие-то.

Сели за стол. Братанов достал баночку с перцем, которую таскал в своем вещевом мешке вместе с инструментом и бельем. Анисья дырявым половником вычерпала пельмени в блюдо и поставила перед мужиками. От пельменей валил пресный пар. Братанов, сдувая его, так щедро посыпал мокрые пельмени перцем, что Косарев дважды чихнул в ладони. Квасоваров сидел прямо и чинно, держа руки под столом, и высматривал хищным глазом, какой пельмень проткнет первым. Анисья вопросительно взглянула на Косарева — он ближе всех к окну.

Братанов перехватил ее взгляд и отрезал:

— Мы пить не станем, хозяйка.

— Не к чему нам, — поддержал Квасоваров и поддел на вилку высмотренный пельмень.

— А я пропущу, — не вытерпел Косарев и достал из-за занавески бутылку.

Выпили они с Онькой.

— Отвратная, — знобко вздрогнул Косарев.

— И совсем даже нет. — Анисья чмокнула губами и, закрыв глаза, ахнула: — Ах ты!

Анисью сразу бросило в жар, и отяжелели веки. Она чувствовала

себя неловко оттого, что напросилась выпить и выпила и быстро захмелела. Вот они, мужики, сидят трезвехоньки, а она, женщина, напилась. Ей и совестно, и хорошо.

На кухне зашипел огонь, видимо, выплеснулось через край. Анисья, дожевываяпельмень, бросилась туда, а вскоре вернулась и положила на краешек стола уголек.

— Вот оно, счастье-то,— с прежним запалом объявила она и, подбоченившись, выложила: — Все без ошибки, Квасоваров. Еще в девках я была, так цыганки на слове сходились: счастливая-де ты, Онька. Через глаза твои многие станут искать дорожку к твоему сердцу, да ты-де одному только укажешь. Не так, что ли? Налей, дядя, счастливая я.

Анисья протянула стакан Косареву, и тот налил ей.

— А себе?

— Меня и с той всего извело.

— И я одна не буду.

— Не-не, ребята, погодите,— заворочался за столом Братанов.— Надо за Анисью того... Наливай, Михаил. Всем наливай.

Видя, что Косарев налил себе и Братанову, Квасоваров сам подвинул свой стакан.

— Твое здоровье, хозяйка,— поднял стакан Братанов и запрокинул голову.

Анисья не любила, когда ее называли хозяйкой, но сейчас в этом слове явно прозвучала и доброта, и скрытый дружелюбный вызов. С тем же вызовом и она хотела что-то сказать Братанову, но подступившие вдруг слезы завалили ей грудь, и Анисье подумалось, что она на самом деле счастливая. А тут еще Косарев взял да и сказал совсем серьезному, будто на собрании выступал:

— За хорошего человека и винцо слаще.

У стола Анисья не могла выпить и ушла на кухню, но там ей совсем расхотелось пить, и она спрятала стакан в уголок шкафчика, накрыв его блюдечком. Потом она подавала мужикампельмени и по их просьбе вскипятила самовар, который пылился за печью бог знает сколько лет. Самовар, весь от ручки до ручки в медалях по крутой груди, на стол принес Квасоваров и, щелкая ногтем по горячей меди, восхищался:

— Анисья Николаевна, да у тебя не самовар, а генерал цельный. По старым временам цены б ему не было.

— Старики любили чаевничать,— вздохнул Косарев.— Я еще помню, мой дед после бани один по ведерному самовару выдувал.

Самовар занял весь стол. Парил, спесиво пыхтел, а внутри у него что-то тоненько свистело. Даже изба сделалась тесной, но теплее, уютнее стало.

Струйка из-под крана текла неторопливая, но перевитая, пузырьчатая, и в стакане мягко клокотала, будто продолжала кипеть. Анисья смотрела на живую струю и старалась что-то вспомнить. Когда-то она уже видела все это, но где и когда — потеряно памятью.

Больше всех чаю выпил Братанов, заливаяпельменную жажду, и, когда вылез из-за стола, сам едва не дымился паром.

— Спасибо, Анисья Николаевна, за хлеб, за соль,— поклонился Косарев и сытым шагом пошел под порог курить. Квасоваров, с помягчевшим и свойским лицом, в одних шерстяных носках, хотел помочь убирать со стола, но хозяйка не дала:

— Дома, Квасоваров, жене, заставляй, небось не пособишь.

— Дома-то, Анисья Николаевна, меня усадить не знают куда, потому как гость я там редкий. Вот и теперь, если завтра начнем, считай, до октября — ноября дома не бывать.

— А и падкие вы, должно, до работы. Ой падкие. Давеча, как Косарев сказал, что председатель требует к себе, у Братанова аж ноздри вот так заходили.

— Ты, Анисья Николаевна, гляжу,— подал голос от порога Косарев,— гляжу, не можешь оставить Братанова в покое. Дался же он тебе, право слово.

— Я таких не люблю. Он все, дьявол, умеет делать. Такие на работе и себя не жалеют, а других до смерти готовы загнать.

— Ой, Анисья, мать ты моя родная,— захохотал Косарев, закашлялся, но быстро унял кашель и надсадным голосом продолжал: — Да ты как, голуба, узнала? Как в воду глянула. До смерти, до самой смерти загонит.

— Я сама, Косарев, такая. Злая до работы. Мне еще двадцати пяти нет, а я лягу спать — не знаю, как руки положить. Что это я сегодня, будто именинница?

Спать мужикам постелила на полу в избе — дала каждому по пуховой подушке, от которой пахло холодной горницей. Сама ушла в горницу, а дверь в избу оставила открытой, чтобы слышать, о чем еще будут говорить мужики.

— Ты, Квасоваров, ложись по ту сторону Братанова,— попросил Косарев.— Ну тебя к черту, понимаешь: опять ночью лапаться станешь, будто дома спишь. Разбудишь, а я с кашлем своим потом не усну.

— Это бывает,— усмехнулся Квасоваров и, кряхтя, полез на новое место, а когда улегся, вздохнул: — Запрячься бы завтра, все б было определено.

— Дай-то бог,— тоже вздохнул Косарев.— Не будешь лапаться-то?

— Не до того...

«А кто же у них за старшего? — думала Анисья.— Косарев? Нет. Квасоваров? Нет. Цену себе знает, но не он. Братанов? Этот молод. А все молчком». Анисья начинала перебирать гостей по одному и никак не могла определить, который из них за старшего.

— Слышь, мужики, а кто у вас старший?

Но мужики не ответили: они уже спали.



ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ

★

ЖИВАЯ ВЕРЕНИЦА ДНЕЙ

Сухие холмы Приднепровья,
взрывчаткой ограбленный плес...
Сегодня связала нас кровно
копилка березовых слез.

Секундами стали капли
и полными ведрами — дни,
опять в необъятном апреле
висят на березах они.

Опять барабанят мгновенья
в холодное звонкое дно
и дарят такие прозренья,
что словом сказать не дано.

И все, что страдает в природе,
и все, что ликует вокруг,
на тихом сквозном повороте
в душе отзывается вдруг.

В ней тайная горечь осадка
и юности солнечный дым...
И снова не стыдно, а сладко
мне быть побирушкой твоим!

..*

Тишь такая стоит на лугах и в лесу,
рань такая,
что слышно в Литве,
если кто-то под Минском клепает косу,—
сенокос! Свищет черная сталь в синеве.
И по пояс в тумане, по колено в росе,
сенокос — вдоль реки,
вдоль берез,
вдоль шоссе!
Вся долина в зигзагах цветных сквозняков,
ломит зубы вода ледяных родников.
Гром ударил
и полдень хрустальный разбил,
и бегущею рябью покрылся залив...

Сенокос! И гроза —
 только вихри травы,
 только небо хохочет над грешной душой,
 и кепчонку срывает
 с твоей головы,
 и, рубаху надув,
 волочит за собой!
 И опять тишина,
 только шарканье кос.
 Много разных чудес изводилось на нет,
 но из вороха скошенных
 клеверных верст
 шорох, шум. Процветанья тебе, сенокос,
 вновь на тысячи верст и на тысячи лет!

..*

Мой младший брат меня сильнее,
 мой младший брат меня умнее,
 мой младший брат меня добрее,
 решительнее и храбрее!

Меня он в драке подомнет,
 на свадьбе ночью перепьет,
 а утром на реке обловит
 и первый душу мне откроет.

На сто моих боровиков
 сто пятьдесят в его корзине.
 Сто пятьдесят моих шагов
 покроем сотнею в долине.

О, господи, чему ж я рад,
 честолюбивый и ранимый?
 Но ведь приехал брат любимый,
 непобедимый младший брат.

..*

Я жил у одинокой тетки.
 Она сушеные грибы
 перебирала, словно четки
 своей изменчивой судьбы.

Живую вереницу дней
 задумчиво перебирала,
 и снова осень перед ней
 в красе угрюмой оживала.

Под пальцем легкий боровик
 по нитке двигался суровой,
 и оживал счастливый крик
 в далекой рощице сосновой...

Есть радость радовать других.
— Возьми грибы,— она сказала,—
здесь хватит и на семерых,
останется и для базара.

Я знал, что боль ее остра —
убили мужа полицаи.
От тифа умерла сестра,
подонки сына растерзали...

А осень выдалась грибной.
Стучали золотые четки.
Зачем их столько ей одной?
Я взял боровики у тетки.

Грибы так плотно улеглись,
так крепко нитка завязалась,
что для недобрых дней, кажись,
живого места не осталось.



ВАСИЛЬ СТЕФАНИК
★
ТРИ РАССКАЗА

С украинского

В мае нынешнего года исполняется сто лет со дня рождения Василя Стефаника, замечательного украинского писателя. Его называли «крестьянским Бетховеном», «певцом мужицкой скорби», «зеркалом современной крестьянской души».

«Стефаник абсолютный властелин формы»,— писал Иван Франко в 1901 году после появления первых книжек писателя. «Прочтите, вы увидите, как кратко, сильно и страшно пишет этот человек»,—сказал семь лет спустя Максим Горький.

Уже первый сборник В. Стефаника — «Синяя книжечка», изданный на Покутье (Западная Украина), выдвинул автора в первые ряды европейских новеллистов. Поразительная лаконичность, глубокий психологизм, значительность содержания отличают его произведения.

В. Стефаник прожил немалый век, он умер в 1936 году. Написал же за всю свою жизнь немногим более шестидесяти рассказов. Некоторые из них увидели свет много лет спустя в академическом издании сочинений В. Стефаника.

Ниже мы печатаем три рассказа В. Стефаника. «Богач» и «Стачка» публикуются на русском языке впервые, рассказ «Вестники» дается в новом переводе.

Богач

Богач Иван лежал в постели и не мог уснуть. В хате спали батраки, батрачки, пастухи и сын, они храпели, сопели и говорили спороно. Иван курил трубку, и маленький огонек мерцал среди душного батрацкого сна, словно хотел разогнать эту тяжкую темень. Так, бывает, продираются сквозь черноту небосвода крохотные зарницы, но не в силах они разбить горные громады туч.

— Мне вот не спится, забота гложет, а они все спят, у них ни об чем голова не болит, намелю им, наварю, они съедят, а о работе у них голова не болит...

— Ой, дяденька, не бейте, не буду,— заговорил сквозь сон маленький пастушонок.

— Ты, прижитой, паскуда, ты уж с этих пор лоботряс, яйцо стащишь, табак стащишь, где какой ремешок стащишь — все несешь этой шлендре, мамке своей!

Богач поворочался еще немного с боку на бок, а потом сел.

— Какого лешего на постели вылеживаться!

Он встал, сунул ноги в сапоги, накинул кожух и вышел.

— Мороз добрый, пора сзывать клевер молотить.

Отпирая ворота скотного двора, он думал: «Никто не заглянет, хоть подыхай вся скотина...» Он засветил фонарь, и все лошади повернули к нему головы, только старый Данило дремал, положив морду на ясли.

— Пока сдохнешь, еще попляшешь у меня в приводе, а то хоть сейчас сдыхай, плакать не стану.

Иван не любил Данила, потому что соседи не раз говорили:

— Эй, Иван, да перестаньте вы надрываться, поспите хоть ночь, а то через год-два будете плестись за людьми, как ваш Данило за лошадыми — голову книзу, будете плестись за людьми, как ваш Данило за лошадыми — голову книзу, уши книзу, хвост книзу.

Иван пнул коня ногой в бок, а у остальных подобрал из-под передних ног корм и забросил в кормушки.

— Жрите, я вас не на сало кормлю.

По другую сторону лежали и жевали жвачку волю.

— Было бы кому ходить за ними, глядишь, и выручил бы за них малую толику, а я уже для этого не гоюсь.

Ему вспомнилось, как он гнал их из Кимполунга за пятнадцать миль домой.

Стоял с фонарем и вспоминал: запрятал тогда три тысячи в сапог — это ведь не сотня, не две. Каждый кричит тебе — «богач!», — а вот возьми-ка прinesi столько денег. Не ешь, не спишь, только поглядываешь на голенище, не разуваешься вовсе, ноги преюг, жжет так, словно ты их в печь запихал. Но идешь, водишь компанию со всякими пьяницами и проходимцами, пьешь с ними вскладчину. «А ты куда, друг?» А я, мол, в Кимполунг, там наши господа волов покупают, так я наймусь домой гнать, в селе нет таких заработков, вот я и заработаю там. Пью с ними, иду, ночую. А у самого — ух ты! — душа в пятках.

Дальше его мысли текут уже как героическая песня об одолении могучего врага.

...Пришел, волов уйма, торг что надо, покупатели — одни пьяные патлатые молдаване. Сторговал двадцать четыре вола, гоню. Денег больше нет, ничего не боюсь, волю, мол, господские, купчие за пазухой.

Лесами, чащобами, мимо скал, через горные потоки — гоню и горя мне мало, пою...

И он смотрел на волов таким горящим, победоносным взглядом, что и свет фонаря бледнел перед ним.

— ...Однако пришлось мне туго: волю подбились, как привал, встать не хотят, я скачу на одной ноге, беда! До дому еще далеко, как дойдем? Покупаю тряпок, водки, мочу тряпки в студеной воде, кроплю водкой и на каждом привале обвертываю копыта. Вроде лучше идти. Так шел с ними пять дней...

Пригоняю в село, полна улица волов, народ сбежался, глядят как на чудо. Входят волю во двор, берите, кормите их, а меня несите в хату. Три дня я не мог подняться, волю четыре дня не вставали, не ели, только воды похлебали несколько раз.

Он все стоял, стоял...

— Мыкаюсь так, как другому и не снилось, а они все: «Вы богач, вам бог благоволит». Бог богом, а я тружусь, — ого! — часочка спокойного нет. А как там мои телята?

Он перешагнул загородку и вошел в телячий загон.

— Ну что ты будешь делать с этими лодырями? За что они берут деньги да еще объедают меня? Телята лежат по уши в грязи, в кормушках пусто, побей вас всех громом! Пропаду я с ними, и все хозяйство.

Ветер жег глаза, распахивал полы кожуха, насыпал снегу за ворот, а он бормотал под нос, идя к скирде:

— Дяденька, дяденька, глядите-ка, теленок сдох, утром смотрим, а он уж заоченел.

Иван дергал из скирды солому и, не переставая бормотать, укладывал на постромки. Потом останавливался и дул в ладони. Увязал целый воз и едва взвалил вязанку на плечи. Перед воротами сарая ветер не пустил его дальше, казалось, кто-то огромный обхватил вязанку и прижимает ее к земле. Иван спорил с ветром, поворачивался боком, но ничего не помогало. В конце концов шмякнул вязанку оземь и стал.

— А может, и правда, на молотилке нечисто? А то с чего бы мне бояться? Разве я дурное что делаю — телята в грязи, а я несу им соломы?!

Он стоял, не зная, как быть с тем чертом, что сидит меж колесами машины, что сказать ему? Все батраки и работники вот уже тридцать лет твердят, что там сидит черт, что он в самую полночь пускает машину в ход и она перемолачивает грешные души из семьи Ивана, а скоро и его самого затянет и смолотит.

— Это чтоб я боялся на своем дворе своей машины?! Тьфу!

Он вошел в сарай, обшарил все углы, притворяясь, что смотрит, не едят ли собаки приводной ремень, и долго ходил так вокруг машины.

— И что ж тут есть? Где здесь нечистый? А ну, покажись, бери меня! Будь что будет, погибать так погибать! — И он стоял и ждал, злой, решительный. — Коли есть, так выходи, поборемся, а не пугай мне баб да не налетай, когда ночью ношу солому.

С этими словами он вышел из сарая и чуть не упал со страху: вместе с ним вышел черный пес. Но Иван в тот же миг саданул его в бок сапогом.

— На! Коли ты домовой, так я тебя не боюсь, а коли пес, так не пугай меня по ночам.

Пес заскулил и удрал за скирды. Иван взвалил вязанку на плечи и понес к телятам.

— Не хватало еще, чтобы всякий черт пугал тебя на твоей же земле, — говорил он по дороге.

Послав телятам, он пошел в хату. На завалинке сидела его жена; согнутая пополам, она сопела, как задышливая кляча, идущая в гору.

— Не сидится тебе в хате, перетрудилась, развалеха!

Жена, ничего не отвечая, только крестилась.

— Ступай в хату, замерзнешь тут, а мне теперь не до похорон.

— Хочешь в хате убить, ну что ж, иду.

— Нашла дурака, садиться в тюрьму за такую падаль.

Они вошли в хату.

— Ну чего ты хочешь от меня, чего не помрешь никак? Мало тебе, что ничего не делаешь, еще и когтишь мне душу, как ястреб курицу.

— Я уже третью зиму на дворе ночую, мне от твоего богатства дышать нечем, всякий час, всякую минуту проклиная тебя и твое добро, мучитель!

— У тебя одна песенка, старая дура! Только бог не дурак слушать тебя!

— Покайся, муженек, пока не поздно!

— Ну чего ты хочешь? Чем я провинился? Что я — пью, или бездельничаю, или продаю народ господам? Чего ты хочешь? Умирай уже — и конец, не пей кровь из меня!

— Это ты из меня выпил, ты выпил кровь из моих детей. Параска умерла, Мария умерла, Микола умер. Василь сбежал, а младшенького помордуешь еще. Он уж позеленел, пожелтел весь, ты и из него кровь пьешь!

— Боже, ну чего она меня точит, чего ест меня! Ты молчи, не карай, не то возьму двумя пальцами, как куренка, и не всхлипнешь.

— Один батрак умер в хлеву под волами, другого, пастуха, там же неживого нашли, девка-работница со страху отдала богу душу, а сколько их от тебя в больницу пошло?

— Это что же, я их убил, по-твоему?

— А коня не ты убил в стойле кувалдой? А сколько их дорогой сдохло, сколько в конюшне? Гоняешь день и ночь, что их, что людей, без разбору, гоняешь и гоняешь.

— Говори, говори...

— А мои дети где? Взял молоденькую, пышная была, как пава. «Потрудимся, жена, потрудимся, сколотим хозяйство, потрудимся». Ну и ходила я по твоему двору, как лебедка. Сильная была... Все нам шло в руки. Ты работал, а я пущу. В хате твоя мама, дети. Ты до полуночи во дворе работаешь, а я в хате тружусь. Детей качаю, шью, с мамой разговариваю, на коленях другие дети спят, а я жду тебя при плошке и напеваю. Ты войдешь, поужинаем в полночь и ложимся спать на два часа. Скажи, встал ли ты когда прежде меня? А я работала, я два раза на день хлеба пекла, я приглядывала за детьми, за больной матерью, за скотиной, варила на пятьдесят батраков еду, стирала, шила, чинила. И думала: вот станут дети большие да красивые, а я буду их одевать, наставлять да радоваться на них. А ты? Ты их всех изувечил, в гроб загнал. Бывало, лежит маленький, догорает, а твои машины так меня глушат, что и стонов не слышу. Ты ни на одного и не поглядел, придешь поздней ночью и спишь, как зверь, а я — над ним. Сама уходилась хуже твоей машины. Я буду молить бога, чтоб тут, где твое богатство попирает землю, стал пустырь, чтоб от машины твоей только куски валялись в крапиве.

— Постой, ты что? Ты кто — ведьма, или в тебя нечистый вселился или уж не знаю там кто? Что ты несешь? Что ты говоришь? Опомнись!

— Я знаю, что говорю. Твое богатство по ночам страшные речи ведет. Я лежу возле хаты, снегом меня заметает, а я лежу, как старый ненужный мешок, который ты из амбара выбросил. Смотрю на небо и радуюсь, что мои дети ходят там по звездной тверди, а не тут, между машин. А машины твои гудят, гремят, от скирд ложатся черные тени, заслоняют всю боль моего сердца, где кровь кипит моя и моих детей, а ветер гудит вдоль стен и в щелях больших амбаров и, продрогши на железе машин, пищит, как дитя малое. Там и мои дети в зубцах шестерен пищат, мучаются и проклинаят... А от твоих амбаров, скирд и машин одни черные тени, черные тени...

— Нет, видно, тебе и впрямь умирать пора, ты себя не помнишь, — умираешь, надо свечу сучить.

— А ты уже ходил к нему советоваться. Я видала, как ты зашел в сарай за советом. Хорошо потолковали?

— С кем потолковали?

— Да с ним же, я слышала. Верно, хочет, чтобы ты ему и младшенького отдал за богатство. А ты, верно, продал уже, а теперь один останешься и будешь как вихрь гулять ночами по своим гумнам. Будешь сидеть ночами над машиной, а он будет крутить, гонять эти железяки твои так быстро, как ты хочешь. Только, гляди, если ты уж продал его, если не станет уже ни меня, ни сына, так он придет к тебе, и ты будешь кормить его своей жадной кровью, пока он не вздернет тебя на балку да не раскачает так, что балка обломится, и ты упадешь, и земля расступится под тобою.

— Ого, да она и впрямь спятила! Сколько хворала, сколько ночей не спала, а тут, верно, совсем нашло на нее. Этого только не хватало.

Иваниха закашлялась. Она задыхалась, хрипение вырывалось из самого сердца, и слышно было, как кашель бил ее оземь, как поленце.

— Пропадай, коли пришел твой час, а я не виноват. Это бог покарал тебя и отнял детей, да и лучше, что их бог прибрал, чем выросли бы куда не годные.

— Врешь, это ты променял их на богатство!..

Стачка

1

Чиновник из старóства и помещик сказали работникам, чтобы кто-нибудь один объяснил, чего они хотят, а то все говорят разом и ничего невозможно понять. И забастовщики стали выбирать, кто скажет.

— Иди, Барда, говори за нас.

— Ну да, Барда. Барда — дурак, пусть Синогуб говорит. У него язык хорошо подвешен, и пана он не боится.

— Иди, Синогубик, говори за нас...

— Не пойду, детей жалко, увольте на этот раз.

— Пусть первый говорит Григорь за бойков, чтоб пан слышал, пускаем мы их на поле или нет.

Маленький человечек из Белых Ослав протолкался к столу и начал:

— Вы нам не мешаете, но мы сами не станем портить вам уговор с паном. Мы ваши братья, только мы из-за вон той горы пришли. И не уйдем, хоть закуй нас, всех треста, в кандалы.

— А теперь беги да замешайся в гущу, а то схватят—и останутся бойки без головы.

И Григорь нырнул в толпу.

— А за нас кто скажет?

— Попросим еще Синогуба...

— Иди, братец, выручай людей!

— Я уже довольно сидел да выручал, пускай другой посидит.

Все замолчали и стояли беспомощные перед чиновником и помещиком, сидевшими за столом под вишней.

— А может, поговорит тот казак, который людям книжки читает?

— Э-э, он богач, что он может про нас сказать?

— Да должен же кто-нибудь говорить!

— А вы попросите Синогубиху, чтоб отпустила мужа,— без него как без рук.

— Синогубиха, пустите Ивана, а уж мы вас не оставим.

Все обернулись к жене Синогуба. Молоденькая, она зарделась от стыда, видя, что все ее просят.

— Скажите ему, пусть говорит, я своих детей сама прокормлю. Своих легко кормить — чужих трудно.

— Дай же вам господи, чтобы выросли большие да под старость не согнали с печи.

— Ну, жена, своими руками отдаешь... Я скажу за вас, только проводите меня до города. Жандармы станут дорогой шпынять, а когда бьют за правду — стократ больнее.

— Не бойся, никто и пальцем не тронет!

2

Синогуб стоял у стола и обращался все время к помещику, но так ни разу и не взглянул на него.

— Не прогрызай меня, пане, глазами, не прогрызешь все равно. Теперь ты просишь у нас милости... А может, и не просишь: жандармов-то у тебя полное село. А может, они тебе шашками выкосят пшеницу? Или ты собрался нам головы скосить?

А голов этих собралось под палящим солнцем многонько, было бы что косить.

— Или боишься, что побьют тебя? Будь покоен, побьет тебя бог!

Глаза Синогуба зажглись такой мезтью, что взгляд его протиснулся между солнечными лучами на головы всем, кого солнце палило.

— Бог побьет тебя за детей наших, за жен и за нас, за то, что превратил нас в скотину.

Тут глаза Синогуба утратили свой немилосердный блеск и обратились на детей.

— Когда я, вельможный пане, зимой на зорьке стаскиваю со своих детей теплую овчину и они плачут и дрожат от стужи, я проклинаю твоих детей! Цыпленок и тот греется у матери под крылом, а я со своего ребенка срываю меховушку, и он, голый, плачет!

— Не говори, Иван, я его всегда укрываю,— сказала Синогубиха.

— А как выйду из хаты, спотыкаюсь об черную ночь, а совесть моя плачет, как изморозь под ногами. Село спит, дети греются, одни мои там в крошечной ночи плачут. И я лаю, как бешеный, на круглое это небо!

...И на всех дорогах в селе до самых твоих ворот наст скрипит под нами. А потом мы тут мерзнем и ждем, пока не отворишь. А потом работаем голодные, а сами прислушиваемся, не скрипнет ли опять наст на дорогах, не идут ли жены наши, не несут ли поесть. И обедаем холодным борщом, а рядом сидят жены, синие от мороза. У хорошего хозяина, пане, пес лучше ест!.. Может, ты слушать не хочешь? Нет, хоть оглохнешь, а выслушаешь!

Забастовщики вспотели от этих речей и заревели в голос.

— А теперь я на тебя, солнышко, роптать буду, на твой знойный покос. Под твоими лучами самая маленькая травка из-под камня пробирается, зеленеет, каждый цветок расцветает, одни наши дети гибнут!

Глянь, пане, на поле. Грудной ребенок лежит на снопе, опоенный маком, он воскреснет только завтра, когда твои копны уложат. А трехлетний привязан пояском к колу, чтоб не бегал, пока мать жнет не разгибая спины.

...И кожа на них от солнца лупится, а они плачут, а мухи едят их, как падаль — живьем!.. Солнце божее, ты прости мне грех и не минуй моих окон никогда...

И Синогуб посмотрел солнцу прямо в лицо, а за ним все забастовщики...

— Вас, жены наши, тут только половина. Одни шлют нам из черновицкой больницы справки про свою дурную болезнь, чтоб мы печать ставили,— это те, что не хотели с нами бедовать. Другие в городах пропадают кормилицами. Свои дети у соседки с голоду скулят, а груди полны молока, как бочки, только оно для чужих детей. А Настасья ума решилась и грудь отрубил, чтоб ребенку домой передать!..

А чем вас бог вознаградит, тех, что тут с нами? Чем вознаградит за колыбельные песни да за чистые рубашки по воскресеньям? Вы уже все пальцы стерли, на мыло-то у нас нет. Не проклинаете нас за то, что увели вас с зеленой травки в голодные хаты, где и от дождя не укрыться?

Женщины в красных платках смотрели на Ивана, плакали и обнимали его жену.

— А мы, братцы, еще и грех взяли на душу при такой-то жизни — ключьями с себя мясо рвали и носили в поле.

Так что давай нам, пане, наш сноп как положено, а не то будем тебя судить, раздерем по жилочке, раскидаем по косточке...

Вестники

Это будут старые, бедные вдовы, либо их внуки, либо дряхлые старики, доживающие век у своих детей и всякий день чувствующие себя обузой в доме; либо это будут молодые жены, которых мужья оставили

здесь с малыми детьми и, поселясь в большом городе, забыли. Они потянутся вереницей в поля, пройдут мимо крестов, уже не затененных никакой зеленью, оставят позади блестящие, гладкие стальные дороги и разбредутся по синим однообразным стерням, дети примутся искать колоски, а старшие — позапрошлогодние корневища.

Пойдет и дед Михайло с внучатами — с двумя мальчиками и старшенькой — Оксаной. Мальчишки поскачут, как жеребята, то опережая деда, то оставаясь далеко позади, а Оксана все будет идти рядом. Дед будет покашливать под своей драной дерюжкой, а Оксана понесет хлеб для себя и мальчиков. Как раз наступит полдень, и дед скажет Оксане: — Это солнце, детка, уже с морозом.

Они будут идти долго-долго и остановятся на одной ниве. Дед станет у межи, Оксана пойдет серединой нивы, а мальчишки пустятся на поиски нор, светлых родничков и кнутов да ножииков, потерянных пастухами.

Оксана будет подымать каждый колосок и складывать их все в левую руку, а как наберется большой пучок, положит его у овражка, чтобы потом легче было найти. Она обыщет все рвы и лощинки, потому что там больше всего колосков. Она будет сто раз в минуту нагибаться, как самая прилежная работница, и скоро перед глазами у нее побегут желтые и синие пятна, или одна половина нивы будет как всегда, а другая вдруг станет зеленою. Оксана выпрямится, заслонит ладонью глаза и постоит минутку, а потом сразу отведет руку от глаз — и видение исчезнет. Или запоет песенку, запоет про себя, потихоньку, стыдливо радуясь, что уже умеет петь. Ноту за нотой, слово за словом, с трепетной неуверенностью, как ребенок, впервые с радостью ступающий по земле белыми ножонками. Поднимет колос, оборвет песенку и начнет сначала, и вновь задрожит ее тоненький голосок; ну ни дать ни взять — паутинка, дрожащая на жнивье. А дойдя до края нивы, сядет на межу и подопрет щеку маленьким кулачком величиной с головку того самого репейника, который пророчески прошуршит над нею тихую повесть всей ее жизни.

А дед не будет садиться, но согнется в дугу, мучимый кашлем.

— И не поймешь, что там дохнуть не дает! Разрезать бы грудь да выбросить дурную кровь оттуда — может, удалось бы еще малость пожить...

И пойдет дальше — дергать корневища, кашлять и присаживаться. А среди работы налетят на него думы и про осень, и про зиму, и про весну. И столько их заройтся в голове, что он позабудет и про кашель и про корневища.

— Ежели есть чем топить зимой, меньше есть хочется. Встань утром, размети у порога снег, набери коряг из кучи, положи в печь — и сразу повеселеет в хате. Катерина сварит мамалыгу, дети встанут, а для них уже и ложка горячего борща готова и печь теплая; ну, и тебе, старику, меж ними тепло. Когда лучшего нет, и это славно. Корень, ежели сухой, хорошо горит...

И он с охотой и с новыми силами примется за корчевку. Но дум ему все равно уже не отогнать, так и теснят одна другую.

— Коли не помру до тех пор, пока ребята подрастут, то посчастливится ей, — я хоть по людям их распахую, чтоб на себя зарабатывали, а глупая баба — ей что! — только бы слезы лить! Нет, я бы их лучше матери на путь наставил...

Потом он позовет мальчишек. Они прибегут с долбленой тыквой в руках.

— Вы что же, такие-сякие, Оксане не помогаете, а есть вам давай? Ступайте, поиграйтесь возле нее, а то ей скучно.

Мальчуганы пойдут к сестре, а старик снова углубится в свои думы.

— Парни здоровые, рослые, только бы дожждаться! Меньшой-то

умен, как старичок. Зимой ему сапоги надо — на печи, вишь, не нравится. Столько с ним смеху, что осиротели б мы без него..

Дед посмотрит, низко ли уже солнце, и на корневища — достаточно ли их набралось. Потом позовет Оксану помогать ему сносить корни и обивать с них глину. Они сложат их в одну кучу и обобьют палками. Над полем подыметя столб пыли, и дед закашляется. Оксана будет щуриться, а ребята примутся уплетать хлеб. В эту пору солнце опустится уже к закату. Из окрестных сел донесется на поле колокольный звон и будет стелиться по жнивью вместе с росами, на дорогах заблеют овцы и закричат пастухи, на поле пахари вытащат плуги из борозд и начнут собирать домай. Низины закроет сизое марево, вороны потянутся, потянутся к садам в село, и собаки побегут домай, потому что не смогут больше ловить в поле перепелок.

Дед Михайло будет креститься, и отряхивать с рубахи пыль, и натужно кашлять. Потом наложит полную дерюжку корней, внуки помогут ему взвалить ношу на плечи, и все пойдут на дорогу. Оксана понесет свои пучки колосков, а мальчишки будут подбирать выпавшие из дерюжки сучья и прятать за пазуху. Пока дойдут домай, рубашонки на них вздуются, а животы станут чернехоньки от пыли.

В селе все они сойдутся — и бедные вдовы, и их внуки, и старики, и молодые жены, брошенные мужьями, все с корневищами и пучками колосков. Они возвещают приход осени.

Перевел Вл. Россельс.



ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ

★

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

С сербскохорватского

ПАССАЖИР ТРЕТЬЕГО КЛАССА

Люблю путешествовать в третьем классе
парохода, поезда и трамвая.
Там люди приветствуют друг друга,
когда входят и когда выходят,
и подают соседу руку.

Чистый с грязным, трезвый с пьяным
без чинов предаются беседам.
Там сообщают соседи соседям,
кто мы, куда и откуда едем
и что случилось с кумом и дедом.

Женщины, на мать мою похожие,
садутся со мною в третьем классе.
У них большие грубые руки.
Они рассказывают охотно
про свои заботы и муки.

Если по три человека на место —
все равно местечко найдется.
Если пальто у меня промокло —
краснеть и стесняться не придется.

Там никто не станет дивиться,
что, мол, рассуждает с благородством,
а рукава у нее в заплатках.
Никто не посмотрит с превосходством
на прохудившиеся ботинки.

Там все одеваются как могут —
старики, горемыки, бедолаги.
Зимний плащ, надетый весною,
не смешит и не ужасает,
не вызовет шуток надо мною.

Там вино, чеснок, ракия
бесцеремонно благоухают.

Там даже на ногу вам наступят,
но зато и место уступят.
Но зато пассажиры такие
смотреть не будут
сверхчеловечески на человека.
Уважают чужую бедность
и чужие раны.

Если кто расхохочется басом,
его не сочтут невеждой и хамом,
разве родственно усмехнутся.
Как перед Страшным судом, пассажиры
равны перед третьим классом.

СЕРБИЯ — ВЕЛИКАЯ ТАЙНА

Сербия — великая тайна:
день не знает, что ночь отковала,
а ночь — что на заре родится,
кусты не знают мечты друг друга,
не знает птица, что творится
в ее округе.

Не знает ящерица, кто там
ползет под камнем вслед за нею.
Не знает поле кукурузы,
что сплет на соседнем поле.
Все загрузили тайны грузы,
ни листика, чтобы на воле.

Никто не знает, что таится
в росе, сияющей невинно.
Перекликаются крестьяне —
что означают эти клики?
Быть может, заговор великий.

Нет в этом государстве силы
узнать, что девушка носила
в груди нетронутой доселе;
какую тягостную тайну
сжимает в кулачке ребенок;
к какой же ковыляет цели
вот эта дряхлая старуха.

Здесь, в Сербии, ручьи и ветры,
церковные колокола и птицы,
и запахи
приносят тайну.

Бывало, повернешь случайно
к лесу, и вот она, таится
уже за первым поворотом.

У нас в стране враги не смеют
поверить заячьему следу,
копыт воловьих отпечатку.

Быть может, знаки подаются
и перестуком дровосека,
и наковальнями куются,
и колыбельными поются.

ПРОВИНЦИАЛЫ

Ни зверинцев,
ни садов ботанических не посещали;
в двадцать лет не видали ни разу мимозы,
попугая, борзой
и, конечно же, пальмы и крокодила;
бродили по нашему детству
только овцы и козы,
даже с простой белой лилией
очень трудно увидеться было.

Мы в музее ни разу не были
от рождения до призыва,
ни одной картины не видели —
лишь святого Саввы иконы;
но что такое скульптура,
мы представляли живо,
потому что головы Вука¹
украшали наши школы.

И в столице своей
мы ни разу до юности не были
и, конечно, не видели
абиссинского негуса;
но зато
мировых городов
ощущали себя горожанами,
знали все,
что с заморскими связано странами —
их политику, книги, язык.
Мы заброшены и неведомы были,
но зато с мировыми умами делили
и восторг, и заботы их книг.

Для великих движений
поставляли мы лучшее войско,
хоть ни разу не выходили
за околицу родного села.
И полеты высотные мы в мечтах превосходили —
вот какой наша юность была.
И не надо, не надо дивиться,
что никакое диво,
никакое изобретение или переворот
не дивили провинциалов
и мы смотрели строптиво —
что там жизнь предлагает и что берет.

¹ В у к К а р а д ж и ч — сербский писатель, просветитель.

СМЕРТЬ КРЕСТЬЯНИНА

Сады источают дух сливы сладчайший,
недавно вино забродило в подвале,
пал желтенький листик в зеленую чашу
пруда. Значит, летние дни миновали.

Священник молитву читает,
но пчелы жужжат слышнее,
и стук молотилки сильнее,
и голос его заглушают.

Волы мычат слышнее,
а кто-то ладит повозку
для похорон. Под нею,
согнувшись, колотит жестко.

Из дуба, что рос над домом,
доски для гроба стесали.
В гости пришли сегодня
те, кто на свадьбе плясали.

Солнце начинает садиться.
В землю засветло надо ложиться,
и в дорогу выходит покойник,
оставляя амбар за спиною
и тропу, что своими ногами
протоптал он к водопою.

Он проехал мимо плуга
и руками к нему не рванулся,
мимо сада проехал и луга
и ни разу не улыбнулся.

Без улыбки едет по злату,
по тому, что роняют ветки.
Молча топчет листья-дукаты,
попирает их без привета.

Волы еле двигают ноги —
как будто из дальней дороги,
а похороны, в тихой тоске,
говорят о ценах на сливу и на пшеницу,
а также о боге,
о небесном большом мужике.

И СРАЗУ ВСЕ ПОЛЕГЧАЛО

Вчера впервые сказали: стареем!
И сразу все полегчало,
как после полного признанья.

Я пожаловалась не стесняясь,
что не могу читать в сумерки.

Он попросил идти помедленней
и при этом печально улыбнулся.

Я показала ему на свету
веточки морщин, окружившие глаза.

Он милосердно их объяснил
тем, что я засиживаюсь до поздней ночи.

Я сказала, что трав названья
теперь припомнить мне не просто.

Он признался, что забывает
даже то, как зовутся звезды.

Сказала: о смерти напоминают
памяти грустные провалы.

Ответил, что никогда еще сердце
весна так не трогала, не волновала.

Призналась: и осенью и весной
неладное что-то творится со мною.

БАЛКАНЕЦ

Я не стыжусь,
что, по вашим словам,
я варвар с Балкан,
края грязи и бури.
Что же, послушайте
о неведомой вам
нашей кое-какой культуре.

Вы и родным сыновьям далеки,
вы за свой стол не посадите
каждого-всякого,
вы все поверяете испытующим взглядом,
вы даже можете выпить,
не угостив стоящего рядом.

А мы живем по обычаям грубым, старым и странным:
не откажем в ночлеге и незнакомым,
поцелуемся даже с незванным,
ради гостя готовы хоть в бой.
Каждый из нас
целое племя
друзей и родичей
ведет за собой.

У вас действительно
миллионы распятий,
у каждого свое,
и сверх того — на дорогах в поле, в школу, в тюрьму;
а у нас верующие

носят бога в сердце
и тихо, словно во сне,
молятся ему.

У вас впрямь для всякого случая
мотор и машина,
вы все рассчитали и все измерили,
изобретения ваши — на удивление;
а у нас до сих пор старинные орудия,
но зато все натуральное, как глина,
и здоровое:
и смерть, и жизнь, и рождение.

У вас целые своды
правил и наставлений о свободе,
что желает, то и болтает
всякий и обо всем;
а мы по неписаным законам,
подражая в порядках природе,
живем свободные,
схожие с ветром, водой и огнем.

У вас, в самом деле, все расписано:
как говорить, есть, одеваться;
а мы кричим, собравшись за чаркой,
наши манеры и валки и шатки,
когда хлебаем похлебку — чавкаем,
и хуже пытки
для нас носить перчатки.

Все у нас действительно просто:
башмаки — из свиной кожи,
много у нас крестьянского —
и утвари и привычек;
а королевство у нас основали
те, кто когда-то скотом торговали.

Наш народ и жжет и режет,
когда он в гневе и боли,
но мы никогда не считали,
что вся земля наше поле;
мы вынести не способны,
чтоб из-за нас страдали
и племена из джунглей;
пусть нас числом не много —
у нас душа большая.

Перевел Борис Слуцкий.



ЯРОСЛАВ ГОЛОВАНОВ

★

КОРОЛЕВ*

Хроника

Часть вторая

КРЫЛЬЯ

7

«Единственный путь к достижению прочной устойчивости жизни — непрерывное движение вперед».

Генри Уоллес.

Московский воспитательный дом «для зазорных младенцев, коих жены и девки рожают незаконно», был учрежден еще в царствие Екатерины II. Для пристройства «засорных» к жизни надобно было дать им в руки какое-либо дело, и 1 июля 1830 года утвердили в Доме устав Ремесленного училища. Через четырнадцать лет приняли новый устав, где предписывалось готовить не просто ремесленников, но мастеров с изрядными знаниями по теории. В семидесятых годах училище превращается по всем статьям в высшее учебное заведение. Авторитет МТУ растет, диплом его по ценности своей начинает соперничать с университетским, методы и учебные программы отмечаются на всемирных выставках медалями, и, как признание особых его заслуг, нарекается толстостенный приземистый дом на Яузе звонким титулом ИТУ — Императорского технического училища.

Но и самые толстые стены не могли отгородить дом этот от мятежных ветров XX века. И вот уже бурлит, клокочет толпа, и клятвами гнева звучат речи над телом красивого, совсем еще молодого человека с острой рыжеватой бородкой. Сюда, в чертежный зал, принесли его уже мертвого, с разбитой головой, и сотни ног идущих следом людей зашаркали капли его крови на сером от старости кафеле. Отсюда начались его похороны — это неизвестное еще до той поры николаевской державе, страшное своей нескрываемой яростью шествие. Как эхо набата, зовущего в бой, разнеслось над Россией его имя — Николай Бауман. И настал день, когда звонкая приставка Императорское стала бессмысленной, смешной и отвалилась, как кокарда с фуражки. Началась новая история — история Московского высшего технического училища...

Авиационные традиции МВТУ заслужили в ту пору уже всемирную славу. Сюда еще в 1872 году пришел Н. Е. Жуковский. Здесь в 1902-м заработала одна из первых в мире аэродинамических труб, а восемь лет спустя была создана аэродинамическая лаборатория. Здесь, в гнезде Жуковского, оперялись его «птенцы» — учителя сегодняшних учителей. В реденьком садике рядом с училищем за пятнадцать лет до первого полета Королева поднялся на планере второкурник Андрей Туполев.

Королева приняли в МВТУ сразу на третий курс, когда как раз начинали

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

читать специальные дисциплины. После «абстрактных» лекций в КПИ по математике, физике, химии и сопромату одни названия этих курсов — «Динамика полета», «Аэродинамический расчет самолета», «Конструкция самолета» — звучали для Сергея как музыка.

Наконец увидел он тех, о ком столько слышал. Андрей Николаевич Туполев, Владимир Петрович Ветчинкин, Борис Николаевич Юрьев, Алексей Михайлович Черемухин, Гурген Никитович Мусинянц, Константин Андреевич Ушаков, Борис Сергеевич Стечкин, Николай Васильевич Фомин — «отцы» ЦАГИ, ведущие авиационные специалисты того времени — были учителями Сергея Королева в МВТУ.

Никто из них не смог бы провести границу между своей работой и преподаванием. Подготовка молодых специалистов была для них не некой абстрактной общегосударственной задачей, а делом, если хотите, сугубо личным, от которого прямо зависела работа их отделов и лабораторий, будущее их планов и программ.

На третьем курсе практически все студенты работали в лабораториях ЦАГИ. Проводить занятия в ЦАГИ или в МВТУ — такой вопрос считался совершенно не принципиальным, благо они были соседи. И чуть ли не с первого курса все что-то проектировали и строили: Геннадий Бертош — планер, Савва Кричевский — авиетку, Саша Сильман — глиссер. И помимо этого, все еще где-то работали — чертежниками, механиками, иногда уже конструкторами на инженерных должностях. И работа была делом не менее важным, чем учеба, и преподаватели, вводя свободное посещение лекций, понимали, что имеют они дело не с гуленами, а со взрослыми серьезными людьми, которым трудно живется.

И вот в эту в чем-то известную, а в чем-то вовсе незнакомую обстановку и попал Королев.

Сергей огляделся и освоился чрезвычайно быстро. Он понял одну очень важную для него особенность своего нового положения: московский коллектив был более демократичным в сравнении с киевским. Конечно, на третьем курсе уже существовали какие-то группки и группы, но ни одна из них не угнетала других. Тут не было киевской иерархической пирамиды, на вершине которой стоял Константин Яковчук, а у подножья в муках уязвленного самолюбия бродил Сергей Королев. Авторитеты не давили, большой простор для работы давал большую свободу, ту самую свободу творчества, о которой он так мечтал. У всех было свое дело, и ему оставалось сделать выбор.

Уже в первую неделю Королев явился в АКНЕЖ¹, потом разыскал на своем факультете студента Владимира Титова, директора самостоятельной планерной школы, и тут же записался на летное отделение. Теперь каждое воскресенье ранним утром мчался он на Павелецкий вокзал и уезжал в Горки Ленинские — на планерную станцию.

В ноябре 1926 года на объединенном заседании президиумов двух обществ — Авиахима и Общества содействия обороне — принято было постановление об их слиянии в Осоавиахим. В январе должен был состояться первый съезд Осоавиахима, и они решили разбиться, но станцию к съезду открыть. Подновляли сараи, громко именовавшиеся ангарами, ремонтировали планеры, в свободные минуты ребята из первого набора школы, «старички», зачисленные еще в январе, подлетывали. Сергей завидовал, но амортизаторы тянул на совесть, знал — и его час близок... Короче, сразу, с первых недель московской жизни, заработал Сергей Королев на полных оборотах, так что к маме на Александровскую² доплетался вечером уж чуть живой.

В планерной школе все работали только на общественных началах. Но все было, как в самой настоящей летной школе: медицинская комиссия, мандатная

¹ АКНЕЖ — Академический кружок имени Н. Е. Жуковского — был прообразом студенческих научно-технических обществ нашего времени.

² Вначале Г. М. Баланин получил квартиру в Сокольниках, а месяца через два три после приезда Сергея из Киева семья переехала на Александровскую, ныне Октябрьскую, улицу.

комиссия. Сергей, когда сказали, что надо идти к врачам, засмеялся, думал — разыгрывают. Оказалось, без справки не примут.

Занятия проводили в пустом доме на улице Белинского, который разыскали и отремонтировали еще до приезда Королева в Москву. Конструкторы нашли подвал на Садово-Спасской, просто замечательный чистый и сухой подвал, даже уютный. Сергей часто работал там. Мог ли знать он, что через пять лет вернется в этот подвал, чтобы начать главное дело своей жизни!

По воскресеньям надо было на Павелецком так подгадать поезд, чтобы к 10.00 утра всем быть у штаба. «Штаб» помещался в избе дяди Вани Потатуева. Старик любил планеристов, иногда выставлял котелок картошки и поил чаем.

В Горках командовали инструкторы: Карл Михайлович Венслав, Анатолий Александрович Сеньков и Владимир Георгиевич Гараканидзе. От них все зависело: полетишь или с амортизаторами целый день бегать будешь, а если полетишь — на чем полетишь. Произвола, впрочем, никакого не было. Гараканидзе вместе с Венславом и Андреем Юмашевым составили толковую программу полетов, где все было четко расписано. Но все равно инструктор — хозяин.

Планеры лежали в ангаре того же авиационного мецената дяди Вани Потатуева. Планеров было немного: учебный «Пегас», привезенный в 1925 году из Германии, — подарок немецких планеристов; учебный «Старайся вверх» Ромейко-Гурко — упорное его нежелание летать быстро закрепило за ним прозвище «Стремимся вниз»; рекордный планер Чесалова «Закавказец», ставший знаменитым после полетов в Германии; и, наконец, планер Люшина и Толстых с фантастическим названием «Мастяжарт». Впрочем, расшифровывалось оно довольно просто: Мастерские тяжелой артиллерии — там строили этот планер.

Перед самым открытием планерной станции ударил мороз до двадцати градусов, и думали, что начальство не придет. Однако в воскресенье, 23 января, приехали все: гора прямо черная была от фигурок. Быстро вытащили и собрали планеры.

Переминались с ноги на ногу, стучали валенками, терпели. Речи были энергичные и короткие.

Программа торжеств была выполнена вся за исключением одного пункта: не появился Гараканидзе. Он должен был прилететь из Москвы на воздушном шаре и торжественно передать его I Всесоюзному съезду Осоавиахима. И не прилетел. Все решили, что шар опустился где-нибудь на полпути. В поезд Сергея с ребятами дышали на заиндевшие окна и в маленькие глазки оглядывали окрестные поля: не видно ли Гараканидзе? Шара и пилота нигде не было.

Его не нашли ни на следующий день, ни через два дня, ни через три. О необыкновенном случае этом писали в газетах, просили каждого, кто видел какой-либо летающий предмет, похожий на шар, немедленно сообщить в Москву. Был только один сигнал: шар видели где-то в районе Вербилков на довольно большой высоте. Установили, что Гараканидзе перед стартом ради облегчения шара снял корзину и полетел, сидя просто на дощечке, как на качелях, в тонкой шинельке и сапогах. Все уже считали его погибшим, когда на шестой день поисков пришла телеграмма со станции Шарья Северо-Двинской губернии: жив, здоров. Потом оказалось, что прямо со старта его подняло на высоту семьсот метров и понесло. Где-то между Дмитровом и Тверью шар попал в ураган, его закрутило, и как Гараканидзе удержался на своей дощечке при скорости до ста километров в час — уму непостижимо. Потом стало темно. По шуму деревьев Гараканидзе понял, что шар снизился и летит над лесом. Утром он увидел избушки и сел на краю деревни. Погрузив свой шар, четыре дня на санях добирался до Шарьи. Он установил мировой рекорд, пролетев за пятнадцать часов семьсот два километра. Было тридцать шесть градусов мороза.

Может быть, эту почти трагикомическую с сегодняшней точки зрения и героическую с позиции тех лет историю и не нужно было бы вспоминать, если бы не одно обстоятельство: Владимир Георгиевич Гараканидзе — первый планерный учитель Сергея Павловича Королева. Это был беспредельно влюбленный в авиацию человек, настоящий романтик неба, для которого слова «полет человека»

звучали так чисто, звонко и волнующе, как мы, приученные к доступности «ТУ» и «Илов», уже не слышим их. И он сумел заразить своего ученика этой жадной полета, которую Королев не мог утолить всю жизнь.

Королев летал на «Пегасе» до весны каждое воскресенье, включая праздники: 12 марта — низвержение самодержавия и 18 марта — День Парижской коммуны. Летал неплохо. Впрочем, каждый считал, что он летает лучше всех. И в общем, они были правы, эти мальчишки, потому что много лет спустя из их группы выросли действительно замечательные летчики: Антипов, Аронов, Гуца, Гродзянский, Ефимов, Карапалкин, Моисеев.

В последнее воскресенье марта решено было устроить экзамен. Требовалось пролететь тридцать секунд и сделать два разворота: вправо и влево. Опять приехало большое начальство. (На паровичке. Взять в воскресенье казенный автомобиль было рискованно: неровен час угодишь в «Крокодил».) Известно, что именно тогда, когда появляется высокое начальство и ответственные комиссии, случаются всякие неприятности, срабатывает «эффект присутствия», но на этот раз все прошло гладко, все слетали замечательно. Титов был счастлив совершенно, Венслав и Сеньков переживали за всех страшно. Кричали истошными голосами: «Подтягивай! Отжимай!» — потом, радостные, похлопывали новиспеченных плеристов по плечу и называли «орлами». Через несколько дней Сергей Королев вместе с другими курсантами получил в Осоавиахиме отпечатанный на машинке диплом планериста.

Одновременно с полетами в Горках, со строительством планеров в трубе, с теоретическими занятиями на улице Белинского, с конструкторской работой в подвале на Садово-Спасской, наконец одновременно с занятиями в аудиториях, лабораториях и мастерских МВТУ Сергей Королев весьма активно проявлял себя в АКНЕЖе.

Академический кружок имени Н. Е. Жуковского занимался не столько наукой, сколько строительством разных машин, механизмов и аппаратов. Здесь можно было получить толковую консультацию у опытных инженеров (которые работали, разумеется, на общественных началах), проверить свои расчеты, а главное — поспорить с такими же одержимыми, как ты сам.

Весной 1927 года Сергей Королев познакомился в АКНЕЖе с Саввой Кричевским, который был на курс моложе, но работал там уже не один год. Вместе они задумали построить авиетку — легкий самолет «СК» (инициалы обоих авиаторов счастливо совпадали). Работали они месяца три-четыре, затрачивая уйму времени на споры и ссоры: оба были исключительно упрямы и в каждом замечании одного соавтора другой усматривал некое ущемление независимости своего творчества. Очевидно, они были очень похожи друг на друга, и это им мешало. Никто не удивился, когда союз этот распался. Савва начал сам проектировать новый самолет, Сергей продолжал работу над авиеткой, но занимался ею урывками: времени даже у него не хватало. (Несмотря на разрыв, дружба Королева и Кричевского сохранилась до самой смерти Саввы Симоновича, умершего совсем молодым в 1935 году.)

А времени Сергею не хватало потому, что в мае 1927 года он начал работать на авиационном заводе, который по привычке все звали «русско-балтийским». С этого момента Королев уже «официально» становится конструктором.

Теперь он был занят действительно круглосуточно. Позабыл, когда был в театре, в кино, когда выпил последнюю кружку пива, да чего там! — когда просто просыпался без будильника. Иногда только успевал заглянуть в газеты. «В Москву из Германии прибыло 9 слонов для Госцирка...», «400 телефонов-автоматов установлено в столице...», «На Большой Лубянке открылась обсерватория...» Масса всяких интересных вещей творилась рядом, а он ничего не знал о них, не успевал узнавать.

Весной в Горках распахали луговину, и полеты прекратились. Но летать хотелось! Очень хотелось, и не ему одному. Нашлась другая площадка — в Краскове.

Организовали тренировочную группу — «треньгруппу», — летали и ремонтировали планеры. Королев понял, что мечта его осуществится наконец: теперь-то уж он увидит Коктебеля!

Все обернулось для него даже более счастливо, чем он предполагал. Ляля прислала из Харькова письмо, в котором приглашала его в Крым. Она с родителями собиралась провести каникулы в Алушке.

Первые дни в Крыму он никак не мог отвыкнуть от ритма своей московской жизни, все время куда-то торопился, лазал по горам, заплывал в неоглядную даль. А потом как-то сразу, вдруг почувствовал, что устал, и понял, что никуда не надо нестись, бежать, что можно гулять с Лялей час, два, три, целый день по Воронцовскому парку, сидеть в кипарисной тени, лежать зажмурившись на камнях, подставив лицо солнцу. Беззаботные дни в жизни С. П. Королева исчисляются немногими неделями. Может быть, эти, в Алушке, были самыми беззаботными.

Но все кончается, а беззаботные дни — тем более. Ляля уехала в Харьков, Сергей — в Коктебель.

После яркой, сочной зелени Алушки Коктебель показался Сергею пустым и скучным. Не сразу оценил он его нежную, акварельную красоту, мягкость и благородство его красок, особенный воздух, золотой от солнца, пропахший полыньей и морем. Недаром поэт и художник Максимилиан Александрович Волошин писал об этих местах:

Я много видел. Дивам мирозданья
Картинами и словом отдал дань,
Но грудь узка для этого дыханья,
Для этих слов тесна моя гортань.

Кстати, Максимилиан Волошин имел самое прямое отношение к планерным слетам. В 1920 году, прогуливаясь по окрестностям Коктебеля вместе с Константином Константиновичем Арцеуловым, уже тогда знаменитым летчиком, Волошин поднялся на гору Узун-Сырт. Они остановились у обрыва на южном склоне горы, когда порыв ветра сорвал с головы Волошина шляпу. Но шляпа не упала в пропасть, а, поднявшись вверх, тихо опустилась на пологом северном склоне. Волошин снова и снова бросал шляпу, и всякий раз ее поднимало вверх.

— Здесь восходящий поток! — воскликнул Арцеулов. — Вот где надо летать на планерах!

Через три года по инициативе Арцеулова здесь, на Узун-Сырте, состоялись первые всесоюзные планерные испытания, проводившиеся затем за редким исключением ежегодно до 1936 года. Сергей Королев впервые попал на IV планерные испытания.

Знакомых было много: Петр Флеров, Сергей Люшин и Игорь Толстых — они вместе летали в Горках; конструктора и военлета Владислава Константиновича Грибовского и летчика Алексея Николаевича Павлова он знал еще по Киеву, но после Алушки, после дней, проведенных с Лялей, Сергей был в минорном настроении, искал уединения на пляже, даже поселился один в маленьком домике. Неподалеку жили Грибовский, Люшин и Павлов. Однако уединение Королева было нарушено очень скоро стихиями весьма грозными.

Ночью Люшина разбудил какой-то шум и треск, казалось, кто-то ломится в дом.

— Кто здесь? — спросил Люшин.

— Кто здесь? Стрелять буду!

Грибовский выхватил парабеллум. В 1927 году он был инструктором школы стрельбы и бомбометания в Серпухове, и ему как военлету полагалось носить оружие, чем он очень гордился.

Угроза не подействовала: дом опять трянуло.

— Братцы! Землетрясение! — первым догадался Павлов.

Выскочили на террасу. Отовсюду слышались крики людей. Это было то самое крымское землетрясение 1927 года, которое помешало Остапу Бендеру овладеть очередным стулом и, таким образом, до сих пор памятное всем.

Оставаться в двухэтажном доме было опасно, и Сергей Люшин попросился на постой к Королеву. Они поселились вместе и очень скоро подружились. В Коктебеле их звали Сережа Черный (Королев) и Сережа Рыжий (Люшин) — различали по цвету кожаных курток.

Сергей Николаевич Люшин был старше Королева на пять лет. Он тоже учился в МВТУ, интересовался авиацией и строить планеры начал еще в 1922 году, когда помогал Арцеулову делать его «А-5». Позднее Сергей Люшин вместе с Анатолием Жардине тоже начал строить планер. Потом Люшин поехал на коктебельские испытания в 1923 году и уже тогда летал. Короче, Люшин всех тут знал, его все тут знали, и для такого новичка, как Королев, знакомство с Люшиным было просто находкой.

Силы отталкивания, присущие, как известно из физики, зарядам одноименным, которые действовали в союзе Королева с Кричевским, сменились силами притяжения, потому что Королев и Люшин были как раз, если можно так сказать, очень разноименны. Житейская мудрость, неторопливая сосредоточенность и организационная беспомощность Сережи Рыжего прекрасно дополнялись молодой энергией, решительностью, быстротой выводов и удивительной способностью давать движение всему с ним связанному, которыми обладал Сережа Черный.

Королеву нравилось летать. Как хорошо ему было там, в небе! Нет, это не птичье счастье необыкновенного движения, — он получал удовольствие не только от многократно описанного чувства слияния с машиной, но — не меньше — от того, что понимал, как, почему, отчего накренилась она чуть вправо, качнула крыльями, клюнула носом. Удлинение и профиль крыла, коэффициент подъемной силы, массовая плотность воздуха — все символы в формулах, все цифры в расчетах в эти секунды словно вспыхивали в его мозгу, и это озарение знания делало его бесконечно счастливым...

Однажды они сфотографировались на память у яковлевского «АВФ-20» — десять совсем молодых ребят-планеристов. Фотография эта в шестидесятых годах висела на стене в домашнем кабинете Сергея Павловича. Иногда он подходил и подолгу разглядывал ее, всматриваясь в веселые лица: «В белых трусах — Карапалкин, он поступил потом в школу летчиков, а рядом здоровяк Иван Крысанов, он летал плохо и скоро ушел. Это я. Вихрастый Вася Ефимов, столяр, стал потом заводским летчиком-испытателем и погиб в 1947-м на «Дугласе». Гродзянский. Был во время войны летчиком-перегонщиком, летал в Америку, попал в плен и погиб. Анатолий Сеньков. У него вид заправского пилота, в шлеме, в гетрах. Он ушел потом в ЦАГИ. Сергей Люшин. Вот таким был он тридцать лет назад. Карл Венслав. И его нет. Петр Флеров. Не сразу сманили его ракеты. Много лет работал в авиации. Максим Моисеев. Он стал истребителем. Погиб в воздушном бою...»

Десять молодых ребят, не ведающих ничего о дорогах, по которым им предстояло пройти, улыбались ему со старой фотографии...

Поезд шел в Москву. Сергей лежал на верхней полке. Внизу ребята играли в карты. Сам удивлялся: азартный парень, он всегда был равнодушен к картам. Лежал, дремал (в последние дни спал мало), просыпался, думал. Поезд в его жизни был итоговой чертой. В поезде что-то кончалось, с поезда начиналось новое. Вот прошел год, как он уехал из Киева. Хороший был год: МВТУ, планеры, работа. Все идет как надо. Только надо, чтобы все было быстрее.

В августе на завод, где работал Королев, приехала небольшая группа не известных никому людей в сопровождении начальства из Авиатреста. Люди эти были одеты так, что издали, не слыша голосов, сразу можно было сказать, что это иностранцы. Впереди шел красивый брюнет в светлом клетчатом пиджаке и такой же кепке с длинным козырьком. Слушая скороговорку переводчика, он вежливо кивал и хмурился. Это был Поль Эмэ Ришар.

Появление французского авиаконструктора на этом заводе имеет свою предысторию. В те годы самыми крупными нашими авиационными конструкторами были Дмитрий Павлович Григорович, Николай Николаевич Поликарпов и Андрей

Николаевич Туполев. Григорович специализировался на гидросамолетах, свою первую летающую лодку он построил еще в 1913 году. Именно на гидросамолетах его конструкция летал в Одессе Сергей Королев. В середине двадцатых годов Григорович возглавлял в Ленинграде ОМОС — Отдел морского опытного самолетостроения. В ОМОСе проектировалось несколько самолетов, но основное внимание было уделено «РОМу» — разведчику открытого моря. Когда начались его испытания, оказалось, что самолет не отвечал всем требованиям, которые к нему предъявлялись. Григорович попал в полосу фатальных неудач. Ни морской миноносец, ни торпедоносец, ни корабельный истребитель, ни задуманные корабельные разведчики со складными крыльями так и не летали: всякий раз находились какие-то причины, мешавшие закончить проектирование. Авиатрест был недоволен. Моряки-заказчики беспрестанно дергали и торопили. Григорович нервничал. Работа не клеилась. В жизни почти каждого человека бывают такие периоды невезения, бывают они и с целыми коллективами. Перевод ОМОСа в Москву в ноябре 1927 года на завод, где уже работал Королев, и новое название — ОПО-3, Третий опытный отдел, — ничего не изменили. Факт оставался фактом: три последних года КБ Григоровича работало вхолостую. Заговорили о смене руководителя. Конечно, Авиатрест мог бы найти достойного претендента на место главного конструктора среди своих инженеров, но на Руси издавна повелось, что иностранцы умнее своих, и стали искать иностранца. Авиатрест пригласил Ришара работать в СССР для того, чтобы поправить дело с гидроавиацией: Ришар считался специалистом по летающим лодкам. Впрочем, конструкторский опыт Ришара был невелик, а успехи весьма скромны. Он построил к тому времени один очень большой гидросамолет «Пенюз», который потерпел аварию при испытаниях. Француз оказался у разбитого корыта в буквальном и переносном смысле и решил принять предложение Авиатреста. В сентябре 1928 года Григорович был отстранен от дел.

Теперь уже нетрудно догадаться о целях визита Ришара на авиазавод: для француза это была отличная производственная база. Уезжая на планерные испытания в Коктебель, Королев захватил с собой русско-французский словарь — он был уверен, что вернется уже к Ришару, а француз ни слова не знал по-русски.

Очередные, V Всесоюзные планерные испытания в Коктебеле были, наверное, самыми неинтересными из всех, на которых бывал Королев. Собственно, и испытывать-то было особенно нечего. На Узун-Сырт (или гору Клементьева, как называли ее еще после нелепой гибели в 1924 году летчика Клементьева на планере собственной конструкции) привезли всего десять планеров. Среди них: «Г-2» Грибовского, «Дракон» Черановского, «Кик» Сенькова, «Мастяжарт» Люшина и Толстых, «Закавказец» Чесалова, «Жар-птица» Тихонравова, Вахмистрова и Дубровина — короче, компания известная и слово «испытания» к этим планерам не очень подходило. Испытывались, собственно, не планеры, а пилоты...

Конец 1928 года был временем перемен для Сергея Королева. Менялись учебные планы в МВТУ. Менялось руководство на работе. Менялось его отношение к планеризму: вернувшись из Крыма, он решил, что ходить в учениках хватит, надо самому строить планер и летать на нем.

Разговор об этом зашел у них с Люшиным в один из первых дней после возвращения в Москву.

— Мне бы хотелось сделать свой паритель, — как-то между прочим сказал Сережа Рыжий.

— И мне, — быстро отозвался Королев, — и мне тоже. Давай вместе?

«Он настоял, чтобы я пришел к нему домой в тот же вечер, и мы тотчас приступили к работе», — вспоминал много лет спустя Сергей Николаевич Люшин. Вот еще одна из характерных черт Королева: ему абсолютно чужды этикие маниловские разглагольствования, «мечтания» для прикрытия пассивности. Мысль, идея должны воплощаться в дело со скоростью максимально возможной. Он никогда не говорил «хорошо бы сделать», «надо бы попробовать». Он делал и пробовал сразу. Позднее эта черта раздражала многих работавших с ним, казалось, он

берется за дело, не обдумав его до конца. Люди не сразу могли понять, что он думает быстрее других, и думает очень рационально — не больше, чем требуется для того, чтобы начать.

Когда Григорий Михайлович Баланин в конце 1926 года получил квартиру на Александровской улице — две комнаты и кухня, — Сергея определили сначала в большую комнату, служившую и столовой и гостиной. Но потом Мария Николаевна поняла, что сыну нужна отдельная комната, и отдала ему спальню. Ведь совсем уже взрослый парень. Свои заботы, свои дела, новые серьезные друзья. Сергей очень изменился за полтора московских года. Отпустил усики. Купил хороший костюм, модную рубашку с воротничком на заклепке, стал носить галстук. Румяный студент в застиранной косоворотке как-то совсем незаметно превратился в солидного мужчину. Теперь у него была своя комната, хорошая квадратная комната с большим окном во двор. Старый буфет с «охотничьими мотивами»: резные убитые утки на дверцах. Диван. Посередине стол с чертежной доской, которую очень редко прятали за буфет. У стены еще три-четыре чертежные доски — маленькое домашнее КБ. Лозунг на стене: «Кончив дела, не забудь уйти» — и приписка: «Убирайся!» Пепельница, полная окурков. В щелях паркета — розовая пыль от ластика. Здесь прожил Сергей Павлович Королев десять лет...

Итак, они решили сделать свой планер. Даже не просто планер — паритель. Королев быстро сформулировал задачу:

— Планер экспериментальный. Что нового будет в нем по сравнению с существующими конструкциями? Прежде всего абсолютная надежность, пусть даже в ущерб аэродинамике и скорости.

В этом первом осуществленном проекте уже было высказано его конструкторское кредо: надежность. Машина создается для человека. В этом весь смысл ее существования. ненадежная машина этот смысл выхолащивает. Она не нужна, бессмысленна, порочна в основе, значит, вредна. Это было его убеждением, подтвержденным всей жизнью — от «Коктебеля» (так решили назвать планер) до космического корабля «Союз».

Предварительный проект защищали на техкоме в Осоавиахиме. Работу в целом одобрили. В резолюции было отмечено: «Выдать деньги на изготовление рабочих чертежей и найти место для постройки». Все было чудесно, хотя оставалось совершенно не ясно, кто, собственно, будет изготавливать эти чертежи и искать это место. Помощников нашли себе сами. Люшин с Петром Дудукаловым чертили крыло и оперение. Королев с Павлом Семеновым — фюзеляж и управление. Теперь уже сидели за досками каждый вечер, разве что в Новый год не чертили. Логарифмические линейки «дымилась». Одновременно Королев прикидывал, кто может взяться за воплощение этих чертежей в металл и дерево. Изготовителя найти было трудно при всем великом таланте Королева убеждать и «поджигать» других своей идеей. В нескольких местах уже получил он отказ, пока не договорился с Щепетильниковским трамвайным парком и мастерскими Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. Трамвайчики брались изготовить всю столлярку: шпангоуты, нервюры, лонжероны. В мастерских Академии должны были сделать металлические детали.

Днем Королев работал на заводе, потом забегал в мастерские, подгонял, уточнял, советовался с мастерами, потом летел в МВТУ. Однако всего этого ему показалось мало. Однажды вечером в первых числах февраля он примчался домой к Сергею Люшину — тот жил неподалеку от МВТУ, у Красных ворот, — и прямо с порога крикнул:

— Завтра с утра идем на медкомиссию!

Люшин удивленно поднял брови.

— Выделена группа планеристов. Шесть человек, — объяснял Королев. — Нам будут учить летать на самолете. Завтра в Академии медкомиссия. Нам надо не опоздать.

Школа создавалась буквально на пустом месте. Не было ничего, даже обычной классной доски не было, писали мелом на обломке крыла. Да и была бы доска — еще неизвестно, где удалось бы ее поставить: ведь помещения тоже не было.

Какими-то правдами-неправдами осовашихимовцам удалось раздобыть английский бипланчик «Авро» — «Аврешку», как его любовно все называли. Самолетик был древний, ветхий, третьей категории, то есть хуже некуда, из числа трофейных, захваченных еще в гражданскую войну. В формуляре к бипланчику оговаривалось, что он «допускает только неглубокие развороты». Из приборов оснащен лишь альтиметром, который врал. Правда, еще был стеклянный стаканчик, в котором булькало масло, информируя таким образом о состоянии маслопроводов. Двигатель «Аврешки» позволял регулировать обороты в пределах от девятисот до тысячи двухсот. Поэтому садиться надо было с выключенным контактом. На земле машина была практически неуправляема. Почему это крылатое устройство летало — понять никто не мог, но оно летало! И лучший самолет для учебы, по общему мнению, найти было трудно, потому что кто полетит на «Аврешке», тот на любом другом самолете тем более полетит. В общем, недостатки материального обеспечения школы летчиков с лихвой перекрывались избытком оптимизма ее создателей и учеников.

Летать их учил Дмитрий Александрович Кошиц, летчик, планерист, непреходящий участник коктебельских слетов. Веселый, очень общительный, неиссякаемый на анекдоты и шутки, инструктор сразу всем понравился. Обаяние Кошица не могло не привлечь к нему Сергея Королева. Несмотря на разницу в годах и положении (Кошиц был старше на шесть лет), в их судьбах было много общего. Как и Королев, Кошиц воспитывался в интеллигентной семье. Как и Королев, жил с отчимом. Как и Королев, был влюблен в авиацию, увлекался планеризмом, не мыслил жизни без полетов.

На Ходынском поле, где размещался Центральный аэродром, базировалось довольно много самолетов, и днем, случалось, курсантам школы полеты запрещали — «чтобы не путались под ногами». Ничего не поделаешь. С тоской и завистью смотрели они на взлетающие и садящиеся новенькие «Хэвиленды» и со вздохами принимались за ремонт «Аврешки»: замечательно, что всегда находилось нечто нуждающееся в ремонте. Самым неприятным занятием было мыть «Аврешку». Выхлоп оставлял жирный след на левом крыле. Мыть приходилось горячей водой с мылом, лежа на спине. Вся эта грязь капала на лицо, подтекала в рукава. Кошиц сидел рядом и бодрил коллектив анекдотами.

— Как вы думаете, можно сделать штопор на этом самолете? — спросил однажды Кошиц у Люшина и Королева, кивнув на «Аврешку». — Вы же авиационные инженеры...

— Так ответить трудно, — сказал, подумав, Королев. — Надо снимать обшивку, посмотреть внутри...

— Не помню случая, чтобы «Аврешка» развалился в воздухе, — сказал Кошиц и полетел. На этот раз один.

Ходынка замерла. «Аврешка» оказался очень упорным и в штопор входит не хотел, но Кошиц все-таки вогнал его. Вывел благополучно и сел. Вылез веселый:

— Что касается Кошица, он никогда не укукошится!

С болью вспоминал С. П. Королев эти слова несколько лет спустя, когда Дмитрий Александрович Кошиц разбился на грузовом планере.

В 1929 году в МВТУ за счет сокращения количества зачетов, экзаменов и сроков дипломного проектирования решено было сделать «ускоренный выпуск». Хитрый Королев решил сэкономить несколько месяцев. Он предложил в качестве диплома авиетку, которую начинал делать с Саввой Кричевским в АКНЕЖе еще два года назад. Это предложение приняли. Руководителем диплома С. П. Королева был А. Н. Туполев. Через много лет Андрей Николаевич писал:

«Королев был из числа самых «легких» дипломников: я сразу увидел, чего он хочет, достаточно было лишь слегка помогать ему, чуть-чуть подправлять. Я быстро убедился, что этот человек умеет смотреть в корень. Уже тогда у меня сложилось прекрасное впечатление о нем как о личности и как о талантливом конструкторе. Я сказал бы, что он был человеком, беспредельно преданным сво-

ему делу, своим замыслам. Я с самого начала почувствовал к Королеву расположение, и надо сказать, что он всегда также отвечал мне большой сердечностью»...

В жестком графике своих забот и дел Королев отводит МВТУ весьма скромное место. Дипломный проект — свою авиетку — он защищает в декабре 1929 года. Но только через полтора месяца был издан приказ № 45 от 9 февраля 1930 года, в котором значилось, что Королев (без инициалов; гораздо позднее, уже в 1948 году, когда Сергею Павловичу потребовалась копия документа, отсутствие инициалов в приказе привело в некоторое замешательство отдел кадров МВТУ) окончил аэромеханический факультет Московского высшего технического училища и ему присвоена квалификация инженера-аэромеханика.

Но все это случилось уже зимой, а летом 1929 года Королев все свободное от работы на заводе время отдает полетам на Ходынском поле и постройке своего планера.

Ему удалось найти на Беговой улице место, где можно было начать строительство. Пожалуй, правильнее его назвать именно «местом», нежели «помещением», поскольку это была коновязь с навесом, земляным полом и тесовыми стенками с трех сторон. Неподалеку находился сарай, куда на ночь запирали собранные части конструкции. Таким был первый «сборочный цех» будущего Главного конструктора.

Под навесом работа шла до темноты. Сергей как-то очень тонко и незаметно сумел заинтересовать планером сборщиков, которые скоро перестали смотреть на эту работу просто как на приработок, а почувствовали себя «соавторами» молодого конструктора. Рядом с королевской коновязью строились другие планеры.

С тревогой следил Королев за своими будущими крымскими соперниками: этот совсем готов, того обшивают перкалем, «Гном» Черановского, толстый, похожий на бомбу, сияет свежей краской, хоть сейчас пускай. Неужели он опоздает?

В Осовиахиме не поверили, когда Королев и Люшин заявили планер на слет: никто не ожидал, что его построят так быстро.

До отъезда в Крым произошло одно важное событие, которым Сергей очень гордился: он совершил свой первый самостоятельный полет на самолете. В конце июля к самостоятельным полетам Кошиц допустил сначала Пинаева, потом Люшина. Кошиц хотел окончательно отучить Сергея от привычки, унаследованной у планеризма: слишком резкие движения при управлении машиной. Но в начале августа пробил час Королева.

Кошиц не предупреждал, но по тому, что он снял переговорную трубку и подушку со своего сиденья, Сергей понял, что полетит один. Стал вдруг очень спокоен, нарочито спокоен, только что не зевал.

— Итак, ваше задание: взлет, один круг и посадка,— сказал Кошиц Королеву.

Тот кивнул в ответ.

— Разрешите взлет?

— Разрешаю.

Мотор «Аврushi» пошел с первого раза. Это считалось хорошей приметой. Королев взлетел, пошел в сторону нынешнего Хорошевского шоссе. Очень аккуратно сделал разворот и сел. Вылезая из самолета, не мог сдержать сияющей улыбки. Кошиц сделал ему поистине царский подарок:

— Еще раз и так же.

Взлет, круг, посадка — шесть минут невыразимого счастья. Он летал весь август и начало сентября. Потом погрузил свой «Коктебель» и вместе с Люшиным и Кошицем уехал в Крым.

В отличие от планерных испытаний 1927 и 1928 годов этот коктебельский слет назывался VI Всесоюзными планерными состязаниями и радовал большей представительностью: на старт заявили двадцать два планера.

В конце октября, уставший от многодневных волнений и бессонницы, Сергей решил купить билет до Одессы и хоть денек побродить по любимому городу, а оттуда ехать в Москву. Курортники уже оставили Крым, и народу на пароходе «Ленин» было мало. Зеленое море дымилось белыми барашками, а вдалеке, где цветом своим вода сливалась с небом, плыл крымский берег — череда скал и садов, в не по-осеннему яркой листве которых прятались белые домики.

Сергей сидел на палубе и смотрел на берег. Подступала дрема, он спускался в каюту, ложился и сразу засыпал. Просыпался от непривычного покоя и тишины и снова сидел на палубе. Ночью последние огни Крыма растаяли за кормой. А утром он написал матери большое письмо, наверное, самое большое письмо, которое он написал в своей жизни. Письмо о Коктебеле, о планерах, о себе:

«...В этом году на состязании много новых впечатлений и ощущений, в частности у меня. Сперва прибытие в Феодосию, где мы встретились в четверг, 24 сентября. Потом нескончаемый транспорт наших машин, тянувшихся из Феодосии на Узун-Сырт — место наших полетов. Первые два дня проходят в суете с утра и до полной темноты, в которой наш пыхтящий грузовичок «АМО» отвозит нас с Узун-Сырты в Коктебель... У палаток вырастают машины. Нас пять человек в шлемах и кожаных пальто, стоящих маленькой обособленной группкой. А кругом все окружают нас словно кольцом. Нас и нашу красную машину, на которой мы должны вылететь первый раз. Эта маленькая тупоносая машина по праву заслужила название самой трудной из всех у нас имеющихся, и мы сейчас должны это испытать.

Нас пять человек — летная группа уже не один год летающих вместе, но сейчас сомкнувшихся еще плотнее. Каждый год перед первым полетом меня охватывает странное волнение, и хотя я не суеверен, но именно этот полет приобретает какое-то особое значение. Наконец все готово. Застегиваю пальто и, улыбаясь, сажусь. Знакомые лица кругом отвечают улыбками, но во мне холодная пустота и настороженность. Пробую рули, оглядываюсь кругом. Слова команды падают коротко и сразу... Только струя студеного ветра в лицо... Резко кладу набок машину... Далеко внизу черными точечками виднеется старт и нелепые вскученности гор ходят вперемежку с квадратиками пашен. Хорошо! Изумительно хорошо! У палатки собрана большая, красная с синим машина. Кругом копошатся люди, и мне самому как-то странно, что именно я ее конструктор и все, и все в ней, до последнего болтика, все мною продумано, взято из ничего — из куска расчерченной белой бумаги. Сергей (Люшин), очевидно, переживает то же. Подходит и говорит: «Знаешь, право, легче летать, чем строить!» Я с ним сейчас согласен, но в душе не поборошь всех сомнений. Не забыто ли что-нибудь или сделано неверно, неточно?.. Впрочем, размышлять некогда. Наш хороший приятель садится в машину и шутливо говорит: «Ну, конструктора, волнуйтесь!» Да этого и говорить не нужно, и мы прилагаем все усилия, чтобы сдержаться... А потом нас хором поздравляют, и вечером в штабе я слушаю, как командир (начальник воздушных сил МВО) связывает мою роль летчика и инженера в одно целое, по его мнению, чрезвычайно важное сочетание. Впрочем, я с ним согласен. Наутро приказ: я вылетаю на своей машине сам! Все идет прекрасно, даже лучше, чем я ожидал, и, кажется, первый раз в жизни чувствую колоссальное удовлетворение, и мне хочется крикнуть что-то навстречу ветру, обнимающему мое лицо и заставляющему вздрагивать мою красную птицу при порывах...

И как-то не верится, что такой тяжелый кусок металла и дерева может летать. Но достаточно только оторваться от земли, как чувствуешь, что машина словно оживает и летит со свистом, послушная каждому движению руля. Разве не наибольшее удовлетворение и награда самому летать на своей же машине?! Ради этого можно забыть все — и целую вереницу бессонных ночей, дней, потраченных в упорной работе без отдыха, без передышки. А вечером... Коктебель. Шумный ужин, и, если все (вернее, наша группа) не устали, мы идем на дачу Павловых танцевать и слушать музыку. Эта дача — оазис, где можно отдохнуть за год и набраться сил для будущего. Впрочем, когда наступили лунные ночи,

усидеть в комнате очень трудно, даже под музыку. Лучше идти на море и, взобравшись на острые камни, слушать рокот моря. А море шумит бесконечно и сейчас тоже и покачивает слегка наш пароход... Сейчас жду Одессу с нетерпением. Ведь именно в ней мною прожиты самые золотые годы жизни человека. Кажется, это так называется...

Целую тебя и Гри.

Привет. Сергей».

Состязания прошли очень удачно. Рекорд высоты 1928 года — 375 метров — был передвинут Дмитрием Кошицем и Андреем Юмашевым за («невероятно!») полуторакилометровую отметку! Рекорд дальности полета по прямой — 14 километров — также был перекрыт тем же Кошицем более чем вдвое — 34,6 километра.

С полным правом мог гордиться своими достижениями и Сергей Королев. Журнал «Самолет» так оценил «Коктебель»:

«Конструкторы Люшин и Королев при проектировании ставили задачу дать хорошо устойчивую в продольном направлении машину, не утомляющую пилота при длительных полетах. Им это удалось вполне достигнуть».

VI состязания, безусловно, были большим событием в жизни Сергея Павловича Королева. За несколько месяцев до окончания МВТУ, стоя на пороге своей инженерной самостоятельности, он получил признание как конструктор и испытал себя как летчик. Наконец он услышал те самые слова участия и одобрения, ту, пусть скупую, похвалу, без которых так трудно жить, трудно даже самому уверенному в себе человеку, даже самому убежденному в своей правоте. Без которых тяжело даже гению.

8

«Каждый шаг действительного движения важнее дюжины программ».

Карл Маркс.

Конструкторское бюро Поля Ришара размещалось в Столярном переулке на Красной Пресне, на четвертом этаже большого здания, построенного специально для магазина знаменитой фирмы «Мюр и Мерилиз». А потом там был заводик по изготовлению воздушных винтов и лыж. КБ француза получило официальное название ОПО-4, Четвертый опытный отдел, который именовался также МОС ВАО — Морское опытное самолетостроение Всесоюзного авиаобъединения.

Ришар приехал в СССР не один. С ним прибыли десять его конструкторов, каждый из которых, очевидно, предполагал, что очень скоро получит собственное КБ, и уже подготовил свои проекты, подчас в виде никак не обоснованных набросков. Создавать для всех французов КБ никто не собирался, и большинство из них вернулось на родину. В Столярном переулке остались Поль Ришар и заведующий группой общих видов Андрэ Лявиль. Третий француз — Ожэ, заведующий секцией плазов, — сидел на авиационном заводе, который постепенно утратил свою былую независимость и превратился в производственную базу Ришара.

Конструкторское бюро работало по плану, утвержденному Авиатрестом. План был весьма обширным и включал в себя около десятка гидросамолетов различного назначения: двухместный истребитель, торпедоносец, ближний морской разведчик, летающие лодки. Но скоро стало ясно, что погоня за многими зайцами чревата полной неудачей в охоте, к тому же всем памятен был недавний печальный опыт Д. П. Григоровича. Постепенно основные силы КБ были сосредоточены на одном самолете — «ТОМ-1», торпедоносце открытого моря.

Таким образом, к концу 1929 года, когда Сергей Королев вернулся из Одессы, проектирование «ТОМ-1» было в самом разгаре. В это время там работали такие известные авиационные специалисты, как И. И. Артамонов, Д. М. Хомский, П. Д. Самсонов, И. В. Остославский, М. П. Могилевский, А. Л. Гиммель-

фарб, В. Б. Шавров. У Ришара начинали свой путь замечательные советские авиаконструкторы: С. А. Лавочкин, Н. И. Камов, Г. М. Бериев, М. И. Гуревич. Столярный переулочек объединил и двух друзей — Сергея Люшина и Сергея Королева. Лавочкин тогда занимался прочностью, Люшин — крылом и управлением, Королев — вооружением, компоновал пулеметы, проектировал турели: «ТОМ-1» был вооружен тремя пулеметами.

Законченный в июле 1929 года проект не принес славы Ришару. Француз опоздал с этим гидросамолетом. Его торпедоносец был очень похож на морской вариант «ТБ-1» Туполева. Но «ТБ-1» уже освоила промышленность, не говоря о том, что «ТОМ» был сложнее «ТБ» технологически. В нем было, например, раза в два больше заклепок, чем в самолете Туполева. Дело ограничилось изготовлением опытного образца «ТОМ-1», который затем проходил испытания в Севастополе. Когда стало ясно, что самолет в серию не пойдет, Ришар уехал во Францию. (А Лявиль остался в СССР. Летом 1930 года вместе с Лавочкиным, Каменномостским, Фельснером и Люшиным он ушел из КБ Ришара и создал свой маленький, но очень дружный коллектив, получивший название БНК — Бюро новых конструкций, просуществовавшее около трех лет. Затем Лявиль работал в НИИ ГВФ, а в 1935 году оставил авиацию и стал корреспондентом французских газет в Москве. Только в 1939 году он вернулся в Париж.)

После ухода Люшина с Лявилем Королев продолжал до лета 1930 года работать у Ришара. По свидетельству людей, знавших его в те годы, Сергей Павлович ничем особенно не выделялся в конструкторском бюро, не «фонтанировал» идеями, держался тихо, скромно и к работе относился если не формально, то уж наверняка без особенного увлечения. Это легко объяснить, во-первых, общими склонностями Сергея Павловича как инженера, во-вторых, частными заботами его в ту пору. Королев всегда, во всех своих работах тяготел к инженерным обобщениям, к синтезу. Его всегда привлекают лишь конструкции, если можно так сказать, предельные: планер, самолет, ракета. Но не крыло планера, не рули самолета, не сопло ракеты. Буквально через два года он поймет, что воплощение всех его замыслов тормозится отсутствием надежного ракетного двигателя, но и утверждая это, он сам не будет заниматься двигателем, поскольку двигатель — лишь часть целого. Заниматься стрелковой установкой в выдвижной башне перед задней турелью в самолете «ТОМ-1» увлеченно он не мог, потому что в то же самое время он сам строит две самостоятельные машины: планер «СК-3» и авиетку «СК-4».

— Сразу после возвращения из Коктебеля в Москву осенью 1929 года Сергей предложил мне делать новый планер для высшего пилотажа, — вспоминает С. Н. Люшин. — Было много причин, мешавших мне взяться за эту работу, и он сам начал проектировать то, что потом превратилось в «СК-3» — «Красную звезду»³.

Спроектировать и построить задуманный планер за год (разумеется, он должен был появиться осенью 1930 года в Коктебеле) одному человеку, даже обладающему работоспособностью Королева, было не под силу, и Сергей понимает это. Он ищет помощников. Первым из них становится отчим.

Многие вечера проводят Сергей и Григорий Михайлович с логарифмическими линейками в руках, обсчитывая новый планер. Пальцы работают так быстро, что движок линейки становился теплым. Переговариваются мало: все ясно и без слов. Но если уж начинают говорить, то это ненадолго, и тогда лихорадочно листаются справочники, наперебой выдавливают ногти энергичные отметки под формулами и ломаются в торопливых доказательствах острые карандаши.

Что же задумал Сергей Королев? «Коктебель», который строили они с Люшиным, был просто паритель. Его конструкция, бесспорно оригинальная, все-таки лежала в рамках привычного и общепринятого. Задачи, которые поставил

³ Планер был назван в честь газеты «Красная звезда».

перед собой Королев, на этот раз были существенно сложнее. Вот как он сам говорит о них:

«Назначение — одноместный летательный аппарат, позволяющий производить на нем фигуры высшего пилотажа. В частности, из их числа наибольший интерес представляло выполнение мертвой петли.

Постройка такой машины имела своей целью практически доказать возможность производства фигур высшего пилотажа на планере вообще. Единственный опыт в этом направлении был проделан в Америке, но летчик Хозе, сделавший четыре петли, воспользовался для набора высоты помощью самолета, буксировавшего его планер. Таким образом, для планера-парителя, самостоятельно набиравшего высоту, подобная задача ставилась впервые...»

Следом идет чрезвычайно характерное для Королева научно-техническое обоснование создания именно такого, а никакого другого планера:

«Далее, планер для фигурных полетов, обладая большим запасом прочности «на все случаи жизни», дает возможность практически замерить те перегрузки, которые возникают в полете, и проделать все те наблюдения, которые на планере обычного типа невозможны».

То есть речь идет не только о новой летательной машине, но о новом и нструменте для исследований. Ход мысли абсолютно логичен: не просто сенсационные фигуры высшего пилотажа и невиданные мертвые петли должна была принести на своих крыльях «Красная звезда», но, что важнее, предоставить сведения, которые позволили бы сделать следующий, еще более дерзкий шаг.

Когда «Красная звезда» была готова, планер принимал технический комитет. Главным экзаменатором стал Сергей Владимирович Ильюшин, конструкторский авторитет которого уже в те годы был очень высок. Ильюшин был хмур, строг и держался очень официально. Чертежи не листал. Со всех сторон оглядел планер, попробовал рули и велел переделать один ролик. Ролик заменили за день, и Ильюшин дал «добро».

Королеву не терпелось испытать планер в воздухе. Однажды в выходной день Сергей с Петром Флеровым и монтажниками привезли «СК-3» на станцию Планерная, где теперь тренировались многие планеристы. Был теплый, ясный, абсолютно безветренный августовский день. Несмотря на многочисленные попытки, взлететь «Красная звезда» не смогла. Королев был раздосадован, но вида не подавал.

— Ветра нет, — сказал он Петру. — На ветре взлечу. В Крыму. Разбирайте.

Одновременно с планером Королев строит самолет. К моменту защиты дипломного проекта его авиетка существовала только на бумаге. Но Королев не формально относился к этой работе. Маленький самолетик уже не нужен был для диплома, он нужен был ему для себя. Королев поставил перед собой задачу сделать маленький самолет «дальнего действия». Он планировал перелеты, при которых «СК-4» мог бы находиться в воздухе до двенадцати часов. Сергей на недавно купленном мотоцикле «Дерад» носился по всей Москве, доставал детали и материалы. Успех работы конструктора во многом зависел еще и от его способности снабженца, умения сочетать «легальные» и «полулегальные» методы в своих поисках. Особенно много времени ушло у Королева на поиски мотора. Нужен был мотор в сто лошадиных сил. Обыскал все авиационные углы и закоулки, но, увы, не нашел. Пришлось довольствоваться шестидесятисильным «Вальтером».

— Ставьте пока этот, — сказал он приглашенным механикам, — а там посмотрим. Достану посильнее — поменяем...

Перед поездкой в Коктебель Сергею очень хотелось хоть один раз подлетнуть на своей авиетке, и он торопил механиков. «Красную звезду» уже отправили в Крым, когда на аэродром привезли новенький «СК-4», серый, с красной полосой вдоль фюзеляжа. Дрелью с фетровой насадкой на капоты для красоты навели «мороз». Загляденье было, а не машина! Флеров выпускал, был за главного механика. На переднее сиденье сел Королев, весь в скрипучей коже, очки

на лбу, ужасно авиационный весь. Он был немногословен, очень собран и держался так, будто летать ему надо не один круг над аэродромом, а в Америку. Позади него сидел Дмитрий Кошиц. Собственно, он должен был пилотировать авиетку, но допустить, чтобы первый полет его первого самолета происходил без него, Королев не мог.

На краю поля стартеры замахали белым флагом.

— Наверное, это нам машут,— сказал Кошиц.— Полетели...

Авиетка бежала по полю очень долго, как перегруженный бомбовоз, и Петр Флеров уже подумал, что она и вовсе не взлетит. На слух мотор явно недодавал обороты. Очевидно, был велик винт. Наконец взлетели. Сделали круг, второй и пошли на посадку. Пожалуй, выравнивать начали слишком высоко и немного плюхнулись. Была погнута ось колес. Ну да это пустяки. Главное — машина летела! Сергей ликовал.

Из Феодосии они ехали на «Харлее», который Кошиц привез с собой в Крым. Сергей за рулем. Обгоняли мажары с планерами: слет обещал быть большим, заявки в Осоавиахим прислали восемнадцать организаций. Сергей увидел Коктебель, заколотилось сердце. Как теперь любил он это место! Насколько красивее оно слащавой Алупки!

Здравствуй, Узун-Сырт!

Вроде бы ничего не изменилось здесь за прошедший год. Так же колышутся под ветром стенки палаток-ангаров, те же худые лошаденки влекут в гору планеры, так же прохладен розовый мускат в погребке грека Синопли, так же широко улыбается его жена, у которой они столовались, и так же надменен ее повар, который готовил когда-то на царской яхте «Штандарт» и на все кулинарные замечания в свой адрес неизменно отвечал: «Его императорское величество не жаловались». Да, все как год назад. Но все теперь другое — и люди, и лошади, и гора, и море. Все теперь по-другому, потому что у него есть его собственный планер, его паритель, его «СК-3». Потому что он увидит его полет здесь, на этой горе, и сам полетит на нем, обязательно полетит!

О высшем пилотаже с летчиком Василием Степанчонок договорились они загодя, еще в Москве. Особенно уговаривать Василия не пришлось: ему самому очень хотелось попробовать сделать на планере мертвую петлю. В прошлом году в Каче он уже делал нечто подобное. На «Аврешке» шел в мертвую петлю с выключенным мотором. Правда, «Аврешка» — это вам не планер. Его можно разогнать километров под шестьдесят в час, он не развалится. Но Степанчонок верил в Королева и его «Красную звезду». Кроме того, Н. Е. Жуковский, а за ним В. Н. Пышнов доказали своими расчетами, что мертвую петлю на планере сделать можно. И Василий Степанчонок еще в Москве решил попробовать.

Уступая Сергею, первые полеты на «СК-3» Василий отдал автору проекта. Королев летал на «Красной звезде» четыре раза, но всякий раз недолго: планер парил все-таки хуже, чем Сергей ожидал, чувствовалось, что для парителя он тяжеловат. Выяснилось, что требуется небольшая переделка компенсатора руля направления. Только доделали руль — стала портиться погода. Низкие тучи окутали Узун-Сырт, с моря дул сильный холодный ветер, срывался дождь. У Сергея было поганое настроение, и чувствовал он себя неважно: раскалывалась от боли голова, знобило. Он понял, что заболевает.

— Съезди в Феодосию,— посоветовал Степанчонок,— пусть порошки какие-нибудь выпишут...

— А вдруг распогодится...

— Нет, я Крым знаю, это на несколько дней...

Сергей поехал в Феодосию и не вернулся. Его положили в больницу. Это была не простуда. Это был брюшной тиф.

Но полет, которого с таким нетерпением ждал Сергей Королев, все-таки состоялся. Вот как описывает его сам герой дня — Василий Андреевич Степанчонок:

«Высота около 200 м над склоном. Видно, как внизу кучкой стоят и смот-

рят, расположившись около полотнища, планеристы... Ставлю планер в направлении на долину и увеличиваю угол планирования. Ветер сильнее хлестнул в лицо... Теперь спокойно последнее движение рулем глубины, и я вижу, как земля ринулась на меня, а деревушка Бараколь стала быстро расти на глазах... «Сколько я потерял высоты?» — мелькнула мысль. Земля, кажется, так близка. Плавно, медленно ослабляю давление на ручку, и планер, приподнимая нос, уже бороздит небо... Вот планер уже стоит вертикально... Не торопясь ускоряю движение ручки... Переваливаюсь на спину... Зависну или нет? Но нет, скорость еще есть, ремни на плечах не натянулись. Ручка дотянута и... тишина... Ни звука... Спокойно, как в штиль...

Мелькнул южный склон Узун-Сырты, еще несколько мгновений и... планер спокойно продолжает нормальный полет... Даю знать о второй петле... А в голове мысль: «А ведь Сережа и не подозревает». Конструктор машины в это время, измученный и ослабевший от брюшного тифа, оторванный от своего планера и слета, бессильный лежал на кровати феодосийской больницы...»

«Красная звезда» прославила своего молодого конструктора. Конечно, славу эту Королев справедливо делил с пилотом. Недаром Сергей называл полет Степанчонка «исключительным по смелости и красоте».

Василий Степанчонок действительно был одним из самых одаренных летчиков и планеристов. Вся его дальнейшая работа в авиации подтвердила те высокие оценки, которые получил он в ту осень в Коктебеле. В своих воспоминаниях известный летчик-испытатель П. М. Стефановский, знавший Степанчонка долгие годы, указывает на его качества, которые помогли ему стать впоследствии отличным летчиком-испытателем: «Безукоризненная техника пилотирования самолетов и планеров, неумный летный азарт и огромная любовь к авиации...»

Василий Андреевич погиб в 1943 году при испытаниях одного из вариантов злосчастного самолета, до этого отнявшего жизнь у Валерия Чкалова и Томаса Сузи.

А конструктор лежал в больнице, и конструктору было очень плохо. Холодный ветер свистел в щелях окна, рядом тихо стонал в беспомощности умирающий грузин. Сергей вдруг почувствовал себя бесконечно одиноким и всеми забытым. Он продиктовал сестричке телеграмму Петру Флерову: «Заболел брюшным тифом Феодосии тчк Все твоим усмотрении тчк Сергей».

Петр с телеграммой в руках побежал на Александровскую. Через два дня Мария Николаевна приехала в Феодосию. Сергей старался бодриться, но у него это не очень получалось. Мария Николаевна боялась, что он простудится в палате, и упростила врачей выписать сына из больницы. Несколько дней пролежал он в номере «Астории» — типично курортной гостинице, созданной для супружеских измен. После тифа у него началось осложнение — воспаление среднего уха. Требовалась операция, но местный врач признался, что боится ее делать. Они поехали в Москву. Болело уже не ухо — вся голова: болью набух череп и хотелось только одного — прислониться лбом к холодному стеклу и заснуть.

Когда Сергея привезли во Вторую университетскую клинику, он был совсем плох, мелко дрожал в ознобе. Его положили у печки. Старый приятель по МВТУ Игорь Розанов, которому Королев помогал строить планер, попросил своего отца, известного врача профессора Владимира Николаевича Розанова, помочь Сергею. Тот позвонил профессору Свержевскому. На следующий день Свержевский сделал Королеву операцию. Трепанация черепа — штука довольно неприятная. В больнице он пролежал долго. Иногда заходили Петр Флеров, Игорь Розанов. Сергей расспрашивал об авиетке, о делах в конструкторском бюро.

Наконец он выписался из больницы, но чувствовал себя очень плохо. Сидел дома, много читал. В Колонном зале открылся IX съезд ВЛКСМ. 25 января съезд принял шефство над Военно-Воздушными Силами РККА. Это здорово! На съезде выступал нарком Ворошилов, подчеркивал значение авиации, цитировал немецкого генерала Людендорфа. Людендорф говорил: «В моих статьях я наметил начало новой войны на 1 мая 1932 года... Этот день будет назначен за несколько

недель до урожая... Для народов, которые будут уничтожены, совершенно безразлично, начнется ли война в 1931, 1932 или 1933 году».

Он вспомнил эти слова летом 1941-го по пути в Омск...

Потом его временно перевели на инвалидность: такой долгий бюллетень не оплачивался. Денег не было. Продал Петру свой «Дерад». И Петру не повезло: сломал руку, тоже сидел дома. Во всей его жизни не было такой тоскливой зимы. Труднее были, а такой тоскливой и бездельной не было.

В марте Сергей Королев собрал механиков для ремонта и подготовки своего самолета к полетам. Подкрасили, подмазали, отрегулировали двигатель. И в общем, все вроде бы было хорошо, а летать самолетик не хотел: не тут, так там вылезали какие-то неполадки, пробивались какие-то проводнички, что-то подтекало, вдруг выявлялся люфт — и так без конца. Много позднее Сергей Павлович понял, что торопливо сделанный «СК-4» был классическим примером «недоведенной» конструкции, наверное, единственной недоведенной конструкцией Королева.

Во время одного полета Дмитрия Кошица мотор «СК-4» отказал рядом с аэродромом, но высота была такая маленькая, что отвернуть на поле Кошиц никак не смог. Авиетка плюхнулась на крышу ангара.

Неизвестный фотограф запечатлел грустную картину: разбитый самолетик, два грустных активиста-осоавиахимовца, смущенный Кошиц со ссадиной на скуле и рядом — Королев в белой рубашечке, в галстук, в ладном светлом плаще. И вроде бы даже улыбается.

Вот так он улыбался, наверное, когда сочинил озорную эпитафию своей авиетке:

У разбитого корыта
Собралась вся семья.
Морда Кошица разбита,
Улыбаюсь только я.

Да чего тут улыбаться — жалко, конечно, самолетик. Но что же теперь делать... Много новых планов было у него в голове. И в разговоре с друзьями все чаще проскальзывало — «ракета», «ракетный двигатель». Не новость, конечно. О ракетах кто же не слышал, и о двигателях тоже где-то что-то писали. Да, все знали. И невозможно понять, почему именно этот двадцатичетырехлетний планерист, молодой конструктор авиационного конструкторского бюро вдруг, словно путник в ночи, пошел на свет этой ракеты. И невозможно объяснить, как увидел он в темной дали времен ее великое будущее и сразу поверил в него.

9

«Бывают в жизни моменты, которые являются как бы пограничной чертой для истекшего периода времени, но которые вместе с тем с определенностью указывают на новое направление жизни».

Карл Маркс.

Когда С. П. Королев объяснял появление интереса к ракетной технике только знакомством с идеями Циолковского и планами Цандера, это, как говорят математики, ответ лишь в первом приближении. Существовало множество факторов, в большей или меньшей степени влиявших на формирование этого интереса. Цель этой хроники: рассказать о жизни одного человека и никак — об истории ракетостроения и космонавтики. Однако совершенно необходим краткий исторический обзор, чтобы представить себе состояние ракетной техники в ту пору, когда в нее входил Королев, чтобы еще раз убедиться, как гармонично здесь сочетались личные его устремления с велениями века.

К. Э. Циолковский опубликовал в «Научном обозрении» первую часть своей работы «Исследование мировых пространств реактивными приборами» еще до рождения Сергея Павловича, в 1903 году. Труд этот, который по своему значению для прогресса человечества может стоять рядом с книгой «Об обраще-

ниях небесных сфер» Николая Коперника или «Началами» Исаака Ньютона, в то время не был замечен и оценен. В конце XIX и в начале XX века ракетами занимались редкие энтузиасты, которых без стеснения почитали чужаками, работы которых оставались или вовсе неизвестными, или признавались через многие годы⁴. Происходило это не только потому, что, по словам Томаса Гексли, «судьба новой истины такова: в начале своего существования она всегда кажется ересью», но и потому еще, что в те годы действительно не существовало никакой потребности в ракетах. Ими не занимались потому, что они были не нужны.

В военном деле ствольная артиллерия наращивала калибры, повышала дальность и точность стрельбы, и новый, далеко несовершенный, непривычный, капризный снаряд не сулил артиллеристам никаких выгод. Воздухоплавание в младенчестве своем⁵ никак не могло перескочить в век реактивной авиации, минуя эпоху самолетов винтовых. Первые же опыты применения ракет как движителей для различного вида наземного транспорта тоже нельзя было назвать многообещающими. Задачи исследования стратосферы связывались тогда в первую очередь с аэростатами. И там отлично обходились без ракет. Например, летом 1901 года Берсон и Зюринг в Германии поднялись на высоту 10 800 метров — достижение весьма серьезное.

Теоретики и практики ракетной техники были разобщены, часто не знали о работах друг друга. Американец Роберт Годдард, который начал заниматься ракетами с 1907 года, очень долгое время ничего не знал о трудах К. Э. Циолковского, равно как и Герман Оберт, работавший с жидкостными ракетными двигателями и ракетами в Германии. Столь же одинок был во Франции один из пионеров космонавтики, инженер и летчик Робер Эно-Пельтри, будущий автор двухтомного труда «Астронавтика».

Можно, конечно, предполагать, что о работах этих людей знал молодой Сергей Королев хотя бы понаслышке. Годдард, например, на весь мир рекламировал пуск ракеты на Луну 4 июля 1924 года. (В этот день человек, который действительно послал первую ракету на Луну, защищал свой первый проект в ОАВУКе и был по горло занят в планерных кружках.) Полет на Луну ракеты Годдарда широко обсуждался в печати, наверное, Королев знал об этом проекте.

И наверное, смотрел в том же 1924 году очень популярный фильм «Аэлита», по мотивам прекрасной фантастики Алексея Толстого. И в том же 1924 году мог листать журнал «Техника и жизнь», где напечатана была работа Ф. А. Цандера «Полеты на другие миры», или увидеть газету с заметкой о создании «Общества изучения межпланетных сообщений». А мог прочитать и другую газету: 13 июня 1924 года в «Известиях» напечатали заметку «Пресловутая ракета», в которой энтузиасты звездоплавания назывались «отечественными Сирано де Бержераками» — намек на повесть «Полеты на Луну», вышедшую в 1649 году, в которой, кстати сказать, сам того не ведая, французский поэт Сирано де Бержерак пришел к совершенно правильному выводу — принципу реактивного движения.

В год окончания Сергеем в Одессе стройпрофшколы было великое противостояние Марса, опять заговорили о каналах, марсианах, звездных перелетах, и это тоже могло незаметно, исподволь отложиться в памяти юноши.

А в Киеве! В предыдущих главах шел уже разговор о кружке, а затем «Обществе по изучению мирового пространства», о выставке этого общества на улице Короленко. В год отъезда Сергея из Киева вышло второе издание работы

⁴ Примером может стать трагическая судьба проекта реактивного воздухоплавательного прибора, составленного в камере смертников Николаем Ивановичем Кибальчицем, приговоренным к казни за причастность к убийству Александра II. Проект был окончен 23 марта 1881 года. Через несколько дней после этого в департаменте полиции было решено: проект Кибальчица «приобщить к делу 1 марта, давать это на рассмотрение ученых теперь едва ли будет своевременно и может вызвать только неуместные толки». С такой резолюцией проект пролежал в секретных архивах жандармского управления более тридцати пяти лет и был обнаружен лишь в августе 1917 года.

⁵ Первый моторный полет братьев Райт состоялся как раз в год издания упоминавшегося труда Циолковского — 17 декабря 1903 года.

К. Э. Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Книгу заметили: интерес был подогрет газетными заметками, лекциями, даже «Аэлитой». Возможно, Королев слышал об этой книге.

Почти уверен, что был он 8 апреля 1927 года на вечере «От полета человека в воздухе к полетам в мировом эфире». Ведь он состоялся как раз в МВТУ. Профессор В. П. Ветчинкин очень рекомендовал своим студентам послушать доклады изобретателя и летчика Георгия Полевого и конструктора ракетомобиля Александра Яковлевича Федорова. Последнего Королев должен был помнить по Киеву. А буквально через две недели на Тверской, в доме 68 открылась Первая мировая выставка межпланетных аппаратов и механизмов. У громадной витрины выставки постоянно стояла толпа: за стеклом расстился лунный пейзаж с Землей на небосклоне. На гребне одного из кратеров стоял фанерный человечек в скафандре, а вдали возвышалась серебристая ракета. Инициатором выставки был тот же А. Я. Федоров, человек необыкновенно одаренный и увлекающийся, один из организаторов Межпланетной секции при Ассоциации изобретателей-инвентистов (АИИЗ), «внеклассовой, аполитичной ассоциации космополитов», как они говорили о себе, которая разрабатывала даже свой собственный язык «АО» для облегчения взаимопонимания космонавтов разных стран. При всей хлесткости, искусственности и нарочитости своих лозунгов («Через язык «АО» изобретем все!», «Мы, космополиты, изобретем пути в миры!»), выставка была действительно интересной. Целые стенды с многочисленными моделями, чертежами, рисунками, фотографиями, оттисками печатных работ были посвящены трудам К. Э. Циолковского, Ф. А. Цандера, Р. Годдарда, М. Валье, Г. Оберта и других пионеров космонавтики. Организаторы выставки, не представляя себе всех сложностей космического полета, искренне верили в его реальность и заражали своей уверенностью других. Заражали настолько, что в специальной книжке, куда предлагалось записываться желающим лететь на Луну, очень быстро выросли длинные столбики фамилий. Подумать только, но ведь наверняка многие из этих людей дожили до первой лунной экспедиции землян!

В 1928 году в Ленинграде начинает работу Газодинамическая лаборатория, где создаются пороховые, а затем электрические и жидкостные ракетные двигатели. В том же году Ф. А. Цандер проектирует модель своего жидкостного двигателя, или «мотора», которую он называл «ОР-1» — опытный ракетный первый.

В год, когда Королев оканчивал МВТУ, К. Э. Циолковский издает в Калуге брошюру «Космические ракетные поезда» и подводит в «Трудах о космической ракете» черту под своими теоретическими работами в этой области. Он понимает, что теперь должен наступить новый этап, этап опытов и конкретных инженерных разработок. Он пишет:

«Ценность моих работ состоит, главным образом, в вычислениях и вытекающих отсюда выводах. В техническом же отношении мною почти ничего не сделано. Тут необходим длинный ряд опытов, сооружений и выучки. Этот практический путь и даст нам техническое решение вопроса. Длинный путь экспериментального труда неизбежен».

Очень многое изменилось к 1930 году.

Еще морщат носы упрямые артиллеристы при слове «ракета», но 3 марта 1928 года впервые в нашей стране была произведена стрельба реактивными снарядами с бездымным порохом. Непризнанного вчера Германа Оберта сегодня с распростертыми объятиями встречает автомобильный король Фриц фон Опель. Задумана невиданная реклама — реактивные автомобили. Киноконцерны обещают Оберту большие деньги за экранизацию романа Теа фон Гарбу «Женщина на Луне». Название книги Оберта, вышедшей в 1929 году, звучит со спокойным оптимизмом: «Пути осуществления космического полета».

Роберт Годдард, человек трудного, сложного характера, предпочитал работать скрытно, в узком кругу доверенных людей, слепо ему подчинявшихся. По словам одного из его американских коллег, «Годдард считал ракеты своим частным заповедником, и тех, кто также работал над этим вопросом, рассматривал

как браконьеров... Такое его отношение привело к тому, что он отказался от научной традиции сообщать о своих результатах через научные журналы...».

Однако дело не только в трудном характере американца. Его работы теперь уже не принадлежат ему. Остерегаясь браконьеров, он и не заметил, как сам превратился из хозяина в проводника-следопыта. Он получает теперь специальную дотацию для опытов с ракетами. По инициативе воздушного покорителя Атлантики полковника Линдберга образован фонд в сто тысяч долларов для ракетных работ Годдарда. Ничего, что полет на Луну обернулся газетным анекдотом, ничего, что вместо вертикального подъема его ракеты описывают дугу и падают: главное — признание. В июле 1929 года в Ворчестере ракета Годдарда на жидком кислороде достигает высоты трехсот метров. Теперь он понимает, что до Луны еще очень далеко, но он оптимист. «Что касается вопроса о том, через сколько времени может состояться успешная отсылка ракеты на Луну, — пишет Годдард, — то я считаю это осуществимым еще для нынешнего поколения». Он оказался прав: советская «Луна-2» впервые достигла Луны ровно через тридцать лет.

На рубеже тридцатых годов XX века дух опыта реет над ракетной техникой. «Только путем многочисленных и опасных опытов можно выработать систему межпланетного корабля», — предсказывает К. Э. Циолковский. Реальные дела, конкретные эксперименты становятся жизненно необходимыми. Осуществить их в нашей стране в те годы было довольно трудно из-за недостатка средств. Об этом времени интересно пишет историк Ю. В. Бирюков в своей работе «Роль С. П. Королева в развитии советской ракетной техники в период ее зарождения и становления»:

«Большие перспективы, открываемые применением реактивного принципа движения в артиллерии и авиации, в это время уже понимали многие, но добиться возможности работать над их воплощением в жизнь еще было очень трудно. Это удалось Н. А. Тихомирову и В. А. Артемьеву в Ленинграде⁶, потому что они взялись решать узкую и вполне реальную практическую задачу, и это никак не удавалось Ф. А. Цандеру в Москве, который все свои предложения, даже направленные на решение конкретных ближайших задач ракетной техники, обязательно связывал с проблемой межпланетных полетов. Получался замкнутый круг. Чтобы осуществить идею ракетного полета, нужно было ее общественное признание, которое дало бы необходимые средства для ее осуществления. Но лучшим и в то время почти единственным путем получить общественное признание идеи реактивного движения было осуществление ракетного полета на практике.

В разрыве этого замкнутого круга и проявилась впервые решающая роль Королева».

Таким был мир, в который входил наш герой. Мир калужского отшельника и реклам Фрица Опеля, мир лепета на языке «АО» и ревнивого молчальника Годдарда, мир, которому аплодировали залы Политехнического музея и университета и над которым потешались фельетонисты и карикатуристы. Королев понимал всю глупость и всю дерзость идеи полета в межпланетное пространство. Идея эта захватила его сердце, полонила, влюбила в себя, но голова его остается холодной. Он не изменяет девизу своей молодости: «Строить летательные аппараты и летать на них». Было бы неверным предполагать, что на границе тридцатых годов произошел некий перелом, полная смена интересов, что авиатор Королев, прочитав брошюры Циолковского, «прозрел» и превратился в Королева-ракетчика, обуреваемого желанием улететь на Марс. Принцип полета ракеты давал ему прежде Луны и Марса невиданные скорости, полную свободу от внешней среды, а значит, достижение таких высот, о которых задушенные разреженной атмосферой винтовые самолеты и мечтать не могли. Перерождение авиатора в ракетчика длится долгие годы. От ракетного двигателя на планере к высотному самолету, от него к ракетоплану, крылатой ракете, летящей в стратосфере, — эта цепочка

⁶ Ведущие сотрудники Газодинамической лаборатории (ГДЛ).

не сразу, не вдруг выстроилась у него в голове. Ракета была не целью, а средством достижения цели. Анализируя деятельность Сергея Павловича, написанное и сказанное им в начале тридцатых годов, можно сделать, разумеется, чисто умозрительное предположение о том, что если бы в идеальном случае ничто не мешало осуществлению его планов, человек, возможно, пошел бы в космос совершенно другой дорогой. Возможно, на орбиту спутника его вывела бы не баллистическая многоступенчатая суперракета, стартующая с Земли, а именно заатмосферный ракетоплан, крылатый аппарат с ракетными двигателями, стартующий из стратосферы, нечто, своими «технико-генеалогическими» корнями уходящее в авиацию.

Это могло случиться, но не случилось. Случилось то, что должно было случиться.

10

«Величие некоторых дел состоит не столько в размерах, сколько в своевременности их».

Сенека Младший.

Весной 1931 года по инициативе инженера Ф. А. Цандера при МАИ была создана Секция по изучению реактивного движения и межпланетных сообщений. А осенью при ЦС Осоавиахима—Группа изучения реактивного движения. В процессе ее организации и познакомился Сергей Павлович Королев с Фридрихом Артуровичем Цандером и сразу же стал активным членом этой группы.

В письме от 20 сентября 1931 года секретарь ГИРДа в письме к К. Э. Циолковскому так писал о планах работы группы:

«...популяризация проблемы ракетного движения, лекционная деятельность, лабораторная работа и т. д. Основной же частью является применение реактивных приборов и опыты».

Для того чтобы сколотить вокруг группы необходимый актив и собрать воедино энтузиастов, для того чтобы расшевелить как следует нашу общественность и поставить нашу проблему в порядок дня, как наступившую эру ракеты,— мы строим первый советский ракетоплан».

Строительство ракетоплана, о котором сообщали К. Э. Циолковскому, имеет интересную историю.

Сергей Павлович не вел дневника и редко записывал мысли. Когда пришла ему в голову идея соединить планер с ракетным двигателем, сказать трудно. Королев всегда был реалистом, а реальные контуры идея начала приобретать лишь в конце 1930 года: 18 сентября Ф. А. Цандер провел первые испытания своего двигателя «ОР-1». (Примерно в это же время, 1930—1931 годы, в Газодинамической лаборатории в Ленинграде молодой инженер В. П. Глушко вместе со своими сотрудниками проводит серию экспериментов и создает два опытных ракетных мотора: «ОРМ-1» и «ОРМ-2». Маловероятно, чтобы Королев знал тогда об этих работах, поскольку деятельность ГДЛ как организации оборонной не рекламировалась.)

Во второй половине 1931 года Королев, заручившись поддержкой актива ГИРДа, начинает очень решительно и настойчиво пробивать идею ракетоплана. Его проект заключался в том, чтобы установить двигатель Цандера на планере Черановского и ему, Королеву, полетать на такой невиданной штуке.

Историк авиации В. Б. Шавров писал:

«Среди советских конструкторов-самолетостроителей Борис Иванович Черановский занимает особое место по необычности схем его планеров и самолетов. Б. И. Черановский — основоположник бесхвосток в нашей стране и осуществленного в натуре летающего крыла толстого профиля во всем мире. За свою конструкторскую деятельность им было построено около 30 самолетов и планеров, но известность принесли Черановскому его «Параболы» — аппараты с параболоческой формой крыла в плане».

Борис Иванович был старше Королева и отличался крайне трудным, неуживчивым характером. Этот необыкновенно одаренный человек не терпел никаких замечаний, советы раздражали его, сомнения в его правоте приводили к разрыву отношений. Работать в коллективе он не мог. По своей работоспособности он сам был равен коллективу. И именно с ним хотел заключить сейчас Королев союз. Как раз геометрия бесхвосток Черановского казалась Сергею Павловичу наиболее подходящей для осуществления его плана. Если поместить ракетный двигатель на хвосте обычного планера, смещение центра тяжести не позволит ему летать. Если этот двигатель разместить, скажем, на «животе», под сиденьем пилота, реактивная струя отожжет планеру хвост. Королев понимал, что и «Коктебель» и любимая его «Красная звезда» в данном случае не могут соперничать с бесхвостками Бориса Ивановича: сама схема «Параболы» устраняла все трудности.

Королев встретился с Черановским на Планерной. Черановский слушал этого крепкого румяного парня и улыбался. Королев ему нравился. Он приезжал сюда со своим другом на мотоцикле и учил ребят летать. Видно было, что сам он летать любит. И когда Королев завел разговор о том, что хотел бы полетать на бесхвостке, Черановский неожиданно для самого себя согласился.

В октябре 1931 года Королев начал осваивать «БИЧ-8».

В общем, бесхвостка Королеву не понравилась. Да и настолько ветха она была, что устанавливать на ней новый ракетный двигатель было глупо.

— Борис Иванович, но ведь у вас есть «БИЧ-11», — наседали Королев на Черановского. — Вот бы его попробовать. Ракетный двигатель довольно компактен, баки поместим в крыльях...

— Да где он, этот двигатель? — недоверчиво спрашивал Черановский.

— Будет! «ОР-1» вы видели. А сейчас Фридрих Артурович делает другой, гораздо мощнее!

Цандер начал проектировать «ОР-2» в сентябре—октябре, когда Королев летал на бесхвостке. В марте 1931 года Фридрих Артурович становится сотрудником ЦАГИ. Здесь он особенно сблизился с Королевым и еще одним инженером, большим энтузиастом ракетоплавания — Юрием Александровичем Победоносцевым. Королев настаивал на установке двигателя на планере, Победоносцев предлагал сразу самолет. Цандера и радовали и пугали эти не в меру горячие энтузиасты. Собственно, это его давнишняя идея: установить ракетный двигатель на крылатый аппарат. Ведь его модель межпланетного корабля была как раз крылатой. Но «ОР-1» он делал как двигатель чисто лабораторный, нужный ему для подтверждения собственных расчетов, проверки кое-каких неясных мест, а тут сразу — «планер!», «самолет!». Он отшучивался:

— Видите как, давайте сначала поставим мой двигатель на велосипед, потом на мотоцикл, автомобиль, а потом уж пусть летит Сергей Павлович...

— Нет, сначала вместо пилота пусть летит кукла. Это опасно, — дразнил Королева Черановский.

Все лето занимался Фридрих Артурович опытами с «ОР-1». В заброшенной немецкой кирхе, где помещалась лаборатория Дмитриевского, Цандер приютился со своим маленьким испытательным стендом. Под старыми сводами стояли вечные сумерки, а когда двигатель запускали, эхо превращало его рев в сатанинский хохот. Сюда, в кирху, приходил профессор В. П. Ветчинкин. Цандер показывал ему «ОР-1». Ветчинкин щипал бороду, не перебивал, но был рассеян. Он понимал, что человек, объясняющий устройство передельной паяльной лампы, задумал большое дело, что надо ему помочь, но как?..

Ветчинкин не знал, что помощь совсем близка, что дело вовсе не в том, чтобы переехать из сырой кирхи, и не в том, чтобы заменить примитивные весы для измерения тяги. Не в этом совсем дело. В дневнике Фридриха Артуровича сохранились записи:

«5/X — поездка на пост-разъезд 133 Окт. ж. д., осмотр совместно с инж. Королевым Серг. Павл. его планера и присутствие при планерных полетах.

7/X — (6-го был выходной день) подготовка и производство 32 опытов с «ОР-1» в присутствии инж. Королева С. П., инж. Черановского, техн.-практ. Назаровой А. А., техн. Белокурова.

8/X — переговоры с Победоносцевым...

9/X — переговоры с Победоносцевым и Меркуловым...»

Там, в кирхе, Ветчинкин не знал, что помощь придет вот от этих пока еще неизвестных молодых людей, вчерашних его студентов, которые поверили мечтам Цандера, которым он был нужен!

Удивительным человеком был Цандер!

Он родился в Риге в интеллигентной немецкой семье, благополучие которой убито было через два года после его рождения смертью матери. Отец — врач, все старался населить большой, окруженный садом двухэтажный дом радостью и покоем, было много игрушек и всякой ручной живности, а вечерами он рассказывал ребятишкам о звездах и планетах. И слушая отца, Фридрих думал о множестве раскинувшихся перед ним миров, так не похожих на наш. У других людей жизнь заслоняет собой все эти мысли, а у Цандера мысли эти заслонили всю его жизнь...

Он отлично окончил реальное училище и поступил в Политехнический институт, так как уже сделал свой выбор и хотел получить знания, которые приблизили бы его к звездам. На первые скопленные деньги Фридрих купил астрономическую трубу и каждый день теперь нетерпеливо, как влюбленный, ждал часа своего свидания с небом. Потом организовал студенческое Общество воздухоплавания и техники полета и начал первые, еще очень робкие расчеты газовых струй. Как всякому студенту, ему не хватало времени, и тогда он придумал свою систему стенографии и всю жизнь с 7 февраля 1909 года писал свои работы на никому не ведомом языке, странными плавными знаками, чем-то похожими на вязь грузинского алфавита. Сколько трудов было потрачено, чтобы много лет спустя прочесть его записи, но до сих пор лежат в архивах еще нерасшифрованные страницы...

С дипломом инженера-технолога пришел Фридрих Артурович на завод «Проводник», где изготовляли резину. Он решил точно узнать, как делают резину, потому что в безвоздушном пространстве резина могла быть хорошим уплотнителем и изолятором. Он говорил об этом совершенно серьезно.

В 1915 году война переселила его в Москву. Теперь он занимается только полетом в космос. Нет, конечно, он работает, что-то делает, считает, вычерчивает на авиазаводе «Мотор», но мысли его только в космосе. Ослепленный своими мечтами, он уверен, что убедит других, многих, всех в острой необходимости межпланетного полета. Он открывает перед людьми вечную картину, однажды открывшуюся ему, мальчику:

«Кто, устремляя в ясную осеннюю ночь свои взоры к небу, при виде сверкающих на нем звезд не думал о том, что там, на далеких планетах, может быть, живут подобные нам разумные существа, опередившие нас в культуре на многие тысячи лет. Какие несметные культурные ценности могли бы быть доставлены на земной шар, земной науке, если бы удалось туда перелететь человеку, и какую минимальную затрату надо произвести на такое великое дело в сравнении с тем, что бесполезно тратится человеком».

Он говорит это тихо, но с такой страстью, что ему нельзя не верить. Один крупный инженер вспоминает: «Он говорил так, как будто у него в кармане — ключ от космодрома». Да, ему нельзя не верить. И люди верят ему. Пока он говорит. Но он замолкает, и тогда многие начинают думать, что, наверное, он все-таки сумасшедший. Потому что в их представлении люди, которые хотели дать всему земному шару несметные ценности и голодали, чтобы дать их, всегда были сумасшедшими.

А он голодал. В это время он делал расчеты крылатой машины, которая смогла бы унести человека за пределы атмосферы. Работа эта так поглотила его, что он ушел с завода и тринадцать месяцев занимался своим межпланетным

кораблем. Совершенно не было денег. Но, к счастью, среди людей, которым он рассказывал о звездах, были и такие, которые не хотели считать его сумасшедшим. Он писал в автобиографии:

«Работая дома, я попал в большую нужду. Потребовалась продажа моей астрономической трубы. Ею заинтересовались красные курсанты в Кремле и купили у меня трубу для клубного отдела ВЦИК, помогая этим продолжению моих работ. Кроме того, рабочие с завода «Мотор» также поддержали меня, отчислив мне мой двухмесячный заработок. Это было первым пожертвованием в пользу межпланетных сообщений».

Люди, знавшие Цандера, работавшие с ним, отмечают, что любые дела и разговоры, не связанные с межпланетными путешествиями, его никак не интересовали. Он не принимал в них никакого участия, чаще всего уходил. Но его интересовало все, что можно было связать с полетом в космос. Он считал Циолковского гением, он мог сутками сидеть за столом со своей полуметровой логарифмической линейкой и утверждать при этом, что не устает от работы. Учился задерживать дыхание: в межпланетном корабле ограничен запас воздуха. Пил соду: в межпланетном корабле сода будет поддерживать тонус. Выращивал на древесном угле растения: в межпланетный корабль лучше брать легкий уголь, чем тяжелую землю.

Когда он заболел, его пришли навестить друзья. У Цандера был жар, а в комнате — страшный холод. Он лежал, накрытый несколькими одеялами, пальто, каким-то ковром. Стали поправлять постель, а под ковром, под пальто, между одеялами — градусники: он ставил опыты по теплопередаче, ведь освещенная солнцем поверхность межпланетного корабля будет сильно нагреваться, а та, что в тени, охлаждаться.

Казалось, весь мозг его — межпланетный корабль, а он любил природу, зверей и очень сильно любил детей. Своих и не своих. Он женился быстро, неожиданно для самого себя. Потом родились девочка и мальчик. Он дал им звездные имена: Астри и Меркурий. Соседи пожимали плечами: таких имен никто не знал. Соседи ходили жаловаться: на балконе дурно пахло — он проверял возможность использования фекалий в гидропонике и очищал мочу. Соседи показывали вслед ему пальцем: «Вот идет этот, который собирается на Марс...»

Ну если бы они могли понять, что он действительно собирается на Марс! В угаре неистовой работы он вдруг стискивал пальцы за затылком и, не замечая ничего вокруг, повторял громко и горячо:

— На Марс! На Марс! Вперед, на Марс!

О, как легко было ошибиться в нем, приняв за фанатика, не более, за одержимого изобретателя мифического аппарата, воспаленный мозг которого не знал покоя. Как действительно был он похож на них, этих несчастных чудаков, которые у одних вызывают брезгливое презрение, а других заставляют мучиться сомнениями: не гения ли отвергают они?

Но он не был таким чудачком. Его фантазии не витали в облаках. Они были крепко приколочены к реальности железной логикой математики.

Цандер был блестящим, эрудированным инженером, а по уровню своих математических знаний, по умению провести теоретический анализ интересующего его процесса был, очевидно, в те годы лучшим специалистом из всех занимавшихся ракетной техникой. Наряду с этим в отличие от Циолковского Цандер не только не избегал практической работы в этой области, а стал, по существу, первым в нашей стране человеком, предпринявшим практические шаги для превращения космонавтики в науку прикладную. Воплощение идей К. Э. Циолковского, собственно, и начинается с двигателя «ОР-1» и с первых жидкостных ракетных двигателей Газодинамической лаборатории в Ленинграде⁷.

...Стройный, скорее просто худой, с рыжей бородкой и усами, с лицом су-

⁷ Очевидно, о работах ГДЛ я говорю незаслуженно мало, хотя работы эти очень интересны. Это можно объяснить лишь опасением превратить панораму жизни одного человека в далеко не полную историю ракетостроения нашей страны. (Прим. автора.)

хим, даже аскетичным, с голубыми, строгими и одновременно по-детски беспомощными глазами, слегка, непередаваемо буквами, ломающий русский язык в непривычно построенной речи («Алло, здесь говорит Цандер...»), одетый бедно, убого и никогда не замечающий этого — таким увидел Цандера Сергей Павлович Королев в одном из корпусов ЦАГИ на Воскресенской улице⁸ и понял, что это тот самый человек, которого он искал.

ГИРД в Москве скоро был назван Центральным, потому что в это время группы изучения реактивного движения создаются в Ленинграде, Харькове, Тифлисе, Баку, Архангельске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Днепропетровске и в других городах вплоть до Брянска и Кандалякши, где (правда позднее, уже в 1935 году) была запущена доморощенная ракета с жидкостным двигателем. Помимо объективных факторов, которые вызывали интерес к ракетам и проблеме межпланетных сообщений и о которых уже говорилось, рост таких групп объяснялся и поддерживался многочисленными публикациями на эту тему. Кроме работ К. Э. Циолковского, к этому времени в Новосибирске вышла из печати книга Юрия Васильевича Кондратюка «Завоевание межпланетных пространств», появляется много научно-популярных и научно-фантастических статей.

Очень много сделал здесь ленинградский профессор Н. А. Рынин, автор уникального многотомного труда, посвященного ракетной технике и межпланетным полетам, ставшего сегодня большой библиографической редкостью. Николай Алексеевич был энциклопедически образованным человеком, а о ракетах знал, наверное, все, что где-либо и когда-либо было опубликовано. Дома у него висела на стене огромная витрина, на которой разместились фотографии всех, кто работал в области ракетной техники.

Популярнейшими, особенно среди молодежи, в те годы были книги классика советской научно-популярной литературы Якова Исидоровича Перельмана. Его «Межпланетные путешествия» и «Ракетой на Луну» были не только научно точны, но и проникнуты необыкновенной верой в реальность космических дорог.

Все новых и новых энтузиастов рождали и всевозможные диспуты, доклады, лекции, популярность которых была столь велика, что они затягивались до поздней ночи, а входы в залы пикетировались милицией. Диспуты сопровождались демонстрациями наглядных пособий, математическими выкладками, ссылками на зарубежные работы, в них принимали участие крупные ученые. У слушателей создавалось иллюзорное впечатление, что межпланетный полет, возможность которого теоретически беспорна, является чисто технической задачей, пусть сложной, но разрешимой, соответствующей уровню науки и техники тех лет. Вряд ли кто-нибудь поверит сегодня объявлению на афишной тумбе, в котором вас приглашали бы принять участие в экспедиции на Марс. А тогда поверили бы! И Алексей Толстой, как большой художник, показал в «Аэлите», романе фантастическом, совершенно реального Гусева, читающего такое объявление и не удивляющегося ему — вот что интересно! Сотни таких Гусевых сидели в аудиториях МГУ и Политехнического музея и верили, что такое объявление появится завтра. Ну, послезавтра. Да только ли горячие молодые головы верили в это?

Даже Ф. А. Цандер, на себе испытавший все трудности первых шагов, был настроен очень оптимистично: «Интересуюсь математическими и конструктивными изысканиями, касающимися межпланетных путешествий, я уже в течение ряда лет делал расчеты по этому вопросу и пришел к выводу, что при существующей технике перелеты на другие планеты будут осуществлены, по всей вероятности, в течение ближайших лет». Цандер был слишком увлеченным человеком, чтобы быть человеком объективным. Одна из трагедий этого выдающегося ума заключалась как раз в том, что, при всей зрелости его инженерных разработок, разработки эти не соответствовали техническим возможностям своего времени. Проекты Цандера перегоняли свою эпоху на десятки лет. Даже сегодня, когда

⁸ Ныне улица Радио.

мы получаем информацию с поверхности Венеры, а по Луне ходят люди, даже сегодня наука и техника не в состоянии реализовать некоторые идеи Цандера⁹.

Как ни странно, но именно К. Э. Циолковский, казалось бы менее других знакомый с делами практическими, в меньшей степени представляющий себе возможные масштабы конструкторских разработок и уровень производственных баз, был наиболее осторожен в своих прогнозах. Он писал в 1929 году:

«Работающих ожидают большие разочарования, так как благоприятное решение вопроса гораздо труднее, чем думают самые проникательные умы. Их неудачи, истощение сил и надежд заставит их оставить дело незаконченным и в печальном состоянии. Потребуется новые и новые кадры свежих и самоотверженных сил... Представление о легкости его решения есть временное заблуждение. Конечно, оно полезно, так как придает бодрость и силы. Если бы знали трудности дела, то многие, работающие теперь с энтузиазмом, отшатнулись бы с ужасом... Они несомненно достигнут успеха, но вопрос о времени его достижения для меня совершенно закрыт».

ЦГИРД как организация общественная, находящаяся к тому же внутри общественного Осоавиахима, не требовал ни денег, ни помещения, ни материалов. Он не был никому противопоставлен и никому не мешал. Диспуты и выставки только увеличивали и без того большую популярность Осоавиахима. Но как только Цандер снова и снова начинал заводить в Осоавиахиме речь о том, что надо начинать практическую работу по подготовке межпланетных полетов, моментально появлялась настороженность. Охотников поставить свою подпись под сметой КБ, конструирующего космические корабли, не находилось. Не было хозяйственников, которых бы вдохновил полет на Марс даже в недалеком будущем. Все это предприятие воспринималось людьми «деловыми», или, говоря сегодняшним языком, материально ответственными, почти как афера. Слушать горячие речи Цандера никто не отказывался, строить Цандеру завод — это уже другое дело. Это уже несерьезно. Межпланетчик был синонимом иногда милого, но увлекающегося человека, а иногда — полубезумного фанатика. Мнение это существовало очень долго. В 1934 году вышел один роман, в котором действовал некий злодей, наделенный всеми отрицательными качествами, дополнительно к которым он увлекался проблемами межпланетных сообщений. Королев тогда места себе не находил от ярости и на одном совещании разгромил роман в пух и прах.

Человек реального дела, Сергей Павлович Королев, несмотря на свою молодость, прекрасно разбирался в создавшейся обстановке. Он понимал, что все попытки создать организацию, на гербе которой красовался бы межпланетный корабль, обречены на неудачу. Нужна была совсем другая вывеска, и предлагать надо не межпланетный корабль, а нечто всем понятное, доступное, осуществимое не за годы, а за недели и месяцы.

Бесхвостка с жидкостными ракетными двигателями — это уже что-то конкретное. Под эту работу можно требовать и денег, и материалы, и помещение. А все это нужно позарез.

Увлеченный мечтами о ракетоплане, Королев понимает, что сделать его так, как делали они «Коктебель», «Красную звезду» и даже «СК-4», уже не удастся. Работа была слишком серьезной, и «домашнее КБ» в маминой квартире с ней не справится. «КБ» это теперь превратилось в «штаб». Вечерами на Александровской в комнате Королева собирались несколько человек — Цандер, Победоносцев, Тихонравов, Субботин, Лифшиц, Сумарокова, — обдумывали, с чего начать.

— Если мы будем ждать, пока нашу организацию оформят и узаконят, мы прождем до лета, — говорил Королев. — Надо сделать по-другому. Прежде всего требуется найти помещение, где мы могли бы собираться и начать работу. То, что денег нет, не суть важно. Когда мы найдем помещение и начнем работать,

⁹ К примеру, можно взять идею использования в качестве топлива элементов металлических конструкций космических ракет. Несмотря на очевидную выгодность этого предложения Ф. А. Цандера, оно не может быть реализовано и в наши дни.

мы скажем в Осоавиахиме: «Вот мы, мы уже существуем. Вот что мы уже сделали. Вот что собираемся сделать». Правильно?

Цандер грел о чайный стакан тонкие бледные пальцы и молча кивал. Потом сказал:

— Видите как, помещение будет найти довольно трудно... Кто нам даст помещение?

— Нам никто его не даст, — закипятился Королев. — И не ждите, Фридрих Артурович, что вам принесут ключи и скажут: въезжайте ради бога. Помещение надо не ждать, а брать. Найти и брать...

Поиски помещения были организованы на «научной основе»: Королев разделил всю Москву на участки, и каждый получил свой район поисков. Никаких объявлений не читали, справки не наводили, а просто ходили по улицам, по дворам, выспрашивали дворников. И вот здесь Королев вспомнил о том подвале в доме на углу Орликова переулка и Садово-Спасской, в котором работали конструкторы планерной школы МВТУ. Когда Королев пришел в подвал, там валялась только рваная оболочка аэростата, вытащить которую было довольно трудным делом. Но главное, подвал был пуст и из подвала выселить их не могли: Королев быстро разузнал, что формально подвал находился в ведении Осоавиахима. Теперь у них было помещение. Пусть грязное, без света, но помещение!

Ремонтировали, белили, тянули проводку — все сами. И очень скоро полюбили его, этот холодный подвал, навсегда вошедший в историю космонавтики.

11

«Не многие у нас понимают, каким огромным делом может быть маленькое дело».

Ченнинг Поллок.

О московском ГИРДе написано довольно много журнальных и газетных статей, ему посвящены главы и целые разделы книг. В некоторых публикациях можно даже проследить замаскированное соперничество с ленинградской ГДЛ, когда как бы мимоходом, в одно касание, выясняются вопросы «кто важнее», «кто больше сделал», вопросы, очень напоминающие дилемму раннего детства: кто сильнее — слон или кит?

Но и без сравнений с ленинградцами спектр оценок исторического значения ГИРДа достаточно пестр и широк. О нем говорят как о кузнице кадров будущего советского ракетостроения, говорят, что из семени ГИРДа, проклюнувшегося первыми советскими ракетами, выросла наша космонавтика.

Все это и так и не так. ГИРД существовал примерно два года, за это время в нем, включая механиков, станочников и технический персонал, работало около ста человек. Поэтому вряд ли справедливо говорить о «кузнице кадров». В послевоенные годы бурного развития ракетной техники в этой области работали инженеры-гирдовцы, которых можно пересчитать по пальцам. И путь из подвала на Садово-Спасской к стартовой площадке гагаринского корабля тоже не был прямым, связи между ними выражаются уравнениями сложными, да, впрочем, в истории не бывает простых уравнений.

Наверное, значение ГИРДа в другом. Организация эта, равно как и ГДЛ, была тем порогом, перешагнув который, слово становилось делом. ГИРД и ГДЛ обозначили конец бумажного века космонавтики. Шелест рукописей обернулся звоном металла.

Да, в ГИРДе был запрограммирован корабль Гагарина, подобно тому как в одной клетке запрограммирован генетический код. В этой маленькой научно-технической ячейке сконцентрировались почти все будущие направления развития ракетостроения и космонавтики. Здесь занимались конструкциями ракет, жидкостными двигателями и системами подачи компонентов, воздушно-реактивными прямоточными двигателями, отработывали методику испытаний, конструировали наземный комплекс обслуживания, продумывали систему наблюде-

ния и контроля за ракетой в полете и способы возвращения ее полезного груза на землю. Здесь занимались газовой динамикой, теплопередачей, материаловедением, химией горения, автоматикой, аэродинамикой сверхзвукового полета, даже тем, что впоследствии получило название космической медицины. В ГИРДе очень часто один инженер вел тему, которую через двадцать пять лет разрабатывал большой научно-исследовательский институт, иногда — не один институт. Вот эти институты и создали корабль Гагарина.

Наконец, ГИРД очень много дал советской космонавтике потому, что он очень много дал Сергею Павловичу Королеву. За всю свою жизнь Королев не переживал другого такого периода, как за эти два года — 1932—1933. Это было время необычайно интенсивного роста. В течение двух лет планерист, мечтающий приспособить к планеру никому не ведомый двигатель, превращается в крупнейшего специалиста в области ракетной техники, специалиста широкого научного кругозора, прекрасно видевшего перспективу и ясно представляющего себе дороги в будущее. За эти два года увлеченный конструктор «домашнего КБ» становится начальником целого научного центра, направляющим разнообразнейшую работу десятков людей. Именно в ГИРДе, по существу, впервые выявляются все таланты Королева-руководителя, Королева-организатора, таланты необыкновенные и редчайшие даже для нашей родины, так богатой талантами. В ГИРДе Королев превращается в Королева.

И есть еще нечто в ГИРДе, и тут, в общем-то, совсем не важно, чем он занимался, ракетами или не ракетами. Это — дух ГИРДа, та атмосфера радостного творчества, объединяющего не только умы, но и сердца людей. А такое не забывается, это на всю жизнь. Не потому ли на торжественных и высоких встречах академик Королев раздвигал вдруг плотную стену Героев, лауреатов, генералов, начальников наивысшего ранга и спешил обнять никому не известного человека, который когда-то очень давно паял ночами камеры сгорания на Садово-Спасской?.. Не потому ли так часто в наши дни собираются вместе седые гирдовцы — маленькая группа совсем уже не молодых людей, просеянная сквозь сита фронтов и больниц?..

Парадокс, но сила ГИРДа была в его слабости: никто не ждал никаких материальных благ, никто не приходил «подзаработать», все понимали, что насмешки над «лунатиками» не окончатся завтра, что славу это дело не принесет, что карьеру на нем не сделаешь. Человеку меркантильному, не по-хорошему расчетливому нечего тут было делать. Тут не было ничего, кроме интересной работы.

И они работали.

Конструктор Виктор Алексеевич Андреев пришел утром и увидел сидящего над бумагами Фридриха Артуровича Цандера. Заметив Андреева, Цандер спросил рассеянно:

— Что? Рабочий день уже кончился?

После этого Королев обнародовал устный приказ, согласно которому последний уходящий из руководителей бригад имел право уйти только вместе с Цандером.

Сварщик Андрей Архипович Воронцов сварил железную раму и в одиннадцать часов вечера ушел домой. Конструкторы Сергей Сергеевич Смирнов и Лидия Николаевна Колбасина в два часа ночи увидели, что раму надо переделать. Они пошли домой к Воронцову, разбудили его, втроем вернулись в подвал и к утру кончили работу.

Инженер Яков Абрамович Голышев сломал на катке ногу, лежал дома. Его товарищ инженер Андрей Васильевич Саликов каждый день носил ему расчетную работу.

Когда бухгалтер говорил девушкам-копировщицам: «Что вы тут сидите все вечера? Я же вам за это ни копейки не заплачу», девушки отвечали:

— А мы для себя сидим, не для бухгалтерии!

Профсоюзная комиссия по борьбе со сверхурочной работой нагрязнула в ГИРД, но сделать ничего не смогла. Объяснения были самые разные.

- Отрабатываю часы, потраченные на личные дела.
- Заканчиваю не сделанную в договорный срок деталь.
- Это мой личный график, черчу для себя.

Конструктора Евгения Константиновича Мошкина исключили из комсомола, потому что он не пришел на два собрания. А не пришел он потому, что работал все вечера в ГИРДе. Когда его вызвали на бюро, он молчал: ГИРД был организацией секретной и рассказать, где он был, Мошкин не мог.

Да, была секретность, пропуска, сидел вахтер. Самоотверженность и молодой энтузиазм невольно порождают представление о некоем веселом анархизме, радостной кружковщине, а между тем, нисколько не подавляя этот энтузиазм, Королев с помощью ему одному известных методов сумел очень быстро облечь его в рамки серьезного учреждения и по форме и по существу. Были планы и приказы, входящие и исходящие бумаги, сидел секретарь, и по личным делам к начальнику ГИРДа надо было записываться на прием. Никакого панибратства, никакой фамильярности. Между собой некоторые были на «ты», но руководителей все звали только по имени и отчеству, разве что девушки между собой шепотком называли Победоносцева Юрочкой, а Королева — Серёнькой. В свою очередь, и руководители никогда не называли своих подчиненных (если они не были просто друзьями) только по имени. Казалось бы, не такой это важный вопрос — кто как кого называл, но он иллюстрирует мир человеческих отношений ГИРДа, в котором молодой энтузиазм прекрасно сочетался с дисциплиной и уважением. Рецепт этой психологической смеси, выработанный в ГИРДе, Сергей Павлович неизменно использовал всегда и везде.

Первая группа обитателей подвала была совсем маленькая — десятка полтора людей, но выросла она очень быстро: новому делу из своей калужской дали неожиданно, как капитан Немо из-под воды, очень помог К. Э. Циолковский. На последних страницах и обложках своих брошюр Константин Эдуардович имел обыкновение публиковать наиболее интересные из присланных ему писем. В книжечке «Стратоплан полуреактивный» он опубликовал письмо гирдовцев, в котором сообщалось об организации московского ГИРДа. Так о ГИРДе узнали читатели Циолковского — как раз те люди, которым и был нужен ГИРД, которые и были нужны ГИРДу. Весной 1932 года определилось его ядро: Ф. А. Цандер, С. П. Королев, М. К. Тихонравов, Ю. А. Победоносцев. Вместе с Ф. А. Цандером пришел из ЦАГИ очень талантливый инженер Александр Иванович Полярный. В ЦАГИ нашел Цандера, чтобы рассказать ему о недавней поездке к Циолковскому, студент Леонид Константинович Корнеев и тоже оказался в один прекрасный вечер на Садово-Спасской. Королев переманивал своих старых знакомых по планерным делам, по работе в ЦКБ и ЦАГИ: Николая Александровича Железникова, Александра Васильевича Чесалова. Владимир Николаевич Галковский, Евгений Маркович Матысики и Виктор Алексеевич Андреев работали еще дома у Королева и, разумеется, тоже пришли в ГИРД. Так постепенно подвал заселялся, благо штатное расписание не препятствовало этому, поскольку штатного расписания не было.

Гирдовцы вспоминают, что злые языки расшифровывали ГИРД как Группу инженеров, работающих даром. В названии этом было два смысла: и денег не платили, и никакого прока от работы нет. Однако это не так. Денег не платили в тот период, когда ГИРД был еще чистой самодеятельностью. Потом Осавиахим, узаконивший ГИРД и заинтересованный в его укреплении, начал платить деньги, но очень небольшие, заработная плата была значительно ниже, чем, например, в ЦАГИ. С ордерами на промтовары и продовольственными карточками тоже было много хлопот: то совсем не давали, то давали вдруг, как командировочным, на пятидневку. Однако никому и в голову не приходило что-то требовать у Королева, а если и слышался ропот недовольства, то только в адрес снабженцев.

Начинать пришлось в буквальном смысле с пустого места: все оборудование

состояло поначалу из ручного точила, которое подарили им друзья из ЦАГИ. Начальник производства ГИРДа Г. П. Бекенев вспоминает:

«Ни на оборудование, ни на материалы и ни на что вообще не было у нас ни лимитов, ни фондов. И все-таки... Сначала приносили из дому кто что мог: молотки, напильники, клещи, пилы и прочее. А потом понемногу благодаря изворотливости руководства, т. е. начальника ГИРДа С. П. Королева, стали добывать все необходимое...

По ходу развития работ возникла необходимость в приобретении малоомощного токарного станка «Комсомолка». Без него все встает. На заводах я все чаще стал получать отказы в ответ на просьбы изготовить мелкие детали. Но сколько ни бились, не могли добыть станка. И вот однажды собрались мы в кабинете Королева. Сергей Павлович говорит:

— А что, друзья, если бы прийти в кабинет какого-нибудь высокого начальника вот в такой гимнастерке (мы носили тогда осоавиахимовские гимнастерки), а на петлицах были бы следы шпал? Наверное, и разговоры были бы другие, а? В шпалах сила!

И вот дня через три после этой беседы я выходил из Наркомтяжпрома с душой, переполненной неизмеримой радостью. В руках у меня были документы на получение токарного станка «Комсомолка», а на выгоревших голубых петлицах гимнастерки были... следы шпал».

Королев понимал, что вопросы снабжения можно решить, только вырвавшись из порочного круга: нет инструментов и материалов — нечем работать — не выполняются планы — нет результатов — не ясно, зачем надо давать инструменты и материалы, а точнее, надо ли вообще их давать. Нужно было во что бы то ни стало показать себя в деле, убедить других, что игра стоит свеч, что все задуманное действительно серьезно.

В январе 1932 года Сергей Павлович вместе с Ф. А. Цандером и Ю. А. Победоносцевым в деталях обсуждает вопрос об установке нового двигателя «ОР-2» на планере и хлопочет о передаче ГИРДу бесхвостки Б. И. Черановского «БИЧ-11». Планер этот с трапециевидным в плане крылом, переданный в феврале Королеву, сразу получил новое название — «РП-1», первый ракетный полет. Но до полета было еще далеко. Несмотря на колоссальную работоспособность Цандера, двигателя, по существу, еще не было, и хотя Королев торопил Фридриха Артуровича, он понимал, что потребуются еще многие недели и месяцы, прежде чем планер превратится в ракетоплан.

При всем скептическом отношении к ракетной технике в те годы, были люди, которые могли представить себе ее великое будущее и делали все возможное, чтобы будущее это приблизить. Одним из таких людей был Михаил Николаевич Тухачевский.

Назначение М. Н. Тухачевского в мае 1928 года командующим войсками Ленинградского военного округа сыграло большую роль в организации исследований в области ракетной техники. Созданная в июне того же года при военном научно-исследовательском комитете РВС СССР Газодинамическая лаборатория (ГДЛ) находилась все время под изучающим взглядом Тухачевского, внимательно следившего за ее успехами и неудачами. Конечно, не без ведома Тухачевского издан 25 июля 1930 года и приказ о передаче ГДЛ в ведение военного ведомства.

19 июня 1931 года М. Н. Тухачевский назначается заместителем председателя Революционного военного совета (РВС) и начальником вооружений РККА. Моментально — 15 августа 1931 года — лаборатория ленинградцев поступает в ведение начальника штаба НВ¹⁰ РККА — по существу, в распоряжение Тухачевского.

В Москве Михаил Николаевич узнает об образовании ГИРДа. Он понимает, что новорожденное дело нуждается в поддержке, но принять его под свое крыло сложнее, чем ГДЛ. Газодинамическая лаборатория исторически складывалась

¹⁰ Начальник вооружений.

как организация военная; с 1921 года еще в Москве начались работы над ракетными снарядами с бездымным порохом под руководством военного ведомства. ГИРД корнями уходил в Осоавиахим, и отбирать у Осоавиахима эту едва созданную группу было не совсем удобно. У Тухачевского был другой план: не забирать ГИРД у Осоавиахима, а сменить вывеску — создать на базе ГИРДа новый серьезный научный центр.

Сергей Павлович Королев в конце 1931 — начале 1932 года поддерживал самые тесные контакты с Тухачевским, который сразу оценил необыкновенную энергию молодого руководителя московских ракетчиков. В дневнике Ф. А. Цандера за 1932 год есть короткая строчка: «Поездка на засед. у т. Тухачевского...» Речь идет о большом заседании, посвященном проблемам развития ракетной техники, под председательством М. Н. Тухачевского в РВС, на которое Михаил Николаевич пригласил не только начальников технических управлений (авиация, артиллерия, химия и пр.), но и представителей Осоавиахима. На заседании были ведущие сотрудники ГИРДа, приехали и товарищи из ГДЛ. Королев сделал доклад, который был выслушан с одобрительным вниманием, после чего Тухачевскому было уже нетрудно приступить к выполнению своего плана: на заседании было принято решение о необходимости создания реактивного научно-исследовательского института, который бы стал головной организацией в области ракетной техники.

Но создать новый институт своей властью М. Н. Тухачевский не мог, требовалось решение более высоких инстанций. 16 мая Тухачевский представил в СТО¹¹ подробный доклад о новом институте с перечнем вопросов, которыми он должен заниматься, и сметой. 22 июня Комиссия обороны поручила специальной комиссии, в которую входил и Тухачевский, рассмотреть это предложение. Рассматривать особенно было нечего, все и так ясно, и 5 июля комиссия представила Совету Труда и Обороны свое постановление об организации института. Через двадцать дней это постановление возвратили на доработку: требовалось рассмотреть вопрос о строительстве, сроках строительства, размерах ассигнований. Дело застопорилось.

Предвидя возможность такого варианта, М. Н. Тухачевский еще на мартовском совещании в РВС поставил вопрос о создании производственной базы для ракетных исследований, которую назвали Опытным ракетным заводом ЦГИРД. Приказ о создании Опытного завода был подписан председателем ЦС Осоавиахима Робертом Петровичем Эйдеманом 25 апреля 1932 года. Этот момент иногда связывается с датой рождения ГИРДа, хотя к тому времени новорожденный если и не умел еще ходить, то на ногах уже стоял.

Опытный завод — это все тот же подвал на Садово-Спасской. Внешне ничего не изменилось, разве что со снабжением стало полегче: как-никак завод...

Это помещение существует до сих пор. Истертые ступени железной лестницы приведут вас в длинный коридор. Сейчас тут многое изменилось, перестроилось, но и сейчас без труда можно представить себе скрипучую дверь направо, где помещались мастерские. К долгожданной «Комсомолке» постепенно прибавлялись другие станки, пусть старенькие, разбитые, но станки. Неподалеку был ручной горн, а дальше — так называемые лаборатории, где работали с фосфором, пробовали поджигать металлическое топливо. Слева от лестницы — комнаты сотрудников. Отдельный кабинет с крошечной приемной был только у Сергея Павловича. Остальные сидели побригадно.

Королев безусловно обладал редким даром подбора и расстановки людей. Позднее, уже в «космические» годы, когда что-нибудь не получалось, он говорил: «Давайте пересаживаться». понимая под этим новый вариант расстановки сил. Структура ГИРДа — это первый самостоятельный организационный набросок Королева, в котором, однако, уже видна рука мастера.

¹¹ Совет Труда и Обороны.

Во главе ГИРДа стоял технический совет — коллегиальный орган, решающий все общие вопросы и составленный из ведущих специалистов. В техсовет входили: С. П. Королев, Ф. А. Цандер, М. К. Тихонравов, Е. С. Щетинков, Л. К. Корнеев, Ю. А. Победоносцев, А. В. Чесалов, Н. И. Ефремов и Н. А. Железников. Далее вся Группа изучения реактивного движения подразделялась на четыре бригады. Бригадой руководил начальник бригады, которому подчинялось несколько инженеров и, что очень важно, механики, постоянный и известный круг обязанностей которых способствовал быстрому росту их квалификации.

Фридрих Артурович Цандер окончательно перебрался в подвал накануне Первомайских праздников. В конце мая он несколько вечеров обсуждал с Сергеем Павловичем планы будущих работ.

Все лето просидел Цандер в подвале, благо не жарко там было, руководил работой своей бригады, готовил испытания «ОР-1», заканчивал расчеты по «ОР-2». Сидя за своей древней пишущей машинкой или с большой полуметровой логарифмической линейкой в руках, он умел совершенно отключаться от окружающей его среды, ничего не видел, не слышал голосов, полностью терял представление о времени. Многим казалось, что в часы работы бледное лицо этого человека как бы светилось...

После окончательной корректировки всех планов, 10 июля 1932 года гирдовцы были приглашены в ЦС Осоавиахима на заседание к Р. П. Эйдеману. Результатом доклада С. П. Королева председателю Центрального совета Осоавиахима и явился тот запоздалый приказ от 14 июля со многими параграфами, в котором Сергей Павлович назначался начальником ГИРДа.

12

«У каждого есть перед глазами определенная цель,— такая цель, которая, по крайней мере ему самому, кажется великой и которая в действительности такова, если ее признает великой самое глубокое убеждение, проникновеннейший голос сердца...»

Карл Маркс.

Когда Циолковского приглашали в Москву, он всегда отказывался, ссылаясь на недомогание, слабость, старость, глухоту, а был просто отчаянный домосед вроде Ньютона, всякая дорога пугала его, со страхом думал он о гостиницах, обо всем этом ужасно непривычном быте, когда не знаешь, где и как будешь есть, на чем спать... Но в конце ноября приехать было необходимо: Михаил Иванович Калинин в Кремле вручил К. Э. Циолковскому орден Трудового Красного Знамени. Циолковский был взволнован. Приняв коробочку с орденом, тихо, почти доверительно сказал Калинин:

— Я могу отблагодарить правительство только трудами. Благодарить словами нет никакого смысла...

Сергей Павлович все дни, что был Циолковский в Москве, виделся и беседовал с ним. Константин Эдуардович был уже глубоким стариком, и Королев понял, что, кроме совета и авторитетного участия, Циолковский уже ничего не может дать им.

ГИРД посетил М. Н. Тухачевский. Это было и знакомство и своеобразная реви́зия: с августа 1932 года УВИ¹² выплачивало ГИРДу деньги. Осоавиахим только радовался: все-таки Тухачевский был «побогаче» Эйдемана. Королев предупредил о визите замнаркомвоенмора и дал понять, что надо показать «товар лицом». Когда Тухачевский и сопровождавшие его командиры из УВИ спустились в лабораторию, тут была исключительно деловая обстановка. Отглаженные инженеры в чистых рубашках склонились над своими расчетами, пылал горн, гудели станки, все, что могло сверкать и звенеть, сверкало и звенело. Было шумно и душно. Туха-

¹² Управление военных изобретений.

чевский уже знал от Королева, что помещение неудобно для работы, но, откровенно говоря, не ожидал, что им приходится так туго. Он обошел все бригады, внимательно выслушал объяснения, посмотрел схемы и графики. Н. И. Ефремов показывал чертежи ракеты «07», кислородного насоса двигательной установки. Было видно, что Михаил Николаевич в чертежах разбирается. Он сразу схватывал общую идею, а если чего не понимал, тут же спрашивал.

Цандер рассказывал ему о двигателе «ОР-2», потом, забыв о предупреждениях Королева, заговорил о своем сокровенном — о Марсе. Тухачевский слушал очень серьезно, потом сказал:

— Да, да, полеты к планетам будут не скоро, но думать об этом надо...

Осмотром он остался доволен, обещал помочь с оборудованием, инструментами, организацией испытательной базы: подвал был явно непригоден для проведения экспериментов.

Но Тухачевский понимает, что несколько лишних станков в подвале ГИРДа — это полумера. В декабре 1932 года он обращается в СНК с просьбой ускорить решение вопроса о создании ракетного научно-исследовательского центра.

Как раз в декабре и начинаются в ГИРДе горячие деньки. За неделю до Нового года был наконец закончен монтаж долгожданного двигателя «ОР-2». С. П. Королев, Ф. А. Цандер, инженеры Л. К. Корнеев и А. И. Полярный, механик Б. В. Флоров и техник-сборщик В. П. Авдонин с торжественностью дипломатов подписали акт приемки. Можно было начинать испытания. Трудно сказать, кто больше ждал их: Цандер, увидевший наконец свою мечту, воплощенную в металл, или Королев, который уже больше года ждал этот двигатель для своего ракетоплана. Да, впрочем, событие это было праздником для всех обитателей подвала.

На собрании всех членов группы было решено объявить «неделю штурма». Был создан штаб «штурма», выработан план.

С 25 декабря до Нового года день и ночь возились они с капризным двигателем. Уж очень хотелось довести его к первому января, чтобы хоть на Новый год веселиться и не думать, что где-то у него опять утечка. Да не вышло...

И у инженеров и у механиков опыта еще было маловато. Открылась течь в соединениях предохранительных клапанов, в тройнике. Вдруг обнаружилась трещина в бензиновом баке. Потом потекли соединения у штуцера левого кислородного бака, потом засвистело из сбрасывателя бензинового бака — каждый день что-нибудь новое.

Невеселый получился Новый год.

2 января, пока механики готовили «ОР-2» к новым испытаниям, Цандер закончил и передал Королеву «Техническое описание мощного реактивного двигателя» — свой план на будущее.

На следующий день опять испытывали «ОР-2». И вдруг все пошло отлично. Давление держалось. Тут же проверили циркуляцию воды во всех трубах при работе центробежной помпы. Все шло отлично! Оказывается, новый год был счастливым!

5 января опять обнаружилась течь газа, потом травили клапаны, потом деформировался бак...

И так весь январь.

Цандер ходил серый от усталости. Иногда, видя, что люди очень вымотались, Фридрих Артурович начинал рассказывать о межпланетных полетах, о далекой дороге к Марсу... Королев любил минуты этих передышек. Однажды совершенно серьезно спросил:

— Но, Фридрих Артурович, почему вы все время говорите о Марсе? Почему не о Луне? Ведь Луна гораздо ближе...

Все переглянулись: Королев редко говорил о межпланетных полетах.

Иногда Цандер вовсе забывал уходить с работы. Тогда его насильно одедали в кожаное пальто с меховым воротником, которое где-то раздобыл для него Королев, и отправляли домой. Но даже когда провожали до трамвайной остано-

ки, он каким-то образом через полчаса опять прокрадывался в подвал. Л. Корнеев писал в своих воспоминаниях:

«Все гирдовцы работали буквально сутками. Помнится, как в течение трех суток не удавалось подготовить нужного испытания. Все члены бригады были моложе Цандера и значительно легче переносили столь большую перегрузку. Видя, что Фридрих Артурович очень устал и спал, что называется, на ходу, ему был поставлен «ультиматум»: если он сейчас же не уйдет домой, все прекратят работать, а если уйдет и выспится, то все будет подготовлено к утру и с его приходом начнутся испытания. Сколько ни спорил, ни возражал Цандер против своего ухода, бригада была неумолима. Вскоре незаметно для всех Цандер исчез, а бригада еще интенсивнее начала работать. Прошло пять-шесть часов — и один из механиков не без торжественности громко воскликнул: «Все готово, поднимай давление, даешь Марс!»

И вдруг все обомлели. Стоявший в глубине подвала топчан с грохотом опрокинулся, и оттуда выскочил Ф. А. Цандер. Он кинулся всех обнимать, а затем, смеясь, сказал, что он примостился за топчаном и оттуда следил за работами, а так как ему скучно было сидеть, то он успел закончить ряд расчетов и прекрасно отдохнул».

Цандер еще больше похудел и осунулся. В столовой, где они питались, гирдовцы вскоре заметили, что Цандер берет самую дешевую еду. Королев предложил собрать деньги и тайно от Цандера уплатить за него вперед. Фридрих Артурович по-прежнему платил свои семь копеек, но блюда получал за тридцать пять копеек. И все не мог нарадоваться: «Насколько лучше стали кормить в нашей столовой!» Е. К. Мошкин был вегетарианцем, отдавал ему мясо. Цандер брал с благодарностью. Из столовой в железной баночке с проволочной ручкой носил в подвал кашу — на вечер. В одном из ящиков стола хранились у него какие-то корочки, сухарики. Иногда он выдвигал ящик, заглядывал туда и говорил с улыбкой:

— Мышка была...

А иногда с удивлением:

— Ой! Откуда же у меня здесь котлета?

Королев распорядился, чтобы вечером Фридриху Артуровичу приносили чай и бутерброды.

Помимо двигателя «ОР-2», шли опыты и над двигателем для жидкостной ракеты. Уже в этой первой ракете Цандер хотел сначала дробить, а затем сжигать в двигателе металлические конструкции. Начались опыты с порошкообразным металлическим горючим. Л. Корнеев, А. И. Полярный толкли в специальных мельницах алюминий и магний. Порошок через инжекторы должен был поступать в камеры сгорания, но он шел неравномерно, спекался, прожигал камеру. Всем было ясно, что мельниц на ракете не установишь, что превратить конструкцию в порошок — невысказанное дело, а если и превратишь, то надо еще суметь его сжечь, всем было ясно, что из затей с металлическим топливом ничего не получится, всем, кроме Цандера. Корнеев и Полярный просили Фридриха Артуровича отказаться от металлического топлива и изменить систему подачи жидкого топлива в двигатель — Цандер категорически отказывался. Пробовали жаловаться Королеву, тот отмалчивался и не перечил Цандеру. Они никогда не спорили почему-то, хотя оба любили споры. Королев, который сгоряча мог накричать на кого угодно, никогда не кричал на Цандера.

Королев был на двадцать лет моложе Цандера, а в жизни выглядело наоборот: он словно опекал его. Он и выхлопотал ему путевку в Кисловодск, в санаторий...

Провожали Фридриха Артуровича 2 марта. Уезжать ему не хотелось: вот-вот должны были начаться огневые испытания его двигателя. Тухачевский выполнил свое обещание: теперь у них была своя экспериментальная база — семнадцатый участок научно-испытательного инженерно-технического полигона в Нахабине. Цандеру так хотелось увидеть, как работает его «ОР-2»... Королев уговаривал:

— Поезжайте, Фридрих Артурович, поезжайте. Ну что такое стендовые испытания? Кого мы с вами удивим стендовыми испытаниями? Вот вы вернетесь, мы поставим двигатель на бесхвостке, пустим вашу ракету — это другое дело. Обязательно нужно, чтобы летало, а на стенде каждый сумеет...

Цандер уехал. Первые испытания «ОР-2» начали 13 марта. Барахлила система подачи, и двигатель не запустился. 18 марта «ОР-2» заработал. Через несколько секунд прогорело сопло...

Накануне первых испытаний в Нахабине Цандер из Кисловодска послал дочке и жене открытку:

«Дорогие мои Астра и Шура!

Живу спокойно в санатории. Здесь опять выпал снег, мало солнца, стоит легкий мороз. Еще нигде нет цветов, только в курзале за стеклами. Звери в парке курзала все живы. 4 медведя балуются, 8 красивых павлинов щеголяют своим хвостовым оперением.

Нас кормят здесь прелестно, 4 раза в день, у меня усиленный паек, много масла, молока, овощей, мяса! Астра! Напиши мне письмо! Ну, до свидания! Целую. Твой папа Фридель...»

Через несколько дней он заболел. В то утро, когда сгорело сопло, он был совсем плох, градусник показывал 39,4 градуса. Страшно болела голова, и колело в боку. Потом выступила сыпь, и его отправили в инфекционную больницу: тиф. В истории болезни есть запись: «По всем данным, больной заразился тифом во время дороги...» — хотел оставить дома побольше денег и ехал в третьем классе.

Он лежал в шестиместной палате в забытьи.

А в Нахабине отремонтировали сопло и снова запустили его двигатель. Хлопок, потом ровное горение. «ОР-2» работал секунд двадцать. Потом полетели золотые искры. Комиссия из Реввоенсовета установила прогар внутри сопла...

Он ничего не знал об этом. В этот день его положили в отдельную палату, рядом сидела медсестра, но он уже не видел ни этой комнаты, ни лица этой девушки.

Он умер 28 марта 1933 года в шесть часов утра. Его похоронили в Кисловодске.

Последнее письмо Фридриха Артуровича друзьям на Садово-Спасскую кончалось так: «Вперед, товарищи, и только вперед! Поднимайте ракеты все выше и выше, ближе к звездам...»

Когда в ГИРД пришла телеграмма из Кисловодска, все словно оцепенели. Королев плакал и не скрывал слез. Потом спросил тихо:

— Останется ли теперь ГИРД?..

Почему-то думают, что Королев не мог быть слабым. Мог. И бывал. И это — прекрасно.

На траурном митинге Сергей Павлович говорил о том, как много сделал Цандер для ракетной техники, о том, что работы его имеют непреходящее значение.

На траурных митингах всегда так говорят, но эти слова не были данью обычаю. В мировой плеяде пионеров космонавтики Ф. А. Цандер занимает особое место. Может быть, среди этих людей по возрасту и устремлениям ближе всего к нему стоял Роберт Годдард. Но сами американцы пишут о нем: «Нельзя установить прямую связь между Годдардом и современной ракетной техникой. Он на том ответвлении, которое отмерло». Цандер — на том, которое живет. В 1967 году академик А. А. Благоврахов сказал:

— Труды Цандера до сих пор являются такими работами, в которых исследователи и конструкторы находили возможность черпать новые для себя идеи. Его наследие до сих пор помогает заглянуть вперед, использовать то, что он писал, о чем думал, для дальнейшего развития ракетной техники.

В начале 1933 года, когда главное внимание ГИРДа было сосредоточено на испытаниях двигателя Цандера, в других бригадах тоже не сидели сложа руки.

Железников дает полное техническое описание самолета «РП-2» с теперь уже реально существующим двигателем «ОР-2». Победоносцев подготовил документацию по воздушно-реактивному снаряду и оканчивает строительство опытной установки для испытаний прямоточных воздушно-реактивных двигателей. Затем проводит серию стендовых испытаний пульсирующих воздушно-реактивных двигателей. В бригаде Тихонравова весной полным ходом идут в Нахабине испытания зажигательных пороховых зарядов и отдельных деталей ракеты «09».

Сначала эта бригада работала над ракетой, обозначавшейся в документах индексом «07». От небольшого тела этой ракеты отходили четыре длинных стабилизатора, в которых находились баки горючего и окислителя: «07» работала на керосине и жидком кислороде. Ее двигатель проходил стендовые испытания, не раз прогорал, возились с ним долго, и конца этой возне не было видно. Созданный бакинским ГИРДом твердый бензин, представляющий собой раствор обычного бензина в канифоли, натолкнул Тихонравова на идею создания новой ракеты, получившей название «09».

Конструкция ее упрощалась тем, что не требовалось никаких насосов, никакой системы подачи компонентов в камеру сгорания. Жидкий кислород закипал в баке и вытеснялся в камеру сгорания давлением собственных паров. Твердый бензин помещался в самой камере сгорания и поджигался обычной авиасвечой. Заправленная ракета весила девятнадцать килограммов.

Уже в марте—апреле в Нахабине начались стендовые испытания отдельных узлов «девятки». Королев внимательно следил за ходом этих работ, присутствовал при многих экспериментах. Твердый бензин горел спокойно, устойчиво. Хорошо прошла и проверка камеры сгорания на прочность. Сергей Павлович понял, что с «девяткой» можно надеяться на успех. Однако в июне пошла полоса неудач: то выбрасывало наружу бензин, то прогорала камера, то замерзали клапаны и нельзя было создать необходимый наддув в кислородном баке. Точили, паяли, латали, переделывали и снова ездили в Нахабино. Только в начале июля удалось наконец укротить строптивый двигатель. Королев настаивал на скорейшей подготовке пуска ракеты, торопил с испытаниями парашюта, который мог бы возвращать ее на землю.

Эти испытания проводили уже не в Нахабине, а на Тушинском аэродроме. На деревянную модель надели нос ракеты, в котором был уложен парашют и смонтирован пороховой выбрасыватель. Осоавиахимовский пилот Кравец вместе с Ефремовым на «У-2» должны были сбросить макет с подожженным бикфордовым шнуром на высоте тысячи метров. Кравец волновался, вся эта затея ему не нравилась, выбрасыватель мог рвануть в самолете, не было у него доверия к этим изобретателям. У Ефремова задувало спички, шнур не хотел гореть, и когда он наконец зашипел, забрызгал огнем и ракета полетела вниз, Кравец вздохнул с облегчением. Волновался он зря: выбрасыватель не сработал, парашют не раскрылся.

Неудача в Тушине открыла новую полосу неудач. Опять начали прогорать камеры, гореть сопла, вылетать выбитые форсунки. Мастерские работали теперь почти исключительно на «девятку». Тихонравова, задержанного и измученного окончательно, удалось все-таки уговорить уехать в отпуск, и он вместе с Зуевым и Андреевым плавал теперь где-то по Хопру, удил рыбу. Михаил Клавдиевич просил без него «девятку» не пускать, но едва изготовили новую камеру и сопло, Королев назначил пуск.

11 августа в Нахабино приехали начальник УВИ Я. М. Терентьев, С. П. Королев, Ю. А. Победоносцев, Л. К. Корнеев, Н. И. Ефремов. Народу было много, человек тридцать. Ракету поставили в пусковой станок. Зина Круглова, засучив рукава, набила камеру твердым бензином. Николай Ефремов залил кислород, и тут же все увидели, что потек кислородный кран. Течь устранили. Долили кислород. Теперь вроде все в порядке. Давление в кислородном баке росло нормально. Ефремов доложил Королеву о готовности и попросил разрешения на запуск. Все выглядело очень торжественно. Сергей Павлович поджег бикфордов шнур выбрасывателя парашюта.

— Зажигание! — крикнул наконец Королев.

И тишина, только шнур трещит.

— Ну что там?! — Королев обернулся к Ефремову.

В ответ громко хлопнул выбрасыватель: выстрелил никому не нужный парашют. Ракета не взлетела: свеча в камере замкнулась на массу.

В день повторных испытаний, 13 августа, погода была мерзкая, холод, дождь. Результат тот же, даже еще хуже было: снова прогорела камера, воспламенилась обшивка, еле потушили. Королев ходил мрачнее тучи. В подвале открыто говорили о провале работ по «девятке». Уже никто не верил в успех, и ехать на полигон никому не хотелось. Новые испытания, которые Королев назначил на 17 августа, никого не воодушевляли. Ольга Паровина говорила:

— Неужели опять что-нибудь помешает? Ну что же теперь?

— Бросьте малодушничать! — раздражался Ефремов. — Все будет нормально. Ракета обязательно полетит — оторвите мне голову!

Королев улыбался, представляя, как катится по бетонной площадке старта голова Ефремова в тубетейке.

Тридцать четыре года спустя Николай Иванович Ефремов так писал об этих предстартовых минутах:

«Ракета уже заправлена топливом и установлена в пусковой станок. Мы с С. П. Королевым стоим рядом и следим за нарастанием давления в кислородном баке. Манометр маленький и установлен в верхней части корпуса ракеты. Мелкие давления его шкалы плохо различимы. Чтобы следить за перемещением стрелки, приходится приподниматься на носках.

Давление достигает 13,5 атмосферы. И тут начинает стравливать редуционный клапан. Опять «шутки» низкой температуры! Где-то на тарелочке клапана образовался ледяной нарост, и клапан плотно не прилегает в гнезде. В результате в воздух уходит столько кислорода, сколько испаряется в баке. Устанавливается равновесие. Ясно, давление дальше не поднять.

Совещаемся с Сергеем Павловичем. Я предлагаю запуск с пониженным давлением. Пусть не достигнем расчетной высоты, но полет состоится и мы получим ответ на интересующие нас вопросы. Начальник ГИРДа не спешит с ответом, обдумывает создавшееся положение и наконец дает согласие.

Дальше все идет нормально. Подожжен бикфордов шнур в системе выброса парашюта на высоте, и мы спешим в блиндаж, чтобы оттуда управлять запуском ракеты».

О том, что случилось потом, рассказывает протокол испытаний № 43 ракеты «09» от 17 августа 1933 года:

«Дано зажигание с одновременным открытием крана, началось нормальное горение, ракета медленно пошла из станка.

Постепенно увеличивая скорость, ракета достигла высоты 400—500 метров, где, дав одно-два качания, завалилась и пошла по плавной кривой в соседний лес и врезалась в землю.

Весь полет продолжался 13 секунд от момента зажигания до падения на землю, все это время происходило горение (работа мотора)».

От удара ракета разломилась на две части, оторвался один стабилизатор, помялась обшивка, но никто этого уже не видел. Все кричали, хохотали, обнимались и целовались. Победоносцев, сидевший с Матысыком на елке во время старта, на радостях потерял крагу. Ефремов послал телеграмму Тихонравову в Новохоперск: «Экзамен выдержан. Коля». Королев сидел на корточках около ракеты, еще горячей, пахнувшей бензиновой гарью и окалиной.

— Стабилизатор и вмятины — это от ударов о деревья, — негромко объяснял он сам себе: рядом никого не было. — Так, ясно. Устойчивость она потеряла вот из-за этой прокладки на фланце. Прокладку выбило, газы пошли в отверстие и развернули ракету. Все понятно...

В ГИРДе вышел специальный номер стеной газеты «Ракета». С. П. Королев писал:

«Первая советская ракета на жидком топливе цущена, День 17 августа не-

сомненно является знаменательным днем в жизни ГИРДа, и, начиная с этого момента, советские ракеты должны летать над Союзом республик.

Коллектив ГИРДа должен приложить все усилия для того, чтобы еще в этом году были достигнуты расчетные данные ракеты и она была бы сдана на эксплуатацию в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию.

В частности, особое внимание надо обратить на качество работы на полигоне, где, как правило, всегда получается большое количество неувязок, доделок и прочее.

Необходимо также возможно скорее освоить и выпустить в воздух другие типы ракет для того, чтобы всесторонне изучить и в достаточной степени овладеть техникой реактивного дела.

Советские ракеты должны победить пространство!»

Уже глубокой осенью — выпал снег — стартовала ракета «ГИРД-Х», задуманная Ф. А. Цандером и осуществленная его соратниками по первой бригаде. Эти две ракеты стали действительно историческими: с них начинается история советских жидкостных ракет.

Две победы ГИРДа были не просто техническими победами. Успешные старты в Нахабине во многом изменили отношение к ракетной технике вообще. Они укрепили убежденность тех, кто верил в ракету. Они поколебали скептицизм тех, кто в нее не верил. Яснее стали перспективы, обозначенные Сергеем Павловичем: «От ракет опытных, ракет грузовых, к ракетным кораблям — ракетопланам, — таков наш путь»¹³.

Эти старты помогли и в делах организационных. Осенью 1933 года принимается решение об объединении ленинградской Газодинамической лаборатории с ГИРДом и создании в Москве первого в мире Реактивного научно-исследовательского института. Начинается новая глава ракетной истории, начинается новый, очень интересный и очень трудный этап в жизни Сергея Павловича Королева. Он садится за книгу «Ракетный полет в стратосфере». Тоненькая, в сто восемь страниц, книжка становится его научно-техническим манифестом, в котором двадцативосьмилетний инженер, рассматривая все аспекты проблемы ракетного полета, выражает твердую уверенность в том, что «в СССР несомненно ракета найдет широкое и благодарное поле мирной деятельности на пользу социалистическому строительству».

Весной 1934 года в Ленинграде Сергей Павлович делает большой доклад на Первой всесоюзной конференции по изучению стратосферы. Он в деталях описал полет в стратосфере — первой ступени бесконечной космической лестницы, — подчеркивал: именно полет, а не подъем, анализировал различные группы аппаратов, предупреждал о трудностях. Это был один из самых интересных докладов конференции, его встретили очень хорошо, отмечали в прессе. Королев доволен. Он чувствует себя перезаряженным энергией, нетерпеливо ждет возвращения в Москву, домой, к своим крылатым ракетам.

* * *

В ту прозрачную хрупкую весну, когда счастливый Сергей Павлович Королев бродил по мокрому туманному Ленинграду, далеко оттуда, в маленьком, по окнам укрытом сугробами селе Клушине, в избе при дороге на старый Гжатск родился мальчик. Он тонко пищал и смешно двигал розовыми кулачками. Мать и отец улыбались, слушая его писк, и шепотом спорили — все не могли понять, какого же цвета глаза у сына... И никак не мог тогда в Ленинграде знать Королев, что через много очень трудных, подчас жестоко несправедливых к нему лет наступит новая прекрасная весна, когда этот неведомый ему мальчик в нестерпимо ясных глазах своих принесет ему отблеск нового мира, мира черного неба и голубой земли, которого до него не видел никогда ни один человек.

¹³ Из статьи С. П. Королева в газете «Вечерняя Москва» от 25 августа 1933 года.

О Т А В Т О Р А

Эти главы хроники никогда не были бы написаны, если бы десятки людей, приняв очень близко к сердцу задуманную книгу, не помогли моей работе. В первую очередь я хочу выразить свою глубокую благодарность Марии Николаевне Баланиной-Королевой и Ксении Максимильяновне Винцентини.

Я признателен за письма и воспоминания современников С. П. Королева в Нежине: Л. М. Гриффельд, В. В. Данилова и К. Н. Лазаренко.

Очень много рассказали мне друзья школьных лет Сергея Павловича и люди, помнившие его одесским мальчиком: Л. А. Александрова, В. А. Бауэр, Г. М. Вальдер, А. И. Загоровский, Г. П. Калашников, В. П. Твердый, А. В. Шляпников.

О С. П. Королеве — студенте КПИ и МВТУ я многое узнал из бесед с М. А. Пузановым, А. Н. Лазаренко, А. Г. Бруновым, А. И. Сильманом, В. М. Титовым, К. К. Федяевским.

Память К. К. Арцеулова, П. А. Ивенсена, В. К. Грибовского, Л. Г. Минова и особенно С. Н. Люшина и П. В. Флерова сохранила живой образ С. П. Королева-планериста, участника китебельских слетов.

Воспоминаниями о Сергее Павловиче со мною поделились люди, работавшие вместе с ним в авиапромышленности и ГИРДе: В. А. Андреев, А. Г. Воробьев, В. Н. Галковский, Л. С. Душкин, Л. К. Корнеев, Е. М. Матсык, Е. К. Мошкин, О. К. Паровина, Ю. А. Победоносцев, С. С. Смирнов, М. К. Тихонравов, В. Б. Шавров, Е. С. Щетинков. Искреннюю благодарность выражаю вдове и дочери Фридриха Артуровича Цандера — Александре Феоктистовне и Астре Фридриховне.

Остается от души поблагодарить товарищей, которые не были лично знакомы с Сергеем Павловичем, но чьи советы и помощь были для меня очень ценны: Т. Т. Вигерич и В. С. Шоходько (Нежин), Н. М. Калачева (Музей КПИ), Н. П. Панчик (Центральный госархив УССР), В. М. Соловьева (Музей МВТУ), Н. М. Семенову (Музей Н. Е. Жуковского), А. В. Костина (Музей К. Э. Циолковского), В. Н. Сокольского и Ю. В. Бирюкова (Институт истории естествознания и техники АН СССР) и особенно Л. Г. Самохвалову (Архив Академии наук СССР).

Все, что написали и рассказали эти люди, — дань их памяти, отданная не мне, а потомкам, дань благородная и необходимая, потому что, как говорил Илья Эренбург, «когда очевидцы молчат — рождаются легенды».



О Ч Е Р К И Ж А Ш И Х Д Н Е Й

ЕКАТЕРИНА ЛОПАТИНА

★

В РЯЗАНСКОЙ ГЛУБИНКЕ

Когда она встает — одному богу известно. Как бы рано я ни проснулась, она уже возится в крохотной кухоньке за цветастой занавеской — стучит рогачом, передвигает тяжелые чугуны в русской печке, готовя обед семье и кормежку скотине, бренчит подойником, звякает стеклянными банками, сцеживая в них парное молоко. И все время тихонько что-то бормочет — то ли с собой разговаривает, то ли с картошкой, которую моет, с зерном, которое запаривает, с хлебом, который замачивает.

Я не удивлюсь, если и картошка, и зерно, и хлеб для нее одушевленные существа, со своим характером и «норовом», вроде коровы Модной, бычка Брыкуна, барана Пушкá, овец, свиней, кур и уток. Слышала же я, как в огороде она советовалась с зелеными помидорами: «Подержать вас еще на кусту или на подоконнике дойдете?»

Что бы ни делала Пелагея Петровна, я люблюсь ею — такая она проворная, ловкая, ладная. Росточек у нее маленький, щечки круглые, румяные, движения быстрые, походка легкая, молодая. Никак не скажешь, что у нее уже трое внуков в армии отслужили. И ежели справедливо разобраться, в армию-то они не с чужого двора пошли и до армии не на чужих руках выросли. Все село видело, как, прощаясь на пристани, обнимали и целовали внуки Пелагею Петровну, принародно признавались: ты — наша первая и главная мама!

Про Марию, тети Полину дочку, ничего дурного не скажешь — мать своим сынам, не мачеха. Но, по мнению Пелагеи Петровны, больно уж она, Мария, колхозному делу преданная. Как начала работать, так все на фермах, все со скотиной, для ребят и времени не оставалось — бабушка их и кормила, и мыла, и обстирывала. А если уж совсем точно говорить, то и они все трое, мальчишки-то, через ферму прошли. Бывало, после школы выпьют молока, уроки сделают — и к матери: воды из колодца в поилки натаскают, сено по кормушкам разнесут, навоз помогут выгрести (о механизации в ту пору только в газетах читали да по радио слышали!).

Хвала дочь и внуков, Пелагея Петровна забывает сказать, что и она всю свою жизнь не баклуши била. Кого ни спроси — в один голос скажут: милешинский род весь до работы жадный, а тетя Поля — из всех трудяг трудяга.

— Потрепéчилась моя головушка, — вспоминает она, — бывало, валишь и валишь, отнея силы берутся?

Но то, что сама переносила с шуткой-прибауткой, то, казалось ей, дочке доставалось много тяжелее, и, жалея Марию, все заботы по дому она взяла на себя.

— Мне не трудно, мне как с гуся вода, я двужильная...

За безотказность, за легкость и веселость в работе все колхозные начальники, сколько их ни сменилось на памяти Пелагеи Петровны, уважали ее и в дни больших народных праздников отмечали премиями: то отрез ситца или байки на платье дадут, то лапластýй штапельный полушалок, а то совсем уж царский подарок по нашему глинозему — резиновые сапоги. Один только раз, во время войны, при великой бедности колхоза, пообещали ей в награду лапти да и не выдали.

— Ня дали, — по-рязански «якая», сокрушается она и неожиданно добавляет совсем уж по-современному: — Зашурупили...

Не сами по себе лапы жалко — неуважение оскорбило Пелагею Петровну, несправедливость: как же так? Пообещать и не выполнить!

Кажется, только эта обида на колхоз и осталась у Пелагеи Петровны. А больше она никаких обид не тait: ни на председателей, среди которых попадались и бестолковые и хапуги, ни на тощие трудодни, ни на совсем уж голые «палочки».

— И наголодались мы, милка моя! И мякину, и крапиву, и картошку гнилую ели, — задумчиво вспоминает она и вдруг спрашивает недоуменно-весело: — Как только живы остались?!

— Время такое. Всем трудно было.

— А то-о! — охотно и беззлобно соглашается Пелагея Петровна. Помолчав со скорбным лицом минуту-две, она кивает на красный угол, под божницу, где, накрытая белоснежными вышитыми салфетками, стоит, ожидая своих хозяев, «техника», купленная внуками.

— Вот у них теперь жизнь!.. И телевизор, и треньзистир, и энтот... как его? — магнитофон... А смотреть и слушать некому. Купить купили, а сами на великие стройки укатили!..

В голосе ее печаль, но не осуждение: внуки поступили так, как и другие молодые жители села, — чем они хуже остальных? Зато в следующих фразах звучит не только добродушное лукавство, но и нескрываемая ирония:

— Мне бы в мои годы бариной сидеть да всей этой культурой наслаждаться... Так ведь недосуг — пенсию надо успеть расшиковать.

Да, конечно, не много... Однако, слышала я, богатые сельхозартелю, скажем юга России, сверх общегосударственной пенсии дают солидные доплаты ветеранам, вынесшим на своих плечах все самые сложные перипетии колхозного строительства. Но Болотцевым Зачинкам это пока не под силу. Куда там! Правда, ветеранам оставили обширные приусадебные участки...

Словно угадав мою мысль, Пелагея Петровна отходчиво машет рукой:

— Я-то пока не жалуюсь. Это уж совсем дряхлым да немочным трудно. А у меня еще руки-ноги целы и хребтина, слава богу, не сломлена. Я на нее, на пенсию-то, не живу. На половину седьмого перевалило, а ничего, держусь, прираба-тываю.

Она не «прирабатывает» — работает. Как, бывало, в колхозе — с темна до темна. Только теперь в собственном хозяйстве, для себя и своей семьи. При всей симпатии к Пелагее Петровне, в глубине сознания у меня подчас копошатся крамольные мысли, что могла бы она теперь пожалеть свою «хребтину», поужать огород и поуменьшить живность; могла бы при желании насладиться свалившейся на нее культурой — выкроить время телевизор посмотреть, транзистор послушать. Но, оправдываю я ее, потребность к культуре в ней не успели развить, а потребность к труду у нее в крови, от дедов и прадедов; за долгую свою жизнь она столько наголодалась и нахолодалась, что теперь, естественно, стремится создать надежные запасы в погребе и кладовке, в сундуке и на сберкнижке... Гм, а где же предел этому запасу? — снова выскакивает крамольная мысль. Благо деньги-то к деньгам на селе теперь идут много легче, чем в недавнем даже прошлом...

Да, но это же, черт возьми, не с неба свалившиеся, а трудовые деньги, про-должаю я рассуждать сама с собой. Вкальвает Пелагея Петровна так, что руки-ноги у нее по ночам, «словно хрусточки, гудят». А ей все мало и мало. На длинные зимние вечера берет она еще у колхоза мешки шить да починять. Что это? Та же проза — лишняя копейка в дом? Или высокая сознательность: по мере сил помочь родному колхозу? Или чистая «лирика», дань далекому прошлому: в ее молодости, а отчасти и в молодости ее дочек метельными вечерами собирались подружки по домам и при свете «моргунка» пряли, ткали, кроили, кружева вязали. А заодно и песни пели и сказки сказывали.

Пелагея Петровна отнюдь не умиляется, вспоминая эту работу в чадающей полутьме до слез, до рези в глазах, вспоминая домотканые грубые одежды, от кото-рых, бывало, «вся тела скубётся». Сейчас, слава те господи, прясть-ткать нет

никакой надобности — в магазине готовое можно купить, — но почему бы друженько не посидеть за каким-то делом, не обсудить деревенские новости, старинные песни не вспомнить? В клуб же каждый вечер в пургу или слякоть не потащишься! Да и что там, в клубе? Кино да танцы, танцы да кино — ничего душевного...

К слову стоит заметить, что Пелагея Петровна вообще не принадлежит к племени литературных старушек, которые только и делают, что восторгаются: первые чудесной якобы во всех отношениях стариной, вторые — столь же прекрасной во всех смыслах современностью. И для того и для другого находит она слова одобрения и осуждения. Что начисто отсутствует у нее, так это брюзжание, злоба; в мгновенных переходах от иронии к лукавству, от грусти к смеху — вся она со всей своей добротой и светлой мудростью.

Не могу не привести, кстати, одного весьма примечательного эпизода. Не помню уж в связи с чем сказала я ей, что некоторые горожане, стремясь подчеркнуть свою приверженность к российской старине и свою неразрывную связь с «корнями», вешают у себя дома в качестве украшения лапти. Пока я говорила, она с насмешливым недоверием искоса поглядывала на меня, потом подмигнула и спросила:

— Разыгрываешь? За глупую считаешь?

— Да нет же, честное слово, я сама видела!

Она вдруг покраснела от гнева:

— А они их носили, лапти-то? Они знают, что в слякоть ноги в их навсегда мокрые, а в мороз — холодные, хоть ты какие онучи-оборы наведи?! Я вон туфли-то первый раз в жизни после войны надела — Маня мне подарила, — так думала, в царство небесное попала... А тут — гляди! — лапти вместо картинок!.. Блажь какая-то...

Летом у Пелагеи Петровны другое увлечение «для души». Как только сойдут снега, зацветет, зазеленеет вокруг, отправляется она с плетеной корзиной по целебные цветы и травы: то березовые почки собирает, то подорожник, зверобой или горичвет, а ближе к покосу — золотые сережки ликоподии. Любо ей бродить по ожившему лесу, по щекочущей босые ноги траве, любо вдыхать родные с детства запахи, слушать переливы, пересвисты и щебетанье знакомых с детства птиц. Сколько воспоминаний, сколько мыслей печальных и светлых нахлынет, пока бродишь одна: и о муже, что погиб в первую же военную осень, оставив ее тридцатипятилетней вдовой; и о тех, кто тщетно набивался потом в мужья; и о дочках, ради которых блюла себя, ни малейшей грязи не позволила имени своего коснуться; и о внуках и о правнуках, которых, может быть, доведет господь помянуть... Походит час-другой — и будто воды живой из волшебного родника напьется, будто десяток лет сбросит.

Только не часто разрешает себе Пелагея Петровна такие отлучки. То домашние дела за подол держат, а уж как сенокосная пора придет — тут такое начнется, что имечко свое забудешь!

Раньше, рассказывает Пелагея Петровна, выхода в луга ожидали, словно большого праздника. Принаряженные выходили на покос мужики, бабы, парни, девки — луг расцветал сотнями ярких подвижных цветов. Сколько тут шуток было, сколько песен, сколько радости дружеского общения, ощущения силы колхозной громады! И трудодни луга давали самые высокие.

Но то, что на привычный взгляд казалось праздником, при глубоком анализе обернулось прямым хозяйственным просчетом. Сенокос то тянулся по месяцу и больше, травы переставали, теряли свои качества, а все другие работы, совпадающие с косью, по сути, шли насмарку.

Ныне в луга пришла механизация. Сухой машинный стрекот и чиханье дизелей заменили протяжные и раздольные песни. Мужиков с косами да баб с граблями увидишь разве лишь на маленьких делянках, куда ни конную, ни тем более тракторную косилку не пустишь.

А еще больше, притом в самое неурочное время, увидишь косцов и копнителей по буеракам и ежевичным зарослям, по кустам и кочкарникам, по обочинам дорог и откосам дренажных каналов. Это самозаготовители.

Колхоз, конечно, выдает для личного скота сено, но сколько его? Капля в море! Вот и рыщет народ, «сшибает травинки». Какими только правдами и неправдами выбирают на собственный покос! У председателя отпрашиваются, обещая потом отработать эти часы вдвое-втрое; председатель не разрешит — с бригадиром «по-свойски» договорятся; бригадир не отпустит — негласно подменяют один другого на токах и на фермах, а чаще всего за счет сна и отдыха, на заре, на закате и даже в лунную ночь.

У Марии в ее кормоцехе работа начинается с двух часов после полуночи. Подпрыгнув от резкого звонка будильника, она, не зажигая огня, плещет в лицо холодной водой из рукомойника и бежит на ферму. К восьми часам у нее готов для свиней завтрак и обед. Тут бы доспать часок-другой или просто понежиться до вечерней запарки корма, но Пелагея Петровна уже поджидает ее с ивовой корзиной, наполненной снедью.

Искони русским жестом подперев лицо ладонью, мать стоит у печи и жалостно смотрит, как Мария сонно ковыряет вилкой в сковородке с яичницей, нехотя пьет из алюминиевой кружки кислое молоко. В то же время она чутко, настроженно прислушивается к тому, что происходит в сенцах. А там кто-то — неумелый ребенок или беспомощный инвалид — с резким визгом и пронзительным скрежетом натачивает косы. Пелагея Петровна кривится от этих звуков, словно пациент в зубоврачебном кресле от воя бормашины, наконец не выдерживает — бежит в сенцы, кричит с нарочитым участием:

— Ах ты, зетярочек-подарочек! Дай-ка, лучше я сама их отобью...

«Зетярочек», как видно, только того и ждал. Довольный, он входит в избу, морща в улыбке сухонькое лицо, собирая лоб в гармошку.

— Здрасте вам, здоровеньки булы, селям алейкум и гутен морген! — приподымает он над маленькой лысеющей головой бесформенную, похожую на переваренный пельмень шляпу: обратите внимание, какой я культурный, культурнее меня, наверное, нет на свете.

Мария, не подымая глаз, бурчит что-то невнятное, а «зетярочек» — поджарый, жилистый, не по возрасту подвижный, — кланяется, изгибается, чуть ли не приплясывает перед нами.

— Нет, вы скажите, какой резон давать человеку в руки вожжи, если он коня за хвост не держал?

— Да не мельтешишь ты! — отбрасывая вилку, сердито говорит Мария. — Собирайся лучше, мне же из-за тебя, паразита, на мать смотреть стыдно!..

— Ах, Машок, Машок, — умильно улыбается он. — Зачем такие грубые слова? Ты же знаешь, я к деревенскому труду непривычный!..

— А хлеб деревенский жрать привычный?! — не в первый, да, видимо, и не в десятый раз вопрошает Мария.

Но в это время в дверь заглядывает Пелагея Петровна и, как всякая умная теща, гасит готовый разгореться пожар:

— Идем, Маш! Пусть он свои дядя закончит, а погода придет подмогнет!..

Значительное «свои дела» и обещающее «подмогнет», как я позже поняла, были сказаны по принципу «тебе, жена, говорю, а ты, сноха, слушай»... Не Марии и не зятю были адресованы эти слова, а мне: гордая Пелагея Петровна не хотела, чтобы посторонний человек догадался о каких-то неладах в ее доме.

Женщины уходят, а «зетярочек», расставив ноги в широченных, с напуском галифе и по-наполеоновски сложив на груди руки, обращается ко мне с очередной речью. Он ужас как любит поговорить красиво и вместе с тем загадочно, с подтекстом.

В первый же день, когда меня определили на постой к Пелагее Петровне, а хозяйки не оказалось дома, «зетярочек», будто пружинный паяц из коробки, выпрыгнул откуда-то, кажется из продмага напротив, и, усевшись со мной на крашеном крыльце, извинительно заговорил:

— Пригласить вас в дом при всем желании не могу — не я здесь хозяин. Всем владеет-ведает дорогая моя тещинька. А я тут так, — он покрутил пальцами, ища нужное слово, — я просто так, подсобная сила!..

— В отпуск приехали? — уточнила я, зная, сколь много горожан приезжает летом помогать своим старикам управиться с покосом и огородом.

— Да как вам объяснить?.. Вроде и не в отпуск, а вроде и не совсем здесь живу. Во всяком случае, жилец без права пользования. Ничего моего тут нет, и никакой собственности мне не надо — ни дома, ни двора, ни огорода...

Широковещательную эту тираду прервала подошедшая Пелагея Петровна. Прервала без единого слова, без намека на возражение, даже согласно кивнула зятю, но в глазах у нее светилась такая насмешка, что «зетярочек» съежился весь и исчез столь же неожиданно, как и появился.

При женщинах он больше со мной разговоров не начинал, но, улучив момент, когда мы оставались одни, «подбрасывал» про себя что-нибудь, на его взгляд, весьма выигрышное. Вроде:

— Я ведь не какая-нибудь тыловая крыса, я всю войну от «а» до «я» прошагал, или, точнее, за баранкой проездил, даже одно время командовал авторотой. Герой из меня, правда, не вышел, но и труса я не праздновал. Как говорится, вперед не лез и сзади не отставал. Теперь даже в песне про такую жизненную позицию поется: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет»...

Или:

— Мне ведь в деревне, по сути, нечего делать. Я человек сугубо городской. Я до войны три курса инженерного факультета кончил. А после войны свои горьковские университеты прошел: и учителем был, и строителем, и крановщиком, и экскаваторщиком, а кроме того, имею права шофера, автомеханика, тракториста и комбайнера. Я на целине, знаете, какие рекорды ставил? Меня оттуда отпускать не хотели, дело до высших инстанций дошло, еле вырвался.

— Ну, с такими золотыми руками, как у вас, вы для колхоза настоящий клад! Я слышала, у вас тут и шоферов, и трактористов, и комбайнеров не хватает.

— Правильно ухватили суть! — ласково щурит он глаза, но в узких щечках зрачки мерцают серыми льдинками. — Истинно не хватает! И хватать не будет! Потому что не ценят здесь таких людей, как я. А я тоже самолюбие имею. Я знаете какой? По грязи хоть сорок километров пройду, а если передо мной машину не остановят, руки не подыму, голосовать не стану...

Однако ему недолго удастся разыгрывать передо мной человека гордого, непонятого, нецененного. Живя в доме, помимо своего желания, не можешь не заметить, не узнать того, что замечать и знать тебе не следовало бы.

Как-то я умывалась в сенцах, и до меня донесся со двора голос старшей сестры Пелагеи Петровны, несколько туговатой на ухо:

— Польш, а Польш! Ты иде так долго была?

— На огороде, стожок метала, — громче обычного отвечала моя хозяйка.

— А мужик-то что?

— А у нас мужика нет, у нас захребетник...

Видимо, так же оценили зятя Пелагеи Петровны и жители села. За месяц, проведенный в Болотцевых Зачинках, я ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь назвал его по имени-отчеству или по фамилии. За глаза величают «зетярочек», в глаза — Миляш (от тещиной фамилии — Милёшина).

При всех его разнообразных познаниях большой нужды в нем сельчане не испытывают. Слышишь только: «Миляш, зайди вечером, заколи поросенка». Или: «Миляш, не забудь завтра для общественного питания теленка зарезать». Дело в том, что Миляш работает от Заготживсырья — режет у населения и у колхоза скот и принимает шкуры. Работа «не пыльная», но всякий раз он приносит в ведерке требуху для птицы и поросят, косточки для собаки, а иногда и кусок мяса для семейного котла. Хотя это случается не так уж часто, Миляш убежден, что именно он кормилец семьи.

На этом основании он любит поразглагольствовать о том, сколько мужчина с головой может заработать, сохраняя собственное достоинство и не унижаясь перед всяким-каждым. Я уже знаю, что под «всяким-каждым» он подразумевает председателя колхоза Сверчкова, с которым у него были когда-то крупные не-

приятности. Еще, избегая ненавистного имени, он называет председателя презрительно: «кое-кто».

— Кое-кто думал, — говорит он, хищно щурясь, — кое-кто рассчитывал, что я пропаду без его колхоза. Так нет же! Я сам себе король — живу и в ус не дую, а вот всяким-каждым приходится вертеться между молотом и наковальней: сверху давят, а снизу жмут.

Разговор о председателе у нас с Миляшом не первый. Я пыталась понять суть их разногласий, но Миляш так крутит-вертит, так юлит, что уразуметь ничего невозможно.

В общих чертах картина получается примерно такая: недалекий, но властный Сверчков, завидуя уму и талантам Миляша, не давал ему никакой работы в колхозе, а когда Миляш устраивался в других организациях, то и до них простиралась всеильная длань «всякого-каждого», и Миляша — с неохотой, чуть ли не со слезами — вынуждены были отпускать восвояси.

Пелагея Петровна, если случалось ей быть дома, в разговоры наши не вступала, но слушала их, неодобрительно поджав губы. Как-то вечером, когда мы уже собирались ложиться спать и Миляш завел свою любимую песню про «всякого-каждого», она не вытерпела, с холодной вежливостью намекнула:

— Ты, кажется, перебрал, зетярочек, так выдь, прохладись маненько...

— А я что? — задиристо спросил он. — Имею я право хотя бы дома выразить свои собственные взгляды?

— Так про себя и выражай, а Сверчкова не трогай. Сверчков наш колхоз возобновил, из нищеты вытянул. Ён и хлебушка стал давать, и деньги ввел...

— Это, мамаша, не его личная заслуга, — назидательно подняв палец, изрек Миляш. — Это закономерный процесс во всесоюзном масштабе...

— Насчет всего Союза не скажу, законной меры тоже не знаю, но уж в одном ты меня не проведешь: тебе бы больше подошла в председатели всякая пьянь-рвань, которая бы с такими, как ты, поллитры давила. А энтот вас в руках дёржит...

Миляш выпятил грудь, заиграл комочками бицепсов.

— А может, я не люблю, чтобы меня в руках держали? Я не быдло, я личности!

Пелагея Петровна смерила его уже знакомым мне уничижительным взглядом.

— Ты, личность! Да ты же за ради колхоза прута гнилого через колено не преломил. А ён, Сверчков, всю жизнь свою положил на обчее дело. Приехал, помню, молодой, красивый, и пахал с нами, и сеял, и косил, и копешки играючи на стоги забрасывал...

— Дешевый авторитет зарабатывал, — ехидно вставил Миляш.

Пелагея Петровна отмахнулась от него, как от назойливой мухи, пылко продолжала:

— А жил-то как? Как жил, спрашиваю? Сколько лет угла своего не имел, наверху, над складом, в деревянной пристройке зимой мерз, а летом жарился. Потому совестливый ён, нет у него такого заводу, чтобы себе в первую очередь тянуть.

— Ха, глядите, люди добрые, какой я скромненький!

— Молчи! — Пелагея Петровна даже ногой притопнула. — Не твоему поганому боталу о таких, как Сверчков, звонить... Таким, как ён, памятники при жизни надо ставить.

Пасуя перед разгневанной Пелагеей Петровной, Миляш ретировался к себе в летнюю пристройку. Мария с укоризной и тревогой смотрела на раскрасневшуюся мать.

— Что уж вы так, мама? У вас же давление!..

— И пес с ним, с давлением! За ради справедливости я никому спуску не дам, а уж перед твоим разлюбезным и подавно на цырлах ходить не буду...

После этой сцены Миляш долго не заводил со мной разговоров о Сверчко-

ве, да и вообще старался не попадаться на глаза. А тут, проводив женщин на покос, вдруг снова сел на заезженного конька.

— Кое-кто хотел бы меня совсем со свету сжить, под маркой туеядца в края не столь отдаленные отправить. Но не тут-то было! Близок локоть, да не укусишь! Я похитрей его, я не в его епархии прописан...

Не в селе? А где же? Это что-то новое! Но Миляш уже неприятен мне, и неприятно, что этим разговором он оттягивает и как бы оправдывает свою задержку дома.

— Если он так неправ, обратились бы в район или в область, — сдержанно предлагаю я.

— Просить? Я?! Н-нет, пусть сами приедут да разберутся, кто тут прав, кто виноват. — Затем театрально вздохнул и развел руками. — А впрочем, судьи кто? Еще Николай Васильевич Гоголь...

— Вас там женщины, должно быть, заждались, — напоминаю я еще более сухо.

— Работа не Алитет, в горы не уйдет, — убежденно говорит Миляш, однако, неприкаянно потоптавшись по двору и по дому несколько минут, все же уходит, водрузив на плечо грабельки.

Так уж Пелагея Петровна расположила меня к Сверчкову, а Миляш заинтриговал наскаками на него, что мне самой захотелось познакомиться с председателем, а заодно и узнать, как он смотрит на Миляша и что в конце концов между ними вышло. Но дни стоят жаркие — в прямом и переносном смысле: дождя не было с мая месяца, хлеба, травы, картофель — все горит, все надо спешно убирать, и председатель мечется из конца в конец огромного, протянувшегося чуть ли не на пятьдесят километров хозяйства. Проснувшись в семь часов, я вижу, как он, озабоченный, в пропыленном комбинезоне, идет домой завтракать после объезда ближайших участков; в полночь, ложась спать, я еще замечаю свет в его окне в колхозной конторе.

Своей неутомимостью, своей постоянной сосредоточенностью, даже своим затрапезным видом председатель колхоза напоминает мне одного капитана дальнего плавания.

Лет этак десять назад возвращалась я из Южной Атлантики с рыбных промыслов на стареньком транспортном судне. Посудина эта — уже в который раз! — шла в последний рейс, команда на нее нанималась без особого отбора (ну какой уважающий себя матрос или штурман согласится на один-единственный рейс, да еще на старой калоше?!). Однако капитаном там чуть ли не с самого пуска «Ставриды» на воду ходил один и тот же — Алексей Федотович Гайда.

Был он немолод и неказист, на длинных перегонах бродил по судну в застиранной тельняшке и небрежно наброшенном на плечи кителе, в теплых носках и мягких тапочках, вызывая недоумение и насмешки юных салаг и уважительное снисхождение настоящих мариманов. Салаги, как им положено по штату, воспринимали только «некапитанскую» внешность Гайды. Бывалые моряки ценили то, что Федотыч, «глазастый леший», все происходящее на судне видит и знает, всегда вовремя и необходимо подает нужный совет, а в трудной ситуации возьмет на себя и бразды правления, и ответственность за чужие ошибки. Как осторожно и вместе с тем уверенно, без всяких лоцманов проходит он опасные «узкости»! — восхищались они. Как грациозно и лихо подгоняет неуклюжую «Ставриду» к причальным стенкам загранпортов! Как мудро, «колдовски» распределяет в трюмах грузы, балансируя опасный крен и тем самым бесконечно продлевая «последние» рейсы своей любимицы!

Сравнение «морского волка» Гайды с сухопутным Сверчковым, согласишься, неожиданное, странное и, надо полагать, не совсем правомерное, но так ведь бывает, правда? Придумаешь что-то, поверишь этому, а потом трудно бывает отказаться...

Я обязательно, непременно должна пойти к Сверчкову! Но терпеливо и благоразумно жду. У него неотложные дела, а я тут, на берегу Оки, в глубине

целительных мещерских лесов, просто отдыхаю, прихожу в себя после долгого пребывания в клинике. У меня еще есть время для встреч и для разговоров. Тем более в колхозе происходят события, которые сами собой отодвигают наши со Сверчковым контакты.

В тот самый день, когда не очень-то деликатно я выпроводила Миляша на покос, в окно постучала женщина, курносенькая, востроглазенькая:

— Передайте тете Поле: завтра в десять на ферме собрание.

Я удивилась: так она же давно не работает! Женщина объяснила:

— А мы ее все равно числим. Брату ее Петру Петровичу, бессменному кузнецу, присвоено звание почетного колхозника, а тетя Поля много лет проработала дояркой и телятницей, так мы между собой называем ее заслуженным животноводом.

Пелагея Петровна восприняла приглашение как должное:

— А чего ж от общества отрываться? — угадала значение моего просительного взгляда. — Ну и ты посиди, послушай, только встанем пораньше, я тебя через живичные места проведу...

Ежевика мы не нашли («Сушь съела»), но по лесу прогулялись отлично. Был он весь прогретый и полный запахов — каждое дерево, каждый куст, каждая былинка, казалось, то кричали, то шептали о себе: это я! вот я какой! Пелагея Петровна уверенно, как в своем подворье, ориентировалась в переплетении бесчисленных тропинок, легко пробиралась сквозь заросли, посмеивалась над моей нерасторопностью:

— К асфальтам привыкла — на живой земле спотыкаешься!

Время от времени, не глядя, словно наугад она срывала то листок, то пучок травы, опускала в карман фартука, одетого поверх выходного платья.

У березовой рощи мы набрали на стадо коров.

— Это с нашей фермы, — узнала Пелагея Петровна, — тут и мои выкорыши должны быть. — Остановившись, позвала: — Комета! Ракета! Спутница!

Одна из коров ответно промычала, другая, лежавшая, лениво мотнула головой, третья подошла, ткнулась Пелагее Петровне в грудь.

— Ревизию наводишь, кума? — смеясь спросил пастух, пожилой, сухощавый мужчина в тельняшке и с деревянным протезом вместо ноги.

— А то-о, — в тон ему ответила Пелагея Петровна, — за вами глаз да глаз...

Присядь в тень, отдохни, — пригласил пастух. — До собрания еще далеку.

Мы присели на смятую траву под большим рябиновым кустом, где валялись старый флотский бушлат, сумка из-под противогаса (должно быть, со снедью), висел на ветке транзистор.

— Моряк? — спросила я пастуха.

— Морской пехотинец, — ответил он. — Всю войну Иван Алешин был рядовым, а теперь, смотри, каким десантом командую...

Он достал металлическую коробочку с вытертой этикеткой «Мясной завтрак», ловкими руками в синих узорах татуировки свернул самокрутку, с наслаждением затянулся.

— Ну что, кума, воров двадцать сена уже называли?

— Ой, что ты! Откуда? — искренне удивилась Пелагея Петровна.

— Так вас же троет!

— А яго ты чего считаешь? — Она вдруг как-то по-девчоночьи приснула: — Ой, кум, мне с им и смех и грех! Косить-то яму няхота, ён и бегаёт, и бегаёт промеж кустов и орет: «Бабы, вот трава! Сюда, бабы!»

Пастух посмеялся вместе с нею, сказал, не скрывая гордости:

— А мне Колька на всю зиму запас... Сперва мне, теперь со своим возится.

— Ну, Колька у тебя молодец!

— Как вернулся со срочной, три дня отдохнул — и за работу.

— Так и ты после госпиталя не гулял, — напомнила Пелагея Петровна. —

Не то что наш...

Алешин проводил нас до подножия песчаного бугра, засаженного молодыми елочками, попрощался: «Дальше-то я на моем самоходе не осилю», а мы поспешили к ферме.

В красный уголок уже тянулись женщины, снимая на ходу темные рабочие халаты. Пелагея Петровна тоже скинула ситцевый фартук, свернула его клубочком.

В чисто вымытой, до желтизны выскобленной комнате было прохладно и как-то празднично. Может быть, от кумача на столе и ярких плакатов на стенах, может, от пестрых платьев и блузок, от здоровых румяных лиц и веселых улыбок.

Пока женщины, перешучиваясь, рассаживались на скамейках, Пелагея Петровна тихонько представляла мне их. Впереди всех плотно, по-хозяйски устроилась дородная, краснощекая, синеглазая — ну прямо с малявинской картины! — молодка («Наша рекордистка. Про нее в газетах писали», — шепнула мне Пелагея Петровна). Рядом с ней опустилась тонколицая, смуглая, в кокетливо повязанной голубой косынке и голубых бусах («А эта с ней соревнуется»). Позади всех скромно присели две девчухи, одинаково одетые и до смешного похожие («Сестры. После школы остались. Теперь дальше учатся, заочно»). Та самая курносенькая, востроглазенькая, растолкав других, прильнула к Пелагее Петровне («Сиротка, ленинградка, у нас выросла, замуж вышла, Сверчков ей дом поставил»). Она-то и «засекла» Пелагею Петровну и сорвала ее «репортаж»:

— Ты что, тетя Поля, как Левитан, вещаешь?

— Не-ет, — под смех товарок отозвалась «малявинская». — Тот по бумажке читал, а она, как Озеров, от себя шпарит...

— Начнем, женщины? — спросил чистенький, накрахмаленный и отутюженный старичок, поднимаясь и постукивая по столу карандашиком.

Я уже знала: молодой и «моторный», по выражению Пелагее Петровны, парторг выехал в Рязань на учебу, а это был его заместитель — пенсионер, вернувшийся недавно на родину. Всю свою жизнь он работал где-то на Алтае или в Сибири управляющим банком и, как это было принято прежде, часто выезжал уполномоченным по различным кампаниям. С тех пор у него сохранились некие смутные представления о колхозной жизни (которые он по чистоте душевной принимал за знание жизни) и еще — небольшой набор обязательных слов вроде «надо», «мероприятие» и «резервы».

С этими-то представлениями и этими словами он и вышел к женщинам и произнес довольно длинную речь, которая сводилась к тому, что в течение семи месяцев ферма поработала, в общем, неплохо, но дальше работать надо еще лучше, а для этого следует изыскать все резервы и разработать необходимые мероприятия.

Женщины сидели чинно, слушали его почтительно, только переглядывались друг с другом, и в глазах у них, что называется, чертики прыгали. Едва он кончил, заговорили все разом.

— А какие еще резервы? И зеленую подкормку даем, и концентраты...

— Мы не только массаж, мы с выем-то, как в футбол, играем, чтобы взять все молоко...

— Мы же его скрывать не станем, не на зарплате — копейки-то с удоя идут...

— Женщины, женщины, по очереди берите слово! — стуча карандашиком по столу, взывал председательствующий.

— В самом деле, выступите и скажите, а то бормочете, как балалайки, — поддержала его на правах старшей Пелагея Петровна.

В относительной тишине председательствующий уныло спросил:

— Должны же быть какие-то резервы?

— Есть! — пегардой взорвалась ленинградка. — Пусть доильные аппараты реже ломаются, а то мы коров намучим, намучим, а потом ждем от них молока.

И снова — видно, большого места коснулась — зашумели наперебой.

— Мы же нервируем их — то машиной, то руками, то обратно машиной!..

— Они же не понимают, что запчасти вовремя не дают!..

Но председательствующий не пожелал вникать в машины и запчасти.

— Женщины, я же помню: в это время года удои должны расти...

Женщины переглянулись. Ленинградка подтолкнула локтем ту, что с бусами. Та сделала постное лицо, посмотрела на председательствующего невинными глазами:

— То было раньше, Михаил Николаевич. А у нас в это время года они взпуск идут... Гуляют, стало быть...

«Малаянская» уперла руки в пышные бедра:

— Ежели у них молока нет, мы за них все равно доиться не можем.

И потонуло все в хохот! И сам председательствующий беспомощно и как-то виновато улыбнулся. А Пелагея Петровна, боясь, что я осужу ее товарок за легкомыслие, шепнула мне:

— Они озорные, наши бабы, шумливые, а ведь сделают все как надо!

Я и не сомневалась в этом. И они, насмеявшись вдоволь и накричавшись о подкормке, о микроэлементах для телят, о наиболее выгодном режиме доения и других важных, на их взгляд, производственных вопросах, успокоились, заговорили мирно и даже как будто извиняясь «про личное»:

— Михаил Николаевич, ты бы похлопотал, чтобы хлеб нам прямо к ферме подвозили, не успеваем мы в ларьке покупать...

— И муки бы подбросили. Народ мы дюжий, нам питание требуется...

— И сеансы пусть не начинают, пока мы с вечерней дойки не придем. А то одни хвостики от кино смотришь...

— Доложу председателю, — обещал Михаил Николаевич, записывая эти просьбы в блокнотик, — примем необходимые меры.

— Ну доложи, что и мы примем меры! — крикнула неугомонная ленинградка. — Доложи так, как положено, а мы не подведем!

А через несколько дней умерла, отошла во сне, никого не тревожа, девяностолетняя соседка Пелагеи Петровны — какая-то ее дальняя родственница.

Пока наши не вернулись с покоса, в дом то и дело прибегали взволнованные женщины и несколько испуганные, но полные сознания значительности момента ребяташки:

— Где тетя Поля? — И уходили растерянные: — Как же без нее? Мы ведь к ней со всем, плохим и хорошим...

В сумерки пришли наши. Пелагея Петровна, узнав о случившемся, перекрестилась на образок («Вот она, жизнь, какая, не знаешь, чем начнешь, чем кончишь»), переделась во все черное и направилась к соседке, как она выразилась, командовать парадом. В ней, такой мягкой, улыбочливой, вдруг и в самом деле проснулось что-то командирское. Зятю она велела привести себя в божеский вид и поскорей прийти помочь сколотить гробик («Да смотри не налижись по дороге!»). Дочери наказала: приберись на дворе, а свиньям корм, скажи, чтобы Зинка-сменщица приготовила.

Авторитет Пелагеи Петровны оказался столь велик, что капризная, любящая поскандалить Зинка, ничуть не прекословя, подменила Марию. Мария встретила стадо, подоила Модную, накормила и напоила скот и птицу. Все это время я бродила следом за ней, а она рассказывала про «упокойницу», как та смолоду удачно вышла замуж и счастливо жила в Баку со своим мужем-капитаном, а вот на старости лет осталась одна, без мужа, без детей и почему-то без пенсии и оказалась на полном попечении сельчан.

Обычно резковатая, Мария в этот вечер была какая-то притихшая, даже, пожалуй, подавленная — не то чтобы жалостью к постороннему и очень древнему человеку, а скорей всего непосильным для нее сознанием сложности и хрупкости бытия.

Потом мы с нею ходили мимо покосившейся хибарки покойной, видели, как сидят вокруг нее благостные старушки в белых платочках, слушали доносившиеся через закрытые окна нестройные и надтреснутые слова молитв.

— Простите, Мария, а вы счастливы со своим мужем? — несмело спросила я.

Она долго молчала, так долго, что я уж подумала: обиделась, не хочет отвечать. Но вдруг остановилась, оперлась спиной о смутно белеющий в темноте ствол березы и медленно, подбирая слова, заговорила:

— Мать моя не благословила меня за него. А я не послушалась... Парней-то мало с фронту вернулось, а он был такой культурный, обходительный... Он с войны, из самого Берлина, младшим лейтенантом пришел и все ждал, чтобы должность ему предложили хорошую, по его образованию, значит, по заслугам и чину... А я в город на дровяной склад устроилась грузчицей — ну, рабочую карточку чтоб получать... Тут дите народилось... Двое их оказалось на моих руках... У меня от голодухи — веришь ли? — голова кругом шла и молоко совсем иссякло. Вижу — пропадает мой первенький, уже и головку держать не может... Тогда я — домой и к матери в ноги: прими, мол, на время, не дай дитю погибнуть! Да вот, видишь, все двадцать пять лет и помогает...

— А Ми... А Василий,— быстро поправляюсь я,— он кем был в колхозе?

— Вася-то? А он в колхозе не был... Он у меня... шатающий: то труд в школе преподавал, то в Совиахиме учил призывников автомобилю, то еще чего-то, всего и не припомню...

— Говорят, он на целине отличился?

— «Отличился»?! Бабу он там завел — вот чем отличился! Год ничего не писал... Мать уж Сверчкова просила — тот объявлял розыск, вытребовал его домой.

— И как вы живете с ним... с таким? — вырывается у меня, и тут же я понимаю всю бестактность и всю нелепость этого вопроса. Ведь и так ясно: мужчин после войны мало... а этот все-таки отец ее детей... многолетняя привычка...

Но Мария говорит совершенно неожиданное:

— Что поделаешь? Присохла сердцем...

И впервые за все время голос ее, обычно раздраженный, звучит мягко и нежно.

Так, значит, она любит! Любит...

И я вдруг во всей полноте постигаю трагедию и величие этих двух женщин. Любя своего мужа и стыдясь за него, недостойного, перед матерью, перед соседями, перед колхозом, Мария своим подвижническим трудом стремится добавить семье и обществу то, чего недодает он. А Пелагея Петровна, познавшая горечь раннего вдовства, во имя дочери терпит в своем доме ненавистного всему ее существу захребетника и даже... даже разыскивает его, беглого...

— Иди отдохай.— Мария трогает меня за рукав.— Молочка теплого прихлебни, я тебе там поставила банку на окно. А я посижу со старушками, сменю мать, она ведь не железная...

Нет, она не железная, эта Пелагея Петровна, она — из самой закаленной стали! Когда я продираю глаза, уверенная, по своим городским понятиям, что проснулась чуть свет, Пелагея Петровна уже закончила все работы по двору и по дому и собирается в соседнее село в церковь, служить панихиду.

— Так до нее же пятнадцать километров! Как вы дойдете?

— А зачем идти? Я у Сверчкова машину попрошу. Я ведь не ради личного интересу, я вроде уполномоченной... на этих самых... как их?... на общественных началах. А вот и он! — обрадованно восклицает Пелагея Петровна и, как-то очень органично сочетая быстроту и достоинство, перебегает улицу, останавливает высокого, чуть сутулящегося председателя.

Сверчков здоровается с ней почтительно, за руку, склонившись, выслушивает ее просьбу, отрицательно качает головой, потом, подумав, неопределенно машет куда-то в сторону.

Пелагея Петровна медленно, вяло отходит от него и кислым голосом сообщает:

— Нету у него ни грузовиков, ни самосвалов — все зерно и силос воят... — Но тут же добавляет как само собой разумеющееся: — Сказал, чтобы

личную его машину взяли, на которой он в Рязань ездит. — И, чертовски довольная этим маленьким, разыгранным ею спектаклем, торжествующе подмигивает мне: — Хочешь — собирайся, тебя тоже захвачу...

И вот мы едем в мягко покачивающейся «Волге» — Пелагея Петровна рядом с шофером, держа на коленях узелок с кутьей, я на заднем сиденье.

Шофер — загорелый, с выцветшими соломенными волосами здоровяк — посмеивается над своей пассажиркой:

— Что-то ты зачистила в церковь, тетя Поля! Не иначе на тот свет собралась, грехи замаливаешь...

— И-и, милай, — смеется Пелагея Петровна, — мне еще жить да жить! Все старушки во мне уверены: и меня предай земле, и меня! Так что моя очередь к богу — последняя...

Однако «божьи» темы ее не очень-то занимают — она зорко поглядывает вокруг и живо комментирует все, что видит.

Заметив на току своего колхоза десятка два работающих женщин, она толкает шофера локотком в бок:

— Гляди-кось, таперича ни просить, ни ругать, ни пугать не надо: копейка — она сама гонит!

Увидав стога с прессованным сеном, поставленные близко друг к другу, заботливо похлопала:

— Вот глупые, вот глупые, приклали их боками-то! Неровен час кто искру бросит — и пойдет полосовать...

Но лирическая струя в ее душе постепенно вытесняет рациональное и критическое начала. Притихнув, она любуется панорамой, открывшейся с высокого косогора: золотыми полями с «божьими коровками» самоходных комбайнов, серо-желтым жнивьем, по которому снуют черными муравьями тракторы, зелеными кудрявыми перелесками, круто выгнутой лентой Оки, синими заокскими борами.

— Э-эх, раздолья-то какая! — восхищенно восклицает она и просит шофера: — Вить, а Вить, не гони ты так, будто с коснодрому запущенный! Дай глазам налюбоваться...

— Чем любоваться-то? — удивляется привыкший ко всем этим картинам шофер.

— А то-о? Али бы не замечаешь, какую красоту господь бог вокруг создал?!

— И тракторы — бог? И комбайны — бог? И вон самолет в небе, и спутник, что к Луне запустили, — это все тоже бог?! — невинным тоном спрашивает шофер.

— А ты не скалься, не скалься! — одергивает его Пелагея Петровна. — Ты думаешь, я совсем дурная — бога-то на этом облаке или в церкви под кумолом ищу? Люди веруют в хорошее... радуются, когда в жизни доброе сделать успевают...

Я аж подпрыгиваю на своем сиденье: ай да Пелагея Петровна, ай да теоретик! А Виталий резко тормозит и, приоткрыв рот, долго, ошалело смотрит на тетю Полю. Потом встряхивает головой («Ну дает! Вот дает!») и до самого соседнего села ведет машину так бережно, словно доверили ему необычайно хрупкую и несказанно дорогую ценность.

После этого тети Полиного откровения я ничуть не удивляюсь, что стоит она в боковом проходе маленькой черной статуей, не крестясь, не кланяясь и не припадая на колени, как другие старушки. Иногда, прикрыв лицо ладонями, она, по-моему, просто дремлет, компенсируя бессонную ночь.

Служба — предупредили нас — предстоит длинная: кроме заутрени, еще крестины, и причащение, и поминание во здравие и за упокой, и лишь после всего панихида о вновь преставившихся. Немолодой мосластый священник с зычным голосом заметно торопится, комкает слова молитв, сминает жиденькие поюты старушечьего хора.

— Как-то странно служит ваш батюшка, без всякого благолепия, — шепчу я, склонившись к уху Пелагеи Петровны.

— Сверхурочной работы много, — не глядя на меня, деловито бросает она:

— А управится?

— Ничего, отмотает! — говорит она без всякого почтения к сану.

— А чего его почитать-то? — смеется Виталий, которого я нахожу за церковной оградой, в тени, на травке. — Это же Володька, наш бывший конюх! Первый матершинник был, первый запивоха и первый бабник...

На обратном пути, услышав, что мне известна родословная отца Владимира, Пелагея Петровна говорит рассудительно:

— А что ж, у их плохо с кадрами... Зато до него, до Володьки-то, батюшка служил — энтот был настоящий праведник, энтото сам патриарх Алексей, царство ему небесное, уважал. Почетной грамотой его наградил... Вот кабы поехать к Шурке, я бы тебя с им познакомила, с отцом Викентием-то, — он, как и я, тоже на пенсии...

Шурку, младшую дочь, Пелагея Петровна, как она говорит, оторвала от себя, выдала замуж «за воду», то есть за реку, за Оку. Шурка обижается на мать, что та всю жизнь прожила с Марией и Маринных детей на ноги поставила. С одной стороны, Пелагее Петровне стыдно перед младшей дочерью — ведь у нее тоже трое, ребята — не котята. Но с другой, трезво рассуждает она, у Шурки мужик как мужик, не чета Маруськиному шутолому, а это уже намногу меняет дело. И колхоз у них куда крепче нашего: там все дети до школы в ясли или в садик устроены, матерям-то для работы руки развязаны; там народ богато живет — дома сплошь новые, кирпичные, под железом или шифером, что ни дом — мотоцикл, а кое-кто и «легковушки» имеет, Шуркин муж тоже на очереди стоит. Шурка и ее муж в каждом письме зовут Пелагею Петровну приехать, посмотреть на их житье-бытье, мать в каждом ответе обещает собраться к первому же празднику, но...

Утром, раздувая старым сапогом ведерный самовар, она тихонечко причитает:

— Ох, пьянь-рвань! Ох, душепропивцы несчастные!

— Что случилось, Пелагея Петровна?

Не оборачиваясь она говорит — то ли мне, то ли себе, то ли самовару:

— Ох, трактор ноне с плотины перевернулся. Двое на ём пьяных было, один-то вроде уже дух испустил, другого пока найти ня могут... Приказываешь им, дуболомам, учишь, учишь: ня пейтя, ня пейтя, смерть свою ня зовитя, а они... Ох, сил моих нет, сбегая узнаю!

Она швыряет сапог и, кинув на неприбранную голову темный полущалок, уходит куда-то.

Через несколько минут снова звякает наружная щеколда и является заплаканная Мария. Оказывается, тот из пострадавших, которого не могут найти, — племянник Пелагеи Петровны, сын ее родного брата Петра Петровича. Пятеро у него сынов, все парни как парни, а этот, последыш, избалованный, неслух...

— Думают, он, Федька-то наш, в пруд свалился. Лодок, лодок понагнали — кто ныряет, кто багром шарит... Сверчков там же, весь до шеи мокрый... А другого вертолетом в городскую больницу увезли, говорят, совсем плохой, крови много потерял...

— Как же их, нетрезвых, до работы допустили? — недоумеваю я.

Мария устало машет рукой:

— Так у нас ведь, знаешь, какое положение с народом: все, кто молодой да грамотный, в города подались, остались старики, как моя мать с дядей Петей, инвалиды вроде Алешина да мы, бедолаги, из-за войны неученые. А из молодых, из Федькиных погодков, больше все лодыри да туллёшки, которых учителя за уши не смогли дотянуть до восьмого класса. Нами-то, как на гришкином кафтаге, Сверчков все дыры колхозные затыкает, и все равно не хватает. Тракторист или комбайнер напьется — вместо них за штурвал посадить некого... Да и не уследишь, когда и где они, окаянные, налижутся...

— Ну, вчерашние поминки...

— Не в их дело! Федька-то даже не был на поминках — допоздна с трак-

тором на силосной яме вертелся, на ударной вахте. А ноне свояку своему Кольке — ну видела пастуха Иван Иваныча? так это его сын — обещал прицеп сена привезти да там, видать, и набрался... У нас ведь прынцип какой? Дрова или сено тебе притащут, огород спашут, крышу починят — денег ни за что не возьмут, даже обидятся. А литру или две вместе выхлестать — это за милую душу... Вот мой-то...

Мария, сидящая лицом к двери, застывает испуганно, на ее дрожащих губах невысказанный рвется вопрос: умер?!

На пороге стоит Пелагея Петровна. Полушалок ее сполз на плечи, волосы растрепаны, глаза сухи, но лицо горит. Лицо пылает таким неестественно ярким, пятнистым румянцем, как будто случилось невероятное — как будто кто-то осмелился нанести ей пощечину.

В волнении забыв, что в доме посторонний, а может, после той перебранки с зятем уже считая меня своей, она плюхается на кровать и, зажав голову ладонями, качается из стороны в сторону.

— Ой, хуже, хуже! — стонет она. — Ой, осрамил, проклятый! всю милешинскую фамилию как есть опозорил... Да лучше б ты сгинул, поганец, лучше б под трактором остался, чем такое учинить!

Кое-как успокоив Пелагею Петровну валериановыми каплями, мы узнаем, в чем дело. Побежав в братнин дом справиться насчет племянника и поддержать убитого горем Петра Петровича, тетя Поля услышала от людей все так ужаснувшие ее подробности.

Когда трактор рухнул с девятиметрового откоса, Федор Милешин вывалился из кабины и отлетел в сторону. Коснувшись головой холодной воды, он тут же пришел в себя. Ощупал тело, руки, ноги — все цело, хотя и ноет от ушибов. Потихоньку пополз, потом побрел, потом, собравшись с силами, побежал... Не к мелиораторам побежал, что поблизости в своих походных вагончиках спали, не к участковому, не в сельсовет, не к Сверчкову, чтобы быстрее помочь пострадавшему, а к себе домой, на сарай, в сено...

— Уснул, как последний пес! Да нет, пес бы такого не сделал, он бы вой поднял. А это же просто выродок, — скорбно заключает Пелагея Петровна. — Ему, видишь ли, показалось, что Николай первый выпрыгнул... А посмотреть... А проверить...

— Ну что? Кто в доме министерская голова? Кто советовал своим сынам не возвращаться в деревню? — возникая в проеме двери, спрашивает Миляш, успевший уже опохмелиться после поминок. — Ваш-то дорогой племянничек и братец сейчас участковому с гаишником показания дает и скоро-тю-тю! — за решеточку сядет. А мои сыны...

— Цыц! Скройся с глаз долой! — кричит Мария, и Миляш мгновенно исчезает в сенях, как пружинный паец в коробочку.

— Лягте, мама, и давайте дверь на запор прикроем, чтобы никто боле не зашел, — предлагает Мария.

Пелагея Петровна решительно качает головой.

— Нет, Маня! Среди людей живем, и неча от людей прятаться.

«Да и куда от них спрячешься?» — думаю я, слыша на крыльце тяжелые шаги и скрип деревянного протеза Ивана Ивановича. Боже, что сейчас будет?

Чтобы не мешать объяснению, я уйду в горницу. Но плохо пригнанная дверь вскоре распахивается, до меня доносятся и тягостные вздохи Пелагеи Петровны, и тихое всхлипывание Марии, и покашливание Алешина.

— Ну вот что, — глухим прерывистым баском говорит он. — У Петра Петровича я уже был, успокоил его... И вы тоже мокреть эту не разводите... Говорил Сверчков с больницей... Оперировали Кольку... Кровь ему живую влили... Обещают — будет жить...

Мария плачет навзрыд. Из-за нее я не могу разобрать, что говорит Пелагея Петровна — тихо, долго и настойчиво.

— Что ж, кума, — снова слышу я взволнованный басок Ивана Ивановича

ча,— это не только ваш, милешинский позор... Мой-то... он тоже не ахти какой герой... Вместе пили-то...

Он долго молчит, видимо, готовит самокрутку. Я хорошо представляю, как трясущимися руками в синих узорах татуировки он достает из металлической коробочки самосад, сыплет его все мимо и мимо бумажки. Вот он несколько раз чиркает спичками, но спички ломаются у него в пальцах. Вот наконец запахло махорочным дымом...

На кухне долго стоит тяжелая, давящая тишина — даже отсюда, из горницы, я ощущаю ее весомость и плотность. Потом раздается скрип протеза.

— Так я пошел, кума... Ты вот что... Ты, Поля, не казись... Еще неизвестно, как бы мой Колька себя на месте Федора проявил...

Эти последние слова Иван Иванович, потерявший ногу в момент, когда выносил из-под обстрела раненого командира, выдавливает огромным усилием воли. Не думаю, что бывший моряк и в самом деле так не уверен в своем сыне, — видимо, он рыцарски хочет утешить старую подругу, снять с души ее часть тяжести.

...От людей никуда не спрячешься, да и зачем от них прятаться? Весь этот день они приходили один за другим — не полюбопытствовать, не позлорадствовать, не растравить рану, а поддержать, отвлечь. Само собой, жалеют Николая, осуждают Федора, но главное — стараются показать Пелагее Петровне, что она для них, как и прежде, самый уважаемый человек.

Вот я слышу легкий и дробный стук каблучков, звонкий голос колхозной агрономши, когда-то квартировавшей у тети Поли. Придумав какой-то явно пустяковый предлог, она примчалась с поля и выкроила несколько минут посидеть со старушкой. Зинка-скандалистка, Мариина сменщица, явилась с дочкой и отрезом вельвета, попросила помочь скроить пальтишко к осени («Вдруг сразу заолодеет?»). Учительница выбрала именно этот момент, чтобы посоветоваться с тетей Полей о старинных песнях для предстоящего выступления народного хора.

— Не до хора мне, Валентина Павловна, — пробовала отмахнуться Пелагея Петровна. — Вы же знаете, мой племянник...

— А мой ученик, — мягко перебила ее учительница. — Наш общий недогляд и наша ответственность...

Похожий на студента главный инженер — тоже в прошлом жилец этой горницы — поинтересовался, не здесь ли его жена Настенька, а потом смущенно и путано сообщил, что если Николай останется жив и Алешины не станут требовать суда, то из уважения к Петру Петровичу... и всей вообще трудовой династии Милешиных... и поскольку Федор был работник неплохой и крайне колхозу нужный, то коллектив механизаторов готов взять его на строгое перевоспитание...

— Спасибо, сынок, — с достоинством ответила Пелагея Петровна. — Пусть уж будет все по закону...

Не успел уйти главный инженер, впорхнула его жена — черноглазенькая, с круглым лицом в ямочках, держа на руках такого же черноглазенького, в ямочках, «самого-самого младшего инженера».

— А нам сегодня исполнилось ровно четыре месяца, — сияя объявляет она, — и мы пришли поблагодарить бабушку Полю за все, за все, что она нам сделала...

Торжественно, как высший дар, Настенька протягивает Пелагее Петровне голубой, в кружевах сверток:

— Пойди, сыночка, к бабе Поле, пойди, миленький!

И Пелагея Петровна прижимает его, и качает, и нежно подбрасывает, и даже... даже, забыв о своем стыде и горе, напевает какие-то издали, из молодости пришедшие, смешные и трогательные «лядадúшки-лядадá»...

Этот бесконечно длинный и бесконечно трудный, но так тепло и славно заканчивающийся день снова испортил не кто иной, как Миляш.

Вынырнув из летней пристройки, когда Пелагея Петровна и Мария ушли

во двор по хозяйству, он спросил, по обыкновению сморщив в умильной улыбке сухонькое лицо:

— И чего эти бабы вызверились? Им на меня не кричать — богу молиться надо. Я ведь своих парней не просто у себя в городе прописал на всякий случай, я их, можно сказать, жильем обеспечил...

— Каким же образом?

— Имею, что называется, наследственное владение — треть дома от покойного отца. Но это, конечно, одно название — дом, это, извиняюсь, просто рухлядь, и в том-то, если хотите, весь секрет и вся хитрость...

— ??

— Он же к сносу предназначен... Понимаете, к сносу! И вырастут там очередные Черемушки. А раз так — и мне и сынам обязаны дать площадь в новостройке. Полноценную! По всем санитарным нормам и со всеми удобствами. Вот так-то! — с хмельным бахвальством заключает он.

«Ну и ловкач! Ну и пройдоха!» — думаю я. Миляш с пьяной пронизательностью угадывает на моем лице эти, в общем-то, не шибко скрываемые мысли.

— Презираете? Мораль хотите читать?

Его зрочки в прищуренных глазах уже не просто серые льдинки — это стальные «мушки» в прорезях прицела. Такой осторожный, любящий выражаться красиво, туманно и загадочно, он вдруг вываливает все, что так долго таил, все, что в других условиях никогда и ни за что бы не высказал, — он вдруг обнажается до конца:

— А вы посадите меня за начальнический стол, вы дайте мне подняться на высокую трибуну — я вам такую мораль прочту, такие приведу доводы... О, мне бы этот стол! Мне бы эту трибуну! — не говорит — выстывает он, и кулаки его сжимаются так выразительно, что делается страшно.

Я не замечаю, что вышла из дому и бреду по широкой сельской улице. Уже поздно, но кое-где в домах горит свет, играет радио и видны голубые всполохи телевизоров. Кое-кто во дворах в неярком свете луны сгружает с телег и самодельных тачекпряно пахнущее сено.

Впереди в небольшой бревенчатой избе — колхозной конторе — светится одно-единственное окно, председательское. А что, если зайти? Не убьет же меня Сверчков! В крайнем случае скажет: извините, занят, загляните в другой раз.

Сверчков сутуло сидит за письменным столом, без верхнего света, при одной настольной лампе. Удивленно подняв от бумаг усталые глаза, он не сразу вспоминает, кто перед ним, а вспомнив, усмехается уголками губ.

— Нашли наконец дорогу? На ферме были, в клубе были, со всей колхозной интеллигенцией перезнакомились, даже попа Володьку повидали, а сюда не могли собраться?

Я понимаю: говорит он это без упрека, просто хочет дать понять, что о моем житье-бытье «на вверенной территории» ему все хорошо известно. И я про себя ликую. Ну конечно же, я не ошиблась: он похож на «глазастого лешего» — Гайдю, который все знал и все видел, что делается на корабле! И даже пиджак у него наброшен на плечи, как китель у старого капитана!

— Здравствуйте, Алексей Федотыч! — радостно говорю я.

— Никитич, — в полном недоумении поправляет он. — Вы меня с кем-то спутали?

Я сажусь и довольно бессвязно рассказываю про «Ставриду», про Гайдю, про салаг и мариманов. Лицо Сверчкова постепенно теплеет, сдержанная усмешка из уголков губ перебегает в некогда голубые, а теперь выцветшие глаза, растет, ширится, превращается в улыбку.

— Эх вы, сочинители-романтики! — говорит он, когда я умолкаю. — Так и быть, утешу вас: с вашим Гайдой у меня есть кое-что общее. Мы оба Алексеи — раз. Когда-то и я носил тельняшку: во время войны служил на флоте боцманом, — два. В-третьих... Третьего, пожалуй, нет. Если не считать, что мне, как любому, колхозному руководителю, пришлось в жизни сбалансировать немало

всяческих кренов. Но это совершенно особая область, ее теперь незачем касаться.

Я говорю Сверчкову, как (не могу подобрать другого, менее старомодного слова) очарована Пелагеей Петровной, как хочется написать о ней, только вот смущает меня ее разросшееся хозяйство, ее накопительские тенденции...

— Как говорится, дай ей бог здоровья и силы,— не дослушав, прерывает меня Сверчков.— Если она лишнюю тонну картошки вырастит или бычка выводит, это же не только ей выгода, она же свой избыток продаст государству.

— Ну, не всегда государству...

— Хорошо, на рынке, какая разница? Нашу колхозную недоработку в какой-то мере компенсирует...

Что ж, в этом, пожалуй, тоже есть резон!

Я спрашиваю Сверчкова о Миляше, о том, какие именно неприятности были у него с руководством колхоза.

— Со мной,— пренебрегая обтекаемой формой вопроса, ставит Сверчков точки над «и».— На эту тему мне тоже не хотелось бы говорить. Он и так всюду кричит о моей предвзятости.

— Но все же...

— Поезжайте в райком, попросите в архиве его персональное дело...

— Как?!

— Ах, он благоразумно умолчал? — Загорелое лицо Сверчкова бледнеет, становится суровым, будто высеченным из серого камня.— Так если уж вам угодны аналогии — пожалуйста: Миляш — тот же поп Володька, только несостоявшийся. Володька, не веря в бога, служит в алтаре. Миляш без веры в наше дело хотел на больших постах людьми командовать. А у него этого не получилось. Вот он и осерчал. На весь свет осерчал. В том числе и на партию... А мы его, естественно, выгнали. И в этом вся суть наших разногласий...

— Спасибо... Но если писать о тети Полиной съезде, неизбежно придется что-то сказать о колхозе...

— А это нетипично? — усмехается Сверчков.— Правильно! По сравнению с хозяйствами Дона или Кубани, Средней Азии или Закавказья это не вчерашний, а позавчерашний день. Даже у нас на Рязанщине и то трудно найти второе такое хозяйство. Да что там — у себя в районе мы в чем-то похуже, беднее других. Но...

Сверчков порывисто поднимается и, сутулясь больше обычного, ходит по своему тесному кабинетику.

— Но у нас самая большая нагрузка на человека — это вы, надеюсь, слышали? У моего соседа и друга тридцатитысячника Журавлева тоже мало людей, но у него рядом город, он потихоньку переманивает оттуда механизаторов, строителей, даже доярок. А мне переманивать неоткуда, у меня под боком один лесхоз, и тот спит и во сне видит, как бы кого от нас увести... У нас на двести срок восемь трудоспособных около двухсот пенсионеров, да в ближайшие семь-восемь лет еще человек сто выйдут на пенсию. А после школы остаются и возвращаются после армии единицы... Ясна вам эта экспозиция?

— Как не ясна! — сочувственно отзываюсь я, но Сверчкова почему-то обижает это сочувствие.

— Вот-во-от! — язвительно тянет он.— Вы, жалостливые писатели и журналисты, и подняли вселенский плач: «Опустела коренная Русь! Куда идет русская деревня?!» Бумаги-то, бумаги сколько извели, мусоля эту тему! А вот наш пустеющий — заметьте, без всяких кавычек! — колхоз за девять лет производство зерна, картофеля, молока увеличил вдвое! Это не ваша «Ставрида», каждый раз идущая в последний рейс! Мы с каждым годом все крепче держимся на плаву, да-да! По товарности мы сейчас в районе на первом месте. Каждый наш трудоспособный стал прокармливать много больше горожан, чем прежде.)

Меня тоже задевает «вселенский плач», и я, сознательно «перехлестывая», говорю Сверчкову:

— Ну, им же надо кормить переехавших в города братьев, сестер, племянников, внуков...

Не обращая внимания на эту «стрелу», Сверчков столь же язвительно обрушивается на ученых:

— Целыми институтами обследования ведут! Анкетами десятки тысяч людей охватывают: почему не остаетесь в деревне? почему предпочитаете город? Это же смешно и глупо! Да ничемно и дорого для государства!

Резко распахнув дверцы шкафа, он вытягивает темно-зеленую книжку с вложенной в нее газетой.

— Вот читайте: исторический очерк «Советское крестьянство». В 1926 году на селе проживало 82,1 процента всего населения СССР, в 1959 году — 52 процента. Вот итоги переписи 1970 года: на селе осталось только 44 процента. Ну разве не ясно, что это процесс закономерный и необратимый. Не-об-ра-ти-мый! Кто пришел на стройки первых пятилеток? Главным образом мужик в лаптях, с пилой и топориком! Кто возводит стройки коммунизма? Преимущественно бывшая сельская молодежь, окончившая восемь—десять классов. И дальше то же будет! В Москве я слышал замечательную лекцию профессора-футуролога. Он считает, что в 2000 году всю нашу страну будут кормить только 11 процентов населения. Допустим, он увлекся, допустим, не 11, а 21. Так, значит, сегодня следует думать не о том, почему народ из деревни уходит, а о том, как и чем его заменить.

— Ну, это и ребенку ясно — механизация...

— Правильно, механизация! Но как ая механизация? Мария Милешина показывала вам свой механизированный кормоцех?

Я киваю: да, показывала слоноподобные котлы и огромные чаны, в которых зерно кипело и булькало на пару. И радовалась, что зимой не придется мыть картошку коченеющими руками в ледяной воде, — достаточно обдать струей кипятка. И еще что можно после работы принять горячий душ, отбить ужасный запах фермы...

— Мария радовалась! Конечно, после того, что было, это почти рай. Но выпускницу школы туда золотым рублем не заманишь. Потому что котлы приходится топить дровами, а дрова со двора носить руками. И вареную картошку в чанах толочь вручную по несколько тонн в день. И доставлять готовый корм в свинарник ведерками...

Помолчав, Сверчков достает из кармана спички, высыпает их на ладонь, ставит на стол в некотором отдалении друг от друга коробок, чернильницу, пресс-папье, кладет книгу.

— Нас в районе хвалят: у нас самый высокий уровень механизации. Это не заслуга наша — жизненная необходимость. Но ведь за исключением зернового хозяйства, механизированного примерно на 85—90 процентов, в остальных отраслях механизация — это разорванная цепь, в которой множество недостающих звеньев, и их приходится заменять вот так...

Он высыпает горсточку спичек между коробком, чернильницей, пресс-папье, книгой. После книги сыпать нечего, и он собирает по спичке, по две из предыдущих кучек. Я вспоминаю Мариино выражение: «Он нами, как на тришкином кафтане, дыры затыкает, и все равно не хватает»...

— Нам нужны самые разнообразные и надежные машины, — сгребая в кучу «наглядное пособие», веско говорит Сверчков. — Нам нужны машины в комплексе, для сплошной механизации, для полуавтоматических и автоматических линий, как в промышленном производстве. Тогда и с малым числом людей мы легко сможем давать стране вдвое-втрое больше продукции.

— Но есть и другие нерешенные проблемы, так сказать, труднопроходимые узкости...

— Есть. И великое множество. И по этим «узкостям» лихо и с шином, как ваш капитан Гайда, не проскочишь. Но комплексная механизация — это проблема всех проблем. В первую очередь для наших центральных и северных пустеющих деревень.

С ним говорить очень интересно, но он выразительно поглядывает на часы. Уже далеко за полночь. Сверчков провожает меня до дома Милешиных.

— Вы знаете, какое прозвище дали мне молодые колхозники? — не без чувства обиды спрашивает Сверчков.

Знаю — Сверчок-на-печи. За то, что, по их мнению, он узко смотрит на жизнь: думает только о производстве, мало строит культурно-бытовых объектов, плохо занимается жилищным строительством и благоустройством. Может быть, по своей молодости они не до конца понимают, как трудно председателю изворачиваться при такой малолюдности. И я говорю шутливо:

— На то они и салаги!

— Да, я не тот, каким пришел сюда, — не отзывается на шутку Сверчков. — Естественный износ! Но энергии еще достаточно. И как никогда понимаю, вижу, что еще надо сделать. И возможности сейчас открылись поистине неисчерпаемые. Успеть бы!..

Мы прощаемся. Сверчков идет дальше, а я ощупью поднимаюсь по ступенькам высокого милешинского крыльца. Вдруг рука моя упирается во что-то большое, мягкое, теплое.

— Ох ты, господи! — спросонья пугается Пелагея Петровна и тут же говорит певуче-весело: — Ночь-то, смотри, какая благодатная! Я подышать вышла... Хитрит, старая, не хочет признаться, что ждала, волновалась...

Я присаживаюсь рядом, мы долго молчим, глядя на мерцающие звезды. Выждав приличествующую случаю паузу, Пелагея Петровна спрашивает без видимой заинтересованности:

— И о чем это вы со Сверчковым так долго разговаривали?

В самом деле, о чем? Как вкратце выразить суть нашего разговора? Ведь говоря о необходимом комплексе машин, о будущих полуавтоматических и автоматических линиях, Сверчков не фантазировал, не уносился в страну Утопию — он исходил из возможного и верил в исполнимое.

«Успеть бы!» — разве к нему одному относилось это желание? Успеть претворить в жизнь намеченное, успеть увидеть осуществленное! В том числе и Марию, нажимающую кнопки в полностью механизированном кормоцехе. И Пелагею Петровну, получившую возможность и испытывающую потребность «сидеть да наслаждаться культурой».

— О том, чтобы в колхозе стало еще лучше.

— А то-о! Будет! — убежденно говорит она. — Сверчков-то... он попусту, зря не болтает...



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. КОВТУН,
генерал-майор

★

ОСВОБОЖДЕНИЕ БУДАПЕШТА

Все годы Великой Отечественной войны я вел дневник. Записки о Севастопольской обороне были напечатаны в «Новом мире» (№ 8 за 1963 год). Дневник сражения за Будапешт (сентябрь 1944 — февраль 1945 года) публиковался лишь в небольших выдержках газетой «Крымская правда». Перечитав сейчас эти тетради, я подумал, что заносил в них слишком много подробностей, которые могут быть интересны только участникам событий, а их уж осталось не много. Поэтому я решил, ничего не изменяя хотя бы в малом, но существенном, переложить мой дневник в более сжатую форму воспоминаний.

АВТОР.

Втром 26 ноября 1944 года наша 297-я стрелковая дивизия повторно атаковала Асод. Немцы заблаговременно и основательно укрепили здесь рубеж. И хотя город стоял перед нами как на ладони, нам не удалось подняться на плато, скаты которого спускаются к Галге — речушке, отделяющей нас от противника.

Это была наша последняя атака на Асод. В тот же день мы получили приказ уходить в Тиссафёльдвар, в резерв Второго Украинского фронта, которым командовал Р. Я. Малиновский. Дивизию в новое место должен был повести мой заместитель полковник Булыгин, а я отправился в поселок Тур к командиру корпуса, а потом к командующему 7-й гвардейской армией генерал-полковнику Шумилу и начальнику штаба попрощаться.

Пользуясь перерывом в работе, я достал дневник и начал делать записи, невольно прислушиваясь к тому, о чем в соседней комнате громко говорили начальник штаба полковник Преображенский и начальник политотдела подполковник Гальперин. Как только Гальперин сказал: «Пойдем к комдиву, он разберет», я сразу спрятал дневник: неловко заниматься посторонними делами, когда столько хлопот по дивизии. Но я не мог не вести дневник: с первого дня войны начал его. Сперва писал неохотно, принуждая себя, потом это превратилось в потребность, даже страсть. И еще я думал: не вернуться домой, так пусть семья прочтет, для нее это будет лучшей памятью обо мне.

К Гальперину и Преображенскому я пошел сам. Спор у них разгорелся о месте политотдела в колонне. Гальперин настаивал на том, чтобы редакция дивизионной газеты и отдел партучета ехали сейчас, с квартирьерами: тогда к приходу дивизии они успеют развернуть работу. Преображенский возражал: это свяжет квартирьеров. Я разрешил политотдельцам ехать первыми.

На переднем крае, к счастью, было спокойно. Это очень хорошо: по опыту известно, как тяжело сменять войска в бою. Под Федоровкой у Кировограда занимать свой рубеж нам пришлось атакой, да еще ночной, — немцы перешли в наступление и потеснили 303-ю дивизию, которую мы сменяли. К счастью, все обошлось благополучно...

Жаль было уходить из прежней армии. В ее составе дивизия имела неплохие успехи. С благословения генерал-полковника Шумилова мы совершили глубокий обход противника, приведший к взятию Кировограда; прорвали фронт противника под Мухортовской, что облегчило всей основной группировке трудно дающуюся задачу — пробить

оборону на главном направлении. И наконец, здесь, в Венгрии, наша дивизия первой форсировала Тиссу и к подходу армии обеспечила ей плацдарм у Тиссафёльдвара, а затем пробивала путь к Асоду через Абонь, Надьката...

Да, жалко оставить армию, в которой столько повоевали.

До Тиссафёльдвара шли две ночи.

Когда дивизия собралась, я явился с докладом к начальнику штаба фронта генералу М. В. Захарову. Он принял рапорт и направил меня к начальнику оперативного управления генералу Н. О. Павловскому. Дивизия поступала к нему в непосредственное подчинение.

Основной обязанностью нашей стала временно служба по охране штаба фронта. Одновременно дивизия укомплектовывалась по штатам военного времени, что оказалось для нее крайне необходимым, так как в минувших боях она сильно поредела.

Мой командный пункт расположился в Тиссафёльдваре. 1 декабря полки начали принимать пополнение и вести боевую подготовку.

Основное внимание мы уделяли тактическим занятиям с боевой стрельбой. Хотелось бы в эти занятия втянуть и артиллерию, но не было полигона. Прекрасными пулеуловителями были дамбы по берегам Тиссы, но бить снарядами мы не могли без риска повредить их.

Генерал Н. О. Павловский нами доволен. Дивизия, несшая службу по охране штаба фронта до нас, причиняла немало забот и ему и генералу Захарову. Об этом мне сказал в дружеской беседе сам Николай Осипович (так просил попросту называть его Павловский).

За эти дни я узнал его и все вопросы, касающиеся дивизии, старался решать только с ним. М. В. Захарова я знал дольше, чем Павловского, но его побаивался: грозный начальник, которому лучше не попадаться на глаза. Грозный, но справедливый — такое мнение сложилось по прежней моей работе начальником оперативного отдела штаба армии.

С начальниками из штаба фронта я познакомился сразу со всеми на вечеринке, устроенной по случаю женитьбы подполковника Кузьмина, порученца командующего. Кузьмина я знал еще по Северному Кавказу. Генерал Фомин, командующий артиллерией фронта, и инженер фронта генерал Цирлин зашли поздравить молодую чету и выпить по стакану вина. Такое отношение старших к младшему, характерное для этого штаба, мне очень понравилось.

14 декабря днем мне вручили приказ: дивизии передислоцироваться в район Цеглед-Цегледберцель, где, находясь в резерве фронта, продолжать боевую подготовку. Штабу дивизии приказано расположиться в Сольноке. Сколько будем находиться там — никто не знает. Все почему-то уверены, что пойдем на Будапешт.

Участовать в освобождении Будапешта — мечта всех офицеров и солдат. Еще в октябре, когда наши войска завязали первые бои на территории Венгрии, дивизия, действуя в направлении Сентеш, удачно прорвала фронт, на второй день наступления вышла к Тиссе, форсировала ее и утром четвертого дня (11 октября) завязала бой за город Кечкемет, в восьмидесяти километрах от Будапешта. Путь на Будапешт открыт. Но случилось непредвиденное: соседи и справа и слева Тиссу не перешли, мы оказались одни далеко впереди, нас окружили. Пришлось пробиваться назад, снова отдать город Кечкемет. Удержав за собой плацдарм, мы потом передали его Третьему Украинскому фронту. Генерал Моногаров, командовавший армией, в которую мы тогда входили, ругал меня, почему я не донес ему, что взял Кечкемет. Но разве я имел право доносить ему? Мои донесения шли командиру корпуса.

Факт остается фактом: когда мы взяли, используя внезапность, Кечкемет, его некому было защищать, кроме юнкеров артиллерийского училища, в большинстве словаков, а они охотно сдавались нам, как сдавались и гонимые 1-й мадьярской кавалерийской дивизии, рассеявшейся после небольшого боя под Уйкечке. На аэродроме садились немецкие летчики, не зная, что он занят нами. По шоссе Будапешт—Сегед через Кечкемет шли как ни в чем не бывало вражеские автомашины. Пленные показывали, что и в Будапеште в тот момент войск почти не было, кроме полиции и фашистских отрядов.

Мы уже предвкушали взятие города ценой малых потерь. Но к вечеру стало ясно, что наших войск ни справа, ни слева нет, что они за Тиссой, что через Кишкунфеледьхаза к нам в тыл идут части так называемой «полицейской», но все же достаточно боеспособной дивизии СС, а также 8-я и 12-я пехотные дивизии мадьяр.

Отразив попытки фашистов перерезать нам пути отхода у стыка дорог Сегед—Будапешт—Чонград, мы стали отводить дивизию на Чонград (с нами было свыше тысячи пленных), уже занятый немцами. Сутки дрались мы, пробиваясь навстречу запасному полку, брошенному Моногаровым в бой.

До восьмидесяти километров отделяло тогда нас от штаба корпуса. Моногаров, сердясь, говорил насмешливо, что мы воображали, будто для глубокого рейда одной посаженной на повозки стрелковой дивизии достаточно. Мы отмалчивались, желая оправдаться на деле.

Нетрудно понять наше стремление вновь попасть под Будапешт: мы уже не раз дрались за него и победа была близка.

Через день, 16 декабря, дивизия сосредоточилась в районе Цегледа. Стрелковый полк полковника Следа расквартировался в немецкой деревне Цегледберцель, остальные — в городе и его окрестностях.

Странное впечатление производит деревня, населенная людьми не местной, основной национальности и живущая среди других десятков деревень своей особой жизнью. Вот и Цегледберцель. Она как бы застыла в своем развитии, это видно даже по покрою одежды, особенно у женщин: они носят платья такие, как на немецких гравюрах времен наполеоновских войн. От быта здесь также веет стариной. Чем это вызвано? Сознательным стремлением сохранить самобытность? Инертным противодействием ассимиляции? Ведь нечто подобное наблюдали мы и в районе Жамбок, где небольшие местечки заселены людьми какой-то иной, не венгерской, но и не немецкой национальности (мадьяры называют их половцами). И это всего в сотне километров от Будапешта.

Офицеры штаба разыскали между Цегледом и Цегледберцелем очень удобное для тактических занятий место — здесь можно было заниматься боевой стрельбой с привлечением минометов и артиллерии. С того дня мы проводили все светлое время суток в поле, обучая солдат атаке — как с началом артиллерийского огня, под прикрытием его подбираться к переднему краю противника. Успех по этому методу зависел от умения артиллеристов вовремя перенести огонь; командующий артиллерией дивизии полковник Косихин отлично справлялся с задачей: образованный инженер, он стал артиллеристом по призванию.

Наша дивизия своеобразная. Она формировалась в числе так называемых «последочередных». В большинстве офицеры длительное время получали отсрочку. Среди них немало людей, связанных с наукой, педагогикой, искусством. Так, командир полка Баскин, инженер-химик в мирное время, окончил также и Московскую консерваторию. Начальником штаба у него был известный кинооператор Прозоровский. Другим полком командовал учитель Комиссаров; на батальонах, ротах, батареях — учителя, адвокаты, артисты театра «Ромэн», Московской оперетты и даже ленинградского джаза Скоморовского. Таким же «многообразием профессий» отличался и политотдел во главе с Гальпериным, до войны работавшим в Ленинградском горкоме комсомола.

Кадровые военные — офицеры, влившиеся при формировании дивизии из дальневосточной бригады, — составляли небольшую часть. К слову, я и сам вновь пришел в армию, с которой расстался вскоре после гражданской войны, в сороковом году и не имел военного образования.

Мне кажется, «дилетантский» состав офицеров имел не только минусы, но и плюсы: они сравнительно легко отказывались от устаревших приемов ведения войны, от шаблона. Думаю, что это так. Но все-таки хорошо, что начальство не докучало проверками в ходе боевой подготовки, не то, конечно, обнаружилась бы уйма ошибок и в методике обучения, и, конечно, в далекой от совершенства строевой подготовке (с тактикой и стрельбами дело обстояло несравненно лучше).

21 декабря политотдел, пользуясь передышкой, устроил смотр самодеятельности. Три дня в цегледском театре солдаты, сержанты и офицеры, став на время артистами, выступали на сцене. Концерты привлекли внимание местных жителей. Люди с утра

тозились у театра (это в стране, находившейся с нами в состоянии войны!). Как только открывались двери театра, зрители устремлялись в залы, с неподдельным интересом смотрели на советских воинов, как бы изучая и задавая вопросы: да враги ли перед ними? Нет... скорее враги там, в верхах, в правительстве,— Эстергази, Хорти, Салаш.

Бела Иилеш, Матэ Залка, произведения которых я читал до войны, показали нам, советским людям, венгерский народ. И сейчас к этому народу я подходил с их меркой. Венгерская Советская республика просуществовала недолго, но, видно, народ не забыл свою рабоче-крестьянскую власть, и как только не разрисовывала нас фашистская пропаганда — стоило прийти воинам-освободителям, и от лживой пропаганды ничего не осталось.

Наконец-то! 25 декабря из штаба фронта привезен приказ: 297-й дивизии выступить под Будапешт. Конечный пункт марша — Монор, там мы поступим в подчинение командира 18-го корпуса генерала Афонина. Желание наше осуществилось.

Будапештская группировка противника была уже окружена. Надо было ее уничтожить. Как хорошо, что у нас провели несколько учений по тактике борьбы в городах! Бойцы и командиры знали приемы боя в населенном пункте, осволенные на собственном опыте боев в Севастополе, Одессе, Кировограде. Жалко одно: что нас часто переводят из корпуса в корпус, из армии в армию. Другие дивизии годами оставались в одном корпусе и почти всегда в одной армии, а мы действительно какая-то «рейдирующая» дивизия, как назвал нас командарм 53-й Моногаров.

Командира корпуса генерала Афонина я немного знал: в 1940 году он принимал 25-ю Чапаевскую дивизию в состав Одесского военного округа, а я в то время был начальником 4-го отделения штаба дивизии. Увидев меня теперь, Афонин удивился.

— Интересно, как ты командуешь. Вот уж никогда не подумал бы, что из дивизионного писаря можно стать командиром дивизии,— не то полшутя, не то полусерьезно заметил он.

Начальник штаба генерал Соседов пришел на выручку:

— Звонили из штаба фронта и предупредили, что они считают дивизию одной из лучших.

Афонин улыбнулся:

— Посмотрим, посмотрим. В бою видно будет...

Переговорив обо всем, я уехал с тяжелым осадком. Сколько раз приходилось молча переносить недоверие старших начальников! Стоит им только узнать, что я с 1927 года до сорокового находился на гражданской службе, к тому же не получил законченного военного образования, как тотчас же возникают сомнения. Как будто аттестат об окончании военного училища полностью определяет качество командира.

Афонин поставил дивизию на правый фланг корпуса,

30 декабря полки сменяли стоящие впереди войска, спеша закончить к утру подготовку. Один короткий зимний день можно было посвятить рекогносцировке. А там недолго ждать приказа о наступлении.

Штаб фронта направил к немцам парламентаров с предложением о капитуляции. Их злодейски убили. Сообщение об этом вызвало в солдатах гнев и усилило их стремление быстрее уничтожить фашистскую гадину.

Смена войск прошла хорошо. 1 января 1945 года в 11 часов 30 минут дивизия наступает. Как поведут себя молодые необстрелянные солдаты?

Со своего наблюдательного пункта, расположенного в холме мадьярского офицерского госпиталя, где саперы майора Лисянского соорудили высокий помост у верхнего венецианского окна, мне даже без бинокля виден Будапешт. Он лежал перед нами в грохоте разрывов, в пороховом дыму. Столицу Венгрии, один из красивейших городов Европы с полуторамилионным населением, фашисты превратили в огромное поле битвы.

Что поделаешь? Фашистское командование не сложило оружия, и нам не оставалось ничего другого, как ликвидировать окруженную группировку. В Будапеште —

более двух третей венгерской промышленности, в том числе и военной. А с точки зрения оперативной город служил воротами в Братиславу и Вену.

Таково было это «поле боя».

Новый, 1945 год — четвертый год войны. Все командиры частей и штабов в войсках не могли вместе отпраздновать Новый год. А тут еще противник что-то учуял, начал нас бомбить. К счастью, целью своего нападения самолеты избрали почему-то селение, где у нас ничего не осталось, кроме разбросанных достаточно редко полковых обозов.

На наблюдательный пункт дивизии съехалось много представителей из штабов фронта, армии и корпуса. Разговор шел о порядке артиллерийского обеспечения атаки. наших солдат мы приучили подыматься в атаку одновременно с началом артиллерийской подготовки. В связи с этим возникла тревога — как бы длительность подготовки не нарушила привычное нам движение; поэтому мы настаивали перед командующим артиллерией фронта генерал-полковником Фоминым, чтобы в полосе дивизии подготовка планировалась по-нашему.

— Пусть, — говорили мы, — артподготовка по всему фронту начнется в назначенное время и длится столько, сколько утверждено планом, но в полосе дивизии мы просим дать только один артналет, и именно в течение последних десяти минут.

С нашими доводами согласились.

Артиллерийская подготовка по всему фронту началась в точно установленное время, и только на участке нашей дивизии стояла мертвая тишина. Это обеспокоило противника — кругом бушует огонь, а на нашем участке — ни одного выстрела. Уже после первого налета немцы начали по траншеям переходить на участок против нашего соседа слева — по их представлению, более угрожаемый.

Горячие головы у нас на КП требовали открыть огонь по этим немцам. Признаюсь, мне и самому хотелось накрыть ясно видимую цель. Но всему свое время. Надо бить врага наверняка.

В 11 часов 20 минут, посмотрев на меня, командующий артиллерией дивизии полковник Косихин резко взмахнул рукой, и телефонисты во все трубки выкрикнули: «Огонь!»

Десять минут длилась неистовая канонада, сливаясь с общештабным артиллерийским шквалом. С первым залпом поднялась наша пехота и сразу же скрылась в лощине перед передним краем немецкой обороны.

С корпусного наблюдательного пункта, расположенного на водонапорной башне, лощина не просматривалась, и комкор, не видя идущей пехоты, начал уже возмущаться. Много горьких слов и упреков пришлось мне выслушать по телефону в течение нескольких минут, пока поднявшиеся из лощины наши солдаты не подошли к проволочным заграждениям и, словно на учении (так потом выразился генерал Афонин), преодолели их и ворвались в траншею врага. Первым захватил ее батальон старшего лейтенанта Стеценко из 1055-го полка. Не задерживаясь, он продолжал наступление и вскоре овладел второй и третьей траншеей. Вслед двинулись и остальные батальоны полка. И вот оборона прорвана. Дивизия вся пришла в движение. Бои начались за отдельные укрепленные узлы, за кирпичные заводы, за фабрику, за кладбище Ракошерестур.

Мы ворвались в черту города, и я попросил разрешения у Афонина перенести мой НП. Он приехал сам — ему не верилось, что мы уже на окраине города и продолжаем двигаться вперед. Вместе с ним я поехал в полки.

Вот и столб с надписью «Будапешт». У железнодорожной будки нас встретил командир полка полковник Дроган. Показывая рукой, где ведут бой его батальоны, он сказал:

— Вы, товарищ генерал, вчера не верили, что мы прорвем фронт, и посулили в случае неудачи меня снять. Помните?

Афонин улыбнулся.

Убедившись лично, что дивизия ведет бой в Будапеште, Афонин поздравил нас и тут же составил донесение на имя Малиновского. На вопрос, как обстоит дело у моих

соседей, Афонин сказал, что и там продвигаются. Мы поняли, что там не все ладно. Значит, нам предстоит вбить клин, разрезая им немецкую оборону.

Продвинувшись на четыре с половиной километра, мы обнажили свои фланги. Противник, почувствовав это, предпринял со стороны Эржебет ряд настойчивых контратак.

Не надеясь на соседей, пришлось ввести в бой полк второго эшелона, разделив его на две части. Одновременно мы просили генерала Афонина побудить к более активным действиям 66-ю дивизию.

Результатами дня мы были довольны. Ничто так не вселяет веру в душу солдата, как первый успех. Для бойца, только что начавшего свой боевой путь, видеть удирающего врага значит почувствовать свою силу. Бойцы-молдаване Бурдушел и Драчан в числе первых ворвались в окопы, гранатами уничтожили фашистский пулемет и вдвоем захватили пятнадцать пленных. Я приказал представить героев к ордену Красной Звезды.

Генерал Фомин обещал доложить Р. Я. Малиновскому и М. В. Захарову об успешном прорыве, свидетелем которого он был.

Так прошел первый день нового, 1945 года.

2 января комкор Афонин дал мне право менять НП самостоятельно; я должен был только своевременно сообщать ему о своем местонахождении.

В течение ночи с 1 на 2 января сосед слева, используя наше продвижение, начал действия из-за нашего фланга. Он мог уже не рвать, а, выражаясь оперативным языком, свертывать оборону противника.

До чего же тяжело вести бой в большом городе, драться за каждый квартал, за каждый дом! Пришлось ставить на прямую наводку и всю свою и приданную артиллерию вплоть до зенитной и до стопятидесятидвухмиллиметровых гаубиц. Огонь этих мощных орудий оказался и при таком использовании весьма эффективным. Все же за день боя удалось занять всего семь жилых кварталов, два кирпичных и один пивоваренный завод.

Днем мой ординарец Жуков сообщил, что в кладбищенской часовне много незахороненных трупов. Вместе с дивизионным врачом майором Мишиным пошли посмотреть.

Зрелище ужасное. Мужчины, женщины, дети — расстрелянные, притом совсем недавно. Я поторопился с перемещением НП на кирпичный завод до наступления темноты, рискуя быть обнаруженным... Но как это оказалось своевременно! Часа через полтора-два после нашего ухода фашисты обрушили на кладбище сотни снарядов; все смел ураганный огонь — и часовню и сторожку. Отложи мы переезд на вечер — пришлось бы и нам лежать рядом с расстрелянными.

Но почему фашисты открыли ураганный огонь? Пронюхали о размещении нашего командного и наблюдательного пункта? Тогда где-то рядом — шпион. Или они предположили, что на кладбище среди деревьев укрылись наши резервы?

Штурмуем кварталы Кёбанья и днем и ночью. Враг напрасно пытается отбросить нас контратаками. Но даже вводимые им танки и бронетранспортеры существенного влияния на наше продвижение не оказывают, так как бронейщики и артиллерия прямой наводкой уничтожают их.

Командный пункт дивизии находился на улице Эндрю, дом 31. К 5 января уже сорок пять кварталов очищены, острое клина глубоко врезалось в город. Этим острием стал 1059-й полк под командованием майора Баскина. Ему, естественно, больше всех приходилось отражать контратаки. Особенно доставалось батальону Тарасова: он шел в голове полка.

4 января немцы бросили против полка полковника Следя танки, но, потеряв пять машин, отошли.

Мы захватили будапештский холодильник с большими запасами продовольствия. Чего только там нет! Мороженые туши рогатого скота, свиней, диких коз, зайцы и разная птица... Начальник тыла нашей дивизии подполковник Костин уже хозяйничал там, не давая разбазаривать продукты.

Почему немцы не эвакуировали запасы? Видимо, надеялись, что еще долго будут удерживать подступы к Будапешту.

Комкор Афонин ежедневно бывал теперь у нас. Он очень доволен. Еще бы! Мы вбиваем клин, а корпусу остается расширять его основание. В откровенной беседе он прямо сказал, что не верил той аттестации, которую дал дивизии штаб фронта, и сейчас вынужден извиниться.

Сегодня он приехал под вечер. Вместе с ним — писатели Леонид Первомайский, Виталий Петлованный, Семен Гудзенко и фотокорреспондент Егоров, чьи снимки мы часто видели в журналах. Хотят познакомиться с дивизией.

— Вот привез к вам Егорова, — сказал комкор, — пусть запечатлеет выдающиеся моменты вашей работы.

Не скрою — это мне было приятно.

Словно для того, чтобы удостоверить наши успехи, командир 1055-го полка полковник Следь доложил во время этого разговора, что завязал бой за ипподром, а 1057-й полк овладел станцией Кёбанья-Альшио; дивизия подходит к железной дороге, идущей в самом городе, к дороге, связывающей Будапешт с Бухарестом.

Когда закончился бой за кондитерскую фабрику, появился ее управляющий. В руках у него был плакат с надписью на русском языке. Она гласила, что фабрика принадлежит шведскому акционерному обществу. Управляющий просил дать охрану, чтобы предприятие не разграбили. Я поручил «тыловику» Костину разобраться в этом деле и доложить начальнику тыла фронта генералу Вострухову.

6 января мы подошли к железнодорожному полотну, идущему вдоль улиц Колошвари и Карпонаи. Трехметровой высоты насыпь с тремя рельсовыми путями ограждалась высоким железобетонным забором. По ту сторону — немцы. Оба склона насыпи изрыты одиночными ячейками, нашими и немецкими: бой стал гранатным.

Дальнейшее продвижение затормозилось. Помог бы артиллерийский огонь, но пушки стрелять прямой наводкой не могли — уткнулись в насыпь. Пришлось впервые дать приказ артиллеристам отойти назад. На руках откатили пушки на соседнюю улицу, внесли на третий этаж дома и открыли огонь. Под его прикрытием саперы, взрывая забор, делали проходы для пехоты. Всю подготовку к этому удару провели скрытно, и он был настолько неожиданным, что фашистские подразделения бежали, оставив и пулеметы и раненых.

Мы овладели газохранилищем; к счастью, газгольдеры оказались пустыми, это избавило от опасности пожаров. Я так боялся их, что запретил пехоте применять зажигательные пули, а артиллеристам и минометчикам стрелять по району газохранилища.

К исходу 8 января мы захватили ипподром и прилегающие к нему кварталы. Но в районе товарной станции, забитой эшелонами с воинскими грузами, нам удалось захватить только половину станционных зданий и железнодорожных мастерских. Здесь дело дошло до рукопашных схваток.

Снова отличились наши молдаване: солдаты Попа, Невечеля и старшина Грушевский уничтожили до десятка вражеских солдат, привели пятьдесят пленных мадьяр. Я приказал оповестить через газету о представлении этих воинов к награде.

Вечером появились немецкие самолеты, но вместо бомб они начали сбрасывать грузы на парашютах с красными и желтыми куполами. Несколько парашютов попало к нам. Груз оказался контейнерами со снарядами и бензином.

10 января я развернул мой КП на новом месте, если слово «развернул» применимо к тесной будке стрелочника.

...Мы продвигаемся. Железнодорожные мастерские, товарная станция очищены. Завязался бой за кладбище Керепеши.

Артиллерия пробивает нам путь. Это заметно по зданиям: на крыльях клина все цело; там же, где врезывалось острие клина, — сплошные развалины, словно огромной силы смерч пронесся узкой полосой.

Командир зенитного дивизиона, ворчавший вначале, что его пушки мы также ставим на прямую наводку, убедился в правильности этого решения.

Четырнадцать кварталов, очищенных за день!

Отстаивая упорно кладбище Керепеши, противник защищал подступы к центральной части Пешта; он упорствовал еще потому, что сюда сбрасывали с самолетов бое-

припасы, бензин и продовольствие. Вскоре после того, как это кладбище оказалось в наших руках, кроны деревьев покрылись куполами парашютов разных цветов. У врага, стало быть, дело плохо не только со снабжением, но также с управлением и связью — он и не догадывался, что мы захватили и этот участок.

Керепеши — кладбище будапештской знати, с роскошными мраморными гробницами, массивными памятниками, которые служили прекрасными оборонительными сооружениями: за каждой плитой лежал немец с автоматом, в усыпальницах и часовнях сидели пулеметчики. Сколько их тут осталось навсегда...

Полностью очистили товарную станцию. На путях стояли груженные вагоны и паровозы под парами: противнику некуда да и некогда было увозить свое имущество. Однако и нам недосуг подсчитывать трофеи. Оставив небольшую охрану, продолжали штурм. Проникли до центра Пешта. Ориентиром служила городская ратуша, к ней мы и рвались. Несколько усилий — выйдем к Дунаю, делящему город на две части.

Объезжая полки, я видел признаки начавшегося, а может быть, уже и сильного голода, возникшего при фашистах. С убитых лошадей, валяющихся на улицах, жители срезали все, что можно варить. Хлеба нет. Гальперин связался с тылом фронта. В Кёбаньи тыловики уже помогают населению продовольствием. Пройдет день-два — и здесь дело наладится.

...Как это все-таки глупо, что немецкое командование не хочет капитулировать! На что им надеяться? Дело идет к неизбежному концу. Зачем же столько крови?

Бои, бои и бои. 14 января взяли центральный универмаг и музей, подошли к ратуше. Завтра, возможно, овладеем ею, хотя сопротивление, кажется, стало еще сильнее — теперь деремся за каждый этаж в доме, за каждый люк канализационных коллекторов, по которым пробираемся под улицей. Подвалы, чердаки, лестницы — всюду идут бои.

Уголовные преступники, вырвавшиеся на свободу, грабят брошенные дома и магазины, нападают на жителей; приходится вести борьбу и с ними.

Охрана ближайшего тыла задержала нескольких человек, орудовавших у сейфов ломбарда и успевших вскрыть два несгораемых шкафа. Грабителей передали органам Смерша. Награбленное — золотые вещи около килограмма, драгоценные камни, серебро (свыше трех килограммов) — сдали в полевое казначейство, кроме нескольких портсигаров и часов (не из золота), которые командующий фронтом разрешил нам оставить для премирования солдат и офицеров.

Днем к нам заехал украинский поэт Леонид Первомайский; он и украинский прозаик Иван Ле — корреспонденты фронтовой газеты. От него узнали, что в Буде, которую штурмуют части Третьего Украинского фронта, дело движется медленно и что где-то в районе Секешфехервара, у озера Балатон, немцы якобы сосредоточивают или сосредоточили уже войска для удара, чтобы вызволить свою осажденную будапештскую группировку.

Так вот почему ее командующий Пфёффер медлит капитулировать!

16 января мой КП находился в домике при музее. Все отчетливее слышим шум боя севернее нас. Это части 30-го корпуса приближаются к центру. Они идут, примыкая правым флангом к Дунаю. Но как тяжелы эти последние бои в Пеште! Сегодня под вечер вновь пытались мы взять ратушу — опять неудачно. С утра начнем методически пробивать путь орудиями прямой наводки.

Артиллеристы задержали довольно солидного с виду мужчину, одетого в хорошую шубу. Солдаты утверждали, что он стрелял из-за укрытия и ранил нашего бойца. Задержанный возмущался, доказывал, что у него нет оружия. При обыске в его толстой и тяжелой палке нашли маленький пятзарядный револьвер со стреляной гильзой в барабане, еще не потерявшей порохового запаха. Этот трофей мы через генерала Афонина преподнесли на память начальнику штаба фронта генералу М. В. Захарову.

Как ни тяжело нам достаются успехи, как ни ожесточенны бои, сейчас к нам часто навевается немало интересных гостей. Но мне, к сожалению, некогда занимать их. Всех, кроме непосредственного начальства, стсылаю к Гальперину, особенно корреспондентов.

Гальперин выезжал в район еврейского гетто. Около шестидесяти тысяч человек

согнали туда. У всех выживших и освобожденных нами на груди нашиты желтые шестиугольные звезды. Предназначенные к уничтожению люди... Они рассказали, что отсюда фашисты каждый день вывозили на кладбище Ракошерестур людей и там расстреливали.

18 января Пешт взят. В 11 часов пала ратуша. Наши войска соединились с 30-м корпусом. Ура! Ура! И еще раз ура! Остатки немцев ушли в Буду, взорвав за собой мосты.

Дивизия задачу выполнила.

Восемнадцать дней немцы цеплялись за каждый дом. На гранит, на железобетон, сквозь огонь и смерть шли солдаты батальонов Кривоспицкого и Сазонова, Поленова и Тарасова, тысячи героев будапештской битвы шли вперед, уничтожая врага.

Город дымится, ветер разносит над Дунаем черные клубы дыма. Но жизнь возвращается в город.

После полудня позвонил Афонин и сказал, чтобы мы подбирали себе район, где разместимся. Дивизия остается для гарнизонной службы, чтобы отдохнуть несколько дней и привести себя в порядок.

Вечером штаб дивизии составил итоговую сводку сражения в Пеште. Пленных нами взято более двенадцати тысяч человек. Орудий и минометов свыше двухсот, винтовок и автоматов до шести тысяч штук, шестьдесят один танк, четыре тысячи триста автомашин. Других трофеев и не перечислишь.

Но и потери у нас не малы.

Предоставив Гальперину отбивать атаки журналистов и удовлетворять их законную любознательность, я, запершись у себя, записывал ход событий. Ну что я скажу журналистам? Что дрались хорошо? Это они знают. А боевые эпизоды Гальперин знает и расскажет лучше, чем я.

Увы, мечты об отдыхе развеялись. Солдаты даже не успели помыться в бане. Снова в бой. Ну что ж, не привыкать...

Рано утром 19 января я поехал с докладом к генералу Афонину. Все оставалось по-прежнему. Днем комкор ожидал приезда Р. Я. Малиновского и собирал необходимые для доклада данные. Договорились, что вечером Афонин придет к нам, — соберем командиров полков на товарищеский ужин. С этим я и уехал.

Но после полудня по телефону Афонин приказал немедленно поднять дивизию по тревоге и выступить в направлении Эрчи, километрах в сорока южнее Будапешта. Приказал прислать к нему начальника штаба. На вопрос, что случилось, ответил:

— Все привезет начальник штаба.

В словацкой деревушке, где мы заночевали, начальник штаба дивизии полковник Преображенский передал приказ комкора завтра переправиться у Эрчи через Дунай, сосредоточиться в пригородной деревушке Будаэрш.

Дальнейшие указания получим там.

На словах Преображенский передал, что немецкая группировка у озера Балатон перешла в наступление и кое-где теснит части Третьего Украинского фронта. Бои там идут несколько дней. Задача покончить с Будой возложена на наш фронт. Туда идет весь корпус Афонина.

В ожидании докладов от командиров полков я разговаривал со священником-словаком. Здесь, в деревне, все словаки — униаты и, по словам священника, «все на стороне русских».

На дворе, как назло, разбушевалась метель. Снег слепит глаза. Как-то там солдаты, все ли дойдут? Не отстанет ли кто?

Но командиры частей доложили, что полки идут в порядке. Посланные вперед кухни приготовили ужин. С рассветом двинемся к переправе у Эрчи. Там паромная переправа 46-й армии. В голове — 1057-й полк Дрогана.

День 20 января оказался очень тяжелым. Мы не предполагали, что на переправе может случиться что-нибудь неприятное: она считалась тыловой. Но ко времени нашего

подхода противник стал вести по ней артиллерийский огонь, а с правого берега Дуная мы отчетливо слышали пулеметную стрельбу.

Посланный с первым паромом на тот берег мой заместитель полковник Булыгин донес, что шум боя слышен все ближе и ближе. Да и мы его слышали. Пришлось полку Дрогана вместо движения на Будаэрш занять оборону по юго-западной окраине Эрчи. Кто знает, что там происходит впереди. Вдруг прорвется несколько танков к переправе и начнется черт знает что?

Афонин одобрил принятые нами меры и уехал: его вызвал к аппарату Р. Я. Малиновский.

Переправа заняла и часть ночи. Только в десятом часу вечера мы тронулись к Будаэршу.

Всю дорогу к Будаэршу авиация противника не давала покоя. Выручала темная ночь — бомбы сыпались в стороне от дороги.

На полпути нам встретился комкор Афонин, возвращавшийся из штаба 46-й армии. Узнав, что вся дивизия переправилась и находится на марше, он остался этим доволен и только торопил, чтобы к рассвету мы закрепились в назначенном районе. Попрошавшись, он тронул шофера за плечо, и тот включил подфарники. Мы попросили его выключить свет. Афонин улыбнулся и сказал, что бояться нечего. На этом мы и расстались. На другой день мы узнали, что генерал Афонин тяжело ранен. Немцы бомбили по свету автомашины.

К утру дивизия сосредоточилась в Будаэрше. Пока суд да дело, приказал посменно мыться всему личному составу, менять белье. Кто знает, что будет завтра.

Встретил офицеров штаба 59-й дивизии, которой командовал Карамышев. Дивизия вела бой фронтом на юго-запад. В Будаэ дрался 37-й корпус. Вот и все новости о положении на фронте.

Командовать нашим корпусом временно приказано начальнику штаба генералу Соседову. 22 января он прибыл к нам. Мы передислоцировались в район Будакези, отсюда начнем штурм Буды.

Наша дивизия снова поставлена в центре, и ее задача — вбивать клин в оборону противника. Создается будапештская группа во главе с генералом Моногаровым. Роль штаба 18-го корпуса Соседову не ясна: он как бы превращается в штаб будапештской группы.

Острие клина направлено на дворец Хорти. Войска сегодня занимают исходное положение. К утру сменим стоящие впереди части. На рекогносцировку дается один день.

Дивизию пополнили. В нее влили около восьмисот человек.

С 23-го наш КП находился на окраине города, на улице Будакези, в домике с бельведером; на нем и устроен НП. 24 января мы с Моногаровым рассматривали с моего НП Буду. Эта часть Будапешта давала много выгод обороняющемуся: старая крепость, построенная на правом берегу Дуная на ряде высот еще в XII веке, обросшая потом большим городом, служила опорой для осажденных. В Будаэ нет таких прямо-угольных кварталов, как в Пеште. Многоэтажные дома перемежались богатыми виллами, особняками послов, садами и парками. Много переулков.

На время штурма Буды дивизия вошла в состав 37-го корпуса генерала Колчука. Его я знал еще командиром дивизии в 46-й армии, вместе проводили операцию под деревней Аулы, возле Днепропетровска.

Но вот беда: ушли сработавшиеся с нами артиллеристы — и дивизия теперь поддерживает артиллерийский корпус Гусарова. Поддерживает, но не придан нам. Уже одно это много хуже: надо каждый раз договариваться. Что ж поделаешь. Начальству виднее.

А на сердце тревожно. Как начнутся бои здесь, в этом лабиринте улиц, проулков с садами и парками?

Возвратившись из полков, офицеры оперативной группы доложили, что к штурму все готово. Гальперин сказал, что люди настроены бодро, отдохнули. И все же какая-то тревога давила мне грудь...

25 января штурм начали удачно. Долго пришлось рвать оборону, а все же ее провалили и очистили несколько кварталов. Да, здесь сопротивление еще жестче, чем в Пеште. И неудивительно: дальше отходить врагу некуда. Один путь — в Дунай.

Улицы заранее забаррикадированы, подступы к баррикадам ограждены проволокой и заминированы.

Но это немцам не помогло.

26 января штурм возобновили с 6 часов утра. Темно. Шаг за шагом продвигались вперед. Ни танки, ни бронетранспортеры, ни минные поля и заграждения не остановили бойцов.

Особенно напористо действовали подразделения полка Следя. Всему полку я объявил благодарность. Но сколько примеров личной храбрости и в других полках! Вот, например, солдат-комсомолец Андрей Солнцев из полка майора Баскина. Его роте дороге преградил танк. Солнцев пробрался в дом, возле которого стоял танк, и гранатами со второго этажа сжег его. Но в этом же доме находились и немцы — этажом повыше. Уничтожив танк, Солнцев вступил в схватку с немцами. К нему на помощь бросился сержант Семин с гранатами. Они вместе уничтожили шестерых врагов, двоих взяли в плен. Вечером генерал Моногаров прикрепил к груди Солнцева орден Красного Знамени.

Сегодня несколько мадьярских подразделений изъявили желание вместе с нами бить фашистов. Они обратились с просьбой снабдить их автоматами нашего образца, которые значительно удобнее немецких. Кое-что выделили для них.

27 января вечером мы сменили НП, обосновались в здании госпиталя. 28-го с утра туда приехали Моногаров и Колчук, и мы из пролома в крыше старались рассмотреть ход боя. Но разве увидишь что-нибудь, когда впереди тебя дома? Только кое-где просматривалась какая-то часть улицы. Моногаров остался недоволен выбором НП; ему необходим обзор. Где его найти? До линии боя метров пятьсот, а местами и меньше.

Рассматривая «поле боя», Моногаров резко спросил:

— Почему это ваши солдаты без толку болтаются на улице? — И указал на беспорядочную группу в семистах метрах от нас.

— Но это же немцы,— сказал я.— Смотрите, они отходят.

Удостоверившись, что это так, Моногаров успокоился.

29 января утром сменил НП. Теперь от него до переднего края метров двести, не больше. На первом этаже — НП командира полка, а на втором — мой. Из окна видим, как вдоль трамвайной линии пробираются бойцы. Пули залетают к нам, у окон стоять опасно.

К вечеру немцев потеснили сильно. Полки вышли к проспекту Кристины, подошли к зданию министерства почт и телеграфа, за которым огромная площадь. НП больше не находился в сфере действенного ружейно-пулеметного огня.

Такое наше продвижение не могло не взволновать немцев. Начались контратаки одна за другой, и мы больше не смогли продвинуться: не удалось «перепрыгнуть» через проспект Кристины, не удалось захватить здание министерства. В домах по ту сторону широкого проспекта немцы засели во всех этажах. Решил за ночь поставить орудия на прямую наводку, втянув в дома, и вести огонь через окна. Способ испытанный.

Форсировать проспект и брать министерство с утра начнем от Баскина. Бульгии идет к Дрогану, а на НП дивизии останется Орлов для связи со Следем. Ну, в Следе можно быть уверенным!

Поздно вечером вновь звонил Моногаров и обещал утром приехать. Я доложил, что с утра буду в полках, и спросил, можно ли мне уйти, не дожидаясь его. Он согласился, только осведомился, кто останется. Я назвал Гальперина и Орлова.

9 февраля врачи разрешили мне сидеть. Этим я воспользовался — когда все улеглось, принялся за дневник.

Что произошло за те десять дней, что я не брал его в руки? Немецкий снайпер на проспекте Кристины всадил в меня две пули — одну в живот, другую в руку.

Утром 30 января я ушел в 1059-й полк к Баскину. При мне втащили в дом две

пушки и через окна открыли огонь по зданию министерства, потом атаковали здание и захватили его. Вышли на площадь позади здания. Немцы вели огонь, укрывшись в какой-то подземный ход. Говорят, здесь начинали строить метро. Со мной были Баскин и командир батальона Тарасов. Я показал им, как и откуда выбивать немцев с площади. Оставив Тарасова, пошли дальше. Шли дворами и домами. До противника оставалось тридцать—сорок метров. Здесь в проломе окна одного дома стояла наша пушка. а за стеной укрывался артиллерист.

— Почему не ведете огонь?

Он молча указал пальцем на убитых солдат расчета. Я пошел к окну, солдат схватил меня за обе руки, крича:

— Нельзя! Там снайпер! Он выбил весь расчет!

Только я выглянул, надо мной впиалась в стену пуля. Пришлось отойти в сторону, в простенок. Сопровождавший меня командир разведроты подошел к пролому и вдруг крикнул:

— Я ранен!

Невольно я бросился к нему и в ту же секунду почувствовал удар в живот и в руку. Хватило сил отойти за стену. Здесь кто-то подхватил меня, вывел во двор. Медсестра батальона, сделав перевязку, уложила меня на шинель. Кто-то сорвал дверь, и на ней вынесли меня на улицу. Появился полковник Булыгин: оказывается, здесь был уже участок полка Дрогана. Успел сказать Булыгину, чтобы он вступил в командование дивизией. Нас с командиром разведроты, раненным в обе руки, увезли в ближайший медсанбат соседней 180-й дивизии.

После операции я лежу в Будакеши в медсанбате нашей дивизии, выздоравливаю. С 5 февраля ежедневно мне докладывают о ходе штурма. По-прежнему команду дивизией.

В день моего ранения проспект форсировали. Ежедневно острие клина врезается все глубже в оборону противника. Еще день-два — и начнется последний штурм, штурм дворца Хорти, штурм горы Геллерт, и мы выйдем на Дунай.

Вечерами приезжают с докладом командиры полков. Дроган ранен, его полк принял майор Комиссаров. Убит подполковник Криворученко, замполит у Следя. Убит майор Алехин, командир арtdивизиона,

Да, тяжело достается нам Буда.

Погиб майор Николаев, заместитель майора Баскина по строевой части.

Таут полки, но штурм продолжается. Он близится к концу.

Врачи разрешили мне пользоваться телефоном, и теперь майор Орлов докладывает с НП и днем и ночью. Последние бои в Буде характеризуются яростными контратаками немцев.

В Будакеши разместился штаб 46-й армии. Меня пришли проведать офицеры штаба — бывшие мои подчиненные. Но почему-то 11 февраля вечером штаб внезапно снялся и ушел в другое место.

Днем позвонил Орлов и сказал, что наблюдается сосредоточение немцев в направлении на Будакеши. Не думают ли они прорваться здесь и выйти из Буда? В этом не было бы ничего удивительного: местность такая, что позволяет в случае прорыва рассыпаться по перелескам и группами пробиваться к Эстергому или Бичке, к горам Вертехедьшег.

Все тыловые подразделения нашей дивизии были приведены в боевую готовность, даже медсанбат. Приехал Гальперин. Он разговаривал с пленными и был тоже того мнения, что ночью — сегодня или завтра — надо ожидать отчаянной попытки немцев вырваться из кольца.

Перед нашей дивизией с наступлением темноты все затихло. Тишина подозрительная: обычно немцы ведут себя по несчастью шумно, простреливают подходы, боясь деятельности наших разведывательных групп или внезапной атаки.

Все началось перед рассветом 12 февраля. Где-то на стыке со 180-й дивизией противник, скрытно сосредоточившись, прорвался и повернул на дорогу к Будакеши. Завязался бой с тылами полка Баскина, со штабом дивизии. Бой шел за центральную телефонную станцию и пункт сбора донесений. В бою участвовали все вплоть до телефонисток из батальона связи. Мне рассказывали, что телефонистка Васильченко огнем

из автомата отбила атаку пятнадцати вражеских солдат. Попытку немцев прорваться по улице Будакеши тоже отбили. Когда враги попытались обойти улицу справа, по оврагу, их и здесь встретили огнем. Враг откатился.

Не осуществилась и попытка прорваться через сады, где разместилось оперативное отделение нашего штадива. Офицеры отделения во главе с капитаном Прозоровским и комендантский взвод буквально расстреляли атакующих: до двухсот трупов осталось вокруг особняка.

Рота химической защиты, отбив атаку, сама контратаковала, загнала немцев в подвалы домов, забросала их гранатами.

На участке химической роты из окна дома, в котором засели немцы, появился плакат, написанный по-русски: «Согласны сдать при условии: капитуляцию будет принимать русский офицер не ниже майора». Таким в ту минуту оказался здесь майор Скрипкин, начальник химслужбы дивизии. Он, в свою очередь, вывесил плакат: «Сдавайтесь. Расстреливать не будем. Через пять минут начнем штурм. Русский майор». Немцы вывесили белую простыню. Скрипкин приказал выходить без оружия. Вышло сто восемнадцать человек. Среди сдавшихся оказались командующий всей будапештской группировкой генерал-полковник Пфедфер и его начальник штаба подполковник Линдену. Пфедфер был в солдатской форме, как и все офицеры его штаба...

Так вот почему здесь шли такие безумные контратаки! Несколько тысяч немцев послали на верную смерть только для того, чтобы улизнули эти фашисты-командиры.

Мне не пришлось увидеть и допросить Пфедфера: Гальперин на своей машине отправил его в штаб к Моногарову.

Приехал командир медсанбата майор Крутилев и с гордостью вручил «боевое донесение»: медсанбат сегодня вел бой, в результате которого сорок девять немцев убито и пятьдесят шесть взято в плен. В бою участвовали все вплоть до раненых, способных вести огонь. Аптекарь, пожилая женщина, и та стреляла из пистолета.

— Первое боевое донесение медсанбата за всю войну! — с подъемом доложил Крутилев.

К ночи полки, до конца разбив организованное сопротивление немцев, вышли к Дунаю и занялись вылавливанием укрывавшихся групп и одиночек.

Звонил майор Баскин. Он разместился в штабе Пфедфера, в комфортабельно обставленном кабинете с радиолой, на которой была оставлена написанная по-русски записка: «Моему преемнику». Полк Следя захватил сейф с золотыми монетами общим весом свыше шестидесяти килограммов.

Утихла стрельба. Окончилась одна из незабываемых битв в истории войны — битва за освобождение Будапешта.

Какое же мне выпало счастье — командовать такой дивизией!

Приказом фронта Булыгин назначен комендантом Буды. Его первое распоряжение: захоронить трупы. Десятки машин уже свезли на кладбище до двух тысяч, а их все еще полным-полно... Когда приехал маршал Тимошенко и сделал смотр полку Баскина, он удивился, увидев, как мало в полку людей.

— Действительно герои! — сказал он, вынося благодарность солдатам.

13 февраля в 20 часов съехались ко мне все командиры частей. Мы подвели итог борьбы за Будапешт. Восемнадцать дней дрались в Пеште, девятнадцать — в Буде. Немцы потеряли 9210 убитыми, 23 370 пленными, сдались в плен пять их генералов во главе с командующим группировкой Пфедфером.

В 21 час мы слушали по радио Москву — приказ Верховного Главнокомандующего о взятии Будапешта. Вот и наша дивизия в числе отличившихся. Мы слышим салют — двадцать четыре залпа из трехсот двадцати четырех орудий в честь героев, шедших на штурм вражеской твердыни.

Эту историческую битву, в которой так героически вместе с другими соединениями сражались люди нашей дивизии, будут не только досконально изучать военные историки. Она — в сердцах всех, кто там, в тылу, в России, трудясь для фронта, для победы, стоял рядом с нами.

Будапешт свободен. Всего два слова. Но сколько за ними отваги, подвигов! И сколько потерь. Много советских людей погибло в боях за столицу Венгрии, за ее освобождение, за приближение окончательного разгрома фашистских сил.

15 февраля врачи разрешили мне проехать на машине по городу: так хотелось своими глазами увидеть весь путь дивизии в Буде. Вот и проспект Кристины, вот и место, где меня ранили. Вот дом, в верхний этаж которого врезался подбитый самолет врага; хвост самолета торчит наружу — как только он не сгорел?

Город оживал. Очищались от камней улицы.

У Баскина перед моим приездом был своеобразный дипломатический прием: к нему пришли служащие посольств, не эвакуировавшихся из Будапешта. Пришел и кардинал Миндсенти. Все просили какие-то охранные грамоты. На всех — один переводчик. Среди пришедших дама из испанского посольства, объявившая, будто она родственница Уинстона Черчилля. Но не только она — все посетители предпочитали почему-то говорить по-английски.

С переводчиком у них получилась «неувязка»: он не мог переводить все, что они говорили. Когда это выяснилось, Баскин на отличном английском языке сказал им, что можно обойтись без перевода.

Дивизия расположилась отдыхать.



УБЛИЩИСТИКА

ФЕЛИКС НОВИКОВ

★

ГОРОДА, ГОРОЖАНЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛИ

Город разбогател и непомерно разросся. Дома все время казались недостаточно высокими; их беспрестанно надстраивали, а новые возводили в тридцать—сорок этажей, и там громоздились одни над другими конторы, магазины, банки, помещения разных обществ; а под домами все глубже и глубже рыли подземелья и тоннели. Пятнадцать миллионов человек работало в гигантском городе.

*Анатолий Франс, «Остров пингвинов», кн. VIII,
«Будущее время».*

У человечество озабочено бурным ростом городского населения. Невиданные прежде темпы жилищного строительства все еще не обеспечивают нужд общества. Утверждают, что до 2000 года предстоит построить столько же, сколько было построено за всю историю цивилизации. И мы видим, как города повсюду растут ввысь и распространяются вширь, аннексируя у природы все новые и новые территории, постоянно ощущая пространственный голод. Городские образования расползаются по земной поверхности, сливаются друг с другом, создавая непрерывные цепи человеческих поселений. Связи городов и связи людей порождают мощные, все возрастающие транспортные потоки, которые города не способны пропустить и принять.

В представление о современном городе входят как нечто само собой разумеющееся: ускоренный темп жизни, высокий уровень шума, воздух, загрязненный выхлопными газами автомобилей, заводским дымом. Естественно, что все это вредно для здоровья человека. Иные исследователи прямо связывают рост психических заболеваний с особенностями городской жизни. И если в прошлом люди строили дома и города, защищаясь от стихийных сил природы, то сегодня главная проблема города — борьба с тем, что в изобилии создано самим человечеством.

«Если мы не примем мер,— заявляет французский архитектор Поль Мэймон,— наша западная цивилизация погибнет не от внешних войн, а от удушья и паралича городов, в которых скоро сосредоточится 90% населения».

«Город, каким мы его знаем сегодня, должен умереть»,— говорил великий архитектор Америки Франк Ллойд Райт. «Город должен быть разрушен»,— утверждают персонажи «будущего» Анатоля Франса...

И все же тяга людей к городскому образу жизни продолжает оставаться характерной чертой нынешнего времени, постоянно прогрессирующей тенденцией, вызванной к жизни технической революцией, бурным ростом производства. Города действительно растут ввысь и энергично внедряются в подземелье. На страницах печати все чаще мелькают проекты «идеальных» городов будущего — подземных и подводных, плавающих и летающих. Однако идеальные города пока никто не строит. Строят реальные, по проектам, зачастую вовсе лишенным какой-либо фантазии. Здесь возникают иные проблемы — будничные и зримые. Создание и развитие городов — это непрерывная цепь острых противоречий и конфликтов, упорные поиски оптимальных решений, в большинстве слу-

чаев оканчивающиеся компромиссом. Современное градостроительство встречает оппозицию со стороны многих людей, видящих в нем лишь воплощение технического духа XX века, выхолащивающего из города все человеческое, — привычный масштаб домов и улиц, площадей и скверов, городских дистанций вообще. Технического духа, заменяющего индивидуальные, разные по облику города, города-феномены, всеобщим и единым образом современного города.

Каковы же сегодняшние проблемы градостроительства? Как они складываются? Так ли уж безнадежно будущее городов?

I

Едва ли не каждый уважающий себя город связывает свое возникновение с той или иной романтической легендой. Ее содержание, передаваемое изустно или оставленное потомкам в манускриптах, освящает седые камни, увековечивается в посвящениях или именах древних строений. Но как бы ни были увлекательны эти легенды, истинная причина возникновения города всегда связана с конкретными потребностями общества. Работа, которую выполняет город, населяющие его горожане, накладывает зримый отпечаток на архитектуру его сооружений, на весь облик. И сегодня путешествующий по древним и новым городам легко отличит город-крепость от города-рынка, город-курорт от города промышленного.

Города — материализованная история. Они рождаются, развиваются, гибнут и возникают вновь, отражая в своем развитии взлеты и падения экономической жизни общества, величие или нищету его духа.

В наши дни, так же, как это и было всегда, появление нового или рост старого города побуждается общественной необходимостью.

Однако проблемы градостроительства, казалось бы извечные, не раз мастерски разрешенные многими поколениями создателей городов, где-то на рубеже трети нашего века встали в совсем ином свете, в таком, что уже весь исторический опыт не столько способствовал, сколько мешал движению градостроительной мысли.

Случилось то, чего не могли предвидеть ни Юрий Долгорукий, ни Петр Великий, то, чего не могли предугадать основатели Лондона, Парижа и Праги. Древние и прекрасные города, гармонически развивавшиеся в течение многих веков, вдруг задохнулись в сети собственных улиц. Этот процесс каждая страна, каждый город переживает по-своему. Он длится уже не один десяток лет и все более болезненно ощущается в Нью-Йорке, Париже, Токио, Риме.

Проблемы эти касаются и наших городов, но здесь они менее остры, потому что встали перед нами позднее, и прежде всего потому, что были встречены своевременно запланированными государственными мероприятиями. Первым из них был Генеральный план реконструкции Москвы 1935 года.

Отечественная война замедлила осуществление этого плана, жизнь поправила отдельные его положения, скорректировала сроки исполнения тех или иных его предначертаний. Что-то со временем оказывалось нереальным — желания наши всегда опережают возможности, что-то оказывалось более важным — потребности наши иногда опережают желания. Все это естественно и закономерно.

Градостроительная программа не может быть непогрешимой догмой, неспособной к восприятию тех или иных вносимых жизнью поправок. Генеральный план 1935 года был основой роста столицы в течение трех десятилетий и создал условия для нового этапа развития города, в который Москва вступает сегодня.

Однако анализ этого плана показывает, что жизнь не могла примириться с одним из его параграфов, который запрещал «строить в дальнейшем новые промышленные предприятия в гор. Москве». Новые предприятия возникали вследствие той или иной государственной необходимости. По тем же причинам развивались и реконструировались старые, хотя и эта деятельность всячески ограничивалась директивными документами.

Опасаясь чрезмерного разрастания крупных городских поселений, стремясь предотвратить превращение их в города-гиганты, мы искусственно ограничиваем их развитие. Но опять-таки те или иные непредвиденные государственные потребности заставляют «в виде исключения» идти на компромиссы. В результате этого, например, население

Москвы за десять лет возросло более чем на 10 процентов, разумеется, главным образом не за счет естественного прироста. Еще интенсивнее выросло за тот же период население пригородной зоны и особенно — лесопаркового пояса. И здесь, несмотря на ограничения, идет интенсивное строительство новых предприятий. Все это, очевидно, свидетельствует о разрыве между исходными расчетными данными проекта и реальными процессами жизни. Ведь почти каждое «требуется», объявленное каким-либо ведомством, если оно, конечно, обоснованно, подразумевает дефицит в кадрах, потенциальную необходимость роста населения, а стало быть, новые потребности в жилище и во всем комплексе, обслуживающем человека.

В дискуссиях об оптимальном размере города высказываются различные точки зрения. Однако наиболее распространенная утверждает, что размер этот должен колебаться от 100 до 500 тысяч жителей. Эти «идеальные» цифры опровергаются жизнью, как только дальнейший рост оказывается экономически оправданным. Размеры городов невозможно установить волевым путем. В конечном счете воля ограничивающего всегда может оказаться слабее чьей-либо иной воли, способной руководствоваться объективными законами развития. Я думаю, что многие города (и Москва в том числе) будут расти не до умозрительно заданной цифры, а до размеров, экономически оправданных и географически допустимых. Главное, наверное, не в том, каковы абсолютные размеры городского образования, абсолютное число населяющих его горожан, а в том, в какой мере обеспечивается комплекс потребностей человека — труд, быт, отдых.

Тем не менее ограниченность роста крупных городских агломераций оправдано, оно способствует более равномерному расселению, развитию малых и средних городов, различных экономических районов страны. Нужно только, чтобы ограничения учитывали развитие каждого элемента, составляющего город. При этом надо иметь в виду, что деятельность любого ведомства и любой организации постоянно чревата появлением «дочерних» предприятий. Могут возникнуть новые министерства; министерства могут породить новые подразделения в своей структуре; новые предприятия, заводы и научно-исследовательские институты — новые цехи и лаборатории. Да и само Главное архитектурно-планировочное управление Москвы, занятое разработкой генерального плана города, недавно создало «Моспроект-4» для проектирования лечебных зданий, создает вычислительный центр и музей макета Москвы. Мало того, оно намерено создать действительно необходимый «Моспроект-5» для разработки проектов столичных промышленных комплексов. Все эти новые образования необходимо предвидеть хотя бы в пределах расчетного срока Генплана, хотя бы в самой общей форме.

К сожалению, именно это в генпланах городов не учитывается в должной мере. И поэтому архитекторы достаточно часто сталкиваются с необходимостью найти ответ на неверно поставленную задачу. Так или иначе он может быть найден. Однако не лучший, наносящий ущерб каким-то другим интересам города. Ведь не каждый заказчик, обращающийся в городские организации или непосредственно к просканту, отдаст себе отчет во всех последствиях того решения, которого он добивается. Но он не преминет использовать весь свой авторитет, все свои связи и, быть может, достигнет цели, даже если она идет вразрез с общими градостроительными положениями, с только что установленным и провозглашенным принципом. Город подчас складывается как вектор множества противоречивых усилий.

В числе генеральных планов городов, утвержденных в конце сороковых — начале пятидесятых годов, трудно, пожалуй, найти такой, который бы не корректировался жизнью в основных своих положениях. Почти все эти города опережали генеральный план и в росте промышленности, и в численности населения, достигая конечных цифр значительно раньше расчетного срока. Это явление, оптимистическое по своему существу, всегда оборачивается для города непредвиденными трудностями. Он оказывается неподготовленным для нужных масштабов строительства, и потому многие проблемы решаются без должной предварительной проработки. Более или менее верно, если иметь в виду сложившиеся обстоятельства. Но все-таки не оптимальным образом по отношению к дальнейшей перспективе. А последствия поспешных и вынужденных решений так и не поддаются исправлению. Все уже сделанное в городе, все, во что вложены средства и материальные ресурсы, становится незбылемым и, развиваясь, требует новых вложе-

ний и ресурсов. Даже старые, давно морально изжившие себя предприятия, едва ли не главной продукцией которых являются дым и копоть, и те крайне неохотно покидают насиженные места где-нибудь в центре города, настойчиво игнорируя предписания санитарных врачей и решения исполкомов.

Тем более ответственными должны быть градостроительные решения, определяющие положение новых промышленных зон и комплексов, размещение на карте страны новых городских поселений. Сегодня в этом направлении делается немало. Авторитетные совещания обсуждают проблемы роста производительных сил Сибири и других экономических районов, вопросы градостроительного прогнозирования. Плановые органы учитывают интересы множества малых городов, в силу исторически сложившихся обстоятельств оставших в своем развитии. Возникновение промышленных комплексов служит импульсом для нового строительства и благоустройства «забытого» города, способствует всестороннему подъему уровня жизни населения, привлекает трудовые ресурсы из близлежащих районов.

Правда, министерства и ведомства нередко стремятся уклониться от размещения своих предприятий в малых городах. Здесь надо заново создавать энергетическую базу, здесь нет развитой строительной промышленности, мощных подрядных организаций — строить в центральных районах, в больших городах легче, да и единовременные затраты оказываются меньшими. Но если иметь в виду весь комплекс государственных интересов, большие усилия и больший объем капитальных вложений в перспективе оказываются оправданными.

Разумеется, есть пределы видимой перспективы. Они всегда в той или иной степени ограничены сегодняшними нашими представлениями, сегодняшними потребностями и возможностями. Однако есть еще и другая сфера предвидения — предвидение «за пределами». Речь идет о проектах городов, которые видятся архитекторам где-то через двести — триста лет. Быть может, кто-то и расценивает подобную деятельность как увлекательное занятие, освобождающее мечтателя от какой-либо конкретной ответственности, к тому же создающее ему репутацию ясновидца. Могут сказать, что фантазии эти хоть и не лишены интереса, зато лишены какой-либо реальной почвы и, по-видимому, уступят тому, что будет способен предложить зодчий третьего тысячелетия. Могут еще и заметить, что строить реальные города сегодня, пожалуй, потруднее. Со всем этим, наверное, не следует соглашаться.

Вероятно, прав был Герцен, утверждая, что «все обращенное к будущему имеет непременно долю идеализма. Без непрактических натур все практики остановились бы на скучно повторяющемся одном и том же».

В предлагаемых проектах городов будущего содержатся многие ценные мысли, которые так или иначе оказывают влияние и на наши сегодняшние проекты. Однако между градостроительными планами нынешнего дня и грядущего далека существует значительный разрыв — пробел, который должен быть заполнен. Речь идет о перспективном градостроительном проектировании, рассчитанном на относительно близкое будущее. Дело не только в том, что многие города строятся по устаревшим генеральным планам, а некоторые не имеют их вовсе. Важно, что само по себе финансирование проектной деятельности в области градостроительства является, как правило, следствием уже принятых директивных решений. Предварительные проектные проработки крайне редко становятся предпосылкой градостроительных начинаний. А между тем именно такие проекты, составленные на базе перспективных государственных планов, выполненные в нужном числе вариантов, со всесторонними экономическими обоснованиями, были бы надежной основой широких градостроительных работ, которые предстоят в стране.

II

Современный город, большой или малый, должен быть гармоничным комплексом, отвечающим всем социальным требованиям общества. Он представляет собой материальную среду, в которой живет, трудится и отдыхает человек, и состояние этой среды прямо влияет на состояние человека. Я приведу здесь выдержку из главного доклада IX конгресса Международного союза архитекторов, достаточно выразительно иллюстрирующую эту мысль: «Возьмем среднего жителя города высокоразвитой индустриальной

страны, гражданина XX века, посмотрим, как он может прожить один день в разной по качеству среде. Предположим, что он работает на хорошем предприятии, полном света, воздуха, в спокойной для работы обстановке, или в шумном цеху без гигиенических удобств, неотапливаемом. Кончается смена, он едет домой. Он живет поблизости от места работы, или имеет хорошее сообщение и не тратит на поездку много времени, или едет домой через весь город более часа. После работы он идет за покупками и быстро закупит все необходимое в торговом центре или в разбросанных в разных местах магазинах, затрачивая на покупки массу времени. Вечером он сидит в просторном, полном воздуха и красивом кинотеатре или задыхается в плохо проветренном зале. По пути домой он шагает по приятным и чистым улицам, любясь их архитектурой, или бежит домой мимо некрасивых домов. Он принимает ванну и ложится спать в комнате с окном, выходящим в парк, или наскоро умывается в умывальнике и спит в комнате, куда доносятся шум расположенной неподалеку железнодорожной линии. Рано утром человек идет на работу...»

В одном этом абзаце содержится множество утверждений и отрицаний — представлений о том, каким должен быть город, что должен он дать человеку.

Нынешний наш горожанин искушен и опытен. Он превосходно разбирается в различных типах квартир и домов, точно оценивает их достоинства и недостатки, всесторонне ориентируется в преимуществах одного городского района перед другим. Если ему предоставляется возможность выбора или обмена места жительства, он учит все: и транспортные удобства, и близость природы, и состояние сферы обслуживания, и еще многие другие факторы. Однако нашего горожанина нельзя упрекнуть в потребительском отношении к своей обители. В его критике современного градостроительства, в его обращениях по тем или иным вопросам в органы печати или местной власти вы всегда почувствуете глубокую заинтересованность патриота.

Этот нынешний горожанин стал с недавних пор объектом всесторонних социальных исследований. Целые научные коллективы и отдельные социологи-энтузиасты ставят перед ним множество вопросов, надеясь в итоге классификации ответов и мнений составить представление о социальных тенденциях развития современного города.

Разумеется, это прекрасно, когда сорок тысяч опрошиваемых жителей Йошкар-Олы на вопрос: «Любите ли вы свой город?» — единодушно отвечают: «Да». Но так ли уж много могут дать опросы и анкеты, если иметь в виду, что условия, которыми располагают обследуемые, пока еще ниже тех, которые без особого дара предвидения можно представить себе в городе ближайшего будущего.

Можно спросить москвичей, считают ли они целесообразным увеличить число крытых плавательных бассейнов. Но стоит ли это делать, если и без того известно: чтобы довести их количество до принятой у нас нормы, следует построить таких сооружений около ста сорока. Для этого нужно немало времени, тем более что проблема пока еще не самая острая. Сейчас главное внимание сосредоточено на решении другой социальной задачи — каждой семье квартиру. Она решается успешно, невиданными раньше темпами, но все же еще не решена. Можно предположить, что при больших жилищных возможностях и семьи могут складываться иначе. И если сегодня под одним кровом проживают два и три поколения близких людей, составляющих одну семью, в иных условиях они, быть может, займут две или три квартиры. Нетрудно предположить: когда мы сможем поставить перед собой иную задачу — каждому члену семьи комнату, — на те же вопросы анкет получим иные ответы. Они будут еще более отличаться от нынешних, когда возникнет возможность массового предоставления жилища по формуле $N + 1$, где N — численный состав семьи, а дополнительная единица — общая комната дневного пребывания. Стоит напомнить, что эта возможность возникнет в недалеком будущем, — расчетная норма жилой площади на человека, проектируемая на 1985 год, составляет 12—15 кв. м. Тогда, быть может, малые комнаты, смежные с общей большой, перестанут быть предметом нареканий, а, напротив, станут распространенным и удобным вариантом планировки квартир.

Всказанное сомнение в научной полезности некоторых дежурных вопросов анкет относится и к сфере обслуживания. Ведь и здесь во многих случаях она не отвечает нашим собственным нормативам. Не секрет, что в стране не хватает торговых предпри-

ятий примерно на миллион рабочих мест, что строительство объектов сферы обслуживания пока еще отстает от темпов строительства жилищ. Все это известно без анкет.

В архитектурных журналах двадцатых годов можно было встретить лозунг, набранный крупным шрифтом: «Строить так, как говорят рабочие». Разумеется, градостроителю необходимо прислушиваться к мнению общественности, к каждому разумному критическому замечанию. В любом на первый взгляд неожиданном совете может содержаться рациональное зерно. Однако все это не может служить основой разработки социальных моделей будущих городов. Необходимы социальные эксперименты в реальном строительстве, а они пока ставятся крайне робко. Едва ли не единственной попыткой такого рода было строительство «дома нового быта» в Москве. Сейчас оно завершается. Но дом, как теперь предполагается, будет отдан под общежитие аспирантов МГУ. В этом случае социальный эксперимент не состоится.

Правда, и прежде высказывалось немало сомнений в его успехе. Говорилось, что будущие жильцы дома, вынужденные пользоваться в основном предприятиями общественного питания, расположенными в здании (в квартирах запроектированы кухни-ниши), вынужденные платить повышенную квартплату за дополнительные услуги, быть может, расценят условия, в которые они поставлены, как проявление волюнтаризма, на этот раз уже со стороны архитектора, навязывающего им определенный образ жизни. Однако теперь все это может остаться невыясненным.

Я думаю, что экспериментальное строительство, содержащее в себе новые идеи социальной организации быта и жизни советского человека, следовало бы продолжить и расширить до масштабов квартала и микрорайона. Оно было бы реальным шагом в поисках социальной модели будущего города. Можно предположить, что эксперимент такого рода вообще более жизнеспособен. Ведь создание исключительных условий в рамках одного дома обременительней и для его жильцов и для государства. Экономическое преимущество подобной попытки, организованной в большем масштабе, кажется очевидным и с точки зрения собственно строительства, и с точки зрения людей, пользующихся дополнительными удобствами, которые будут им предоставлены.

Интенсивное развитие всех сфер городской жизни, характерное для послевоенных лет, стремительное развитие техники в корне изменили наше представление о культуре производства, об уровне комфорта в цехах заводов и фабрик. И тем большим контрастом стали для нас новые предприятия по сравнению со старыми, морально устаревшими производственными корпусами, не отвечающими сегодня установившимся санитарным нормативам. Больше того, даже архитектура промышленных зданий, интерьеры предприятий связаны теперь в нашем представлении с простором и светом. Теперь уже градостроители не хотят мириться с тем, что промышленная зона — это нечто уродующее город: захламленные территории, грязные, мрачные корпуса. У нас есть немало примеров, свидетельствующих о том, что заводские здания, корпуса научно-исследовательских лабораторий, занимая важное градостроительное положение, могут в полной мере отвечать самым высоким архитектурным требованиям. Тем острее встала задача коренной реконструкции многих предприятий, ютящихся в старых, мрачных коробках. Множество учреждений и организаций занимают малопригодные для их деятельности, порой даже подвальные помещения, и это опять-таки становится все более нетерпимым в соседстве с новыми, современными административными комплексами. И хотя мы по веским и понятным причинам пока еще ограничиваем строительство административных зданий, видимо, недалеко время, когда оно будет развернуто в масштабах, отвечающих интересам все усложняющейся системы управления огромным хозяйством страны. Острая потребность в комфортных производственных помещениях для современной промышленности, прямо способствующих росту производительности труда, стала теперь уже очевидной. По остроумному выражению одного чешского архитектора, «современные машины, управляемые человеком в несовременной и вредной среде, это то же самое, что «форд-лотус» на проселочной дороге».

Однако современный город — это не только благоустроенное жилье, комфортные производственные помещения. Одна из важнейших его проблем — транспорт. Город должен обеспечить совершенные связи между всеми районами.

Если спросить горожанина о транспорте, должно быть, он пожалуется вам на очереди у остановок, на тесноту в часы «пик». Он может и не знать, что в это время

наполнение вагонов московского метро доходит до трехсот человек, хотя нормой предусмотрено сто семьдесят. Он, должно быть, не ведает, хотя безусловно чувствует, что в часы «пик» на центральных станциях того же московского метрополитена поток пассажиров на 20—30% превышает пропускную способность пешеходных переходов. Он не знает, что поток транспорта в наиболее интенсивные часы на московском проспекте Маркса составляет пять тысяч автомобилей, что «треугольник» — ГУМ, ЦУМ и «Детский мир» — привлекает к себе ежедневно до одного миллиона посетителей. И если бы столь крупные торговые предприятия были рассредоточены, во многом упростилось бы решение транспортных проблем в центре города и в центральном узле метрополитена. Горожанин может и не знать этих цифр, зато они хорошо известны специалистам-транспортникам. Статистика, характеризующая потоки пассажиров и машин, служит основой для разработки сетей магистралей и линий метро, для новых идей, заложенных в Генеральный план столицы, который предусматривает комплексное и всестороннее решение транспортных проблем.

По-видимому, представления горожанина об организации досуга окажутся также шире сегодняшних возможностей. Два выходных дня — неоценимое благо для трудящихся — для градостроителей обернулись новой и острой проблемой. Некоторые считают, что в связи с расширением границ Москвы и включением в городскую черту новых зеленых массивов увеличилось количество зелени, приходящееся на одного жителя, и цифры, доказывающие это положение, встречались в официальных отчетах. Оно как будто бы и так, но я не согласен с этим утверждением, так как полагаю, что биологические функции зеленых насаждений не изменяются в зависимости от административного подчинения, и, стало быть, ничто не улучшилось в состоянии воздушного бассейна большей части города. Скорее наоборот — ведь пустовавшие раньше земли заняты теперь жильем и новыми предприятиями. Зато верно другое — многие жилые массивы оказались вблизи лесов, и тем самым их жители приблизились к местам повседневного отдыха. Однако два выходных дня побуждают людей к длительным и дальним поездкам, туризм стал популярным и массовым явлением среди людей решительно всех возрастов. Современные средства транспорта изменили представление о расстояниях, и места отдыха, казавшиеся дальними, стали объектом массовых нашествий.

Человек, сам создание природы, постоянно чувствует свою связь с нею, стремится к природе, отдыхая «телом и душой» среди лесов и полей, на берегах рек и озер. Страдая иногда от стихийных природных сил, он теперь и сам становится «стихийным» бедствием для природы. Научившись защищать себя от коварных ее проявлений, он подчас забывает о том, что природа ждет милостей от нас, взять их у нас она не может. И потому только человек может позаботиться о том, чтобы не чахли леса, примыкающие к жилищу, и сохранились чудесные естественные богатства, привлекающие к себе сегодня массы туристов.

Проблема свободного времени охватывает множество других интересов людей. И здесь у градостроителя возникает немало вопросов. Выясняются связи между людьми: какие из них прочнее и устойчивее — производственные или возникающие по месту жительства? Ведь именно от этого зависит, где будут жизненные центры отдыха и спорта — вблизи производства или в жилом районе. И здесь, наверное, не может быть однозначного вывода потому, что по-разному формируется население городов и нельзя принять единого решения для новосибирского Академгородка и крупного промышленного центра с четко очерченными границами промышленных и жилых зон. И все же преимущественная устойчивость производственных связей представляется очевидной. Производственный коллектив — это всегда ясная организация людей, и, должно быть, именно здесь основные перспективы развития общения в различных сферах индивидуальных интересов человека. Однако относительно лучшие условия возникают в том случае, когда объекты культуры размещаются на стыке промышленных и жилых образований. Этот принцип применен в решении планировочных зон Москвы. Культурные центры, расположенные в периферийных районах, дополняют комплексы, содержащиеся в пределах развитого столичного центра.

Задачи современного градостроительства понимают специалисты. Им отвечает новый Генеральный план развития Москвы, нынешние градостроительные предложения для любого города страны. Реализация их требует огромной работы плановых органов,

архитекторов, социологов, людей множества других профессий, вовлеченных в сферу градостроительной деятельности, требует глубоких и всесторонних научных исследований; здесь предстоят такие объемы строительных работ, для которых потребуется не одно десятилетие.



Как бы ни стремились мы к экономичным градостроительным проектам, строительство городов становится все более дорогим. Города потребляют все большее количество электроэнергии, воды и тепла; требуют все более совершенных средств связи, нуждаются в современном скоростном транспорте.

Технические завоевания человечества становятся фактором, постоянно удорожающим градостроительство. По-видимому, невозможно препятствовать этой тенденции, однако многое зависит от того, в какой мере она учитывается в градостроительных планах, в процессе возникновения, роста и развития города.

В совсем еще недавнее время, сопоставляя опыт советского и западного градостроительства и подчеркивая наше преимущество, заключающееся в отсутствии частной собственности на землю, мы объясняли скученность застройки, нагромождение высотных сооружений в западных городах искусственно взвинченными ценами на земельные участки. Складывалось представление, что наша земля ничего не стоит, и мы распоряжались ею широко и свободно.

Частная собственность на землю — действительное зло западного градостроительства. Это понимают, пожалуй, все разумные западные архитекторы. Недаром они неоднократно выступали за ее ликвидацию, принимали резолюции об ее отмене на многих конгрессах Международного союза архитекторов. Это известные факты. Но факт состоит и в том, что мы сами, застроив огромные территории пятиэтажными зданиями, разрабатывая генеральные планы центров городов, поняли ценность своей собственной общенародной городской земли. Стоимость участка в центре Парижа относится к стоимости земли где-нибудь в сельской местности, как восемь тысяч к единице. Московские экономисты-градостроители подсчитали, что при комплексной оценке земли, с учетом реальных капиталовложений и условных категорий, определяющих экономический эффект гектара московской территории, стоимость его в районе Беляево—Богородское составит около 180 тысяч рублей, а в пределах Садового кольца — 1,2 миллиона рублей. Дело не только в абсолютных цифрах, но и в том, что свободные земли имеют пределы, в том, что мы стремимся к ограничению пространственного роста городов. Теперь в ряде случаев мы сознаем необходимость высоких сооружений, позволяющих строить город компактно. И хотя, руководствуясь соображениями экономики, опираясь на сегодняшние возможности промышленности, мы ограничиваем высотное строительство — в будущем оно, несомненно, займет большое место в нашей градостроительной практике.

Мы теперь понимаем и ценность городской воды, и не только питьевой и хозяйственной, требующей дорогих и сложных сооружений, но и речной воды. Нужны немалые средства для того, чтобы организовать очистку более сотни тысяч кубических метров производственных сточных вод, сбрасываемых ежесуточно в Москву-реку. Чистая вода реки тоже будет дорого стоить. Нам приходится платить и за чистоту воздуха в городе. И хотя зарубежные европейские гости утверждают, что Москва — единственная столица на континенте, где белую сорочку можно носить два дня, воздух города ежедневно засоряется сотнями тонн копоти, выбрасываемой в атмосферу. Начатая работа по устройству различных золоулавливающих и других обезвреживающих систем тоже потребует больших расходов.

Как это ни странно, но и тишина, в которой нуждаются люди, работая и отдыхая, — это тоже деньги. Тишина — это глушители вентиляционных систем, специальные звукопоглощающие конструкции стен и потолков. Тишина — это защитные зеленые полосы на городских проспектах, отступы линий застройки от проезжих частей магистралей, — все это конкретные затраты. Но для борьбы с шумом всего этого в современном городе оказывается мало. Сегодня расположение жилых домов вдоль шумных проспектов становится очевидной ошибкой, ухудшающей условия проживания. Здесь эффективным средством защиты могут стать иные планировочные принципы — галерейные дома, обра-

щенные жилыми комнатами в сторону, противоположную магистрали. А такие дома в силу той же планировочной специфики будут менее экономичны.

Безопасность человека в современном городе тоже требует дорогостоящих мероприятий. Развязка движения пешехода и скоростного транспорта, системы подземных переходов и тоннелей,— все это значительные суммы в городском бюджете. А ведь каких-нибудь десять — пятнадцать лет назад эти сооружения не казались нам необходимыми. Разве давно построено плоскостное пересечение Ленинского и Ломоносовского проспектов? Но очевидную теперь необходимость организации пересечения в двух уровнях крайне трудно будет осуществить, и, конечно, это обойдется дороже. И здесь не хватило нам дальновидности. Устройство транспортных эстакад и тоннелей в сложившемся городе — вообще очень трудное и дорогое дело, требующее немалых жертв — пространства, сноса капитальных строений. Однако дело это необходимое. Здесь я позволю себе перефразировать применительно к транспорту афоризм из трактата Леона Баттиста Альберти, касающийся проектирования лестниц, часто затрудняющих архитектора: «Если ты не хочешь, чтобы движение тебе мешало, сам не мешай движению». Но какими бы ни были мероприятия по обеспечению скорости и безопасности, они не могут полностью исключить неизбежность человеческих жертв в современном городе. Известно, что число жертв на дорогах Англии еще в годы второй мировой войны приближалось к числу погибших во время варварских бомбардировок Лондона. Вероятно, явление это зависит от многих причин, но в конечном счете оно прямо пропорционально числу автомашин и прямо связано с состоянием дорог. Машин у нас пока значительно меньше, дороги хуже. Построенные уже тоннели и переходы сегодня еще обеспечивают отдельным узлам города скоростное движение и относительную безопасность. Но положение осложнится в ближайшем будущем. Автомобиль — необходимое средство передвижения в городе современных масштабов и любимая игрушка взрослых людей — принесет городу новые заботы, он еще потребует немалых средств. Можно достаточно скоро оказаться перед лицом такого же критического положения, в котором находится Париж, где машины днем движутся со скоростью пешехода и по получасу выискивают место для стоянки, а ночью выстраиваются шпалерами по обеим сторонам проспектов и авеню. Ведь и сегодня на Садовом кольце столицы возникают заторы, когда по каким-либо торжественным или печальным поводам перекрывается движение через центр. А платные стоянки на центральных площадях Москвы — на Пушкинской, например, — уже забитые полностью, не смогут помочь делу. Придется, видимо, строить гаражи — многоэтажные и подземные, и тогда вновь ощутим мы цену земли.

Союз архитекторов Чехословакии принимал в Праге участников IX конгресса Международного союза архитекторов в огромном многоярусном подземном зале «Луцерна». Конкурс архитектурных фильмов на том же конгрессе проходил в комфортабельном подземном кинотеатре. В подземном театре демонстрирует свои эксперименты «Латерна-Магика». Подобные приемы вообще довольно широко распространены в городах Центральной Европы. Они встречаются и в американских городах. Кажется разумным подземное размещение зала, не нуждающегося в дневном освещении, и фойе, где пребывание людей кратковременно. Один такой зал — зал кинотеатра «Сокол» — построен в Москве лет двадцать тому назад. Быть может, со временем мы еще и оценим распространенный ныне прием строительства отдельно стоящих кинотеатров, в центре города в особенности, как неоправданное расточительство земли. Я видел примеры энергичного освоения подземелья в Гамбурге и Франкфурте. В Мюнхене, готовящемся к Олимпийским играм 1972 года, под Мариенплац, площадью с самой высокой в ФРГ плотностью движения, созданы четыре подземных уровня, нижний из которых опустился почти на 30 метров от поверхности. Здесь расположилось метро, два яруса автостоянок и подземная площадь с магазинами и переходами, оборудованными эскалаторами. Вообще предсказание Анатоля Франса, касающееся подземелий и тоннелей, не склоняет меня к пессимизму.

Подземное хозяйство, обслуживающее комплекс магазинов проспекта Калинина, — безусловно, положительный наш опыт. Впрочем, можно вспомнить и подвалы ГУМа, которые сейчас так или иначе справляются со значительным товарооборотом. Нам еще придется строить, и в немалых объемах, подземные склады, гаражи и тоннели. Не слу-

чайно IV Международный конгресс по подземной урбанистике проходил под девизом: «Нет урбанистики без подземной урбанистики». Любопытно, что для Парижа предлагается строительство многоярусных тоннелей и автостоянок глубиной до шестидесяти метров, расположенных под руслом Сены. Четырнадцать линий движения и паркинг на пятьсот тысяч автомобилей предусмотрены в этом проекте, разработанном достаточно обстоятельно, с указаниями принципов организации строительства и его очередности.

Многие технические градостроительные проблемы так или иначе разрешаются зарубежными архитекторами хотя бы в проектах, не всегда осуществимых в иных социальных условиях. Однако опыт иностранных зодчих оказывается во многом полезным для нашей градостроительной практики. Во всяком случае, чем раньше и чем шире начнем мы использование подземного пространства крупных городов, тем компактнее и экономичнее окажутся они в будущем.

Город становится дороже не только в силу упомянутых уже обстоятельств. На стоимость городского строительства накладываются еще и другие факторы. Для высокого жилого дома это лифты и конструкции каркаса. Для общественных зданий — кондиционирование воздуха, скоростные лифты, эскалаторы. Наконец, для капитальных сооружений — еще и необходимое повышение требований к его архитектурному решению, качеству и долговечности материалов. Последнее в еще большей степени относится к начинающемуся в широких масштабах строительству в центре Москвы или в центрах других крупных городов. Для многих из них, имеющих естественные границы роста, свободные территории или исчерпаны, или будут исчерпаны в ближайшее время. Перенос центра тяжести строительства в сложившиеся районы городов тоже будет способствовать удорожанию работ — и потому, что потребует в близком будущем немало сноса, и потому, что окажется необходимым значительным образом реконструировать сеть подземных коммуникаций. Что-то придется строить и под землей, а где-то и в условиях высокого уровня грунтовых вод, — это тоже удорожание.

Словом, города становятся все дороже. Но мы теперь вступаем в новую фазу градостроительства, требующую более совершенных решений социальных, технических, экономических и эстетических проблем и потому неизбежно связанную с большими затратами средств и материальных ресурсов. Это тем более обязывает градостроителей к всестороннему экономическому обоснованию проектных предложений.

IV

В современных условиях любая разумно поставленная градостроительная задача может быть подвергнута всестороннему научному анализу и точному математическому расчету. По-видимому, вычислительная техника, которой мы сегодня располагаем, дает возможность вывести оптимальные формулы города. По этим формулам можно было бы определить численность населения и перспективы его роста, соотношение промышленных и жилых районов, зон отдыха. Математическому расчету поддаются трассы городских магистралей и размеры микрорайонов, этажность застройки, положение центра, торговых и зрелищных предприятий, маршруты общественного транспорта. Теоретически могут быть рассчитаны все аспекты проблем с учетом климатических и топографических особенностей расположения города.

По-видимому, недалеко время, когда градостроитель в своем творчестве будет опираться именно на подобные расчеты. И все же, как я думаю, такие расчеты не могут дать полноценного решения, потому что творчески задуманная градостроительная композиция расчету не подвержена. Душу города рассчитать нельзя. Градостроитель должен быть еще и художником, и расчеты — только лишь подспорье в творческой его работе. Он вправе руководствоваться своей художественной интуицией, komponуя структуру городского пространства.

В комплексе проблем градостроительства эстетические проблемы занимают одно из ведущих мест и являются едва ли не самыми трудными. Не потому ли, так или иначе разрешая многие задачи, мы в наименьшей степени справляемся с художественными.

В конечном счете весь исторический опыт строительства городов, в основе которого не было ни научного анализа, ни обоснованных нормативных положений, цесен для нас

в первую очередь художественным совершенством городских комплексов, созданных великими мастерами архитектуры. Опыт строительства Петербурга ничего не может дать нам в решении современных городских проблем, но он остается непревзойденным образцом целостности городского ансамбля.

Петр Великий был и великим градостроителем. Волей Петра, опиравшейся на гений великолепных мастеров зодчества, был заложен город, красотой которого не перестанут восхищаться люди. Новые поколения русских зодчих обогащали его новыми ансамблями.

Каких же огромных усилий стоило России начала XVIII века создание такого города! Сколько же потребовалось умелых рук, сколько жертв человеческих, сколько материалов, привозимых со всех концов страны ценой колоссальных трудов! Создатели Петербурга безоговорочно отвергали любые компромиссные решения, которые могли принести ущерб красоте города. Об этом красноречиво свидетельствуют градостроительные указы Петра — и те, которые регламентируют высоту зданий, их положение по отношению к прокладываемым проспектам, и те, которые определяют строгую меру наказания за нарушение градостроительного порядка. В истории строительства города были и такие случаи, когда во имя единства архитектурного ансамбля Екатериной II предписывалось строить «одною переднею фасадю» с последующим строительством за фасадной стеной того, что окажется необходимым. Я не утверждаю, что этот способ создания архитектурных ансамблей достоин подражания. Однако советское градостроительство не знает примеров столь жесткой градостроительной дисциплины. К примеру, взгляните на монументальное административное здание на площади Дзержинского в Москве. Занимая господствующее положение по оси проспекта Маркса, оно имеет два как бы совершенно разных фасада. Но присмотритесь внимательно — и вы увидите, что горизонтальный порядок проемов и их ритмы совпадают. Академик Щусев, проектируя новый корпус министерства, имел в виду создание единого фасада всего сооружения. Но сегодня, спустя двадцать лет, старая часть все еще не перестроена, и это как будто бы никого и не тревожит.

Я хочу привести еще один поразительный пример, свидетельствующий об исключительно высокой требовательности к проблеме создания художественного ансамбля Петербурга. По проекту Джакомо Кваренги на стрелке Васильевского острова строилось здание фондовой биржи. Но оно не удовлетворило современников объемным решением, архитектурной композицией, своей ориентацией в пространстве и поэтому, почти уже законченно, было разрушено. Биржу построили вновь по проекту Тома де Тона, причем проект многократно обсуждался советом Академии художеств, который не раз уточнял все детали сооружения. Цель в итоге была достигнута. На ответственнейшем участке города возникло великолепное здание, ставшее композиционным центром петербургского ансамбля.

Петербург остается и поныне гордостью русского градостроительного искусства. Он и впредь будет вдохновляющим примером для многих поколений зодчих.

Но сегодня стоит задуматься над тем, почему оказалось возможным создать такой город. Этому во многом способствовала уже упомянутая четкая градостроительная регламентация. Надо сказать, что даже для Москвы сейчас подобных правил не существует. Нет регламента, определяющего этажность в различных зонах города, ширину проспектов и улиц, пропорциональную зависимость между этими параметрами. А ансамбли, по-видимому, невозможно создать на основе только лишь санитарных и противопожарных нормативов. Московские архитекторы не случайно ставят вопрос о разработке «Правил застройки» столицы.

Опыт блистательных мастеров зодчества прежних поколений убеждает и в том, что, решая проблемы градостроительства, нельзя во всех случаях руководствоваться только рациональным началом, опираться только на экономические выкладки, взвешивать каждое строительное усилие, скупиться в применении долговечных материалов. Иначе не было бы у нас многих зданий и ансамблей, которые сегодня по праву считаются шедеврами архитектуры.

И пожалуй, самое главное: невозможно создать совершенный городской ансамбль, если к этому не будут стремиться — сознательно и последовательно — все участники градостроительного процесса.

Именно этой целеустремленности у нас подчас недоставало. Я вовсе не утверждаю, что она должна вылиться в монументальные колоннады и позолоченные статуи,— нет, в иные архитектурные формы новых городских ансамблей, в совершенные архитектурные композиции, которые создадут наши мастера, опираясь на сознательное стремление своих современников к прекрасному образу города будущего. Для меня верность этого положения подтверждает все лучшее, созданное у нас в последние годы, созданное в условиях подобной целеустремленности. И в этих условиях, способствующих творчеству, необходимы глубокие, настойчивые поиски, потому что современные градостроительные задачи требуют новых композиционных приемов.

Контрасты старой и современной застройки, наверное, проще всего воспринять и почувствовать, глядя на город с высоты птичьего полета. Посмотрите на старые кварталы Москвы с кровли любого высотного здания. Вы увидите плотно прижавшиеся друг к другу волны скатных крыш, закрывающие почти всю земную поверхность, и только где-то между ними угадаете затененные колодцы узких дворов и щели улиц, струящихся между сплошными фасадными стенами. Но подлетая к Москве или к какому-либо еще иному нашему городу, с небольшой высоты идущего на посадку самолета увидите вы массивы новых жилых районов, в которых все сделано по-другому. Среди широких зеленых пространств свободно расставлены горизонтальные и вертикальные параллелепипеды строений. Это — очевидное выражение новых принципов градостроительства. Понятие улицы утратило в нашем представлении привычный образ узкого протяженного пространства. Площадь перестала быть пространственным карманом, примыкающим к улице на перекрестке. Старые градостроительные понятия уходят в прошлое. Возникают новые, постепенно складываясь в непривычные еще композиции. Где-то в каких-то фрагментах возникают удачные ритмические построения, контрастные сочетания объемов — первые находки, постепенно раскрывающие композиционные закономерности новых градостроительных решений, составляющие наш небольшой еще положительный опыт на этом новом пути. И вместе с тем пространственным фоном для этих удач становится штамп, ограниченное число приемов застройки. Переходящие из одного района в другой, из города в город, они способствуют нивелировке образа, распространению однообразия. Архитектор, смотрящий сверху на сложенный им макет застройки, передвигая выточенные из дерева объемные габариты типовых домов, стремится иногда достичь композиционного эффекта, сочетая здания в оригинальном геометрическом или свободном рисунке. Однако часто в натуре его постигает разочарование, и то, что с птичьего полета казалось заманчивым и интересным, с позиции человека, стоящего на земле перед выстроенными сооружениями, оказывается невосприимчивым. Поиски оригинальных и контрастных ритмов могут привести к отдельным удачам, однако принципиально новые и интересные решения возникают тогда, когда в композицию закладываются более глубокие мысли. Новые идеи организации жизни в микрорайоне и городе — более надежная основа для создания оригинальной застройки. Они никогда не приведут автора к штампу, потому что сами по себе требуют иных форм и иных их сочетаний. Чем глубже поиски, тем всегда острее и неожиданнее находки.

Советские архитекторы, строящие и экспериментирующие на огромных территориях множества городов страны, естественно, соревнуются между собой в мастерстве решения градостроительных задач. И я, наблюдая этот процесс, отмечаю для себя, что далеко не во всех случаях оказываются впереди столичные зодчие и строители.

Успехи градостроителей Баку, Алма-Аты, Ашхабада, Ташкента (впрочем, в последнем есть и немалый творческий вклад москвичей) отмечают не только архитекторы. Общеизвестными удачами являются жилой район Жирмунай в Вильнюсе и город Навои. Здесь вы не найдете и тени провинциализма.

«Провинциализм» в архитектурном творчестве, в моем представлении, выражается в неадекватности композиции, в попытках в малом подражать большому, в технической отсталости содержания внешне современной формы. Все получающее одобрение, и в особенности официальное, помимо воли автора оригинала, вызывает подражание. И есть случаи, когда такие попытки выглядят просто пародийно. Но сейчас речь о другом, о достижениях наших коллег в союзных республиках. Видимо, они обусловлены объективными предпосылками, которые в Москве не всегда складываются подобным образом. Дело, вероятно, в высокой степени централизации строительного производства и про-

мышленности, часто активно выступающих единым фронтом против стремлений зодчих к интересным, оригинальным решениям. Бывает, что, глядя на работу своего товарища в каком-либо ином городе, думаешь: в московских условиях ее трудно было бы осуществить. Речь идет, в конечном счете, о той же целеустремленности, создающей благоприятную атмосферу для активного творчества и высококачественного исполнения замыслов зодчих.

Все, что строится в столице, в любом ином городе страны, всегда привлекает к себе внимание горожан, вызывает законное любопытство, живой интерес людей. За каждым растущим зданием — а тем более уникальным — постоянно следят тысячи спешащих мимо стройки прохожих. Они мысленно пытаются представить себе будущий облик сооружения, угадать, на какой отметке завершится монтаж «небоскреба». Советские градостроители постоянно чувствуют заинтересованность населения в результате их творчества. Но эта заинтересованность сочетается с высокой требовательностью, с острым критическим взглядом на все, вызывающее неудовлетворенность. В данном случае речь идет о неудовлетворенности эстетической. Чем она определяется, что же, попросту говоря, не нравится горожанину в современном городе? Его, очевидно, огорчает однообразие застройки, хотя разнообразие само по себе еще не гарантирует достоинства композиции. Его озадачивают масштабы домов и пространств. Они непривычны. Действительно, утрачено что-то, придававшее улице, площади, скверу ощущение уюта, соразмерности человеку, масштаб городского интерьера. Иногда говорят, что современные композиции следует рассчитывать на восприятие из окна мчащегося автомобиля, и потому, дескать, оправданы крупные ритмы. Однако человек в автомобиле тот же, и тот же Ленинград и для автомобилиста остается прекрасным. Быть может, дома длинны не в меру или высоки слишком? Но ведь и Адмиралтейство не коротко, и шпиль его не низок. Ни слишком длинных, ни слишком высоких домов быть, наверное, вообще не может, если только в городе вертикаль или горизонталь к месту поставлены, если в пропорциях и членениях своих решены они убедительно. Однако в этой неудовлетворенности масштабом есть основание.

Мы научились «делать грамотную архитектуру», в которой трезво рассчитанная функция выступает в холодной, данной строительной индустрией форме. И редко кому удастся внести в облик сооружения теплоту и человечность, сделать архитектуру рукотворной. Существует довольно распространенная среди архитекторов теория, смысл которой состоит в том, что при нынешних масштабах строительства, когда зодчий мыслит крупными ансамблями, решает застройку больших территорий, дом как таковой, его архитектура утрачивают значение. С этим я согласиться не могу. Законы композиции в самом общем смысле остаются вечными. И как для древних человек был мерой всех вещей, так и в «Модулоре» — современной модульной системе Корбюзье — человек остается основой всех измерений.

Должны быть действительно схематично разработаны громады зданий, плоскости их фасадов. По-видимому, между массой здания и человеком нужен, кроме того, еще и второй переходный масштаб, создаваемый элементами композиций, приближенными к людям. Они требуют иной моделировки формы, тщательной прорисовки деталей.

То ощущение человечности, которое утратили мы в уже сложившихся городских пространствах, хоть как-то может восполнить «малая» архитектура. Пока она в большей мере безобразит город, нежели красит его. Это скучность мелких и разношерстных киосков, всевозможные элементы оформления, установленные в Москве почему-то на неряшливых бетонных чужках с торчащими по сторонам монтажными петлями. В благоустройстве города нет мелочей, все важно — бортовой камень, скамья, указатель. И еще не хватает современной застройке богатства силуэта. Силуэт города — это едва ли не самое памятное. И не случайно, видимо, самая выразительная вертикаль становится символом города. Эйфелева башня — для Парижа. А образ города, специфический характер французской столицы — в силуэте ее мансард. И Прага характерна своим удивительным силуэтом. Именно пражским, не повторяющимся в других чешских городах. У Крумлова, у Будейовице — у каждого свой характерный профиль вертикалей. А разве русские города не силуэтом отличались, разве есть в мире что-нибудь подобное силуэту Московского Кремля? Разве не уникален силуэт трех доминирующих в центре Ленинграда сооружений — Адмиралтейства, Петропавловской крепости, Исаакиевского собора? А вот

новые вертикали Москвы, пожалуй, бесхарактерны. И наверное, согласятся авторы, что не удалась венчания жилых башен проспекта Калинина. А ведь первые высотные здания решали эту задачу. Запомнится московскому гостю силуэт университета, здания на площади Восстания, гостиницы «Ленинградская». Впрочем, и здесь не обошлось без недоразумений. Было предписано, чтобы все они непременно завершались шпилями. И вот пришлось авторам здания на Смоленской В. Гельфрейху и М. Минкусу скрепя сердце приделывать к уже строящемуся дому так и не приставший к нему шпиль. Сооружение утратило тот своеобразный силуэт, который был задуман зодчими. И много еще лет спустя, пока жив был Владимир Георгиевич Гельфрейх, сожалел он об этом и не раз обращался к высоким лицам и организациям с просьбой разрешить ему снять нелепую надстройку. Это уже история, а вот поиски силуэта современных городских вертикалей — сложная и интереснейшая задача. Она не получила убедительного решения и в башне гостиницы «Россия». Здесь крайне странно выглядит двадцатипятиметровый шпиль. Я не знаю, быть может, его появление оправдано какими-либо техническими соображениями, но композиционными не оправдывается никак. Вообще башня кажется грубой в соседстве с ажурными профилями древних кремлевских церквей, Ивана Великого.

Взаимодействие старого и нового — острая проблема современного градостроительства. Город живет, постоянно обновляясь, что-то в нем ветшает и разрушается, что-то создается вновь, и в этом подобен он живому организму, в структуре которого отмирающие клетки постоянно заменяются вновь народившимися. Этот процесс в жизни города всегда требовал от архитектора исключительной чуткости, такта и мастерства, понимания творческого замысла своих предшественников. Так веками создавались ансамбли поразительной цельности — и Московский Кремль, и Петербург, и венецианская площадь святого Марка. Убедительных примеров преемственности в создании городских комплексов история архитектуры знает множество. Однако теперь конфликт между старыми и новыми сооружениями обострился — иные масштабы строений, резкий контраст стилиевой характеристики усложняют задачу. К тому же размах реконструкции центров наших исторически сложившихся городов станет в ближайшие годы глобальным. И здесь крайне важно в каждом отдельном случае найти правильное решение, обойтись минимальными эстетическими жертвами, постараться вовсе обойтись без жертв физических. К сожалению, это не всегда оказывается возможным.

Мне случилось присутствовать на одном из заседаний градостроительного совета Москвы, многократно рассматривавшего проект теперь уже строящегося здания «Известий» на Пушкинской площади. Взволнованно выступивший Ираклий Андроников пытался убедить совет сохранить «дом Фамусова». Ощущалась какая-то неловкость от необходимости возражать, как будто ему одному противостояла сила, проникнутая варварской жадностью уничтожения культурного наследия. Увы, в данном случае снос был обоснован, иначе задача вообще не могла бы быть решена. Однако нашелся верный прием в Зарядье и на проспекте Калинина. В этой проблеме в каждом случае возникают свои трудности. Потому прорабатываются сейчас комплексные проекты охранных зон, уточняются наиболее выигрышные точки зрения на отдельные памятники. Все ценное должно быть сохранено в процессе реконструкции центра. В ходе этой работы Москва очищается от ветхих и малоценных строений, освобождаются новые пространства для зелени и площадей, и это тоже раскрывает новые перспективы, обогащающие город. Так, расширенной оказалась площадь Дзержинского, здесь удачно открылось здание Политехнического музея. По этому поводу один из архитекторов заметил не без иронии: «Почему-то когда мы сносим, то получается более убедительно, чем когда строим что-либо заново». Эта шутка, содержащая в себе элемент самокритики, имела, разумеется, конкретный адрес.

Проблема сочетания старого и нового, должно быть, вечная. С нею сталкивались наши предки, с нею столкнутся и потомки наши. И я тайно надеюсь: что-либо созданное нами и для них составит предмет государственной охраны. Проблема эта всегда и везде сложна, и недаром Карел Чапек, радуя за старую Прагу, писал: «Город должен служить современной жизни, то, что встает у нее на пути, нам не сохранить».

И все же я хотел бы заверить читателя, что архитекторы, реконструируя города, со всей ответственностью отнесутся к памятникам зодчества и культуры, сохранят для потомства все значительное и ценное.

Но как это ни странно, у нас подчас возникают ситуации, при которых становится необходимым защищать и только что возведенные наши здания от неудачного, композиционно бестактного соседства. Рядом с сооруженным недавно комплексом СЭВа начато строительство еще одного административного здания. Своей сомнительно обоснованной симметричной композицией, громоздкой пластиной высотной части, ориентацией осей, стилевой характеристикой, свойственной постройкам конца сороковых годов, противоречит оно СЭВу, ставшему уже достопримечательностью Москвы, разрушает складывающееся композиционное равновесие в ответственной части городской застройки. Проект этот вызвал весьма большие сомнения у многих участников обсуждения, состоявшегося в Союзе архитекторов. Хотелось бы надеяться, что авторы прислушаются к мнению своих коллег. Боюсь, что иначе мы вновь окажемся перед лицом еще одной заметной градостроительной ошибки.

В большом числе средств, способствующих красоте города, которыми располагает градостроитель, немалую роль играют городские памятники и монументы, иные средства монументальной пропаганды. И надо сказать, что сами горожане в последнее время ощущают потребность в привлечении монументального искусства в городские пространства. Любопытный факт. Во время забытых уже дискуссий о переносе памятника Юрию Долгорукому в одну из московских организаций поступило письмо. Автор его просил рассмотреть вопрос о возможности установить монумент где-нибудь в Черемушках, а по возможности — в его микрорайоне. А уж если этого нельзя будет сделать, то «хорошо бы поставить хоть какого-нибудь оленя». В этой наивной просьбе содержалось очевидное стремление автора внести эстетическое начало в унылую застройку, повседневно его окружающую. Стремление это понятно, и оно заботит градостроителей. Однако здесь требуется исключительный художественный такт, понимание границ жанров монументального искусства, свойственных городской площади, проспекту, микрорайону. Многие попытки подобного рода заканчиваются неудачно. Чего стоит «монументальное» панно на Добрынинской площади в Москве, выполненное из материалов сомнительного качества, на косой, случайной брандмауэрной стене жилого дома. К тому же изображение является повторением фрагмента композиции, исполненной на Волжской гидроэлектростанции. Это уже профанация монументального искусства и высокой темы, которой посвящено панно. Один из руководителей московской строительной промышленности, озабоченный эстетическими проблемами, писал в «Вечерней Москве»: «Пожалуй, одна из главных градостроительных проблем — неповторимость архитектурного облика новых жилых массивов. Первый домостроительный комбинат вместе с архитекторами решил в порядке эксперимента стены домов на Дмитровском шоссе украсить мозаичными панно на темы русских сказок. Это несколько оживило квартал, но полного решения проблемы не принесло». Я видел альбом фотографий, демонстрирующий торцы жилых домов в Калуге, щедро украшенные механически увеличенными орнаментами народной русской вышивки. Желание похвально, но средства, однако же, негодны. В привлечении монументального искусства на стены городских сооружений требуется высшее мастерство. Можно ведь и в этом деле добиться не меньшего уныния и однообразия, чем в самой застройке.

Круг эстетических проблем современного градостроительства необычайно широк и сложен. Создаваемое вновь или реконструируемое городское образование требует внимания к каждому составляющему его элементу — микрорайону, площади, улице, дому, к каждому элементу благоустройства, к озеленению. Нельзя же назвать озеленением, попросту говоря, густые заросли, покрывающие микрорайонные пространства, а подчас городские скверы и парки. Они — не свидетельство культуры, а, напротив, свидетельство отсутствия культуры, во всяком случае, культуры озеленения. Видимо, я не ошибусь, если скажу, что у нас вовсе не готовятся кадры, призванные к благородному делу строительства парков и садов. Я говорю не о тех, кто умеет сажать цветы и деревья, — они есть. Речь идет о специалистах, которые бы унаследовали культуру озеленителей Петродворца и Архангельского, способны были бы развивать древнейшее садово-парковое искусство.

А сколько интересного может быть сделано в области городской рекламы! Какой красивой может быть Москва ночью, если проявить изобретательность в газосветной рекламе, в подсвете зелени! Здесь непочатый край для творчества архитектора и дизайнера.

Много, очень много еще можем и должны мы сделать для того, чтобы города наши стали поистине прекрасны, чтобы радовали они глаз человека, — он заслуживает этого.

Люди любят свои города. Большие и малые, старые и новые. Они гордо называют себя по их именам — москвичи, парижане, римляне, новгородцы, зеленоградцы. Сколько приходится слышать ожесточенных споров о том, чей город лучше. Патриотизм горожанина — составляющая высокого гражданского патриотизма. А разве не была любовь ленинградцев к архитектуре своего города частью той великой духовной силы, которая помогла им выстоять и победить в тягчайшие дни блокады?

Люди привязываются к однажды обжитым местам. Героическими усилиями восстали они Волгоград, Ковентри, Севастополь, Варшаву. Никакие силы природы не помешали возрождению Ташкента, снова отстроен югославский Скопле, и даже Хиросима, пережившая величайшую трагедию, постигшую людей за всю историю жизни на планете, восстала из атомного пепла на той же, казалось бы, навеки проклятой земле.

Люди сами строят свои города, камень за камнем. Работа эта, начатая первым появившимся на земле человеком, вечна, как и сама жизнь.

Предсказание Анатоля Франса, по-видимому, сбудется. Города будут развиваться ширь, вверх и вглубь, и, наверное, Москва в будущем веке достигнет названной им цифры — пятнадцать миллионов человек.

Быть может, для городов капиталистического Запада эпитафия, взятая мною у великого француза, звучит безнадежно, но убежден, что не для нас. Наше государство планомерно и последовательно осуществляет градостроительную политику, которая сумеет защитить советские города от кризиса, постигшего крупнейшие столицы западного мира. Советское государство, вся растущая экономическая мощь которого направлена к достижению одной цели — созданию наилучших условий для жизни людей, способно построить для будущего прекрасные города, гармонически сочетающие в себе все, что нужно для блага человека коммунистического общества.

* * *

Ошибаются не только градостроители, ошибаются и демографы. Размеры этих ошибок трудно соотнести, однако просчеты демографии выражаются в абсолютных цифрах. «Дальнейший прирост населения США оказывается под вопросом... Обескураженные эксперты по проблемам народонаселения вычеркивают из своих планов миллионы будущих американских граждан, поскольку их демографические прогнозы на ближайшие годы рушатся... Сокращение рождаемости в США наблюдается вот уже 11 лет». Это в Америке, а у нас? «Центральное статистическое управление ошиблось с прогнозом численности населения, — отмечал, выступая в «Литературной газете», кандидат экономических наук В. Персведенцев. — Сейчас работники ЦСУ говорят, что они «уточнили» прогноз до 1980 г. на восемь миллионов человек... Начиная с 1961 г. рождаемость в СССР стремительно падает». Причины этих явлений пусть объясняют демографы, повергшие мир в панику перед лицом надвигающегося «беби-бума». Заметим только, что опасность «перенаселения» планеты, видимо, не так велика, как это предсказывалось в недавнее время. По всей вероятности, стабилизация численности населения наступит несколько ранее, чем это прогнозировалось; наверное, и количество людей, населяющих землю в этот период, окажется ниже предсказанной цифры.

И все же задачи градостроителей не становятся от этого менее значительными. Слишком много нужно еще сделать, чтобы построить современные, удобные для жизни города и поселения для всех обитателей нашей планеты. Огромны задачи градостроителей и в рамках нашего государства.

Градостроители должны обеспечить всестороннее инженерное благоустройство всех городов и населенных мест: водопровод, канализацию, централизованное теплоснабжение; высокий класс дорог и транспортного обслуживания. наконец, примерно равную степень организации сферы услуг. Это значит, что, стремясь к ликвидации различия между городом и деревней, мы должны еще ликвидировать различие между городом и городом. Тем благороднее цель, поставленная Программой Коммунистической партии Советского Союза: «Города и поселки должны представлять собою рациональную комплексную организацию производственных зон, жилых районов, сети общественных и культурных

учреждений, бытовых предприятий, транспорта, инженерного оборудования и энергетики, обеспечивающих наилучшие условия труда, быта и отдыха людей».

У нас есть города, жилые районы, общественные сооружения, которые могут служить примером создания новой архитектуры. Выкристаллизовываются черты советского архитектурного стиля в градостроительстве.

Эти успехи отмечены высокой наградой — орденом Ленина, врученным Союзу архитекторов СССР.

У нас есть уверенность в ярком, самобытном будущем нашего зодчества. Основа ее — стремление советского общества к прекрасному коммунистическому будущему, к достойным его городам. Это стремление нашло яркое выражение в приветствии ЦК КПСС — Совета Министров СССР V съезду архитекторов: «Почетный долг и обязанность советских архитекторов — создавать такие произведения зодчества, в которых были бы запечатлены на века великие социалистические преобразования нашей Родины и трудовые свершения советского народа, идущего по пути к коммунизму».

Поле деятельности градостроителей поистине колоссально. Темпы развития городов велики как никогда прежде. Градостроительство стало одной из важнейших государственных задач. Современное градостроительство в самом главном и общем смысле слова — предвидение. Предвидение, подразумевающее разумное размещение производственных сил, планирование и регулирование роста городов и, наконец, конкретные проектные разработки на основе точных и перспективных расчетов, с учетом социальных тенденций и эстетических требований, складывающихся в обществе. Это предвидение должно быть глубоко научным, отвергающим узковедомственные и местнические интересы, исключаящим волевые решения и проявление заинтересованности влиятельных руководителей.

Только развитая градостроительная наука, основанная на всестороннем перспективном планировании, может дать нам возможность строить города, гармонически сочетающие в себе решение всего комплекса сложных проблем. Пока что это удается нам не слишком часто. И строго говоря, даже в тех случаях, когда мы добиваемся лучших результатов, мы тем не менее отдаем себе отчет в том, что они не в полной мере отвечают нашим идеалам, а значит, в еще меньшей степени будут соответствовать идеалам будущего. Конечно же, и научное предвидение имеет пределы. Но пока что мы не можем утверждать, что заметно приблизились к ним. Многие еще в практике строительства городов делается сообразно конъюнктурным обстоятельствам.

Современное градостроительство, его огромные масштабы не могут удовлетворяться генеральными планами отдельных городов, схемами районной планировки ограниченных территорий, оно должно базироваться на всеобщей планировке, охватывающей всю страну. Эту задачу способно решить наше государство. Ее решение требует совместных усилий планирующих органов, Комитета по строительству и архитектуре и, как я думаю, необходимого нам научного центра — Академии градостроительства и архитектуры.

Все связано в рамках нашей гигантской страны — промышленные комплексы, города, люди, которые их населяют. Города сегодняшние, тем более города будущего должно рассматривать как единое взаимосвязанное целое, требующее общего перспективного проекта государственной планировки.

Ошибки в градостроительстве трудно исправимы. Заманчивые проекты грядущих поселений никак не накладываются на планы городов, создаваемых сегодня. По всей вероятности, мы еще доживем до того момента, когда специализированные строительные организации будут заниматься демонтажом некоторых типов сравнительно недавно построенных домов. И хотя они сослужили нам добрую службу в решении острой жилищной проблемы, все же мы должны строить с большей перспективой, с ясным сознанием очевидной истины — города будущего создаются сегодня, в будничной суете каждого дня.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Н. ХОХЛОВ

★

СТРАНА ПАТРИСА ЛУМУМБЫ*

РАЗДЕЛЯИ И ВЛАСТВУИ...

Независимое Конго получило в наследие и «Форс публик», созданные бельгийскими колониальными властями еще в конце прошлого века. Уже после 30 июня 1960 года появилось новое название, соответствовавшее духу происшедших перемен, — Национальная армия Конго. Форма изменилась, а существо осталось прежним: в действительности конголезская армия целиком и полностью находилась в руках бельгийских офицеров. Командующий «Форс публик» генерал Янсен, невысокий, с желтоватыми усиками и белесоватыми глазами, давал себе волю во время инспекционных поездок по стране. Обожал муштру. Негрофоб он был отъявленный, но тем не менее считал, что из африканца при надлежащей воинской системе воспитания можно сделать хорошего солдата.

Политика колонизаторов «разделяй и властвуй» нашла свое наиболее полное воплощение в повседневной тактике «Форс публик». На территорию, занятую племенем лунда, посылались гарнизоны из враждующего племени балуба, или — наоборот. Солдаты лишь выжидали подходящего случая, чтобы свести счеты с племенем, которое, по иронии судьбы, заведомо причислялось к подлежащему истреблению. К этому стремились их отцы и деды, но не смогли, а теперь предоставлялась редкая возможность нанести удар. Солдаты якобы «выходили из подчинения», занимаясь грабежом и насилием, а в действительности бельгийские офицеры и не требовали от них подчинения, когда дело касалось стычек с африканским населением.

Солдат обязан был защищать европейского поселенца, но не коренного жителя, с которым он мог творить что угодно, и за свои действия не отвечал ни перед кем. Африканец убил африканца? Вот невидаль! Европейцам нечего вмешиваться — пусть конголезцы сами и разбираются. Для того у них вожди и туземное законодательство. Однако солдат «Форс публик» им неподсуден. Его нельзя обвинить в каких-либо преступлениях и нарушениях закона: солдат везде и всюду обеспечивает безопасность государства, любые его действия оправданы. Это вдалбливалось в солдатские головы и превращало «Форс публик» в изолированную от народа группу, готовую пойти на любые преступления, порождая бандитизм.

«Форс публик» насчитывали около двадцати тысяч военнослужащих, включая почти две тысячи бельгийских офицеров. Незадолго до независимости командование присвоило восьми африканцам унтер-офицерские звания.

Национальная армия Конго была отлично вооружена, располагала артиллерией, танками, самолетами. По численности и оснащению конголезская армия не имела себе равных в странах Центральной, Западной и Восточной Африки. Независимость не внесла абсолютно никаких перемен в ее структуру. Конголезский солдат жил, как и прежде, с семьей. Он получал в бараке квартиру, ему отводился земельный участок. Солдатские гарнизоны в большинстве своем размещались в пригородах. Жены военнослужащих и члены их семей вели домашнее хозяйство, нередко занимались мелкой тор-

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

говлей, обрабатывали поля. Глава семьи знал одно — военную службу. Контакты с местным населением, которое смотрело на солдат как на чужаков, были крайне ограниченными.

Официально провозглашалось, что военнослужащие «Форс публик» не занимаются политикой. Однако такие заклинания действовали далеко не на всех: среди солдат были и прежде сторонники политических партий, возникших в родственных им племенах. Независимость породила брожение в солдатской массе, основанное на недовольстве африканца существующим положением. Многие солдаты, прослужив десять—пятнадцать лет, оставались рядовыми. Командовали ими по-прежнему белокурые мальцы, прибывшие из бельгийских военных школ. Требование африканизации, уже осуществляемой в новом административном аппарате, все громче раздавалось и в армии. Солдаты приходили к выводу, что их обходят и при независимости, которая и в самом деле ничего им не принесла.

Генерал Янсенс после Конференции круглого стола настоятельно потребовал увеличения «Форс публик» на пять тысяч человек. Разрешение он получил и мог выступать теперь от имени «двадцати пяти тысяч подчиненных». Когда была провозглашена независимость, генерал заявил: «С помощью двадцати пяти тысяч моих солдат я могу управлять Конго, если захочу и если этого требуют обстоятельства...»

Но конголезскими солдатами уже никто не управлял: они выходили из подчинения и бельгийцев и африканцев. 4 июля 1960 года Национальное радио Конго сообщило об отмене расовой дискриминации в армии, и солдаты почувствовали, что они все же не забыты и что их судьбой начинает интересоваться новое конголезское правительство. Они собирались группами, вызывали бельгийских офицеров для объяснения. То тут, то там возникали стихийные митинги. В военный лагерь Леопольда, расположенный на окраине столицы, прибыл генерал Янсенс. Он выступил в солдатской столовой, вмещающей более пятисот человек. Речь его отличалась лаконизмом.

— Я разговариваю с вами как солдат с солдатами. Я никогда вам ничего не обещал и не обещаю. Армия, которой я команду, останется точно такой же, какой она была до сего времени. Я запрещаю вам заниматься политической болтовней. Заподозренные будут уволены из военно-полицейских сил.

Чтобы высказанная мысль дошла до каждого конголезского солдата, Янсенс подошел к доске и написал цветным мелком: «До независимости=после независимости». Офицерам он отдал приказ, чтобы они провели свои подразделения мимо этой доски и объяснили солдатам содержание афоризма колониального полководца...

Реакция солдат была непредвиденной — они потребовали немедленной отставки генерала и бросились к оружейным складам, где уже стояли бельгийские офицеры с парабеллумами и автоматами. Снова начались митинги. Огонь критики сосредоточивался на тех конголезских лидерах, которые, придя к власти, назначили себе годовое жалованье в полмиллиона франков, приобрели виллы и особняки, разъезжают на автомобилях, имеют по дюжине костюмов, одевают своих жен и любовниц в шелка и бархат, дарят им золото и жемчуг...

В Нижнем Конго солдаты восстали. В тисвильском военном лагере Гарди конголезские военнослужащие захватили склад с вооружением. Отряды солдат из Тисвиля, Кизанту и Матади направились в Леопольдвиль. Колеблющаяся часть солдат осталась в казармах. Участники похода не были вооружены — в их руках были поясные ремни, палки и велосипедные цепи. Назревал погром — бессмысленный и беспощадный.

Солдаты окружили резиденцию премьер-министра и потребовали, чтобы Лумумба явился к ним. Он вышел. На него обрушился град вопросов. Кто сейчас командует конголезскими войсками? Если политические лидеры с низшим и средним образованием заняли посты министров, то почему солдаты не могут стать офицерами? Почему новое правительство не открывает военные школы? Лумумба долго не мог начать: раздраженные солдаты наступали на него с кулаками и грозились «разогнать всех политиканов». Премьер-министр бросал отдельные фразы, с кем-то спорил, с кем-то соглашался. Серьезного выступления не получилось. С трудом он выбрался из толпы и уехал в парламент.

Лумумба признал законность солдатских претензий, чем сразу же дезавуировал генерала Янсенса, призывающего двинуть «верные войска» против бунтовщиков. Лумум-

ба заявил о смещении Янсенса с поста командующего Национальной армией Конго. Вопрос о бельгийских офицерах, сказал Лумумба, будет рассмотрен парламентом в самое ближайшее время. Он обещал повисить денежное довольствие солдатам и, как министр обороны, обнародовал приказ о присвоении ряду военнослужащих сержантских и офицерских званий.

Правительство назначило специальную комиссию, которая вступила в переговоры с солдатами-парламентерами. Бунтовщики, распоясанные, без головных уборов, зачастую во хмелю, получали новые важные назначения и отправлялись из Дворца Наций, из особняков министерств в свои части, предъявляя полномочия центрального правительства, отпечатанные на старых бельгийских бланках.

В спешке указания и распоряжения сыпались одно за другим. Солдаты, ссылаясь на какой-то приказ президента, сами стали выбирать себе командиров; отобрав у бельгийцев мундиры, щеголяли в офицерской форме. Бельгийские офицеры начали разбегаться. Оставшихся назначили советниками конголезских командиров. Генерал Янсенс, которому солдаты изрядно намяли бока, скрылся. Среди европейского населения Конго царил паника. Авиакомпания «САБЕНА» сосредоточила весь самолетный парк в Браззавиле, Бужумбуре и Элизабетвиле. Началось бегство. Хулиганские действия отдельных солдат обостряли обстановку. К солдатам присоединились безработные и деклассированные элементы городов. Они совершали налеты на магазины, грабили особняки, насиловали белых женщин. Появились убитые и раненые. Жертвы были и со стороны европейцев и со стороны конголезцев. По радио выступил Лумумба. Он призывал к спокойствию, к восстановлению порядка, к охране безопасности как европейского, так и конголезского населения.

— Мы боролись за независимость,— сказал он,— не для того, чтобы изгнать иностранцев, а чтобы самим управлять страной и укрепить независимость. Правительство обязано защищать интересы всех без исключения граждан и поддерживать порядок в стране.

Призывы к спокойствию не действовали. Радио Леопольдвилля, Браззавилля, Элизабетвилля и Букаву по нескольку раз в день передавало списки погибших и пропавших без вести. Тысячи автомашин, груженных всяким скарбом, скопились в Леопольдвиле у переправы на Браззавиль. Беженцы устремлялись в Судан, Родезию, в Уганду, Танганьнику, в Руанду и Бурунди. Европейские газеты и журналы заполнились фотографиями плачущих женщин, обезумевших от страха детишек. Готовилась чудовищная провокация, предотвратить которую центральное правительство было не в состоянии: оно потеряло контроль над этими трагическими событиями. Буржуазная пропаганда, однако, взваливала всю вину за гибель людей, ставших жертвами разнузданной солдатни, на правительство Лумумбы.

В дни, когда анархия захлестнула все Конго, в стране совершались убийства отнюдь не по предписанию каких-то властей. В озеро Киву бандитствующие конголезцы сбрасывали бельгийцев, привязывая к жертвам камни. В порту Матади бельгийские военные расстреливали безоружную толпу и сбрасывали тела убитых в реку. Оправдывать конголезцев — задача столь же неблагоприятная, как и огульная защита бельгийцев. Уверения в том, что «ни одна европейская женщина» не была изнасилована в Конго, так же далеки от истины, как и обвинение в «массовых изнасилованиях». Ведь нет счетчика, который бы регистрировал сцены взаимного садизма: крайняя жестокость руководила действиями распоясавшихся и конголезцев и бельгийцев. И в этой драматической свалке «черное и белое» (речь идет о погромщиках обеих сторон) оказалось достойно друг друга...

В центральном правительстве не было координации действий — министры выступали с заявлениями, которые ни с кем не согласовывались, не получали одобрения кабинета. Министр иностранных дел Республики Конго Жюстен Бомбоко обратился к Бельгии с просьбой об оказании военной помощи. Позднее он заявил о желании иметь американские войска в тех районах Конго, где общественный порядок «не может быть восстановлен в сотрудничестве с бельгийскими войсками».

10 июля Монз Чомбе через английского консула в Элизабетвиле обратился к Англии за военной помощью: вопрос рассматривался в Лондоне. Губернатор провинции Катанги бельгиец Шеллер отдал приказ о приведении в состояние боевой готовности

всех войск, дислоцированных в этой части Конго. Глава бельгийской миссии в Элизабетвиле граф Гарольд Эспремон Линден взывал к «спасительным действиям».

11 июля Моиз Чомбе провозгласил Катангу независимым государством. В своей речи по радио Элизабетвила новый президент нового «государства» так объяснял свой шаг: независимое Конго развалилось. Анархия охватила всю страну за исключением «медной империи». Он, Чомбе, видит выход в том, чтобы сохранить одну провинцию, где будет порядок, где безопасность бельгийцев гарантирована. Чомбе призывал все страны мира признать Катангу в качестве суверенного государства.

За несколько дней до этого Чомбе обратился к Бельгии с просьбой о срочной военной помощи; бельгийские парашютисты прибыли в Элизабетвиле раньше, чем в другие районы Конго. Министр иностранных дел Бельгии Пьер Виньи, высказываясь против провозглашения самостоятельного государства Катанги, о чем он довел до сведения послов дружественных держав, был неискренен: как тогда расценить посылку войск без консультации с центральным правительством Конго, по просьбе человека, который еще не успел объявить себя «президентом» Катанги? Столь же фальшивой выглядела позиция Бельгии и в ООН: дипломаты Брюсселя предостерегали иностранные державы от акта признания Катанги, подчеркивая, что отделение этой провинции открывает двери «коммунизму» в остальное Конго. «Никакого вмешательства не требуется, так как оно лишь внесло бы еще большую путаницу», — телеграфировало правительство Бельгии в Организацию Объединенных Наций.

Во всем этом сказывались далеко идущие расчеты — удержать свой, бельгийский контроль над положением в Катанге, используя сепаратизм Моиза Чомбе как фактор давления на правительство Патриса Лумумбы. По замыслу, войска ООН, приглашаемые Леопольдвилем, должны были действовать в интересах сохранения единства страны. Выступая на словах за единое Конго, Брюссель намеревался использовать сепаратизм Катангской провинции как свой козырь в переговорах с Леопольдвилем и этим сбить антиколониальное настроение у конголезских националистов. Вмешательство ООН грозило отстранить Бельгию от дирижерского пульта, который она старалась удержать любыми средствами, включая сепаратизм Катанги и, возможно, других провинций.

Политическое ханжество — так можно расценить поведение официального Брюсселя. Бельгия фактически признала Катангу отделившимся государством, но в то же время вела курс на то, чтобы другие державы не поступили точно таким же образом. Сама же Бельгия направила в Элизабетвиле правительственную делегацию с чрезвычайными полномочиями, замаскировав ее названием «миссия технической помощи».

Во второй половине дня 13 июля бельгийские парашютисты под командованием генерала Гейсена высадились в леопольдвильском аэропорту Нджили. Через сорок восемь минут операция была завершена: бельгийские войска овладели конголезской столицей. Президент Касаубу и премьер-министр Лумумба накануне вылетели в Элизабетвиле, чтобы встретиться с Моизом Чомбе и вступить с ним в переговоры. Катанга ответила отказом. Самолету не было дано разрешение на посадку в Элизабетвиле, и он, прождав длительное время в Кинду, лишь 14 июля возвратился в Леопольдвиле.

Президент и премьер въехали в город, улицы которого свидетельствовали о варварском налете. Лежали трупы убитых. Фасады домов изрешечены пулями. На тротуарах — сплошные дорожки из битого стекла. Сновали военные джипы. В городе введен комендантский час. Всюду патрули. Леопольдвиле, как в колониальные времена, снова оказался в руках бельгийских войск. Министерства были закрыты. Центром всей жизни вновь стала бельгийская резиденция, охраняемая отрядами парашютистов. Машину, в которой ехали главы государства и правительства, на каждом шагу останавливали бельгийские военные.

Это был акт агрессии против молодого африканского государства, совершенный Бельгией при поддержке стран НАТО.

Любое вероломство находит оправдание со стороны тех, кто в нем повинен. Насилируется международное право, фальсифицируется история, выворачиваются наизнанку понятия о правах человека, равенстве всех наций и народов. Никогда не было недостатка в экспертах, в специалистах, оправдывающих самые грязные действия ссылками на самое чистое и святое! В Конго Бельгия орудовала автоматом, а в Европе выши-

бала слезу благочестивыми словами. Король Бодуэн выступил по радио. «В конголезской армии,— заявил он,— вспыхнуло движение страшной жестокости, а ответственные власти, вместо того чтобы бороться с этим, постарались восстановить конголезский народ против бельгийцев... Наши войска в Конго вели себя хладнокровно и с достоинством, заслуживающим самой большой похвалы».

В ту пору мир разделился надвое — на сострадателей маленькой доброй Бельгии, вовлеченной в конфликт, уладить который она не в силах, и которая нуждалась в помощи и моральной поддержке. Печать Запада не жалела красок, расписывая «жестокости против белого человека» в Конго, подбирала в море фактов такие, которые только чернили африканцев. И — на тех, кто полностью обелял отдельных бандитствующих конголезцев. Но это были крайности, удивившие от суровой истины.

Бельгийский военный удар был рассчитан и на то, чтобы изолировать Лумумбу и его окружение, скомкать едва начавшие складываться национальные институты управления, вызвать раскол в правительстве. Сама личность Лумумбы уже не вызвала никаких сомнений у колонизаторов: он и при независимости делает то, за что выступал до нее. Никаких отклонений от намеченного курса! Значит, он один и повинен во всем.

Разветвленный бельгийский аппарат, оставшийся в Конго, повел атаку против премьер-министра. Печать и радио развернули кампанию, суть которой сводилась к тому, что нужно убрать Лумумбу. Нет, Бельгия не против независимости, она за нее, но — без Лумумбы. Она готова оказать любую помощь Конго, если во главе его будут поставлены другие лидеры: с Лумумбой ни о чем нельзя договориться. Он — экстремист, крайне левый, замаскированный коммунист...

Лумумба превращался в источник всех зол, нависших над Конго. Но и на Западе, вопреки иным заверениям, живут не одни дикари от политики, готовые поверить первому гадкому слову, пусть оно и исходит от верноподданной НАТО Бельгии! Английский бюллетень «Форин рипорт» счел нужным высказать свое мнение о конголезском премьер-министре, действия которого порождали поток статей. «Лумумба отличается упорством в работе, храбр и располагает к себе. Его сила в том, что он является единственным подлинным националистом, конголезским лидером, выступающим против сохранения строя по племенному и региональному признаку. Очевидно, Лумумба единственный политический деятель Конго, обладающий необходимыми качествами для того, чтобы превратить Конго в унитарное государство».

На редкость точная оценка! Только тогда Лумумба не чувствовал, что он — единственный руководитель Республики Конго, выступающий за сохранение ее единства и независимости. С ним и за ним шли многие. Бельгийцы делали ставку на раскол, Лумумба — на сплочение, и это ему удавалось. Вместе с Касаубу они обсуждали вопрос, связанный с высадкой бельгийских парашютистов. Они пришли к единому мнению: надо срочно обращаться в Организацию Объединенных Наций, в Совет Безопасности. Обращение было послано.

ООН проявила оперативность: был немедленно создан Совет Безопасности, принявший резолюцию об оказании помощи Республике Конго.

Журнал «Юроп мэгэзин», издающийся в Брюсселе, опубликовал статью под названием «Разбитое Конго». Большая фотография переносила читателей и зрителей в леопольдвильский собор святой Анны, где состоялось торжественное богослужение по случаю конголезской независимости. Повернув стулья спинками вперед, стоят рядом премьер-министры Эйкенс и Лумумба. Надпись гласит: «Реквием по Конго, которого уже нет».

Но Конго существовало: в Леопольдивле жил и действовал Лумумба.

• ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЛУМУМБОЙ

На Конго обрушился политический водопад. Многим казалось, что пирогу вот-вот разобьет, и иные, вроде бы прочно сидевшие в ней, уже поглядывали, как бы им выйти из нее без особого риска для себя. Символом правого конголезского дела оставалось имя Патриса Лумумбы. Его фантастическую работоспособность отмечали обозреватели

Запада. Его политическая честность обращала на себя внимание всех, кто интересовался его личностью издали, кто наблюдал за ним вблизи. В «Пари-жур» была опубликована статья, содержащая такое заключение: «В стране, не обладающей политической культурой, это единственный человек с инстинктивным политическим чутьем. В этом он не имеет равноценных противников. Лумумба всегда идет на несколько шагов вперед по сравнению с самыми хитроумными своими врагами».

Все обращалось против него, а он не сдавался. Фронт борьбы расширялся чуть ли не с каждым днем. Бельгия с подпорками НАТО, Моиз Чомбе с опорой на монополистическую пирамиду всего мира, а тут еще командование войсками ООН, генеральный секретарь, его бесчисленные эмиссары. «Голубые каски» обосновывались в Конго — вскоре численность ооновских солдат достигла двадцати тысяч.

14 августа Лумумба направил генеральному секретарю пространное письмо, в котором потребовал вывода из Катанги всех неафриканских войск, немедленной посылки туда марокканских, ганских, гвинейских, эфиопских, малийских, суданских, тунисских, либерийских и конголезских подразделений. «Переговоры, которые вы только что вели с господином Монзом Чомбе, — писал Лумумба, — служат убедительным доказательством того, что вы сами становитесь участником конфликта между мятежным правительством Катанги и законным правительством республики, что вы вмешиваетесь в этот конфликт и что вы используете войска ООН для того, чтобы повлиять на исход этого конфликта...»

Между Лумумбой и генеральным секретарем ООН завязалась оживленная переписка. В одном из своих посланий премьер Конго заявил о том, что правительство и народ потеряли доверие к Хаммаршельду. Последнему изменила выдержка — он отказался лететь в Нью-Йорк с делегацией конголезского правительства и покинул Леопольдвиль, не встретившись с Лумумбой.

Международный шум вокруг Конго отнимал много сил и энергии у правительства Патриса Лумумбы и в какой-то мере уводил в сторону от внутренних проблем. Правительство Лумумбы оказалось слабо информированным о том, что происходит внутри страны. Западные разведчики беспрепятственно сновали между Элизабетвилем и столицей, выезжали в Браззавиль и другие города Африки. Обнаглевшие сыщики слали свои шифровки прямо с центрального телеграфа Леопольдвилля! Разнонациональные лоуренсы проникали во все щели, оказывая услуги и европейским и конголезским противникам Лумумбы.

Поначалу Касавубу соблюдал известную осторожность в своих действиях, направленных на устранение правительства Патриса Лумумбы. В августе 1960 года в особняке Монза Чомбе на улице Элизабет, обрамленном соседствующими американскими и английскими консульствами, состоялось секретное совещание, в котором приняли участие хозяин дома, он же президент Катанги, Альбер Калонжи и большая делегация от партии Абако. Совещание приняло решение о свержении правительства Лумумбы. 7 августа состоялось заседание центрального комитета Абако под председательством Жозефа Касавубу. Партия президента выразила недоверие правительству Лумумбы и выдвинула требование о создании конфедерации Конго. В тот же день видный абаковец Гастон Диоми направил Совету Безопасности телеграмму следующего содержания: «Народность муконго вновь заявляет, что она является сторонницей создания правительства муконго в федерации Конго. Она отвергает центральное правительство и возлагает надежды на мудрость Совета Безопасности».

Молодежная организация партии Абако устроила демонстрацию на улицах Леопольдвилля, неся лозунги: «Да здравствует государство Муконго!», «Да здравствует правительство Чомбе!», «Да здравствует провинция Касаи во главе с Калонжи!», «Долой правительство Лумумбы!»

В столице распространялись листовки, содержащие злобные, разнузданные выпады против Патриса Лумумбы и его сторонников. Начала работать радиостанция «Голос правды», принадлежащая партии Абако. Диктор обычно обращался к слушателям со словами: «Мы только что получили новые материалы о преступной деятельности коммунистического агента Лумумбы...» Передачи шли под рубрикой «Врз» — «Правдивое»...

Лумумба пытался связаться с Жозефом Касаубу и объяснить с ним. На телефонные звонки он получал один и тот же ответ: «Президент болен». Что это? Добровольный уход с поста? Отступление перед трудностями? У Лумумбы никогда не было резких стычек с Касаубу, до сих пор президент не сказал ни единого слова против Патриса Лумумбы, по крайней мере на публике. Будучи добрым и доверчивым человеком, Лумумба даже в этом загадочном поведении Касаубу не усмотрел никаких злых козней. Просто на какой-то срок улитка скрылась под панцирь...

Радио Леопольдвилья передало сообщение: было объявлено наступление конголезских войск на Баквангу. Лундула и Мполо доложили, что гарнизон в Стэнливиле готов к бою. Замысел сводился к тому, чтобы смять противодействие Альбера Калонжи, объявившего себя мулопе — королем алмазной Касаи, а затем выйти на границы с Катангой в районах, где проживают племена, враждебно настроенные по отношению к Чомбе.

Бакванга была взята — намечалось конголезское решение конголезской проблемы. И как раз Конго пошло против Конго: 5 сентября 1960 года в 7 часов 30 минут вечера по радио Леопольдвилья был зачитан декрет президента Жозефа Касаубу о смещении с поста премьер-министра Патриса Лумумбы. Кроме Касаубу, под декретом поставили свои подписи министр иностранных дел Жюстен Бомбоко и министр-резидент в Бельгии Альбер Дельво. Кто-то ждал этой грозы, а кого-то она застала врасплох.

Спустя каких-то полчаса после ошеломляющей новости Лумумба поспешил к зданию центрального радио в Леопольдвиле, которое охранялось солдатами ООН и подразделением полковника Мобуту; именно тогда начало входить в употребление ставшее широко известным потом выражение «мобутовские солдаты». Он в последний раз беспрепятственно вошел в студию; заготовленного текста речи у него не было. Может быть, это обстоятельство заставило его неторопливо подбирать слова и оценки. Послышался негрский, но четкий тенорок, знакомый всем конголезцам голос.

— Я был удивлен не менее вас, дорогие сограждане, — говорил Лумумба, — узнав о решении президента Республики Конго Жозефа Касаубу. Произошло какое-то поразительное недоразумение. Если говорить серьезно, то мое правительство, избранное конголезским народом, получившее его одобрение, не может быть распущено главой государства без соответствующей санкции парламента. С таким же основанием я, как премьер-министр, могу сместить с занимаемого поста президента республики. Подобные действия дают основание нашим врагам издеваться над нами и над конголезским народом, вновь и вновь обвинять нас в неспособности управлять независимым Конго без помощи бельгийцев. Дорогие братья! Я заявляю вам, что законное правительство по-прежнему стоит у власти и продолжает выполнять свои нелегкие обязанности. Возникшие недоразумения будут устранены. Я призываю вас к спокойствию, к сплочению вокруг правительства, защищающего ваши интересы, интересы суверенного Конго.

Он так говорил, чувствуя за собой поддержку народа, глубоко веря в то, что вокруг него сплотятся все честные конголезцы. Но собраться было чрезвычайно трудно: естественное и частое общение премьер-министра со своими коллегами по партии, по государственной службе было нарушено. В резиденцию Лумумбы запретили вход его ближайшим сторонникам. Кто отдал приказ — неизвестно. Кто направил войска якобы для охраны, а на самом деле для полной блокады резиденции — тоже загадка. Участились телефонные звонки с одним и тем же вопросом: «Вы у себя?» Услышав подтверждение, незнакомый любопытствующий тот же час вешал трубку. Так повторялось десятки раз в сутки. Разносились слухи о том, что Лумумба бежал из Леопольдвилья, что он арестован, что объявился в Стэнливиле.

Лумумба был изолирован — он оказался запертым в своем домике. Иностранные корреспонденты звонили к нему на квартиру и брали интервью. Радио Браззавилья передавало указы Жозефа Касаубу. В Элизабетвиле Моиз Чомбе, узнав о смещении Лумумбы с поста премьер-министра, призвал создать единый фронт против Лумумбы. Но старания президента Катанги были по крайней мере запоздалыми: этот фронт уже существовал в самом Леопольдвиле. Кордье с ссылкой на чрезвычайные обстоятельства закрыл аэропорты: на них приземлялись американские самолеты, находившиеся в распоряжении командования ООН. Жозеф Окито не мог осуществить свое намере-

ние вылететь в Москву и от имени Лумумбы проинформировать Советское правительство о происходящих событиях.

7 сентября конголезский парламент, собравшийся с большим трудом и начавший свою работу со значительным опозданием, ликвидировал указ президента о смещении Патриса Лумумбы. Одновременно парламент отметил неправомочность премьеры устранить с поста президента республики. Этот акт парламента внес некоторое успокоение — временное и шаткое. Не все в парламенте понимали, что главные события разворачиваются в других местах, что с мнением депутатов никто уже не считается.

12 сентября конголезские газеты опубликовали состав нового правительства. По поручению президента его сформировал Жозеф Илео. Странники Лумумбы не получили в нем ни одного поста. В тот же день Лумумба был арестован. Сохранился его собственный рассказ об этом. «Было три часа тридцать минут. Я находился в своей резиденции, где спокойно работал. В этот момент ко мне в комнату вошла группа солдат. У них имелся приказ о моем аресте, подписанный генеральным прокурором, бельгийцем по национальности. Меня арестовали. Я понял, что обманутые военные получили много денег, но я также знал, что конголезская армия оставалась верной моему правительству. Когда я спросил солдат о причине моего ареста, они ответили: «Если вы сами не знаете, в чем вас обвиняют, тогда мы арестуем прокурора...»

Я предложил солдатам направиться в лагерь Леопольда. Там нас окружили военные, которые, узнав, в чем дело, возмущались и выкрикивали: «Нужно арестовать Касавубу и генерального прокурора!» Я ответил, что этого делать не нужно: пусть делают ошибки другие, а мы будем поступать по закону, который на нашей стороне. Меня освободили. Обрато я ехал на открытой автомашине и обращался к публике с призывами к спокойствию. Я говорил, что меня освободила армия, что она с нами в эти тревожные дни. На пути меня повстречал генерал Мполо. Я попросил его установить связь с представителями ООН и дать мне возможность выступить по радио. Нас не подпустили к зданию радиостанции. Я ни разу не пробивался к радио силой. Но я бы мог взять с собой сто человек и захватить радиостанцию. В таком случае были бы жертвы. А я хочу избежать всякого кровопролития, всяких инцидентов. Если же я захочу войти в здание радио, то пусть все знают, что за исход я не буду нести никакой ответственности».

Этот рассказ передает настроение Патриса Лумумбы в тот момент. Он настолько непоколебимо верил в законную власть, что исключал всякую возможность подорвать ее незыблемые права! Он был убежден, что любые происки, направленные против него и его правительства, обречены на провал. Стоило ему объясниться с солдатами — и они не только освободили его, но и горячо приветствовали, скандируя: «Патрис! Свобода! Конго!» Лумумба расценивал затею с правительством Илео как неумную: кто же в Конго пойдет за Илео? У него нет никаких шансов продержаться у власти. Это несерьезно. Как мог Касавубу пойти на такой рискованный шаг? Он мог выбрать в противники более сильную и популярную фигуру. В парламенте будут смеяться...

Лумумба связался с Жозефом Касонго, с Виктором Лундулой и Морисом Мполо, с Антуаном Гизенгой и Жозефом Окито — все они были согласны с тем, что надо срочно собирать парламент. Как это сделать? Леопольдвилль лихорадило. Всем правил солдат, стоящий на улице: захочет — арестует или побьет, смилостивится — ограничится любой возможной взяткой или тумаками. Солдатское царство! Но появились уже офицеры, которые инспектировали посты и удалялись на бесконечные совещания за город, в район, известный под названием Бинза.

Там находился учебный лагерь конголезских солдат, военная тюрьма, там проживал полковник Жозеф Мобуту. Туда заглядывал и Эндру Кордзе. С деликатными поручениями прибывали офицеры командования ООН: они в спешном порядке готовили боееспособные части для полковника. В Бинзу направлялись люди, прошедшие специальную комиссию, которая занималась проверкой на лояльность; мерилom служила верность Баконго и президенту. Бинза имела своих постоянных посетителей: Бомбоко, Боликанго, Нендака. Мобуту занимался воссозданием конголезской армии. Нендака формировал органы безопасности. Жюстэн Бомбоко оказывался нужным везде, когда вставал вопрос о тайных замыслах, об интригах, требующих искусства иезуита. Он из тех, кто предает легко, ловко, кто умеет с врагом говорить как с наилучшим

другом, чтобы притупить его бдительность и подвести к плахе заговора. Из тех, кто интуитивно подмечает малейшую перемену в положении лидеров. Кресло лишь чуть дрогнуло, чего другие и не заметили, а Бомбоко уже знает, как он упадет, видит, кто из новых пробирается к этому креслу, чтобы поднять и сесть в него.

Жан Боликанго почти зримо ощущал, как события выносят для него министерское кресло. Нечего и гадать, что любое правительство после Лумумбы примет его в свои объятия. Он определенно против Лумумбы и за любую — неопределенную и неизвестную — власть. Охрана ООН беспрепятственно пропускала Боликанго в студию. Его молодчики развозили по городу листовки; они содержали угрозы по адресу тех, кто еще поддерживает Лумумбу. Парламентариям давался совет — срочно отбыть в свои избирательные округа во избежание неизбежной расправы. Парламент превратился в опасное место. И все же он был собран. Лумумба снова оказался перед знакомой аудиторией: заседание палаты представителей и сената было объединенным. Лумумба выступал несколько раз. На трибуну поднимались сторонники Касаубу. Но странно: у них не было аргументов, чтобы как-то оправдать действия своего покровителя. Сторонники Лумумбы возвысили голоса в защиту законного правительства, в защиту конституции и гражданских свобод. Здесь они господствовали безраздельно. Когда зашла речь о желательности национального примирения, Лумумба сказал:

— Я был согласен примириться с Касаубу, но события этих дней показали, что он не желал этого примирения. У меня лично нет никаких претензий к Касаубу, мы даже не были политическими противниками. Однако Касаубу подписал мандат на арест премьер-министра, которого вы облекли законными полномочиями. По сведениям, которые мы получили, заговорщики намеревались убить меня после ареста...

Какая бездонная несправедливость! Его изображают кровавым диктатором, каголики его предают анафеме, а он, идеалист в самом возвышенном смысле этого слова, даже в критические моменты руководствуется религиозными догмами о непротивлении злу насилем. Мне отпускаеши... Он не руководствовался чувством мести, он честно заявил, что не питает ни к кому зла и протягивает руку на сотрудничество во имя единого, родного и несчастного Конго.

Он стоял в светло-сером костюме, спокойный, ни разу не улыбнувшийся. Высшая государственная логика в сочетании с человеческой добротой покорила зал. Он не требовал всей полноты власти в стране, но парламент и сенат предоставили ему это исключительное право. Здесь же была назначена комиссия для достижения примирения между Жозефом Касаубу и Патрисом Лумумбой. Она сразу же приступила к делу. Документ о примирении подписали Касаубу, Лумумба и члены комиссии.

Из Стэнливила пришел свежий номер газеты «Ухуру». В передовой статье говорилось: «Наши дорогие братья! Это — голос огромной провинции, где Патрис Лумумба создал партию Национальное движение Конго, провинции, избиратели которой послали Патриса в парламент. Мы горды своим избранником, нашим лидером, лидером всего независимого Конго. Правительство Лумумбы не пошло по пути, уготованному колониальной Бельгией. Кто из вас не знает, что Патрис Лумумба первым высказался за независимость? Лумумба каждый раз разоблачал махинации бельгийцев и каждый раз выходил победителем. Слава Лумумбы — слава нового Конго. Она завоевана умом и беспримерным служением своей родине. Теперь все конголезцы должны принять самое активное участие в том национальном движении, которое возглавляет Лумумба. Мы призываем вас в этот кульминационный период выступить всеми силами за единство. История человечества оценит наши усилия.

Пусть здравствует Лумумба!»

Лумумба имел все основания сказать:

— Народ в провинциях на моей стороне и поддерживает мое правительство.

Бельгийский представитель в Элизабетвиле миллионер в ранге посла Ротшильд информировал свое правительство: «Последние события в Леопольдвиле были встречены в Элизабетвиле с большим облегчением. Смещение Лумумбы укрепило руководящую роль Чомбе как поборника государственного переустройства бывшего Бельгийского Конго на конфедеративных началах. Успех эксперимента с Катангой повлечет, видимо, за собой государственное переустройство Конго по элизабетвильскому образцу».

Гастон Эйкенс, премьер Бельгии, также не удержался от комментария, заявив:

«Бельгия исполнена решимости защищать свои моральные и материальные интересы в Конго всеми средствами».

Моиз Чомбе выступил перед участниками военного парада в лагере «Массар».

«Мы будем сражаться до тех пор,— сказал он,— пока наша независимость не будет признана всем современным миром».

Высказался и полковник Жозеф Мобуту: «Если будет нужно совершить военный переворот, я сделаю это».

Американский посол Клэр Тимберлейк вручил Мобуту личное послание президента Эйзенхауэра — Соединенные Штаты дали согласие на присылку вооружения и военных специалистов.

Вскоре Лумумбе сообщили, что Касавубу отказался от договоренности, достигнутой примирительной комиссией. 14 сентября 1960 года полковник Жозеф Мобуту впервые открыто выступил на конголезской политической арене. Вечером в холле отеля «Реджина» он организовал пресс-конференцию. Дюжина военных джипов с вооруженными солдатами остановилась около отеля. Полковник держал стек. Огромная фуражка абажуром висела на его худой голове. Блестели очки. Расставив ноги, он начал:

— Преступные политики довели нашу страну до полного краха. Конголезская армия стоит выше любых политических группировок. Она намерена восстановить порядок в стране и нейтрализовать соперничающих в борьбе за власть политиков, заставить уйти их со сцены. Отныне Конго будет править совет политических комиссаров во главе с Жюстенем Бомбоко. На первом своем заседании, которое только что закончилось, совет принял решение о высылке из Леопольдвилля дипломатических представителей Советского Союза и Чехословакии...

Нахлынувшие в зал бельгийцы торжествовали: каждая фраза полковника вознаграждалась овациями. Наконец-то правительство ненавистного им Лумумбы устранено! Пусть во Дворец Наций придут школьники — все равно это будет лучше.

Из «Реджины» полковник со своей свитой помчался сразу на радио. Он заявил, что берет власть в свои руки, вводит «военный режим» в Конго, распускает парламент и «освобождает премьер-министра и главу государства от их обязанностей». Мобуту разъяснил: хотя президент Касавубу «нейтрализован», он все еще остается главой государства. На другой день президент заявил о себе: вместе с Жозефом Илео он подписал письмо, врученное советскому посольству, о разрыве дипломатических отношений.

Леопольдвилем правила «группа Бинзы». Кроме Мобуту, Бомбоко и Нендаки, в нее вошли Альберт Ндоло, управляющий конголезским банком и вице-президент административного совета университета Лованиум, Дамиен Кандоло, ведающий вместе с Нендакой разведкой, и Жером Анани, сенатор от Киву, вице-президент провинциальной организации трибалистской партии «национального прогресса».

Как-то вечером в домик на авеню Килькесе, где жил Лумумба, пробрался Нестор Окито, девятнадцатилетний сын сенатора. Сам он не мог прийти: его выпустили из тюрьмы избитого. У Окито было девять человек детей. Нестор сообщил, что отец остается в Леопольдвиле один, а все они завтра уезжают в Стэнливилль.

«Папа просил передать, чтобы вы тоже отправили отсюда детей...»

Лумумба переговорил с Полин. Через несколько минут она была в посольстве Объединенной Арабской Республики. Женщину с кошелками мобутовские солдаты, торчащие в садике особняка и снаружи, пропустили беспрепятственно. Супруга египетского дипломата госпожа Абдель Азиз Исхак села в машину и выехала с Полин. Она взяла Франсуа, Патриса и Жулиану и вскоре вылетела с ними в Каир. Роланд остался с родителями. У него кровоточил шрам на голове: когда арестовывали Лумумбу, солдат ударил его прикладом...

А малышка росла болезненным ребенком. Врачи посоветовали отправить ее на лечение в Европу. Дипломаты из дружественных стран помогли Полин вылететь в Женеву. Там ребенок умер. Полин ходила по транспортным компаниям, стараясь отправить гробик с телом на родину. Отказ следовал за отказом. Предлагали похоронить ребенка в Женеве. Но обычай требовал, чтобы покойник сошел в землю родины. Полин не могла отступить от него. Она направилась в отделение Организации Объединенных Наций, где ей тоже отказали в помощи, сославшись на то, что это будет истолковано как вмешательство международной организации во внутренние дела Конго...

Все-таки она пристроила гробик в самолет, который должен был отправиться в Африку. Потом, когда она была уже в Леопольдвиле, до нее дошло известие, что гробик затерялся в дороге...

Домашний арест. Режим, не уступающий тюремному. Телефон премьер-министра был соединен только с ведомством Нендаки. Услужливые садисты время от времени звонили и сообщали: арестован снова Окито, пропал без вести Гизенга. Лумумба обратился к командованию ООН с просьбой предоставить ему политическое убежище. Нет, нельзя этого сделать: ООН по-прежнему не вмешивается во внутренние конфликты! И все же какой-то компромисс в пользу Лумумбы был достигнут — его домик стали охранять ганские и гвинейские солдаты. На несколько минут они пропустили Гизенгу, который не хотел покидать столицу, не повидавшись с Лумумбой.

— Поезжайте в Стэнливилль, Антуан, — сказал ему Лумумба. — Немедленно покидайте эту ловушку. В Леопольдвиле мы уже ничего не сможем предпринять. Выбирайтесь, пока не поздно. Свяжитесь с Кашамурой — я советую ему отправиться в Киву. Придется все начинать сначала...

— Я согласен, Патрис, — ответил Гизенга. — Но я бы предложил несколько другой вариант. Что если я выеду на родину, в Квилу? Там меня поддержат...

— Тогда мы распылим свои силы. Главной базой в борьбе за единое Конго должен стать Стэнливилль. Там находится военный гарнизон. Туда бегут солдаты из армии. В Стэнливилль стекаются все недовольные нынешним режимом. Именно оттуда должно начаться наступление. Не сомневаюсь, что Квилу и другие районы присоединятся к нам потом.

Гизенга предложил Полин отправиться вместе с ним, но она отказалась. В октябре радио Леопольдвила передало сообщение, что Антуан Гизенга скрылся. Это была правда: Гизенга уже находился в Стэнливиле.

...Вот, должно быть, ликуют негрофобы, увидевшие в конголезской свалке самое убедительное подтверждение своим доводам: рано Африке в двадцатый век... Еле слезли с дерева, а уже расселись в парламентских креслах... Дай им волю — передерутся, истребят друг друга... Что бы ни говорилось о колониализме, а он был сдерживающей силой... Полюбуйтесь на равенство всех рас и народов...

Лумумба размышлял, анализировал происходящее.

Можно было поступать более сурово с Касавубу, Бомбоко и другими. Но тогда правительство распалось бы еще раньше, что послужило бы доказательством правоты теории о «неспособности» африканцев управлять доверенным им государством. Ставить на ключевые посты своих касайцев? Тогда вступили бы в силу обвинения в том, что Лумумба насаждает власть своего племени, обвинение, которое и без того сопровождало всю его деятельность на посту премьер-министра.

Он рассчитывал на эффективную помощь независимых африканских стран. Лумумба продолжал получать послания от президента Ганы Кваме Нкрума. Моральная поддержка обеспечена. Но девяносто девять процентов конголезцев, услышав это выражение, спрашивают: а что это такое? Ганские войска втиснуты в железные рамки командования ООН. В чем-то они помогли и продолжают оказывать помощь, спасая иногда сторонников Лумумбы от расправы. Ганский солдат из числа охраняющих особняк Лумумбы в нарушение строгих предписаний не вступать в контакты с Лумумбой сам вызвался сбегать в магазин и принести больному Роланду сладости. В таком положении участие особенно трогало. А генерал у ганцев английский...

Охваченный трепетным ожиданием чего-то необычного, Лумумба метался по комнате и все взирал на телефонный аппарат. Вдруг заговорит какой-нибудь иностранный корреспондент?

Кто-то из них пробрался в «Сюртэ насональ», в управление службы безопасности, и оттуда позвонил Лумумбе, справившись о самочувствии.

— Передайте всему миру, — отчеканивал обрадовавшийся Лумумба, — что я никогда и ни перед кем не капитулирую. Если я потерплю поражение в парламенте, что я почти исключаю, я создам оппозицию и через некоторое время свергну любое правительство, которое сколотит Касавубу. Теперь я не буду заниматься подсчетом голосов избирателей: у меня было достаточно времени, чтобы их взвесить на весах этих ужасных событий...

26 ноября к нему пришел Бернард Мунгу Дьяка, работавший у Лумумбы начальником канцелярии. Они о чем-то совещались. Полин услышала одну фразу мужа: «Больше ждать нельзя».

КАМО ГРЯДЕШИ?

Тихо ворчал ливень, вбирая в себя все ночные шумы, растворяя их в потоке воды и навязывая свой неторопливый говор ноябрьской африканской ночи. Текло с крыши, с деревьев, со всего невидимого неба. В Нижнем Конго установился сезон дождей — он начался с середины октября и продлится до апреля. Леопольдвиль залит водой. А там, в Стэнливиле, дожди перестали выпадать в октябре — с ноября и по конец марта в этой приэкваториальной зоне стоит большой сухой сезон. Одна страна, а климат такой разный, не поддающийся обобщению. Здесь, в Леопольдвиле, сейчас так необходим дождь! Особенно его жаждут в домике Патриса Лумумбы, воспринимая щедрый поток струй как дар божий. Да еще ночью!

Машина остановилась с погашенными фарами. Из нее вышли Бернард Дьяка и Жак Лумбала, государственный министр ныне уже не существующего правительства. В плащах, оба под одним зонтом, так они и вошли к Лумумбе. Их ждали. В особняке знали, кто и когда придет. Все было готово. Полин стояла с Роландом на руках. Никто не проронил ни слова. Тишина. Темень ночи. Лампочку, освещающую крыльцо, выкрутили еще вечером. Охраны не было на постах: солдаты ушли спать в сарай, что в углу садика, за особняком. Комната опустела. Полин с ребенком села к шоферу, а на заднем сиденье устроился Лумумба рядом с поджидавшим в машине Джорджем Гренфелом. Бернард с Жаком скрылись в темноте. Машина тронулась. Вначале медленно — ехали без света, а потом выскочили на широкий проспект Альберта, шофер включил фары, и машина, жадно набирая скорость, рванулась по пустынному городу к его окраине.

Пассажиры молчали. Какое-то оцепенение охватило всех. Казалось, что каждое произнесенное слово может превратиться в сигнал, в эхо, готовое громыхнуть на всю столицу, на все Конго и выговорить ошеломляющее известие. Чувства сдерживались. Кипяток под плотной крышкой котла...

И где ехали! Справа промелькнул освещенный загородный «Давиньер». В этом ресторане засиживаются до утра. Возможно, кто-то сидит из новой комиссарской коллегии, витийствует о власти, поддерживая радостное настроение французским «божеле». Наверняка крутятся там новоиспеченные полковники, получившие первую заработную плату. Теперь деньги есть: правительство Катанги перевело президенту Касавубу миллионы франков. Ночное бегство... Нет, это не признак трусости, а проявление мужества. Поездик. Вызов, брошенный смелыми, отважными людьми, спаянными идейной общностью. Сколько их, рискующих жизнью! И какой светлый риск! Лумумбу выносило из этой крошечной тьмы новое Конго, дерзкое, готовое на все ради подлинной независимости. Нужны простор, свобода, трибуна — и они повернут Конго: сейчас это сделать легче, расстановка политических сил предельно ясна. Даже это дурное время не прошло даром. Страдая, народ увидел всех своих руководителей при дневном свете, без маскировки. Касавубу свалить не так уж трудно...

Дождь слабел, время шло к утру, хотя было темным-темно. Вот так бы и проскочить в ливне, в тумане и слякоти до самого Стэнливиля! На какой-то срок Леопольдвиль и Стэнливилль превратятся в политические антиподы: так диктует обстановка. Но Стэнливилль никогда не обособится, подобно Катанге, не сбросит с себя общенациональную ношу. Он станет временным центром борьбы за единое Конго, за очищение страны от чудовищного альянса колонизаторов с африканскими лидерами. Только Стэнливиллю по плечу такая задача. Восточная провинция занимает по численности населения второе место, после столичной: два с половиной миллиона! Девяносто процентов избирателей проголосовало за Национальное движение Конго! Там во главе гарнизона генерал Виктор Лундула. Там уже находятся Антуан Гизенга, многие сенаторы и парламентарии. Туда, только туда!

Остановка. Начинались паромные переправы через реки. Сейчас они въедут на паром и через каких-то полчаса будут на той стороне Кванго. Все обошлось благополучно: никто не спросил документов. Уплатили деньги за машину и за людей и, не вы-

ходя из машины, пересекли реку. От местечка Попакабака дорога повернула на север. Городишко Кенге на берегу реки Вамба — снова паром. Паромы через Инзиа, Луие, Лукула. Половина времени уходит на переправы. В Киквите — опять паром через Квилу. Какими широкими кажутся эти реки! И как их много! Все текут на север — к Конго.

В Киквите, административном центре района Квилу, остановились, вышли из машины. На полотне дороги стоял человек и махал рукой — Пьер Мулеле! Рядом с ним находился Реми Мвамба, министр юстиции. Несколько фраз, радостных и деловых, и снова в путь. Надо проскочить реку Касаи, через которую тоже паром, до наступления ночи. Машина Мулеле шла впереди. К вечеру они были в местечке Брабанта, расположенном на берегу Касаи. Кинулись к реке — парома нет. Он на той стороне. Паромщики закончили работу. Первый рейс парома — завтра утром. Начались поиски лодок. Ночью Лумумба обсудил создавшееся положение с товарищами. Как миновать Порт-Франки, где рыщут солдаты Бинзы? Да, в Леопольдвиле сразу же узнали о бегстве премьер-министра. Во все концы посланы полицейские части. Вылетели самолеты, а в Порт-Франки есть аэропорт. Решили: сейчас же отправить машины с шоферами и Полин в Порт-Франки — на них никто не обратит внимания. В город они не должны въезжать, а остановиться на берегу Касаи и ждать.

Лодку нашли глубокой ночью и сразу же поплыли на ней в направлении Порт-Франки, куда добрались утром. Машины поджидали в условленном месте Лумумбу с его спутниками. Еще удача! Порт-Франки остался позади. Машины въехали в районный центр Мвека, находящийся на дороге, ведущей в Лулуабург. Лумумба призадумался: может быть, направиться в Лулуабург, где они будут через несколько часов? Машины остановились по его просьбе около ресторанчика. Зашли пообедать. Лумумба заказал разговор с Лулуабургом. Самым неприятным и настораживающим было то, что его сразу же узнали посетители дешёвенького ресторанчика при дороге. Началась беготня. Жители, руководствуясь самыми благими намерениями, спешили поделиться новостью со всеми встречными — в Мвека прибыл Лумумба! Собралась толпа. Лумумба вышел из зала и окунулся в знакомую ему атмосферу африканского народного митинга. Он произнес краткую речь: в Мвека он впервые заговорил о предателях-африканцах, пожалуй, более опасных, чем европейские...

Заказанный Лулуабург почему-то не отвечал. На Стэнливиле, конечно. На Стэнливиле! Часов в десять вечера были на левом берегу Санкуру, где тоже паромная переправа. Но зато — это последний серьёзный водный рубеж на пути к Стэнливилю. Если ничто не задержит, то завтра — завтра! — они прибудут в столицу Восточной провинции. Берега различных рек отвечали одинаково: паром на той стороне! Не было близости даже лодки. В зарослях отыскивали старую пирогу. Нашел ее Матиас, депутат парламента от Санкуру, который присоединился к Лумумбе в Мвека. В пирогу сели трое — Лумумба, Матиас и Мулеле. Остальные остались на левом берегу. Высадившись на правом берегу, Матиас скрылся в кустах и стал разыскивать паромщиков. Пропадал он долго, но вернулся с несколькими заспанными конголезцами. Теперь у них был моторист дизеля! Скорее, скорее... Загрохотал потрепанный двигатель, по волнам реки заиграл прожектор — паром направился на ту сторону, чтобы забрать Полин, Роланда, сенатора Гренфела и других.

Прошло не меньше часа. Группа Лумумбы ожидала на правом берегу. Наконец показался паром. Лумумба бросился встречать жену, вскочив на паром. На него набросились солдаты...

Старший из них заорал:

— Приказываю отправиться сейчас же на ту сторону. Если вы не поедете, то ваша жена и сын будут расстреляны немедленно. Они схвачены на том берегу. При попытке к бегству будете расстреляны. Таков приказ...

Руки связали. словно не доверяя веревкам, человек шесть солдат ухватились за Лумумбу и держали его. На берегу билась его жена. Плакал Роланд. Гудели моторы военных джипов. Суетились солдаты. Лумумбу втолкнули в кузов и повезли в Мвека. Раза два или три он пытался вступить в разговор с солдатами и — бесполезно: у них все выливалось в действия прикладом.

В Мвека прибыли новые подкрепления солдат из Леопольдвилля. Здесь же были размещены подразделения ооновцев, в которые входили и ганские. На городской площади остановились все джипы: офицер побежал к телефону, чтобы связаться с Порт-Франки. Да, там знают и ждут: Лумумбу доставить прямо на аэродром, где готов самолет. Здесь впервые солдат из Бинзы нанес удар премьер-министру и сбил его, когда Лумумба хотел что-то крикнуть толпе из кузова через брезентовое окно. К солдату присоединился второй, третий... Скрученный, он распластался у ног карателей. Толпа, лишь несколько часов назад бурлившая приветствиями, теперь сникла и молча взидала на происходящее. Любопытствовали и офицеры из войск ООН, стоя поодаль, не приближаясь к машине, где озверевшие бандиты били прикладами, топтали ногами пойманного «государственного преступника»...

Запад сразу же откликнулся статьями на поимку Патриса Лумумбы. Уверялось: конголезцы — безжалостны. Они верят в вождя и подчиняются ему, пока он вождь, в силе. Падший у них не вызывает сострадания — его добивают без всякого сожаления. Они почитают культ грубой физической силы. У них нет ничего святого, да и откуда ему появиться в этой отсталой и совершенно не подготовленной к независимому существованию стране? Держались бы за Бельгию...

События погнали Патриса Лумумбу по тюремному этапу. Второго декабря во второй половине дня самолет из Порт-Франки приземлился в столичном аэропорту. Совет Безопасности получил от генерального секретаря ООН следующую информацию: «Когда Лумумба вышел из самолета на аэродроме Нджилли, то, по сообщениям наблюдателей Организации Объединенных Наций, на нем не было его очков и он был одет в грязную рубаху, его волосы были растрепаны, на его щеке был кровоподтек и его руки были связаны за спиной. Его грубо втокнули ударами приклада в грузовик и увезли. Он был помещен на ночь в лагерь Бинза. На следующее утро, 3 декабря, он был доставлен под сильным конвоем бронированных автомашин и хорошо вооруженных конголезских солдат в автомашинах в Тисвиль. Его отъезд видели сотрудники международной прессы, которые сообщают, что господин Лумумба с трудом дошел до грузовика. Он был в растерзанном виде, и на его лице были следы побоев. Войска Организации Объединенных Наций в Тисвиле сообщили, что господин Лумумба находится под арестом в лагере Гарди. По сведениям, он страдает от серьезных ранений, которые он получил до своего прибытия. Его голова была обрита, и руки оставались связанными. Его держат в подвале в условиях, которые называют нечеловеческими в смысле санитарии и гигиены».

ООН смирилась с ролью бесстрастного наблюдателя того кошмара, на который нельзя было взирать хладнокровно. Однако теперь уже вряд ли что могло спасти положение и вывести Конго из империалистической игры. События вырвались из-под контроля и обрушились на страну с еще большей, небывалой дотоле жестокостью. Леопольдвилль превратился в город с насмерть перепуганными жителями. Сформированные конголезские «командос» наводили ужас на население. Существовало и действовало одно ведомство, узурпировавшее функции всего государственного аппарата республики, — Бинза. Парламент закрыт, министерства на замке, премьер-министр заточен, его сторонники преследуются, подвергаются истязаниям. От солдата Бинзы шарахались в стороны. Он мог войти в магазин, забрать всю денежную выручку и удалиться. Совершались ночные облавы. Жителей толкали в грузовики и отправляли в неизвестном направлении. Иностранцам было опасно появляться на центральном телеграфе, который был оцеплен солдатами. Задержат, отберут деньги, выхватят и порвут заготовленный текст статьи, размолят о стенку фотоаппарат, нападдут прикладом и вытолкнут вон под аккомпанемент дичайшего хохота. Жаловаться некому, звывать к порядку бесполезно. Бояться этой оравы — недостойно, унижительно. Пересидев день-другой, корреспондент снова направляется на телеграф, без которого он не может обойтись, руководствуясь интересами своих читателей, ожидающих сообщений из Конго. Снова придирки, а то и предварительное заключение.

На другой день после ареста Лумумбы в Мвека, где он был схвачен, прибыли карательные отряды. Начались дознания: кто встречал премьер-министра, кто его приветствовал, кто оказывал помощь и т. д. На площади производились расстрелы. Насе-

ление бежало в леса. Целые большие округа были охвачены повстанческим движением. Военные действия происходили в Касаи и Катанге, где северная часть провинции некогда не контролировалась полностью администрацией Чомбе. Дороги Касаи заполнили беженцы: балуба десятками тысяч переходили в безопасные районы, где их вновь и вновь настигали каратели. Разгон центрального правительства вызвал новый сильный взрыв трибализма. Страна разделилась на несколько враждующих лагерей. Имя Лумумбы прочертило извилистые границы по просторам Конго; собирали силы его сторонники, на их подавление бросались противники премьер-министра...

Кроме замаскированных, у Патриса Лумумбы было вполне достаточно и открытых врагов, которые публично заявляли о том, что глава конголезского правительства «должен исчезнуть». Так говорил конголезец Мунонго, такого исхода жаждали видеть европейские поселенцы в Конго. «Я христианин,— выворачивал свою душонку один из них,— но, как это ни печально, я должен признать: необходимо, чтобы этот человек исчез». В начале февраля 1961 года газета «Вашингтон пост энд таймс геральд» позорно прославилась высказыванием, достойным фашистского листка: «Освобождение Лумумбы создаст очевидный риск для западных держав». В статье «Практичные люди» газета «Нью-Йорк пост» писала: «Единственный реальный выход, — сказал тихий американец другим американцам в гостинице после обеда,— это убрать Лумумбу с дороги. Так мы покончим с проблемой».

На расправу вызвался Альбер Калонжи — он прислал телеграмму леопольдвильским властям и предложил, чтобы арестованный премьер-министр был доставлен в Баквангу, столицу «алмазной республики», где он полновластный хозяин и знает, как поступить с Лумумбой.

Но узник оставался в Тисвиле. Он сам поведал об условиях заключения — из тюрьмы Лумумбе удалось передать письмо на имя специального представителя ООН в Конго индийца Раджешвара Дайяла. Он писал:

«Господин специальный представитель!

Я с удовлетворением отмечаю нанесенный 27 декабря прошлого года визит Красного Креста, который занялся моей судьбой, а также судьбой других парламентариев, которые находятся вместе со мной в тюрьме. Я рассказал о нечеловеческих условиях, в которых мы живем.

Вкратце наше положение таково: я нахожусь здесь вместе с семью другими парламентариями. Среди них председатель сената Окито, служащий сената и шофер. Таким образом, всего нас десять человек. Нас заперли в сырых камерах со 2 декабря 1960 года. Ни разу нам не позволили выйти. Обед, который нам приносят два раза в день, очень плохой. В течение трех-четырех дней я вообще ничего не ел, удовлетворяясь только бананом. Я поставил в известность об этом врача из Красного Креста, которого ко мне направили. Я сделал это в присутствии полковника из Тисвиля. Я потребовал, чтобы мне купили на мои деньги фруктов, так как та пища, которую мне здесь дают, плохая. И хотя врач дал на это разрешение, военные власти, охраняющие меня, отказали в этом. Они сказали, что исполняют приказ, полученный от главы государства и полковника Мобуту. Врач из Тисвиля предписал мне небольшую прогулку каждый вечер, с тем чтобы я мог хотя бы ненадолго выходить из камеры. Но полковник и районный комиссар отказывают мне в этом. Одежда, которую я ношу, не стиралась в течение тридцати пяти дней. Мне запрещают носить обувь.

Одним словом, мы живем в совершенно неприемлемых условиях, противоречащих всяческим правилам.

Более того, я не получаю вестей от моей жены, и я даже не знаю, где она находится. Я должен был бы регулярно видеть ее здесь, как это предусмотрено тюремным режимом Конго. С другой стороны, тюремные процедуры, действующие в Конго, ясно предусматривают, что заключенный должен предстать перед следователем, который занимается его делом, самое позднее на следующий день после его ареста. Спустя пять дней после этого заключенный должен снова предстать перед судьей, который должен решать, следует ли продлить предварительный арест или нет. Во всяком случае, у заключенного должен быть адвокат...

С момента нашего ареста 1 декабря и до сих пор нас ни разу не вызывали к судье и ни разу судья не посетил нас. Нам не был предъявлен ордер на арест. Нас держат

просто-напросто в военном лагере, в котором мы заключены в течение тридцати четырех дней. Мы находимся в камерах, предназначенных для провинившихся военных.

Закон о тюремном содержании не соблюдается. Не соблюдается также и тюремный режим. В данном случае речь идет о чисто произвольном заключении. Здесь же нужно добавить, что мы пользуемся парламентской неприкосновенностью.

Таково положение, и я прошу сообщить Вас о нем генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, которую мы благодарим за вмешательство в нашу пользу.

Как можно установить мир и порядок в Конго, если уже в самом начале не соблюдают ни законность, ни человеческое достоинство? До тех пор, пока мы не предстанем перед законно созданным судом, мы лишены прав, которыми располагает каждый гражданин, защищая самого себя перед судом страны.

Я остаюсь спокойным и надеюсь, что Объединенные Нации помогут нам выйти из этого положения.

Я за примирение между всеми детьми этой страны.

Я пишу Вам это письмо тайно, на плохой бумаге.

Патрис Лумумба.
4 января 1961 года».

Это письмо — самое достоверное свидетельство о положении заключенных в военной тюрьме Тисвила, пока что оно и единственное. С Тисвила начинаются непролазные джунгли вымыслов и домыслов. Путь для исследователя, занимающегося этим последним кратким отрезком времени в жизни Патриса Лумумбы, предельно усложняется, и он, как утомленный путник, оказавшийся на заходе солнца перед новым препятствием, располагается на отдых, предаваясь размышлениям о предстоящей на завтра дороге...

Перенесемся мысленно в ту конголезскую действительность. Реальной властью не обладал никто в объеме всей страны — ни бельгийцы, ни командование ООН, ни сами конголезцы. Чомбе держался в Элизабетвиле, а за городом орудовали наемники, помогавшие ему уничтожать сторонников Лумумбы. Дворец Альбера Калонжи в Бакванге охранялся тоже европейскими ландскнехтами и его собственной гвардией. За Баквангой проходил невидимый, но постоянно действующий фронт. На юго-восток от Леопольдвилля, где всегда были прочны позиции Антуана Гизенги и Пьера Мулеле, целые районы находились на осадном положении. Разношерстный клуб правителей, включающий Касавубу, Илео и группировку Бинза, находился во враждебных отношениях со Стэнливилем, Букаву и Лулуабургом — центрами крупнейших провинций. Даже далеко не все города Нижнего Конго контролировались Леопольдвилем. Порт Матади, например, с самого начала вторжения бельгийских парашютистов относился к числу наиболее спокойных, куда не рисковали заглядывать без специального конвоя военные чины. Опорными пунктами Бинзы служили военные лагеря в Нижнем Конго. В Тисвиле, где находился штаб бывшего командующего «Форс публик», сосредоточилась значительная часть конголезских войск, нанятых Бинзой. Солдат был куплен повышенным окладом и присвоением званий, которое производилось регулярно новым командующим. Нужно понять психологию деревенского парня, взятого на службу еще в «Форс публик», оставшегося рядовым и вдруг получившего звание лейтенанта, капитана, а то и полковника. Все зависело от степени преданности Бинзе, спасающей страну «от политиканов», от точного выполнения боевых заданий, выливавшихся в погромы, в сожжение деревень, массовые расстрелы непокорных и просто подозреваемых в непокорности. Деньги и чины сколачивали совершенно исключительную касту военных, знавших одного хозяина и не признававших никаких иных лиц и законов. В руках авантюристов это была мощная сила.

Вряд ли этой массе свойственно быстрое политическое прозрение. Тисвиль тренировался на заданиях особого рода: захват банка, арест дипломатов, разгром иностранных посольств, установление контроля над аэропортами, обыски и облавы в кварталах европейцев и африканцев. Солдаты возвращались с трофеями — это поощрялось. В лагере культивировался самосуд, насаждалась слежка. Вбивалась мысль о том, что «коммунист Лумумба» является причиной всех зол, что он хочет закабалить страну так, как не снилось бельгийским колонизаторам.

Влияние Лумумбы и его партии в Нижнем Конго было крайне непрочным; оно в какой-то мере ощущалось, когда существовал блок партий, но никогда не проявлялось самостоятельно. И вот теперь Лумумба сидит в тисвильском каземате. Он один на один с ненавидящими его солдатами и офицерами. Они ни перед кем не отчитываются за побои и увечья, причиненные заключенному, который к тому же был доставлен избитым, истерзанным. Даже если бы сразу же произвести расследование, то установить, кто истязал Лумумбу, было бы вряд ли возможно. Появившиеся тогда сообщения, подхваченные всей мировой прессой, об освобождении премьер-министра тисвильскими солдатами не подтверждаются никакими документами. Последовала существенная поправка: оказывается, взбунтовавшиеся солдаты «чуть было не освободили» Лумумбу. Но он продолжал томиться в заключении. И можно лишь строить догадки, каковым был для Лумумбы и его соратников Жозефа Окито и Мориса Мполо тисвильский застеноч. Посещение представителя Красного Креста — последнее: после к Лумумбе не допускается ни один человек.

Из Тисвиля Лумумба каким-то чудом переправил письмо Полин. Она была в Леопольдвиле. По обычаю, нагота — символ правды, чистоты и горя. Босиком, с обнаженной грудью, к которой прижимался Роланд, она приходила к отелю «Ройял» и просилась на прием к чиновникам ООН, добивалась свидания и умоляла, как только может умолять убитая несчастьем африканская женщина, отправить ее в Тисвиль к мужу. Ей отказывали. Она приводила самый сильный аргумент своего народа: «Слезы, кровь и материнское молоко одинаковы у европейцев и африканцев».

Ей выражали сочувствие, а повидать мужа не разрешали. Вечером она снова направлялась на окраину Леопольдвиле, в знакомый африканский квартал Лемба, где ее укрывали родные и знакомые. К горю наиболее чутки самые бедные и несчастные люди — они оказываются и наиболее мужественными. Не каждый соглашался приютить на ночь супругу арестованного премьер-министра, объявленного государственным преступником. Бедняки проводили Полин в свои хилые, еле держащиеся хижины и делились тем что было. Плакали вместе с ней. И — читали письмо, его последнее в жизни письмо к ней...

«Моя дорогая жена, я пишу тебе эти слова, не зная, дойдут ли они до тебя когда-нибудь, и когда они дойдут, и буду ли я в живых, когда ты их прочтешь. В течение всей моей борьбы за независимость нашей страны я никогда не сомневался в победе нашего священного дела, которому я и мои товарищи посвятили всю нашу жизнь. Единственно, чего мы хотели для нашей страны, так это права на достойную жизнь, на достоинство без притворства, на независимость без ограничений. Этого никогда не хотели бельгийские колонизаторы и их западные союзники, нашедшие прямую или косвенную, открытую или замаскированную поддержку со стороны некоторых высокопоставленных чиновников Объединенных Наций, того органа, на который мы возлагали всю нашу надежду, когда обратились к нему с призывом о помощи.

Они совратили некоторых наших соотечественников, купили других, сделали все, чтобы исказить правду и запятнать нашу независимость. Что я могу сказать еще — живой или мертвый, свободный или брошенный в тюрьму, — дело не в моей личности. Главное — это Конго, наш несчастный народ, независимость которого попорана. Поэтому-то нас упрятали в тюрьму и держат вдали от народа. Но моя вера остается несокрушимой!

Я знаю и чувствую в глубине души, что рано или поздно мой народ избавится от своих внутренних и внешних врагов, что он поднимется как один человек, чтобы сказать «нет!» колониализму, наглому, умирающему колониализму, чтобы отвоевать свое достоинство на чистой земле.

Мы не одиноки. Африка, Азия, свободные и освобождающиеся народы во всех уголках мира всегда будут рядом с миллионами конголезцев, которые не прекратят борьбы до тех пор, пока в нашей стране останется хоть один колонизатор или его наемник.

Моим сыновьям, которых я оставляю и, быть может, не увижу больше, я хочу сказать, что будущее Конго прекрасно и что я жду от них, как и от каждого конголезца, выполнения священной задачи восстановления нашей независимости и нашего суверен-

нитета. Потому что без достоинства нет свободы, без справедливости нет достоинства и без независимости нет свободных людей.

Жестокости, издевательства и пытки никогда не могли заставить меня просить пощады, потому что я предпочитаю умереть с высоко поднятой головой, с несокрушимой верой и глубокой убежденностью в судьбе нашей страны, чем жить покорным и отречься от священных для меня принципов.

Настанет день, и история скажет свое слово. Но это будет не та история, которую будут преподавать в Брюсселе, Париже, Вашингтоне или в ООН. Это будет история, которую будут учить в странах, освободившихся от колониализма и его марионеток. Африка напишет свою собственную историю, и это будет на севере и юге Африки история славы и достоинства.

Не оплакивай меня, жена моя. Я знаю, что моя многострадальная страна сумеет отстоять свою свободу и свою независимость».

Судьба Патриса Лумумбы волновала мир, и с заключенным надо было что-то делать. Есть основания полагать, что Лумумбой занялся Жюстен Бомбоко. Каирский журнал «Роз эль-Юсеф» опубликовал фотокопию письма, направленного в Леопольдвиль президентом Катанги. Содержание его таково: «Господину Бомбоко. В ответ на толькo что полученное нами послание подтверждаем согласие на немедленный перевод коммуниста Лумумбы в Элизабетвиль. Эта операция должна быть проведена в обстановке полной секретности. Просьба незамедлительно сообщить нам о дате его прибытия. Благоволите принять, господин председатель, заверение в нашем самом высоком уважении. Моиз Чомбе. Элизабетвиль. 15 января 1961 года».

Письмо вызывает доверие: правительственные чиновники в Конго не делали секрета из того, что Бомбоко по поручению Касавубу вступил в переписку с Чомбе. Одновременно Касавубу вел переговоры с Чомбе по телефону. Тайная сделка относительно Лумумбы примирила недавних противников. Дальнейшие события подтвердили предположение, что в заговоре против Лумумбы объединились и выступали заодно высшие должностные лица Леопольдвиль и Элизабетвиль. Достаточно вспомнить, что Касавубу назначил потом Моиза Чомбе премьер-министром Конго: оказанная услуга была столь велика! Впоследствии Бомбоко подводил к плахе многих противников разнообразных режимов в стране, при которых он неизменно руководил внешнеполитическими или юридическими ведомствами. Гнусную роль Бомбоко выполнил по отношению к Пьеру Мулеле. Министр иностранных дел Киншаса, как потом стал называться Леопольдвиль, прибыл в Браззавиль, где жил Пьер Мулеле, встретился с ним и уговорил возвратиться на родину: всем повстанцам, симба (львам), обещана и гарантирована амнистия. Бомбоко увез Мулеле на своей автомашине в Киншаса, закатил в честь его прибытия банкет, провозглашал тосты «за дорогого друга Пьера», а через несколько дней Мулеле был казнен.

Новая Африка, к великому сожалению, выдвигает на служебную арену не только убежденных и последовательных националистов, бескорыстных и честных политических деятелей, но тащит за собой и с собой и таких растленных типов, как Бомбоко. В парламенте Конго во время выступления министра иностранных дел из зала раздавались возгласы: «Убийца! Убийца Лумумбы!»

Бомбоко учился у профессора социологии Брюссельского университета, директора Сольвейского института социологии Артура Дуси. В доме профессора бывали и Чомбе и Бомбоко, которые неизменно рекомендовались почтенным воспитателем как «лучшие люди конголезской элиты».

Бомбоко выручил Касавубу, договорившись с властями Элизабетвиль о приеме самолета с тремя арестованными. 17 января 1961 года Лумумба, Окито и Мполо были выведены из тисвильской тюрьмы. Об этой сцене, как и о посадке на самолет, нет ни единого свидетельского показания. Что творилось на борту? Об этом рассказал капитан Джек Свидсон, наемник из Южной Африки, работавший пилотом у главарей Бинзы. Он вел самолет на Элизабетвиль. «Лумумбу избивали так, что я вполне убежден — сейчас он мертв. Они вырывали волосы у него на голове и заставляли его их есть».

Кто они, эти люди? На борту находилось шесть или восемь солдат, фамилии их неизвестны. Начальником конвоя был Жонес Мукамба, комиссар департамента внутренних дел провинции Леопольдвиль. Он получил приказ вывезти арестованных самолетом

по маршруту Тисвиль—Моанда—Бакванга. Во время остановки в Моанде, курортном городке на побережье Атлантики, Мукамба узнал, что в аэропорт Бакванги прибыли наблюдатели командования Организации Объединенных Наций. Тогда самолет взял курс на Элизабетвиль: на всякий случай договоренность о приеме «груза» была достигнута заранее. Вместе с Мукамбой летел Фернанд Казади, ответственный сотрудник из штаба Бинзы, личный друг Альбера Калонжи. Эти две личности, оставшиеся в тени до последнего времени, сыграли, по всей вероятности, роковую роль в судьбе Патриса Лумумбы и его соратников. Кровавая оргия в самолете началась после вылета из Моанды. В Баквангу лететь нельзя, а как примет Элизабетвиль? Чомбе оставался противником Леопольдвилья, и не изменит ли он своего решения? Мукамба имел предписание — в случае осложнений поступать по своему усмотрению.

Никакие меры предосторожности не могли полностью скрыть тайну: о перевозке арестованного Лумумбы стало известно в Европе. Газеты шаркались от одной версии к другой. В ООН снова стали поступать официальные запросы. Радио сообщало: Лумумба покончил самоубийством, Лумумба снова сбежал, Лумумба расстрелян, Лумумба повешен...

Заговорил Годфруа Мунонго, министр внутренних дел Катанги. 10 февраля утром он заявил о том, что премьер-министр Конго Патрис Лумумба прошлой ночью совершил побег из заключения на изолированной ферме, расположенной в ста километрах от португальской колонии Анголы. Три дня спустя Жан Тиньи, секретарь Мунонго, выступил в Элизабетвиле перед журналистами и сделал более полное сообщение. «Лумумба и двое остальных,— читал он,— пробили дыру в стене из мягкого бетона. Они использовали для этого железные костыли, на которых держался занавес, и с их помощью постепенно пробивали стену, укрывая дыру за занавесом. Когда диаметр отверстия достиг оксело ярда, они вышли наружу и, вооруженные толстыми палками, напали на двух солдат. Они связали их кусками занавеса и сели в автомобиль, стоящий неподалеку. Этот автомобиль был найден позднее крестьянами в окрестностях деревни Мунконтото, к северу от фермы. По-видимому, машина разбилась и Лумумба с остальными толкнули ее в реку неподалеку от дороги, где ее и нашли в сильно поврежденном состоянии. Шум,— пояснил в заключение секретарь,— когда пленники пробивали стену, заглушался грозый...»

След за своим секретарем выступил сам Мунонго. Он уточнил, что Лумумба, Окито и Мполо «были зарезаны жителями небольшой деревни, расположенной на довольно значительном расстоянии от того места, где была обнаружена брошенная ими машина. Жители получают за это награду...»

Годфруа Мунонго просто-напросто издевался над общественным мнением, дурачил публику, сочиняя версию о «побеге», которую никто не мог воспринять всерьез. Как могли избитые до полусмерти люди пробить брешь в стене? Откуда появилась автомашина? Кто поверит, что троих таких заключенных охраняли только два солдата? Какие безумцы побегут к португальской Анголе?

Опровергнуть построения Мунонго не так уж трудно, даже не будучи специалистом в области сыска, труднее объяснить: почему власти Катанги рискнули войти в союз с преступниками из Леопольдвилья и, можно сказать, добровольно записали себя в число соучастников заговора? Ответ, как нам кажется, следует искать в политике Бельгии по отношению к Конго. Вся переписка Чомбе и Мунонго с представителями командования ООН, которое время от времени запрашивало о судьбе арестованного премьера, свидетельствует, что действиями этих господ руководили бельгийцы. Речи и документы для Чомбе готовил Жорж Тиссен, комендант Элизабетвилья. В Катанге функционировал «международный комитет», состоящий из бельгийских профессоров и магнатов. К началу 1961 года Бельгия смогла убедиться, что она может полностью положиться на своих союзников по Атлантическому блоку и в самой международной организации и вне ее. Переписка Чомбе — это в действительности высказывания озлобленной Бельгии по адресу ООН. Когда в январе 1961 года генеральный секретарь ООН направил Чомбе вежливый меморандум с пожеланием «предусмотреть, какие меры следует предпринять, чтобы к господину Лумумбе и его соратникам был применен нормальный порядок в компетентном суде», последний в буквальном смысле слова отчитал автора послания. «Я весьма удивлен тем интересом,— говорилось в ответе,— который

Организация Объединенных Наций проявляет в отношении бывшего премьер-министра. Существенно необходимо, чтобы власти бывшего Бельгийского Конго оставались единственными судьями, без всякого иностранного вмешательства, в отношении того, какому он должен быть подвержен обращению, и того, какова будет его судьба.

Несомненно, это бельгийский ответ. В Брюсселе решили, что с устранением центрального правительства Патриса Лумумбы сложилась иная политическая обстановка, дающая возможность по-новому подойти к разрешению конголезского кризиса. Прежде всего — окончательно парализовать ООН, взять инициативу в свои руки, поставить вопрос на бельгийские рельсы. Теперь усилия направлялись на то, чтобы сгладить или совсем ликвидировать разногласия между Леопольдвилем и Катангой: сейчас можно налаживать нормальные взаимоотношения «независимой Катанги» с центром, где нет уже Лумумбы. Ввязать Катангу в уголовное и скандальное дело с Лумумбой значит перекинуть мост между Элизабетвилем и Леопольдвилем Касавубу и группы Бинза. Такое соучастие в преступлении как нельзя лучше устраивало Бельгию, тем более что сама она оставалась в тени — с развязными заявлениями выступали конголезцы, а не официальные чины Брюсселя.

Немаловажную роль в подготовке преступления сыграла и психологическая, моральная атмосфера, созданная вокруг имени Патриса Лумумбы. В кругах бельгийских и некоторых африканских физическое уничтожение премьер-министра не считалось чем-то предосудительным. Наоборот, заговорщики подталкивались на совершение злодеяния. Убить Лумумбу — не грех: это нечто вроде «героического» в колониальном стиле поступка. Уголовник как бы заранее освобождался от всяких подозрений. Такому человеку бельгийское общество в Конго устроит овацию, ему будут жать руку, и уж, конечно, ему нечего опасаться расследований и тюремного заключения. Ничего этого не будет. Так бейте, пока Лумумба в катангском капкане, другой такой случай, возможно, и не представится...

Этим моральным поощрением убийства Патриса Лумумбы и объясняются циничные признания очень многих бельгийцев и наемников из других европейских стран в совершении преступления. «Это я убил Лумумбу!» — заявляли они в прессе, словно выдвигая себя на премии. Говорили не перед следственной комиссией, не перед судом, не по принуждению, а по своей собственной инициативе, чтобы на клейме — убийца Лумумбы — нажать какой-то капитал!

Авантюристы, менявшие фамилии и национальность, находившиеся в армии Катанги или пристроившиеся к Бинзе, вернувшись в Европу, выступали в печати с откровениями. Один из них, западногерманский лейтенант Герд Арним, служивший в иностранном легионе Чомбе, дал интервью римскому корреспонденту парижской газеты «Орор». Патрис Лумумба, рассказал Арним, был убит 18 января в 14 часов 30 минут, то есть на другой день после того, как его доставили в Элизабетвиль. Вместе с ним были убиты Жозеф Окито и Морис Мполо. Один из солдат охраны ударил Лумумбу головой о борт грузовика, на котором его везли, а затем выстрелил ему в затылок. Командовавший конвоем бельгийский капитан Марсель Рюи прикончил Лумумбу выстрелом из пистолета в голову. Перед убийством Лумумбу жестоко истязали. Из ушей и носа Лумумбы текла кровь. Он был без очков, его борода была отрезана. Трупы Патриса Лумумбы, Окито и Мполо перевезли на грузовиках в военный лагерь, расположенный в джунглях Катанги. Оттуда они были направлены в деревню Каото в окрестностях военной базы Камина. На окраине этой деревни трупы были зарыты в 4 часа утра 19 января. Арним сообщил, что его отряд получил приказание от Чомбе немедленно захоронить убитых. Сам Арним бежал из Катанги, опасаясь за свою жизнь, так как знал слишком много об убийстве Патриса Лумумбы. Четверо из тринадцати солдат, конвоировавших Лумумбу к месту казни, были вскоре расстреляны по распоряжению Чомбе, а других ожидает та же участь. Бельгийский капитан Марсель Рюи находится в тюрьме и «вряд ли вернется на родину».

В этом откровении наемника заслуживает внимания не фактическая сторона, а указание на то, что власти Катанги, бравирова причастностью к злодеянию перед всем миром, все же заматали следы, убрали тех, кто «слишком много знал». Точно так же поступал и Леопольдвиль: Жонес Мукамба и Фернанд Казади вылетели вскоре з Брюссель. Когда по решению Совета Безопасности была создана следственная комиссия

по выяснению обстоятельств смерти Лумумбы и его соратников, то ни один из ее членов не был допущен ни в Леопольдвиль, ни в Элизабетвиль.

Однако комиссия проделала полезную работу, занимаясь несколько месяцев сбором материалов, поисками свидетелей и их опросами. Доклад комиссии был распространен в ноябре 1961 года в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи. В нем содержатся следующие заключения: «1. Факты, выявляющиеся в результате свидетельских показаний и материалов, содержащихся в досье, противоречат версии правительства Катанги, согласно которой гг. Лумумба, Окито и Мполо будто бы были убиты 12 февраля 1961 года лицами, принадлежащими к одному из племен. 2. С другой стороны, комиссия считает в основном правдоподобной ту версию, согласно которой заключенные были убиты 17 января 1961 года в одной из вилл в Элизабетвиле и, весьма вероятно, в присутствии некоторых членов правительства провинции Катанги, в частности гг. Чомбе, Мунонго и Кибве, и полагает, что утверждение о бегстве было выдумано от начала до конца. 3. Серьезные подозрения падают на бельгийского наемника некоего полковника Карлоса Хьюге, который, вероятно, был фактическим убийцей г-на Лумумбы и который совершил свое преступление в соответствии с предумышленным планом при соучастии некоего капитана Гата, бывшего также бельгийским наемником. Что касается гг. Окито и Мполо, то представляется трудным установить, кто их фактически убил, но полученные указания позволяют предполагать, что они были убиты одновременно с г-ном Лумумбой».

Комиссия, в состав которой входили представители Эфиопии, Того, Бирмы и Мексики, заявила, что с Леопольдвилля и с правительства Катанги не может быть снята ответственность за обстоятельства, касающиеся гибели Лумумбы, Окито и Мполо. «Что же касается правительства провинции Катанга,— подчеркивается в документе,— то оно не только не приняло мер к охране трех арестованных, но своими действиями непосредственно или косвенно содействовало убийству этих узников... Комиссия надеется, что результаты, которых она могла достигнуть, смогут в известной мере служить основой для проведения последующего расследования в Конго и для судебного следствия, которое, по мнению комиссии, должно последовать в самом близком времени».

«Последующего расследования» не последовало! Выражались официальные сочувствия, сожаления. Печать перечисляла фамилии лиц, причастных к трагедии. Список получался настолько большим, что многие считали его несерьезным: в него входили чуть ли не все высшие лица Леопольдвилля и Элизабетвилля, а также некоторые служащие ООН. Из людей, обвиняемых печатью в заговоре против Патриса Лумумбы, первым высказался Сирил Адула, бывший в момент совершения преступления министром внутренних дел. «Я клянусь своей честью,— заявил он,— что правительство было в полном неведении относительно этой трагедии». Остальные подозреваемые молчали. Адула, находясь в заграничном путешествии, пообещал «пролить как можно больше света на дело Лумумбы в подходящий момент». Спустя три года после трагедии, разыгравшейся в Катанге, с ошеломляющим заявлением выступил Моиз Чомбе. В январе 1964 года бельгийский журнал «Пуркуа па?» опубликовал следующее заявление бывшего катангского главаря.

17 января 1961 года президент Касаубу поставил катангских руководителей перед совершившимся фактом и сообщил осылке самолетом трех «пакетов» (Лумумба и два его помощника — Окито и Мполо). Самолет направлялся в столицу Южного Касаи Баквангу, но в последний момент он изменил курс и полетел в Элизабетвиль, где просил разрешения приземлиться, так как у него было на исходе горючее. По словам Чомбе, Лумумба был уже в агонии по прибытии в Элизабетвиль. Начальник эскорта Фернанд Казади, который был родом из Южного Касаи, во время приземления продемонстрировал «с бессознательной и жестокой гордостью усы, бороду и очки Патриса Лумумбы». Восемь великанов, сопровождавших Лумумбу, били его с невообразимой жестокостью в течение всего полета, вызвав возмущение пилота и экипажа. У Лумумбы были внутреннее кровоизлияния, желудок был прободен, ребра сломаны. Пленникам оставалось жить всего лишь несколько часов. Когда Касаубу предупредили об этом, он, по словам Чомбе, заявил по телефону: «Если они умрут, то похороните их, но, главное, чтобы об этом не было разговоров». Чомбе будто рассердился, сказав: «Живыми или мертвыми я отправлю их завтра обратно к вам». Но на рассвете 18 января пилот самолета

отказался погрузить на самолет трупы, поскольку необходимо специальное разрешение для перевозки тел умерших...

Журнал «Пуркуа па?» повестил читателей, что в следующем номере будет опубликовано продолжение интервью Чомбе под заголовком «Что стало с трупами?». Но второй раздел интервью не увидел света: по настоятельному требованию конголезского правительства бельгийские власти конфисковали весь тираж еженедельника от 31 января 1964 года.

Чомбе находился в Испании, проживая в своей резиденции на улице Пинтор Розалес Мадрида. Он собрал пресс-конференцию и высказал на ней то, чего не дали ему договорить в брюссельском журнале. Продолжение таково.

Премьер-министр Сирил Адула и министр-резидент центрального правительства в Катанге Жозеф Илео, напуганные угрозой посылки в Конго следственной комиссии Организации Объединенных Наций, 28 февраля 1962 года прибыли в Элизабетвиль под предлогом подписания военного соглашения, а фактически для того, чтобы «избавиться от всех следов этих тел и помешать любому расследованию». Тела были извлечены из могил и погружены в ванну с кислотой, чтобы они исчезли навсегда. Чомбе сказал, что после смерти Лумумбы, Окито и Мполо ночью 17 января 1961 года «три тела были поспешно захоронены на небольшом кладбище у деревни Руаши вблизи Элизабетвиля». Чомбе поведал, что он находился в «подавленном состоянии» в то время, когда Касавубу очень спокойно позвонил по телефону из Леопольдвилля и сказал: «Похороните их и помалкивайте об этом».

Чомбе, по его словам, отдавал себе отчет в том, что смерть Лумумбы вызовет бурный протест во всем мире. По этой причине катангские власти и пошли на инсценировку «побега», чего в действительности не было, но о чем было заявлено на пресс-конференциях в Элизабетвиле в первой половине февраля 1961 года. Чомбе сказал, что инсценировка с побегом преследовала цель оградить леопольдвильское правительство от неприятностей. Теперь он решил «пролить полный свет» на дело Лумумбы, так как он не намерен нести ответственность за преступление, которого он не совершал и не одобрял.

...События вышибли из конголезской обоймы президента Касавубу, Адулу, Бомбоко, свели в могилу Моиза Чомбе. Осталось неразгаданным свидетельство о смерти Лумумбы, на котором стоит печать с тремя крестами «государства Катанги». На гербовой бумаге слова: «Патрис Лумумба, 36 лет. Умер в сельской местности в Катанге». Осталась тяжесть обвинения по адресу Касавубу и группы Бинзы. Кто и когда заставит заговорить их? Да и что они смогут добавить? Взаимное обвинение, перебранка, стремление выгородить себя — разве все это что-либо прибавит к облику великого сына великого Конго?

Лумумба, его жизнь, неистовая борьба за родное Конго, его творчество как литератора, его политические речи, его тюремные этапы и сама его гибель стали объектом изучения философов, историков, писателей и поэтов. О нем уже есть фильмы, есть научные трактаты, поэмы, произведения живописи и скульптуры. «Великий мертвец с черным, мученическим лицом Христа», как броско было сказано о нем на Западе, привлекает молодостью своей и зрелостью государственного деятеля, качествами политического бойца, человечностью. Что еще сказать о нем?

Я сидел во Дворце Наций 30 июня 1960 года, когда Конго получило независимость, и выслушивал всех ораторов, бывал у него в доме, раздавая его детишкам советские значки. Он был внимателен к любой просьбе: не отказал и мне, выйдя из комнаты для фотографирования. Десятки раз приходилось присутствовать на его пресс-конференциях. Какое это было интеллектуальное наслаждение! Да и внешне он привлекал своей мужской африканской красотой! Элегантен, подтянут. Коротко остриженные волосы. В левом верхнем кармашке пиджака — белоснежная полоска платочка. На безымянном пальце левой руки — перстень. Иногда галстук, а порой — «бабочка» с разбегающимися в стороны серыми полосками. Когда он прибывал в Восточную провинцию или Касаи, к нему подходили делегации и облачали его в гримасную шапку, а на плечо вешали ленту шириной в две ладони из леопардовой шкуры.

Его выступления перед иностранными журналистами, как африканская земля от северного снежного и ледяного полюса, отличались от тех, на которые приходят чван-

ливые и недоступные деятели, чтобы зачитать сухой официальный документ канцелярского творчества. Будучи могущественным премьером, слава о котором гремела повсюду, Лумумба привлекал престолой.

— Как здесь душно,— сказал он однажды перед началом пресс-конференции.— Давайте вначале угостимся холодной водой.

Позвал своего секретаря, попросил его принести несколько графинов и стаканы. Один графин он сам взял в руки и начал разливать в стаканы окружившим его журналистам.

— Герцог Брабантский, суверен Конго, будущий король Леопольд Второй,— шутливо комментировал Лумумба,— оставил нам много веды. Пейте, господа... Теперь я в вашем распоряжении.

— В чем, по вашему мнению, причина главных расхождений между нашим правительством и странами Запада? — спросили его.

— В том, по-моему, что не все еще усвоили ту истину, что Конго покончило с колониальным режимом. Наша страна в настоящее время является свободным и независимым государством. С этим фактом не все хотят мириться, а надо бы!

Он неравнодушен к изящному слову, к оригинальной мысли. Его спрашивали о Катанге. Нельзя ли вступить в переговоры с Элизабетвилем? Все же — все вы африканцы...

— Мы пытались разрешить проблему Катанги мирными средствами, но из этого ничего не получилось,— отвечал Лумумба.— Позвольте мне заметить, что исходная логическая посылка вопроса неверна: она грешит расовым подходом. Мы знаем из истории примеры, когда европейцы воевали с европейцами, азиаты с азиатами, африканцы с африканцами. Национальный, классовый подход определяет политику. Мы можем, как суверенное государство, вступить в союз с европейской державой ради сохранения завоеванной свободы и единства. Во имя этих же целей мы будем вести военные действия против катангских правителей, продавшихся Бельгии. По-моему, тут все ясно, господа.

— Как вы лично относитесь к Моизу Чомбе?

— Превосходно! — не замедлил с ответом Лумумба.

Зал аплодирует, сыплет репликами, смеется. Едва успокоились. Лумумба продолжает о Чомбе:

— Мне вспоминаются слова одного французского мыслителя, который, по-видимому, находился приблизительно в таком же положении, в какое меня сегодня поставил ваш вопрос. Поэтому я, с вашего разрешения, воспользуюсь готовым ответом. Остроумный француз выразился так: этот необыкновенный человек обладал великими достоинствами и не имел ни одного недостатка при многих пороках...

— Господин премьер-министр, почему вы со всеми ссоритесь и всех критикуете?

— Это интересный вопрос! Какие-то основания для такого мнения имеются. Но парадокс состоит в том, что правительство Конго искренне желает наладить нормальные взаимоотношения со всеми странами мира. А получаются ссоры, хотя мы и надеемся, что время возьмет свое и недоразумения будут устранены. Установление взаимопонимания напоминает спайку двух металлических стержней. Кузнец, прежде чем сварить два конца, очищает их от грязи и пыли. Иначе не будет прочной спайки.

— Что бы вы посоветовали бельгийскому правительству?

— Оно имеет достаточно советников и без меня! Известно только, что обанкротившуюся внешнюю политику меняют.

Всегда откровенный, прямой разговор. Осмелев, журналисты излагают свои претензии к конголезскому государственному аппарату: бюрократия, бестолковщина, ни у кого нельзя добиться исчерпывающего ответа на те или иные запросы. Лумумба приздается, видимо соглашается с мнением иностранных наблюдателей.

— Господа, прошу вас не забывать, что мы лишь начинаем учиться управлять своей страной. Будьте снисходительны...

— Как мало у нас подготовленных людей! — часто повторял Лумумба и в то же время не переставал восхищаться талантливыми конголезцами. Он был тесно связан со многими артистами, скульпторами, знатоками фольклора, художниками. Уже будучи премьер-министром, он навещал художника Раймонда Лкумбе. Тот обладал удивни-

тельной работоспособностью: он выставлял по двести—триста полотен. Не в павильоне, а на захолустной африканской улице! Ценители африканской живописи съезжались к нему, раскупали картины, а через два-три месяца Лумумбе снова расставлял свои полотна около хижин и палисадничков.

У Лумумбы всегда в запасе были свежие, только что почерпнутые из жизни впечатления, он всегда был готов поспорить о прочитанной книге. Полюбившиеся стихи запоминал сразу и читал их по многу раз своим собеседникам.

— Вы послушайте,— говорил он студентам Ибаданского университета в Нигерии, когда был приглашен туда на обсуждение проблем африканского искусства,— как звучит этот перл: самые честные умерли — они не сумели протолкнуть себе в горло корку позора. Это сказал африканец — Леопольд Седар Сенгор. Корка позора! Вот вам поэтическое определение того, что дает африканцам колониальная система: корку позора...

Его жена Полин рассказывала потом:

— Целыми днями и ночами Патрис говорил о полигике. Он жил только ради этого. Он был очень терпим к недостаткам — это относится и к нашей семейной жизни. Я не помню, чтобы мы когда-нибудь ссорились. Меня он часто звал «моя лукокеша» — жена-предводительница... У него было какое-то обостренное восприятие всех историй о предательстве, об измене общему делу, о вероломстве, о бесчестных поступках. Когда он узнал о том, что Касаубу сместил его с поста, то, придя домой, сказал: «Вот, Полин, разыгрывается и в Конго история Иосифа, которого продали братья. Продали и предали!»

Но он был уверен, что одержит верх. Я думаю, что эта вера и помогла ему в тюрьме. Никто другой не вынес бы таких мучений: ведь его били каждый день...

Во время разговоров со мной Франсуа Окитоленга сказал о своем сыне:

— Он был на редкость любознательным. И спрашивал всегда о самом трудном. Помню такой случай. Один европейский плантатор привез из-за океана несколько семей пчел. Африканские, дикие, его не устраивали, так как мало приносили меда. Но получилось так, что привозные, различные пчелы стали давать меда гораздо меньше, чем африканские. Никто не мог понять, в чем дело. Патрис был тогда подростком. Он заинтересовался историей с пчелами и побежал к плантатору с расспросами. Тот ему ничего вразумительного не мог сказать, кроме того, что в этой проклятой Африке все наоборот... Чтобы как-то успокоить сынишку, удовлетворить его любопытство, я объяснил, что европейские пчелки обленились в Африке. Но что меня поразило: когда Эмери стал взрослым и читал европейскую литературу, он где-то нашел научное объяснение странному поведению пчел и рассказал мне! Не успокоится, пока не добьется истины...

Томас Канза писал после смерти Лумумбы: «Мы называем лумумбизмом идеал, который поставил перед собой Лумумба, и путь, следовать которому он советовал, чтобы достигнуть этого идеала. Лумумбизм появился в Конго, но его влияние распространилось за пределы этой страны. В наши дни идеи Лумумбы известны всей Африке. Патрис Эмери Лумумба стал символом для всех националистов, для всех революционеров... Не будет преувеличением сказать, что лумумбизм олицетворяет во всем мире борьбу за освобождение народов и Лумумба является знаменем самого чистого национализма».

О нем будут говорить как о нашем современнике.

В нашей памяти остался живой Патрис с его словами, обращенными к нашей Родине, нашему народу: «Советский Союз оказался единственной из великих держав, которая с самого начала поддержала народ Конго в его борьбе. Я хочу поблагодарить народ и правительство СССР за бескорыстную дружбу». Наша страна оплакивала трагическую гибель Лумумбы. Светлое и немеркнущее имя героя и мученика Лумумбы присвоено Университету дружбы народов в Москве. Лумумба живет в молодой Африке ее сокровенной надеждой и мечтой, скорбью и радостью.

Он был сыном поднимающейся Африки, и Черный континент навеки обрамил его лицо ореолом вечной славы — лицо философа и мечтателя, лицо человека, шагнувшего в Человечество.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НАУКА О ЛИТЕРАТУРЕ СЕГОДНЯ

Л. ТИМОФЕЕВ,
член-корреспондент Академии наук СССР

★

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС

Если приглядеться к развитию теории социалистического реализма, то легко можно заметить, что оно характеризуется все более широким охватом международного литературного процесса. Работы о социалистическом реализме последних лет настойчиво говорят об интернационализме как о существенной его черте. Такая постановка вопроса позволяет охватить все большее разнообразие национально-исторических проявлений метода, избежать узкого его понимания.

Но при растущем разнообразии путей исследования социалистического реализма все более ощутимым становится и вопрос о поисках единого критерия, необходимого для осмысления этого процесса. Не случайно мысль исследователей обращается к проблеме художественного прогресса в целом. Большое внимание уделил ей академик Н. Конрад в своей книге «Запад и Восток», о художественном прогрессе интересно пишет академик М. Храпченко в книге «Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы».

В методологическом отношении тема прогресса искусства открывает возможность мыслить развитие искусства нашего времени в едином историческом масштабе, сравнивая его конкретные проявления по их отношению к художественному прогрессу.

Понятно, что в области искусства непосредственное сравнение его индивидуальных явлений невозможно; в силу своей индивидуальности они несопоставимы, как не могут быть непосредственно сравнимы, скажем, автомобиль и винтовой самолет. Но, сравнивая их на более общем уровне (скажем, «в плане» двигателя внутреннего сго-

рания), мы получим возможность говорить об их «коэффициенте прогрессивности» в пределах данной области прогресса. Не сопоставляя индивидуальные произведения искусства, мы вправе соотносить их на уровне метода, то есть в их отношении к художественному прогрессу в целом, находить общий исторический масштаб для сравнения.

Отсутствие такого масштаба несомненно отрицательно сказывается на исследованиях явлений различного исторического плана. Характерны споры о критическом реализме в русской литературе. О нем говорят применительно к XIX веку, спорят о его кризисе в начале XX века, некоторые обнаруживают его и в советской литературе. Между тем во всех этих случаях термин несет в себе различное историческое содержание. Когда Ленин писал, что в творчестве Л. Н. Толстого эпоха совершила шаг в художественном развитии человечества, речь шла о критическом реализме как методе, стоявшем на уровне основных исторических требований своего времени. Но в начале XX века содержание критического реализма изменилось: речь пошла о создании новой литературы, о появлении новых героев и конфликтов, требовавших нового шага в художественном развитии человечества; критический реализм в это время уже не вбирал — при всей значительности связанных с ним писателей — противоречий своего времени, нес в себе уже иное историческое содержание. Может быть, самый термин «кризис реализма» не вполне удачен, но суть его совершенно очевидна: традиция критического реализма XIX века была недостаточна для того, чтобы вобрать новые противоречия. Вре-

мя искало новую художественную систему и находило ее в творчестве Горького, в творчестве Маяковского. И, наконец, совсем иначе следует подходить к критическому реализму после Октября, когда он мог быть обращен лишь к прошлому или его следам в современности, воспринимаемой в свете победы Октября.

Во всех этих случаях перед нами различные уровни развития критического реализма, которые мы до сих пор рассматриваем вне общего масштаба и, стало быть, далеко не полно. Не приходится уж говорить о своеобразии развития критического реализма в зарубежных буржуазных странах. В различные моменты истории он играет различную роль в художественном прогрессе.

В самой общей форме содержание художественного прогресса определяется его гуманистическим характером, причем понятие гуманизма, естественно, ни в коем случае не является однозначным.

Бенгальский поэт начала XV века Чондидаш писал:

Слушай, о человек, мой брат:
Человек — это высшая правда,
Выше ее нет ничего...

Однако писал он это в жесточайшей обстановке сословно-кастового общества.

Слова Державина:

Я любил чистосердечье,
Думал нравиться лишь им,
Ум и сердце человечье
Были гением моим —

полны гуманистического пафоса. Но ведь ему же принадлежит «Приглашение к обеду»:

С курильниц благовонья льются,
Плоды среди корзин смеются,
Не смеют слуги и дохнуть... —

крепостничество было для поэта естественной средой, которую он защищал и отстаивал от Пугачева.

Гуманизм исторически развивался в ограниченных и противоречивых формах. Тем самым и прогресс не имел возможности выступить как последовательная, поступательно развивающаяся закономерность исторического процесса. Изолированность, замкнутость, повторяемость его всплесков при всей их значительности была не в силах организовать этот процесс: не было общест-

венной силы для достижения последовательности и поступательности этого движения, недоставало международных связей, в достаточной мере мощных для передачи его через годы и границы.

Положение в принципе изменилось со второй половины XIX века. Формула «Коммунистического манифеста»: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — возвестила о коренном переломе в историческом процессе, она означала, что появилась сила, обладавшая международной, можно сказать, всемирно-исторической перспективой развития, что послышалась та «мерная поступь железных батальонов пролетариата» (Ленин), которая привела к Октябрю, к победе над фашизмом, к борьбе за мир во всем мире.

Именно теперь, на этом новом уровне исторических возможностей, прогресс становится той закономерностью исторического процесса, которая имеет поступательное интернациональное движение. Понятие прогресса получило тем самым значение наиболее общезначимого критерия, в частности, и в развитии искусства нашего времени и его теории. Требование разработки вопроса о художественном прогрессе отнюдь не случайно и не произвольно, оно, в конечном счете, отражает тот исторический уровень, которого достигла наша эпоха в своем наиболее передовом поступательном движении, в своем гуманистическом содержании. Это содержание непосредственно связано с искусством, в котором оно выступает во всей своей конкретности: в изображении характеров и конфликтов, в системе авторской речи, в эстетических идеалах, освещающих жизненный процесс, охваченный искусством в его интернациональном многообразии.

Проблема художественного прогресса, таким образом, является вершинной проблемой нашей теории, позволяет воспринять мировой литературный процесс как единство борьбы и развития, подойти к многообразным литературным течениям XX века с единым критерием. Вместе с тем, показывая значение метода социалистического реализма как ведущего начала этого процесса, мы должны изучать его во всем многообразии национальных художественных форм, зависящих от национально-исторических истоков. Здесь, очевидно, и следует искать основу для типологических обобщений в столь обширной области, какой является многонациональное искусство социалистического реализма.

Художественный прогресс как интегрирующее начало ни в коей мере не может заставить от нас необходимости обращения к изучению художественного творчества в его конкретных проявлениях: в произведении, в индивидуальном творчестве. Только на этой основе мы придем к богатой и дифференцированной характеристике социалистического реализма. Между тем при сравнительно большом количестве работ, освещающих существенные стороны истории и теории этого метода, мы до сих пор не располагаем запасом исследований, конкретно и содержательно прослеживающих, как основные черты метода социалистического реализма воплощаются в живой системе характеров и конфликтов произведения или творчества писателя в целом, то есть в наиболее органических единицах литературного процесса.

Культура анализа художественного текста у нас до сих пор еще не отстоялась. За последние пять лет у нас опубликовано около двухсот книг, посвященных характеристике творчества современных советских писателей. В целом они и нужны и полезны, но все же многое в них беспокоит.

В ряде случаев в работах доминирует такая интерпретация творчества писателя, которую можно назвать субъективистской в том смысле, что цель автора состоит в растолковывании, «что хотел сказать» писатель. Приведем наглядный пример. В журнале «Юность» (1970, № 9) помещена поэма А. Вознесенского «Лед-69». Поэме предпослана заметка от редакции, в которой, в частности, сказано: «Стихи... зрительно построены таким образом, что слова как бы замерзают в слоях льда». В поэме строки текста перемежаются напечатанными курсивом строчками, повторяющими всего одно слово — «лед»; оно повторяется 250 раз с одним только исключением: слово «лед» заменено однажды словом «кит» (также курсивом).

Конечно, у нас нет оснований сомневаться в верности слов Пушкина, что «писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным», но ведь Пушкин не сказал, что мы не вправе судить о самих законах. Разумеется, редакции «Юности» известно, что словами не рисуют, что повторение слова 250 раз нарушает все нормы выразительности речи. Но субъективная позиция автора в данном случае явилась единственным критерием, хотя его-то и надлежало проверить.

Не менее частым случаем в исследованиях является обратная позиция — объективизм, то есть более или менее квалифицированный пересказ содержания произведений писателя, хотя тому, кто читал, он ничего не даст, а тому, кто не читал, не заменит текста.

Конечно, это отступления от норм серьезной критики, но они часты, и о них приходится говорить как о явлениях, связанных с более общими недочетами нашего литературоведения.

Наука по природе своей монистична, она отражает в системе своих понятий закономерности изучаемого ею предмета. Недостаточная связанность между собой ее понятий определяет и неразработанность терминологии, которая является внешним выражением нечеткости самой системы. Правда, сейчас дело обстоит сложнее, так как мы наблюдаем своеобразное вторжение в литературоведение терминов точных наук: стремление воспринять их опыт, их методологию, естественно, сказывается в обращении к соответствующей терминологии. Процесс этот сам по себе вполне положителен, хотя и связан с накладными расходами: происходит метафоризация термина (образ приравнивается, например, к кванту), что противоречит природе термина, а сами термины при этом определяются вне соотнесения их с системой понятий, что нарушает ее монистичность, придает термину случайность и произвольность.

В статье «Поэтика», в пятом томе Краткой литературной энциклопедии, в основу трактовки поэтики кладется понятие замысла; между тем замысел относится к психологии творчества, к лабораторной творчеству, наконец, в какой-то мере может быть отнесен к текстологии, но от поэтики он далек, поскольку поэтика предполагает наличие уже определившихся форм, а у замысла поэтики еще нет, он допускает различные пути для своего художественного воплощения — вплоть до кардинальных изменений (согласно первоначальному замыслу «Воскресения» Л. Толстого, Нехлюдов женился на Катюше и уехал с ней в Лондон).

Такие существенные понятия, как жанр, стиль, образ, до сих пор еще не получили более или менее устойчивых определений, а это не может не сказаться на точности литературоведческой работы. Отчасти с этим связаны и те полувывказанные надежды, которые возлагают некоторые наши исследователи на помощь структурализма по части анализа художественного текста.

Трудно разделить эти надежды. Последние работы представителей этого направления ясно свидетельствуют о непреодолимых трудностях его развития.

В 1964 году в первой книге Ю. Лотмана «Лекции по структуральной поэтике» говорилось о том, что «взгляд на произведение как на модель открывает перспективы на возможность выражения таких «гуманитарных» понятий, как «художественный метод» («романтизм», «реализм», «эстетика фольклора»), «жизненная правда», «образ», в терминах и категориях точного научного мышления». Это было в достаточной мере перспективно и обещало постановку таких значительных проблем, которые — при широте толкований — давали возможность плодотворной дискуссии.

Но прошло шесть лет, вышла новая книга Ю. Лотмана «Структура художественного текста» («Искусство», 1970). Казалось бы, времени для осуществления благих намерений было достаточно, но ни о методе, ни о реализме и жизненной правде в новой книге не говорится. Правда, в ней есть несколько упоминаний о реализме и романтизме, но без попытки хоть сколько-нибудь их разяснить. Понятию художественного образа уделен всего один абзац, который вряд ли можно назвать перспективным: «Художественный образ,— говорится в книге,— строится не только как реализация определенной культурной схемы, но и как система значимых от нее отклонений, создаваемых за счет частных упорядоченностей. Эти отклонения, возрастая по мере того, как выявляется основная закономерность, с одной стороны, делают информативно значимым ее сохранение, с другой — на ее фоне снижают предсказуемость поведения литературного героя». Речь в данном случае идет и о таких литературных героях, как Андрей Болконский и Пьер Безухов...

Появилось в книге понятие сюжета, под которым автор понимает «развернутое событие», а событие определяет как «перемещение персонажа через границу семантического поля». Но ведь сюжет связан не только с персонажем, за сюжетом стоит конфликт, борьба противоречий определенных общественных сил, и вопрос о смене семантических полей далеко его не охватывает.

Как и первая, эта книга Ю. Лотмана почти целиком посвящена стиху, который рассматривается столь скрупулезно, что теряется всякая связь с реальным текстом, а это дает основу для любого импрессионистического построения.

Цитируя четверостишие М. Цветаевой (из цикла «Стихи сироте»):

Могла бы — взяла бы
В утробу пещеры:
В пещеру дракона,
В трущобу пантеры,—

Ю. Лотман сопоставляет пары слов по нарастающей их фонологической близости. Таких пар — пятнадцать, причем в самом тексте они имеются не все, а даны произвольно (пара «трущобу — пантеры» имеется, но пара «трущобу — утробу» уже вне текста). Далее семантическая группа «в утробу пещеры» и группа «в трущобу пантеры» приобретают, в толковании Ю. Лотмана, общее «значение направленности в закрытое, недоступное и темное пространство», в свою очередь сюда подставляются значения уже совсем отдаленные («близкое — далекое», «теплое — холодное», «тайное — явное»), с этими парами происходят новые пертурбации, и мы в итоге имеем дело уже не с текстом Цветаевой, а с необычайно отдаленным от него текстом Ю. Лотмана.

Туманность изложения придает видимость сложности тривиальным, по существу, положениям: «Если мы сопоставим предложение из разговорной речи и стихотворение, набор красок и картину, гамму и фугу, то легко убедимся, что основное отличие вторых от первых в том, что они способны заключать в себе, хранить и передавать то, что для первых остается за пределами возможностей». Но что фуга сложнее гаммы, а картина — набора красок и стихотворение — предложения, все это вряд ли стоит доказывать... Подробная аргументация Ю. Лотмана, подкрепленная формулой, состоящей из многих знаков, обосновывает положение о том, что художественный текст значительно более информативен сравнительно с нехудожественным. И здесь результат беднее, чем сложный путь к нему. К реальному пониманию художественного произведения, творчества писателя, литературного течения и т. п. теоретические формулировки и примеры анализа, которые мы находим у Ю. Лотмана, по сути дела, неприложимы.

Структурализму уже немало лет, но он до сих пор не дал нам примеров развернутого и всестороннего изучения значительного художественного произведения, а ведь теория проверяется практикой.

Появившиеся в последнее время многочисленные работы о советских писателях (за исключением одной) не обращаются к помощи структурализма. Трудно думать, что

столь большое количество авторов просто не доросло до него. Дело скорее в том, что они не находят в нем рабочей платформы, чтобы охватить идейно-художественную сложность литературного творчества. И в этом лучше всего убеждает упомянутое исключение: работа З. Минц «Лирика Блока» (вып. 1 и 2, Тарту, 1965 и 1969).

Остановимся на цикле стихотворений А. Блока «Ямбы» в трактовке их З. Минц. По силе отрицания старого мира («голодной и больной неволи»), по страстной вере в будущее народа («Народ — венец земного цвета, краса и радость всем цветам») и человека («Он весь — дитя добра и света, он весь — свободы торжество») двенадцать стихотворений, входящих в этот цикл, — одна из вершин поэзии Блока. В книге З. Минц поражает нас прежде всего то, что в поле зрения автора нет самих стихотворений как конкретных единиц цикла. Автора интересуют оппозиции, противопоставления слов, вынутых из живого контекста и сведенных в крайне упрощенные смысловые группы: тьма — свет, зима — лето, горе — радость, неволя — свобода, зло — добро, тишина — музыка. В свою очередь, первые члены этих пар сводятся к «сегодня», а вторые — к «грядущему». Стихотворения Блока, как художественно-индивидуальные цельности, каждая со своим внутренним содержанием, устранены из нашего поля зрения.

Мы можем взять стихи любого плохого поэта, произвести в них соответствующее разбиение на пары (у кого не найдешь зиму и лето или тьму и свет) и не обнаружить их отличия от Блока. К этому выводу, по существу, и приходит З. Минц: «...в Я («Ямбах». — Л. Т.) трудно найти нечто особо оригинальное. Противопоставления цикла мало специфичны, порой даже тривиальны. Однако эта тривиальность — особого рода: она нарочита, т. е. выполняет художественную функцию. Идея Я несет на себе ту печать «примитива», «наива», которая придает циклу оттенки: 1) очевидности, общепонятности, «народности» (и общезначимости) его революционных настроений; 2) простоты и «двуцветной» прямолинейности революционного видения мира».

Легко понять, в какой мере обедняется, растрачивается лирика Блока при таком ее изучении. И если вторая книга Ю. Лотмана говорит об отказе от поисков общих литературоведческих категорий, то работа З. Минц свидетельствует, к чему приводит этот отказ..

Отчетливое понимание нарастающей сложности современного литературного процесса, необходимости единого критерия осмысления его многообразных форм и наряду с этим глубина и точность подлинного анализа конкретных его проявлений — это взаимосвязанные и дополняющие друг друга пути нашей науки.



АЛЕКСАНДР ОВЧАРЕНКО

★

ПРОДОЛЖЕНИЕ СПОРА

Завидовал и завидую людям, способным повторять популярные истины так, словно этого вполне достаточно, чтобы сами собой раскрылись все секреты жизни, истории, философии, искусства. Завидую и всегда теряюсь, если некто, вооружившись элементарным справочником, начинает подавлять окружающих заключенными в нем универсальными ответами. Так произошло и на этот раз, когда я вынужден был обратиться в своих работах к проблеме «социалистическая литература — социалистический реализм: направление? метод? стиль?». Говорю «вынужден» потому, что она была выдвинута художественной практикой и творческими дискуссиями последних десятилетий. Видный советский писатель вынес ее на обсуждение профессоров и студентов Московского университета, но предложил решение, не удовлетворившее, насколько мне известно, не одного меня. Вместе с тем его выступление заставило задуматься, тоже не одного меня, над вопросом: а нет ли упрощений в тех решениях этой проблемы, которые мы даем в своих работах, соответствуют ли они положению, наблюдаемому в самой социалистической литературе? Признавая, и справедливо признавая, социалистический реализм основным художественным методом литературы нового мира, не допускаем ли мы в то же время нивелировки, когда уравниваем, скажем, всю советскую литературу на разных этапах ее развития с социалистическим реализмом, отождествляем социалистическую литературу как направление в мировом художественном процессе с произведениями, в которых социалистический реализм действительно торжествует как творческий метод? Но стоило лишь поставить эти

вопросы, и тотчас же со страниц фундаментальных книг, толстых журналов, газет мне стали разъяснять (журия, пробирая, а то и «разоблачая»): «Почему с вопросительными знаками? Разве не является азбучной истиной, что одно вытекает из другого, как река вытекает из озера, река, в дальнейшем своем течении разбивающаяся на множество протоков и вбирающая в себя бесчисленные притоки? Все начинается с метода, под которым подразумеваются основные принципы художественного отбора, обобщения, оценки и изображения жизненных фактов. Конкретное выражение метод находит в стиле художника. Направление (течение) — конкретное же выражение метода в творчестве писателей, близких друг к другу идейно и художественно». Перед такой абсолютной ясностью нельзя не растеряться.

И уж совсем опускаешь руки, когда, не допускаям возражения тоном отвергая твои робкие рассуждения о социалистической литературе, социалистическом реализме, о месте в них революционного романтизма, приводят еще более неотразимые аргументы, вроде следующих: «Думается, что правы те литературоведы и критики, например Л. И. Тимофеев, Г. И. Ломидзе, В. И. Иванов, Л. Н. Новиченко, С. Г. Асадуллаев, которые утверждают, что в нашей литературе существует лишь один метод — социалистический реализм, потому что все писатели (конечно, стоящие на советских позициях) разделяют пафос Великой Октябрьской социалистической революции, способствуя своим творчеством ее великой цели — созданию коммунистического общества»¹.

¹ Л. Залесская. Метод или стиль? О романтизме в советской литературе. «Литературная Россия», 9 января 1970 года, стр. 8.

Можно только склонить голову и... думать, думать, мысленно листать сочинения названных представителей критики и литературоведения. «Лишь один метод...» — прямо говорит Л. Залесская. По существу, то же самое утверждают В. Оскоцкий², Арк. Эльяшевич³, хотя последний и сознается, что не знает, как «типологически» обозначить творчество Блока. «Лишь один метод...» «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике» и «Городок Окуров», «Жизнь Клим Самгина» — один метод? Поэзия Пролеткульта, космизм и Твардовский — один метод? «Алые паруса» и «Танкер «Дербент» — один метод? И разве несомненный факт, что в первые же годы после Октября футуристы приняли платформу Советской власти, искренне стремились служить своим творчеством коммунизму, помешал тому, что, как сказано в известном документе, они «в области искусства рабочим прививали нелепые извращенные вкусы (футуризм)»?⁴

«Лишь один метод...» Но ведь и А. Платонов и М. Булгаков тоже стояли на советских позициях, почему же в цитированной статье Л. Залесской сказано об их творчестве: его «нельзя, строго говоря, отнести ни к критическому, ни к социалистическому реализму, ни к романтизму»? И что может помешать продолжить этот список: Блок, Брюсов, Белый, Ахматова, Мандельштам, Бабель, Пастернак?.. «Переходные формы искусства», отвечает Л. Залесская, забывая, что он, термин этот, обоюдоострый, требует ответа на вопрос: переход к чему? И еще, если, строго говоря, фактически признается, что названные писатели «вне метода» создавали такие произведения, как «Конармия», «Дни Турбиных», «Фро», «В прекрасном и яростном мире», «Мастер и Маргарита», то не ставится ли тем самым под сомнение проблема художественного метода вообще, не оказывается ли тем самым она искусственной, надуманной?

Это заставляет еще внимательнее перечитать статьи моих оппонентов. «Думается, что правы те литературоведы и критики, например...» Не буду копировать прием и состав-

лять список тех литературоведов и критиков, которые не считают, что в нашей литературе существует лишь один метод. Хотя, последуй я примеру оппонента, начал бы вот с этих слов болгарского философа, теоретика искусства Тодора Павлова, известного своей принципиальной неуступчивостью во всем, что касается социалистического искусства, ни разу не дрогнувшего в защите социалистического реализма как основного художественного метода литературы нового мира: «Социалистическое и коммунистическое общество не может не иметь... своего искусства, своего основного или главного художественного направления. Конечно, наряду с ним существуют и другие, но они не основные, не главные, не решающие для литературы и искусства нашего общества. Именно в этом суть вопроса»⁵.

Но обратимся лучше к самой проблеме.

«В нашей литературе существует лишь один метод...» Но с какого времени он становится доминирующим, единственным методом? Со времен ее возникновения? Или завоевывает гегемонию на определенном этапе ее развития? На каком?

Поищем ответ в книге одного из рекомендованных нам авторитетов — «Историзм, теория и типология социалистического реализма» С. Г. Асадуллаева (Баку, 1969).

Книга привлекает, если можно так выразиться, абсолютной благонамеренностью концепции. С. Асадуллаев непоколебимо убежден: с победой социалистической революции в России метод социалистического реализма становится доминирующим, магистральным, единственным художественным методом писателей, вставших на сторону Советской власти; поэтому на первый взгляд самые несхожие явления должно рассматривать как различные «границы», «формы», «черты», «стороны», «стилевые течения» социалистического реализма.

В своем существе предложенная нам концепция не является ни новой, ни оригинальной. Она представляет собой крайнее выражение идеи, неожиданно получившей развитие в нашей науке накануне Второго съезда советских писателей и в своеобразном варианте поддержанной Г. Ломидзе в докладе «Методологические вопросы изучения взаимосвязей и взаимообогащения советских литератур» (1963). Впоследствии Г. Ломидзе не раз уточнял свое понимание этой идеи.

² См. В. Оскоцкий. Везбрежная романтика и берега романтизма. «Литературная газета», 16 июля 1969 года, стр. 5.

³ См. Арк. Эльяшевич. Романтика — без конца и края?.. «Литературная газета», 9 апреля 1969 года, стр. 5.

⁴ Цит. по книге «В. И. Ленин о литературе и искусстве», изд. 3-е. М. «Художественная литература». 1967, стр. 595.

⁵ «Иностранная литература», 1970, № 11, стр. 197.

С. Асадуллаев же берет ее, так сказать, в девственном виде и генерализует.

Это тем досаднее, что основная посылка, из которой исходит исследователь, стремясь рассматривать социалистический реализм в его сложнейшей и многосторонней эволюции, правильна и плодотворна. «Строя теорию социалистического реализма лишь на лучших произведениях советской литературы,— пишет он,— мы страшно обедняем и литературу и ее метод, стремимся показать только разукрашенную, «праздничную» витрину. Между тем нам нужна вся «мастерская», богатая и сложная творческая лаборатория, которая значительно богаче, чем самая яркая витрина. Чистоту социалистического реализма нужно беречь иным путем, показывая его исторические корни, органический процесс его становления и развития. И не только на материале литературного процесса в целом, но и на материале творчества отдельных писателей, на отдельных произведениях, в которых отдельные черты нового метода проявляются еще в соседстве и в переплетении с элементами формализма, модернизма и т. д...»

Интересная, плодотворная мысль. Но когда С. Асадуллаев начинает в свете ее рассматривать конкретные произведения, мысль эта им самим упрощается. Спору нет, мобилизован колоссальный материал. Но исследователь именно «мобилизует материал», а не исходит из конкретного анализа литературы, взятой во всей ее сложности, без единого исключения (что считал неперменным условием подлинной научности Ленин⁶). В книге мы находим интересное заявление редакции «Пролетарского сборника» (1918), что путь новой литературы — «путь реализма», но в ней ни словом не упоминается о том, что начиная с 1918 года Горький по крайней мере в течение четырех лет упорно твердил: современный советский литератор должен быть романтиком, должен писать примерно так, как написаны «Двенадцать» Блока, а однажды поспорил на эту тему с самим Лениным, утверждавшим, что нам нужны не только героико-романтические произведения⁷. В своих теоретических построениях С. Асадуллаев постоянно опирается на высказывания Ленина и Горького и вместе с тем пишет «реализм «150 000 000» Мая-

ковского», «реализм «Двенадцати» Блока», стыдливо умалчивая, что в этих произведениях Ленин и Горький находили все, кроме реализма. «Футуризм» — такова самая мягкая из оценок, данных Лениным поэме «150 000 000»⁸. «Романтизм» — так определил Горький в интересующем нас плане поэму «Двенадцать».

Автор рассматриваемой нами книги решительно отвергает точку зрения А. Бушмина, Ю. Андреева, А. Иезуитова и других, утверждающих, что по крайней мере на раннем этапе развития советской литературы в ней был не только социалистический реализм, что творчество таких, например, писателей, как А. Белый, А. Ахматова, Б. Пильняк, не говоря уж о Е. Замятине или А. Ремизове, не охватывается даже и категорией «советская литература». Но сам уходит от вопроса: если социалистический реализм еще на заре советской литературы восторжествовал как единственный ее метод, то почему на Первом съезде писателей СССР в 1934 году определению «единственный» предпочли определение «основной»? И очень жаль, что в целях ниспровержения своих оппонентов С. Асадуллаев пользуется давно и всеми осужденными приемами. Проявив бессилие перед действительно во многом уязвимыми, но не лишенными плодотворности и серьезного основания концепциями А. Бушмина и Ю. Андреева, молодой ученый начисто сокращает их с помощью следующего неотразимого аргумента: «Известно, что такой взгляд на проблему льет воду на мельницу наших идейных врагов». Как говорится, не много думано, но ясно сказано.

Прибегает С. Асадуллаев и к другому приему. Он, например, в одном месте приписав мне чужие слова, в другом рассматривая мои взгляды не в их настоящем виде, а в интерпретации, предложенной моими оппонентами, не удерживается от прозрачного намека: «С этой позиции негрудно примкнуть к тем чехословацким критикам, которые пишут о наличии в чехословацкой литературе «социалистического модернизма». Отсюда всего один шаг до признания еще таких «методов», как «социалистический имажинизм», «социалистический кубизм», «социалистический абсурдный театр» и т. п.»

Цитирую эти отличающиеся абсолютной прозрачностью и недвусмысленными «готовностями», как выражался Щедрин, положе-

⁶ См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 351.

⁷ См. «В. И. Ленин о литературе и искусстве», стр. 697.

⁸ См. там же, стр. 493.

ния еще и потому, что С. Асадуллаев не раз подчеркивает: у Бушмина, Андреева, Сучкова, Мясникова, Пархоменко, Егорова, Щербины, Овчаренко отсутствует «ясное и четкое представление о сущности социалистического реализма», а их концепция — «порождение туманных представлений о художественном методе вообще как эстетической категории и неверного толкования концептуальной сущности, эстетической природы социалистического реализма в частности». Не знаю, как у других оппонентов С. Асадуллаева, а у меня действительно нет «постоянной ясности», прославленной еще Маяковским, но есть надежда на коллективные усилия. Она-то и заставляет вступать в спор с людьми, которым все ясно. В частности, преодолев чувство сильной досады, неизбежно возникающее при чтении трактата С. Асадуллаева, я терпеливо вчитываюсь в его теоретические штудии, пытаюсь понять, что еще внушит мне ученый, кроме идеи единственного метода на всех этапах советской литературы? Вот он осмеивает Ю. Андреева за допущение «какого-то социалистического искусства». Так и написано: «какого-то». За это же достается от молодого ученого и другим:

«Известный теоретик Б. Сучков, например, пишет, что «социалистический реализм есть искусство освобождающегося и освободившегося от эксплуатации, поднимающегося к сознательному историческому творчеству народа». Можно было бы простить автору сведение социалистического реализма к понятию «искусство», объяснив это ученой рассеянностью, или же вовсе не заметить его вообще. Но далее, говоря об осознанном историзме художественного мышления советских писателей, критик пишет, что это является «непременным свойством социалистического реализма и его творческого метода». Теперь уже получается, по мысли автора, что социалистический реализм — это еще не метод, а нечто другое, которое имеет еще свой творческий метод. Подобное смещение понятий, терминологическую путаницу допускают также В. Разумный, А. Егоров, В. Щербина и другие».

Поправляя их, молодой ученый повторяет «снова и снова»: не существует социалистического искусства как направления, есть один только многогранный, многосторонний, многослойный, многоликий метод социалистического реализма, равный советской литературе в целом. Феномены, обнаруживаю-

щие сродность, объединяются в стиливые направления (течения) внутри метода социалистического реализма. До настоящего времени таких стиливых направлений в советской литературе выявилось пять: собственно реалистическое, романтическое, сатирическое, научно-фантастическое и лирическое (что последнее может быть и реалистическим, а может быть и романтическим, исследователю, кажется, невдомек). В свою очередь, каждое из них складывается из индивидуальных стилей. Для наглядности на странице 202 вычерчивается схема...

Ясность, прозрачность вычерченной схемы достигается, во-первых, благодаря полному выключению советской литературы из мирового социалистического искусства двадцатого столетия; во-вторых, благодаря отсечению, исключению из конкретного литературного процесса всего, что не подтверждает заданной мысли (для исследователя вне советской литературы не только футуристы, имажинисты, ничевоки, но и Ахматова, Хлебников, Клюев, Орешин, Клычков, П. Романов...); наконец, благодаря «смелому» зачислению в социалистический реализм всего, в чем есть хоть какие-либо элементы жизненности, реальности, «реальных отношений». К социалистическому реализму С. Асадуллаев относит не только «150 000 000» и «Мистерию-буфф» Маяковского, «Двенадцать» Блока, «Падение Даяра» Малышкина, все творчество П. Бессалько, А. Яковлева, «На черной полосе» А. Бибики, «Желтого дьявола» М. Сивачева, но и всю в действительности лишенную монолитности поэзию Пролеткультов, всю поэзию «космистов», публицистические корреспонденции Серафимовича и даже... первую редакцию романа «Сестры» А. Толстого. Без какого-либо анализа к социалистическому реализму отнесены также А. Грин, Ю. Олеша, К. Паустовский, Е. Шварц.

Все это оказывается возможным потому, что в книге С. Асадуллаева не дается никакого теоретического решения проблемы социалистического реализма. Подвергая критике инакомыслящих, молодой ученый вместе с тем вынужден сказать о тех, на кого опирается в собственных построениях: «Противники теории множественности самостоятельных художественных методов в советской литературе (Г. Ломидзе, Л. Якименко и другие), кроме общих рассуждений о широте социалистического реализма, о его исторической изменчивости, о диалектическом развитии и т. д. и т. п., пока еще

ничего взамен для конструктивного, позитивного решения вопроса не предлагают».

К сожалению, не составляет в этом отношении исключения и сам С. Асадуллаев. Внимательно проштудировав сборники «В спорах о методе» (1934), «Борьба за реализм в изобразительном искусстве 20-х годов. Материалы, документы, воспоминания» (1962), книгу А. Фадеева «За тридцать лет», а также работы современных теоретиков и литературных критиков, он отметил все уязвимое в основных решениях проблемы, возникших в процессе развития нашей науки. Вот почему его исследование изобилует фразами, основанными по преимуществу на слове «нельзя». Отождествлять метод с мировоззрением нельзя. Смешивать метод с отношением писателя к действительности нельзя. Сводить метод к социалистическому идеалу нельзя. К видению социальной перспективы тоже нельзя, как и к осознанному историзму. Нельзя уравнивать метод и стиль. Нельзя рассматривать социалистический реализм как направление. Нельзя ставить знак равенства между социалистическим реализмом и социалистическим искусством. Нельзя метод связывать непосредственно и с новым художественным качеством искусства. Нельзя, нельзя, нельзя. И забывается, что при действительном решении проблемы социалистического реализма недопустимо игнорирование очень сложных, опосредствованных, порой трудно уловимых связей метода со всеми этими категориями, их взаимообусловленности, взаимопроникновения, диалектического единства. С. Асадуллаев же решительно лишает творческие принципы их непосредственной действенности, разрывает неразрывное, в результате чего проблема метода уходит в эти разрывы, как вода в песок, поскольку «художественное понимание», «творческие принципы», «художественная концепция», «эстетический идеал» лишаются всякого содержания.

Вот это «широкое» и вместе с тем «совершенно определенное» понимание художественного метода С. Асадуллаев фактически противопоставляет вызывающему у него сомнения определению метода, данному А. Мясниковым (хотя как будто на словах и соглашается с ним): «Своеобразие художественного метода писателя складывается из открытого им аспекта изображения, из взгляда писателя на объект изображения, из тех художественных средств, которые он избирает».

Каковы исторические, философские, эстетические корни предлагаемой С. Асадуллаевым концепции? Можно ли сказать, что она возникла как результат оригинального прочтения истории советской литературы? Нет. Она представляет собой попытку логически преодолеть крайние тенденции в нашей теории социалистического реализма — как чересчур «узкую», так и чересчур «широкую». Однако поставленной цели С. Асадуллаев не достиг. Более того, при всей кажущейся определенности и широте его концепция есть просто-напросто те же «узость» и «широта», только парадоксально соединенные вместе и вывернутые наизнанку. Вот почему в ее «новизне старина мне слышится». В самом деле, оглянемся на прошлое.

В большом и длительном споре о теоретических основах нашего искусства, разгоревшемся накануне Второго съезда писателей СССР и затем длившемся больше десяти лет, были отброшены догмы, мешавшие социалистическому реализму идти вперед. Спор велся под флагом борьбы с «жесткими регламентациями». Обсуждалось все, начиная с вопроса, кому принадлежит термин «социалистический реализм», и кончая мерой допустимости условных форм в искусстве нового мира. В центр дискуссии справедливо сразу же выдвинулась проблема сущности социалистического реализма. В противовес установленным определениям многие писатели, эстетики и критики вслед за К. Фединим стали защищать простое и всеобъемлющее решение: социалистический реализм — это книги социалистических писателей. Оно и легло в основу положения, предельно просто сформулированного в 1957 году В. Щербиной: «Социалистический реализм — это творения М. Горького, В. Маяковского, А. Серафимовича, Д. Фурманова, А. Фадеева, А. Толстого, М. Шолохова, А. Барбюса, Л. Арагона, П. Элюара, Мао Дуя, И. Бехера, А. Зегерс, Х. Лакснесса, Ж. Амаду, П. Неруды, Шона О'Кейси, Ю. Фучика, М. Пуймановой, В. Незвала и ряда других известных всему миру писателей».

Вслед за В. Щербиной и другие теоретики социалистического искусства стали прибегать к подобному определению, видоизменяя и расширяя список имен применительно к той или другой национальной литературе.

Со временем, однако, выяснилось, что подобный подход, положив предел догматическому толкованию основ искусства нового

мира, вместе с тем еще не продвигает их понимания. Все очевиднее становился просчет, ранее других замеченный болгарским академиком Тодором Павловым и определенный как «тенденция недооценки теоретического метода исследования вообще и, в частности, в эстетике и литературной критике»⁹. Естественно, что с конца 1950-х годов теоретическая мысль снова обратилась к вопросу о сущности социалистического реализма как направления, как метода, о его стилевом многообразии. Наряду с понятием социалистического реализма ученые начинают прибегать к категории «социалистического искусства», одни — с целью сделать более определенным понимание социалистического реализма, другие — растворить его в более широком явлении. Именно тогда В. Иванов чуть ли не первым задал старый и вечно новый вопрос: «Что такое реализм: метод, направление или еще что-нибудь?» Показав, какой невероятный разницей царит в литературе, посвященной этой проблеме, В. Иванов напомнил замечание Горького о необходимости установить наконец «рабочую истину» социалистического реализма — широкую и вместе с тем четко обозначенными «пределами неизбежного и допустимого». По-своему эта новая тенденция сказалась и на концепции, защищаемой С. Асадуллаевым.

Строго говоря, если согласиться со всеми «нельзя», выявленными и зарегистрированными С. Асадуллаевым, то не окажется никакой принципиальной разницы между тем, что он предлагает понимать под социалистическим реализмом, и тем, что в свое время навязывалось советским писателям под названием «диалектико-материалистического творческого метода». Точно так же за стремлением утвердить социалистический реализм не как основной, а как единственный метод даже на самых ранних этапах развития социалистического искусства угадывается все та же тенденция лишить важнейшие категории их действительной эстетической сущности. Осужденная применительно к рапповскому лозунгу, оправданна ли она, когда дело идет о методе социалистического реализма?

На мой взгляд, нет. Ф. Энгельс был совершенно прав, когда назвал диалектику единственным аналогом и тем самым мето-

дом объяснения природы, действительности¹⁰. Но переносить механически это положение на искусство, хотя бы и под названием социалистического реализма, признавая таким образом его произведения за действительность, мне кажется, нельзя. Этого не позволяют делать ни философские, ни эстетические причины, ни характер развития социалистического искусства.

В научном отношении мы уже выросли настолько, чтобы со всей решительностью осудить не только механическое перенесение чисто философских категорий в теорию искусства, но и прямолинейное соотнесение, скажем, реализма с материализмом, а всех других течений с идеализмом. «Подчеркивая роль коммунистического мировоззрения в развитии советской и других социалистических литератур, в творчестве тех или иных писателей,— констатирует с удовлетворением М. Храпченко,— марксистская критика не характеризует, однако, метод социалистического реализма в терминах материалистической диалектики и не считает обязательным «реализацию» в художественном произведении основных его категорий. Теория социалистического искусства, помимо того, исходит из реальных факторов, показывающих развитие в социалистических литературах романтического течения. Советские писатели, писатели других социалистических стран, выражающие в своих произведениях романтические начала, не становятся в силу этого идеалистами, противниками материалистической философии. И это подчеркивает неправомерность чрезмерного сближения или отождествления метода художественного и научного»¹¹.

Но все же мы еще настолько юны, что не всегда решаемся рассматривать философские основы искусства в их специфически эстетическом преломлении, как то характерно и для С. Асадуллаева. Защищая социалистический реализм, он утверждает: «Реакцией на крайне отрицательное отношение к романтическому изображению в последнее время явилась другая крайность. Это концепция, согласно которой в советской литературе рядом и параллельно с социалистическим реализмом существует самостоятельный художественный метод ро-

⁹ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 367.

¹¹ М. Б. Храпченко. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. М. «Советский писатель». 1970, стр. 49.

⁹ Тодор Павлов. Некоторые методологические вопросы эстетики. Опубликовано в сборнике «Проблемы эстетики». М. Издательство АН СССР. 1958.

маннизма. Внешне эта концепция будто бы утверждает художественное многообразие советской литературы, но на деле она отрицает это многообразие, выводит его за рамки социалистического реализма, фактически разрушает идейно-эстетическое единство советской литературы. Два или три параллельно развивающихся самостоятельных творческих метода, если даже они не полярны и взаимно не исключают друг друга, все же выступают как выражение в искусстве совершенно различных идейных устремлений, философских систем, эстетических идеалов».

Подумать только, даже не противостоящие друг другу, а, скажем, дополняющие друг друга методы недопустимы даже на отдельных этапах развития, ибо вырастают, как уверяют нас (заставляя вспоминать писания рапповцев), лишь на почве совершенно различных философских систем. А поскольку социалистический реализм, как убедительно доказано, зиждется на материалистической системе, то все остальные, вероятно, могут вырастать только на почве идеализма — так, что ли? Так — отвечал А. Упит, говоря о романтизме. Так — соглашается с ним Т. Павлов, хотя в последние годы и делает существенные оговорки. Автор же книги «Историзм, теория и типология социалистического реализма» не решается извлечь выводы, логически вытекающие из его собственных построений.

Впадает он также в другую распространенную ошибку, которую часто допускают самые опытные ученые и существо которой в том, что реализм отождествляется с реальностью (соответственно: романтизм с романтикой), с правдой жизни, элементами объективной истины истории и т. п. Посмотрите, говорят нам, разве вот эта деталь в «Падении Даира» не правдива, не жизненна, или вот эти мысли, тревоги, раздумья героев «Звенигоры» Довженко не связаны с самим духом украинского народа? И забывают, что по отдельности та или иная черта, особенность нам может встретиться не только в реалистическом, но и в романтическом, даже в модернистском произведении, и это ровно ничего еще не доказывает. Суть не в том, что это есть, а в том, как, в какой системе это существует. Тут вполне можно сказать словами Я. Ивашкевича: «Важны не отдельные камешки, а вся мозаика в целом». Тем более что «жизненная правда может быть выражена не только в реалистическом искусстве, но и в

произведениях иных видов искусства»¹². Из смешения понятий «реализм» и «реальность» выросла пресловутая формула «искусство, то есть реализм». И совершенно прав был Е. Тагер, когда иронизировал по поводу этой детской ошибки ученых (к чему я еще вернусь ниже). Решая проблему «социалистическое искусство — социалистический реализм: направление? метод? стиль?», мы обязаны выявить всю необычайно сложную идейно-художественную систему признаков социалистического реализма в ее соотношении, с одной стороны, с не менее сложными системами критического реализма и революционного романтизма, с другой — с идейно-художественной системой модернизма. На это наше внимание обращал еще А. Н. Соколов: «Литературные направления не разобщены между собой в такой степени, чтобы у них нельзя было найти общих признаков. Но система признаков специфична для каждого литературного направления. В этой системе и каждый отдельный признак приобретает специфическую окраску, особый оттенок»¹³. Что же касается отождествления таких категорий, как реализм и правдивость, то оно, по верному утверждению другого ученого, «как показал теоретический опыт, лишает проблему реализма научной специфики»¹⁴.

Наконец, допускается С. Асадуллаевым и еще одна методологическая ошибка, тоже не составляющая его собственного достоинства. Разграничивая понятия «направление — метод — стиль», некоторые ученые зачастую делают это, игнорируя тончайшие формы их взаимозависимости, взаимобусловленности, взаимопереходов. Метод, говорят они, неотделим от специфики искусства; стиль, говорят они же, это не что иное, как конкретное воплощение творческого метода. И в то же время утверждают, что метод ни в коем случае не связан со стилевыми направлениями, поскольку использует самые различные приемы, средства, формы (настолько различные, что кое-кто начинает понимать их как любые). А как же быть с «конкретным воплощением»? Возможно ли оно без взаимозависимости? Думается, правильное решение подсказывал Горький, когда советовал:

¹² Там же, стр. 307.

¹³ Сб. «Проблемы романтизма». М. «Искусство». 1967, стр. 29.

¹⁴ П. А. Николаев. Возникновение марксистского литературоведения в России. М. Изд. МГУ. 1970, стр. 175.

«Нужно различать прием и форму. Прием — сопоставление фактов, наиболее ярко обнажающих скрытый смысл содержания, темы. Форма — словесное одевание факта...» Спрашивается, возможно ли при таком понимании приема считать его нейтральным по отношению к методу? Асадуллаев полагает, что можно. На самом же деле, не сводя все к системе приемов, их вместе с тем нельзя и полностью игнорировать.

Здесь пора оговориться, что работе С. Асадуллаева я уделяю так много внимания потому, что считаю ее типичной для целого направления в советском литературоведении: высказанные в ней со всей возможной прямоотидеи давно развивают и защищают в более элегантно формулировках, со множеством амортизирующих оговорок, такие ученые и критики, как Л. Тимофеев, Л. Новиченко, Г. Ломидзе, Л. Якименко, З. Кедрина... В своих построениях они опираются на опыт советских литератур. Их выводы чаще всего оспариваются учеными, учитывающими особенности развития мирового литературного процесса. И тут надо прямо сказать: уязвимость многих современных концепций — в выборочном подходе авторов к социалистическому искусству. Соглашаясь с мыслью, что надо исходить при решении кардинальных проблем из всего многообразия социалистической литературы, мы в своих теоретических построениях опираемся на знание в лучшем случае двух-трех национальных литератур. Только поэтому у нас и оказываются возможными такие «пассажи», как приводившаяся выше sacramентальная фраза С. Асадуллаева: «...говорит о какой-то социалистической литературе». Ученому и невдомек, что без понятия «социалистическая литература» сегодня не обходится ни один серьезный исследователь мирового искусства. Да и в советской литературе без этой категории разобраться по настоящему невозможно.

Если мы возьмем социалистическое искусство как сложнейшее явление мирового литературного процесса, оказывающее ныне определяющее влияние на художественное развитие человечества, мы неизбежно придем к иному решению проблемы «социалистическая литература — социалистический реализм: направление? метод? стиль?». Мы убедимся также, что именно эта проблема остается и в мировом споре ключевой. Над ее решением много лет бьются выдающиеся

представители эстетической мысли всех стран. Вот еще одно тому доказательство. В обширном предисловии к двухтомной антологии «Социалистический реализм», выпущенной издательством «Гондолат» в 1970 году, ее редактор, видный венгерский ученый Бела Кепеци, пишет: «Трудно назвать другое такое понятие, вокруг которого за прошедшие десятилетия велось бы столько споров, как вокруг понятия «социалистический реализм». Представители буржуазии — и консервативно настроенные деятели, и приверженцы «третьего пути» — воспринимают «социалистический реализм» как обозначение некоей системы эстетических норм, якобы навязанной искусству коммунистическими партиями. Спекулируя на вредных последствиях схематизма, они объявляют все произведения социалистического реализма художественно малоценными, отождествляют их с политической пропагандой. Что же касается сторонников социализма, то они, помня об извращениях, допущенных догматической культурной политикой, пытаются найти новое толкование этого понятия или предлагают совсем отказаться от него. Многие возражают против понятия «социалистический реализм» еще и потому, что не видят с достаточной ясностью значения слова «реализм», не знают, что следует под ним понимать: стиль, метод или, может быть, общественную позицию. Ориентироваться здесь чрезвычайно трудно еще потому, что в международном рабочем движении наших дней реалистическими называют порой совсем разные художественные направления, а также потому, что даже в странах, строящих социализм, существуют рядом друг с другом разнообразные — в том числе и несоциалистические — тенденции, которым тем не менее свойственны определенные реалистические черты».

Как убедительно доказали И. Анисимов, А. Ивашенко, М. Храпченко, Б. Сучков, Т. Павлов, Д. Марков, Р. Самарин, Г. Кох, Михай Новиков, Бела Кепеци, К. Кураха, С. Финкелстайн, Д. Олдридж и многие другие ученые и писатели, в современном мировом искусстве существует и фонтанирует мощное художественное направление, базирующееся на фактах социалистической действительности и принятии идеи коммунизма. Собственно, это настолько корневое, все усиливающееся, разрастающееся вглубь и вширь направление, что его давно и справедливо называют социалистическим искус-

ством. Оно существует не только в странах нового мира. Очаги его увеличиваются и в капиталистических странах. Как процесс, оно развивается в борениях, притяжениях и отталкиваниях со множеством других художественных направлений. По преимуществу это реалистическое искусство. Но внутри, например, той его части, которая развивается в капиталистическом мире, есть и социалистический реализм, и революционный романтизм, и попытки выразить социалистические устремления через экспрессионизм, даже эксцентризм, о котором еще Ленин говорил Горькому: «Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, а — интересно!» Есть множество чересполосных форм. Та же «Герника» Пикассо находится где-то в средостении критического реализма, подчеркнутого экспрессионизма и доведенного до крайности эксцентризма.

Да и в некоторых национальных литературах социалистического содружества положение таково, что вряд ли уже можно говорить о победе, даже доминировании одного художественного метода всюду. Пример тому — не только литература Югославии. Йозеф Дарваш, характеризуя культурную политику, ныне проводимую в Венгрии, в докладе на собрании венгерских писателей летом 1970 года констатировал: «Эта культурная политика правильна потому, что ее характеризуют емкость и открытость — в хорошем смысле этих слов. Ее принципы берут истоки в марксистско-ленинском мировоззрении, она учитывает существование различных направлений, течений, соперничества и внутри литературы социалистической идейности. Кроме того, она учитывает реальность существования в нашей литературе и по сей день направлений не социалистических, но гуманистических по духу, создающих эстетические ценности» («Критика», 1970, № 9). Дело тут именно в существовании и борении разных художественных методов, внутри которых, в свою очередь, наблюдается не только стилевое или жанровое разнообразие. Существуют различные типологические линии внутри социалистического реализма, так же как романтизма. Живой художественный процесс, таким образом, совсем не укладывается в ту схему, которую вычертил С. Асадуллаев.

На это могут возражать: она, схема, вы-

черчена им на основе советской литературы. Но с каких это пор закономерности развития нашей литературы стали вступать в противоречие с развитием мировой социалистической литературы? Не вернее ли предположить, что не советская литература хватилась в сторону, а ее исследователь?

В связи с обсуждаемой проблемой уместно обратиться к мнению видного украинского ученого и литературного критика Л. Новиченко. «Существует лишь один метод». Разделяет это утверждение Л. Новиченко? Разделяет. В последний раз об этом он заявил, рецензируя книгу «Довженко. Некоторые вопросы эстетики и поэтики» Ю. Барабаша. Он писал: «Для исследователя творчество Александра Довженко — живое доказательство неисчерпаемой художественной широты социалистического реализма. Не какого-то особого «романтического метода», который, по предположениям некоторых литературоведов, существует якобы в нашем искусстве, а именно социалистического реализма, его творческой многогранности и жизненности. Да, доженковский романтизм — это крылатый реализм, по образному определению автора. Но «включаясь» в современные споры о художественном многообразии, критик резонно напоминает, что в теоретическом истолковании этой проблемы не может быть места никакой эклектике, никакому многообразию «без берегов». «Попробуем трезво взглянуть, — пишет Ю. Барабаш, — на реальную, а не идеальную картину нынешнего литературного процесса. Только ли стилевая пестрота, только ли разнообразие манер обращают на себя внимание? Разве нет произведений, авторы которых явно исходят из иных методологических принципов, нежели принципы, лежащие в основе социалистического реализма?»¹⁵

Аргументируя свое положение этой цитатой, Л. Новиченко, на мой взгляд, не только не опровергает мнения «некоторых литературоведов», но идет дальше них. Ведь он безоговорочно присоединяется к утверждению Ю. Барабаша, что даже в сегодняшней советской литературе есть произведения, авторы которых «явно исходят из иных методологических принципов, нежели принципы, лежащие в основе социалистического реализма». А раз существуют иные в методологическом отноше-

¹⁵ Леонид Новиченко. Удивительный мир Довженко. «Литературная газета», 16 апреля 1969 года, стр. 6.

нии произведения, стало быть, существуют и иные методы — не так ли? Ученому это не нравится? Он этого не одобряет? Может быть, боится? Но ведь это уже совсем, совсем другое дело.

К месту будь сказано, Л. Новиченко напрасно пытается поставить знак равенства между позицией Ю. Барабаша и позицией своего единомышленника Арк. Эляшевича в вопросе о романтизме. Раскрываем рецензированную Л. Новиченко книгу и внимательно читаем:

«В своем докладе «Романтизм в советской литературе» на научной конференции по актуальным проблемам социалистического реализма (1966 г.) А. Овчаренко ставит вопрос таким образом: «Является ли романтизм в современных условиях только стилевым явлением искусства социалистического реализма, или же он может рассматриваться как нечто методологически цельное, своеобразное, существующее наряду с методом социалистического реализма или, по крайней мере, обладающее в ряде случаев известной автономией внутри этого метода?»

Здесь по существу затронута проблема значительно более широкая, чем проблема романтики, — речь идет о единстве творческого метода нашего искусства и о многообразии этого искусства.

Есть все основания говорить как о тенденции последнего времени о проявившемся в ряде работ стремлении безграничного расширения «берегов» социалистического реализма. Под флагом борьбы за многообразие, против нормативности некоторые критики с чрезмерной легкостью включают в сферу социалистического реализма такие художественные явления, которые по своей идейно-эстетической природе во всех отношениях далеки от него. Насколько антинаучен и антиисторичен такой недифференцированный подход к сложной, необычайно пестрой картине развития нашей литературы, показал А. Метченко, опираясь на анализ творчества М. Булгакова и А. Платонова...

Что до меня, то я пошел бы дальше. Как ни сблизилась по сравнению с первыми пооктябрьскими годами понятия «советская литература» и «социалистический реализм», до полного взаимопроникновения, на мой взгляд, и сегодня еще далеко. Попробуем трезво взглянуть на реальную, а не идеальную картину нынешнего литературного процесса. Только ли стилевая пестрота,

только ли разнообразие манер обращает на себя внимание? Разве нет произведений, авторы которых явно исходят из иных методологических принципов, нежели принципы, лежащие в основе социалистического реализма?»¹⁶

Коснувшись далее конкретного вопроса о романтизме, о сложности его решения применительно к творчеству Довженко, об отличии этого «романтика-реалиста» от «чистого» романтика А. Грина, исследователь пишет: «Отказываясь признать плодотворной концепцию двух методов в советском искусстве — метода социалистического реализма и метода романтического, мы вместе с тем действительно имеем, мне кажется, основание говорить об известной автономии романтики внутри нашего творческого метода, об элементах не только стилевых, но и методологического своеобразия творчества таких художников, как Довженко. Эта мысль заслуживает серьезного внимания. Говоря о романтической линии в литературе социалистического реализма как о явлении стилевом, мы, несомненно, несколько упрощаем вопрос о взаимоотношении стиля и метода»¹⁷.

Как видим, Ю. Барабаш говорит не совсем то, что приписал ему Л. Новиченко.

В истолковании «этой проблемы не может быть места никакой эклектике...» — справедливо утверждает Л. Новиченко. Но можно ли обвинять в эклектизме человека, который, к примеру, вспоминая «Старуху Изергиль» Горького или «Гернику» Пикассо, спрашивает:

— Почему в середине нашего века только социалистический реализм, а не, скажем, социалистический романтизм?

И можно ли признать эклектикой такой ответ на этот вопрос:

— Да, образ Данко — великий образ, хотя и не реалистический (правда, о романтизме в его определенных течениях, шедшем нередко «рука об руку» с реализмом и сохранившем до сих пор действительную силу, должен быть вообще особый разговор). Да, «Герника» Пикассо — сильное, тревожащее и мучающее зрителя произведение, хотя к реализму отнести его невозможно. Да, Велемир Хлебников не был поэтом-реалистом, но это не мешает

¹⁶ Ю. Барабаш. Довженко. Некоторые вопросы эстетики и поэтики. М. «Художественная литература». 1968, стр. 16—17.

¹⁷ Там же, стр. 19—20.

нам ценить своеобразное художественное обаяние его лучших стихов и поэм.

Приведенный диалог не выдуман мною. Так ответил на вопрос румынского писателя Думитру Мику мой друг и оппонент в вопросе о художественном методе... Л. Новиченко¹⁸.

Тут в наш спор снова включается Л. Залеская и разъясняет: «Поскольку общая закономерность всей нашей многонациональной литературы находит свое выявление в единстве коммунистического идеала, то и романтизм советской литературы не существует как особый самостоятельный метод «социалистического романтизма»¹⁹. На это я вслед за Л. Новиченко могу лишь повторить, что, устанавливая закономерность, нельзя не исходить из всего социалистического искусства, начиная по крайней мере с «Интернационала» Э. Потье и не исключая ни «150 000 000» Маяковского, ни «Герники» Пикассо, ни «Гибели всерьез» Арагона. Допускаю, что правы мои оппоненты: в советской литературе торжествовал всегда, торжествует сегодня только один художественный метод, и Ю. Барабашу, А. Метченко, Б. Сучкову²⁰, М. Храпченко²¹ просто приснилось, будто в ней есть «произведения, авторы которых явно исходят из иных методологических принципов, нежели принципы, лежащие в основе социалистического реализма». Но будут ли они с решительностью, проявленной С. Асадуллаевым, возражать против того, что социалистический реализм как метод даже в советской литературе не сразу завоевал гегемонию²², что в первые годы Советской власти рядом с ним продолжал существовать и критический реализм (скажем, в творчестве С. Н. Сергеева-Цен-

ского), и романтизм (хотя бы в первых книгах Ю. Яновского), что некоторые писатели делали попытки выразить коммунистическое содержание через посредство футуризма, импрессионизма, имажинизма. Или же они намерены «развязать» эту проблему с помощью бесконечного растягивания формулировок?

Значит, снова возврат к «своду регламентаций», к сборнику жестких нормативов? — тревожится З. Кедрина. И далеко не одна она. Осторожность вполне объяснима и оправдана. Но, к величайшему нашему сожалению, рядом с учеными, проявляющими такую озабоченность в результате осознания подлинной сложности и трудности решаемой проблемы, есть критики и литературоведы, которые постоянно говорят о необходимости творческого подхода к назревшим проблемам литературной теории, требуют от всех такого подхода, клеймят и прямые проявления догматизма, схематизма, и то, что они называют «догматизмом наизнанку», и вместе с тем больше всего боятся какой-либо определенности, когда дело доходит до конкретного решения проблем социалистического реализма. Ныне они всюду обнаруживают «догму», как раньше обнаруживали «отступление от основ». Их любимое слово теперь — «широта». Не исключено, впрочем, что ко времени выхода из печати этой статьи они снова вспомнят об «основах» и заговорят в связи с нею об «отступлении», «ревизии», проповеди эстетического плюрализма. Пока же они — за «широту», и настолько безграничную, что любая определенность представляется им нормативностью.

Само по себе все это не так уж и беспокойло бы, если бы боязнь впасть в «нормативность» порой не оказывала, как мне кажется, отрицательного воздействия на теоретические искания крупных наших ученых и видных критиков. «Видимо, для всех теперь очевидно, — справедливо утверждает Л. Якименко, — что проблемы социалистического реализма не могут быть решены с позиций нормативной эстетики. Сам метод нашего искусства, сохраняя свои существенные особенности, исторически устойчивые черты, находится в постоянном движении, изменении. В творческом методе воплощается конкретный опыт искусства».

Совершенно верно. Но что считать существенными чертами, какое значение им придается и как они соотносятся с элементами

¹⁸ См. «Иностранная литература», 1967, № 3, стр. 218 и 229.

¹⁹ Л. Залеская. Метод или стиль? О романтизме в советской литературе. «Литературная Россия», 9 января 1970 года.

²⁰ Он одним из первых забил тревогу в связи с попытками возродить в нашей литературе критический реализм («Вопросы литературы», 1966, № 6, стр. 11).

²¹ В 1966 году он обращал наше внимание на вспышку в советской литературе натурализма (см. его статью в сб. «Актуальные проблемы социалистического реализма». М. «Советский писатель». 1969, стр. 458).

²² Иначе не было бы оснований для тревоги, которой проникнуты известные документы — письмо ЦК РКП(б) «О Пролеткультах» и резолюция ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы».

перманентного «обогащения»? Едва обратившись за ответом на этот вопрос, как обнаруживаешь эклектику, трюизмы, замешанные на модной словесности. Прошу понять меня правильно: я не за возвращение к «сборнику жестких нормативов», но я против лишения нашего искусства каких-либо устойчивых черт. Кое-кем вместе с нормативностью, приравняемой к догматизму, отбрасываются и характерные для социалистического реализма на всех этапах его развития «существенные особенности, исторически устойчивые черты». Выявление же таких особенностей и черт приравнивается к попыткам «регламентации, ограничений», которые, как сказано у только что цитированного автора, «неизбежно приводят и к ограничению творческих возможностей метода»²³.

Воюя против «узости», за «широту», критики и литературоведы, о которых сейчас идет речь, единодушно отвергают «реализм без берегов», наделяют самыми нелестными эпитетами отца этой теории. Однако же сами они не дают конкретного определения сущности социалистического реализма как метода (за что, как мы увидим ниже, и упрекает их Е. Тагер). Вот, например, Б. Бялик обобщает: «Словом, тезис о том, что метод социалистического реализма все в себя включить не может и потому рядом с ним нужен самостоятельный метод романтизма, никакого догматизма не разрушает, а, напротив, сужает понятие социалистического реализма, разрушает коллективно выработанное нашим литературоведением представление об этом методе как об очень широком, очень многогранном, способном получать различное стилевое, индивидуальное выражение»²⁴.

Оставим пока в стороне вопрос о романтизме. Не будем касаться и понимания автором «коллективно выработанного» представления о методе. Согласимся, что метод социалистического реализма очень широкий, очень многогранный. Но где граница между этим «очень» и «безбрежностью», если он «все в себя включить может»?

«Невозможно говорить о методе лишь как о сумме каких-то черт или обязатель-

ных элементов»²⁵, — пишет Л. Якименко. Согласимся с этой мыслью, но подчеркнем слово «лишь». Не отменяет ли оно тех «существенных особенностей, исторических черт», о которых вы же сами говорили? Существуют они или нет? Можно ли хотя бы их считать обязательными?

В самом деле, допустимо ли утверждать, что социалистический реализм требует от художника «правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии»? Правомерно ли считать это обязательным атрибутом нашего реализма, как когда-то обязательным атрибутом всякого подлинного реализма считалась верность действительности, проявляющаяся как в типичности характеров и обстоятельств, так и в верности деталей?

Не искушенный в тонкостях нашей науки человек может возмутиться: что за вопросы? Разве не дан ясный ответ на первый из них в Уставе Союза советских писателей? И разве не внес ясность во второй из этих вопросов еще Ф. Энгельс, сказав, что реализм не просто предполагает, а включает (implies), кроме верности деталей, правдивое изображение типических характеров в типических обстоятельствах? Неискушенный читатель может напомнить, что это высказывание Энгельса возникло в связи с оценкой первых опытов социалистического искусства, и процитирует заявление Тодора Павлова, сделанное еще в 1958 году в упоминавшейся выше статье: «Эта формулировка остается верной по отношению также и к искусству социалистического реализма». Он может пойти еще дальше и показать статью немецкого ученого Клауса Трегера, в которой сказано в связи с формулой Энгельса: «...по крайней мере в тенденции, этим была выдвинута на обсуждение проблема социалистического реализма»²⁶.

В отличие от неискущенного читателя, ссылающегося на «устаревшие» авторитеты, критики и литературоведы, защищающие широту во что бы то ни стало, думают иначе и все чаще своими построениями смущают серьезных ученых. К немалому моему удивлению, в капитальной, очень интересной во многих отношениях монографии

²³ Л. Якименко. Вопросы времени — вопросы критики. «Вопросы литературы», 1969, № 8, стр. 37.

²⁴ «Вопросы литературы», 1967, № 5, стр. 92.

²⁵ Там же, 1969, № 8, стр. 87—88.

²⁶ Клаус Трегер. Идея реализма у Маркса и Энгельса. Сб. «К. Маркс и актуальные вопросы эстетики и литературоведения». М. «Наука». 1969, стр. 131—132.

«Генезис социалистического реализма» (1970) Д. Марков не раз возвращается к утверждению, что можно согласиться с формулой художественного реализма как воссоздания истины жизни, если при этом не выдвигается категорическое требование правдивости деталей, а под формами самой жизни понимается «всеобщность и неизбежность связи искусства с действительностью, ибо и самый причудливый вымысел, и самая капризная фантазия в итоге коренятся в объективном мире, в представлениях людей о нем, и через него себя выражают». Но ведь при таком понимании мы должны отнести к реализму и романическую трилогию Сэмюэла Беккета, и весь «новый роман».

А вот утверждение на ту же тему в цитированной выше статье Л. Якименко: «Из работ А. Овчаренко видно, что он понимает реализм как такую эстетическую категорию, которой свойственны определенные изобразительные средства, ограничения в подходе к действительности. Несколько раз А. Овчаренко говорит о «правдоподобии действительности», об исторически-конкретном воссоздании действительности, видимо, считая их обязательными атрибутами реализма, в том числе социалистического реализма».

Внесем уточнение: ограничения в подходе к действительности приписаны социалистическому реализму не мною, а моим оппонентом. Но я действительно считаю, что социалистический реализм наряду с переменными величинами имеет также определенные устойчивые черты, определенные берега, в частности, и в сфере художественных приемов (как их предлагал понимать Горький). В этом отношении я, например, при решении проблемы становления художественного метода в творчестве Маяковского не могу игнорировать замечание В. И. Ленина: «Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, и все у него не то, по-моему,— не то и мало понятно. Рассыпано все, трудно читать»²⁷. Меня же пытаются уверить, что при решении этой проблемы «кривые слова» не в счет. И вместе с тем возводят их в эталон искусства двадцатого столетия.

Что предлагает Л. Якименко? Почитаем: «Социалистический реализм возник как принципиально новое качественное явление

в истории развития литературы. Он не может быть определен на основе существовавших терминологических принципов и понятий, на основе описания существовавших до него творческих методов и течений.

Социалистический реализм впитывает многие достижения мирового искусства, опирается на них, не ограничивая себя в том обширном, огромном материале, который дает ему мировое искусство.

Но это не значит, что в советской литературе как бы создается своеобразный исторический заповедник, в котором мирно сосуществуют различные творческие методы... Если идти по этому пути, то естественно будет предположить существование не только романтического метода, но и метода критического реализма; некоторые даже говорят о возрождении стилевых тенденций сентиментализма, и при этом называются определенные писательские имена, книги и т. д.»²⁸.

Как видим, здесь уже ставятся под сомнение не только неуютные концепции, но и реализм вообще как «существовавший». Вместе с тем подчеркивается отнюдь не случайно, что социалистический реализм «не ограничивает себя в том обширном, огромном материале, который дает ему мировое искусство». Но ведь это совершенно неверно. «Мировое искусство» «дает» социалистическому реализму в «поучение» не только опыт, очень противоречивый, во многом неприемлемый опыт Фолкнера или Фитцджеральда, но и опыт Кафки, Камю, «черного юмора», «поп-арта». Поэтому социалистический реализм ограничивает себя в этом отношении прежде всего демократическими и социалистическими элементами. Он приемлет не любые «достижения» мирового искусства, а лишь те из них, которые, обогащая, не разрушают его специфики именно как реализма. Он разборчив, очень разборчив, ибо знает свои возможности и не сомневается в своем будущем.

Почитаем еще: «Все советские писатели, даже те из них, кто был по ряду причин далек от идей революции, испытали в своем творчестве огромное воздействие социалистических идей, принципов нового искусства — искусства социалистического реализма. Мы бы занялись «самогипнозом», оперируя лишь литературоведческими понятиями, реальное содержание которых давно

²⁷ М. Горький. Собрание сочинений в 30-ти томах, т. 17, стр. 45.

²⁸ «Вопросы литературы», 1969, № 8, стр. 90

вышло из исторических берегов. Необходимы новые критерии оценок»²⁹.

Но эти «новые критерии» опять-таки лишены необходимой определенности. Между тем Л. Якименко считает, что использовать даже отдельные критерии оценок из прошлого применительно к реализму нашего времени и недопустимо и невозможно, поскольку ныне реальное содержание его (так же как романтизма, символизма и т. п.) «вышло из исторических берегов». Снова возникает вопрос: чем же тогда не устраивает моего оппонента пресловутая теория «реализма без берегов»?

На этот вопрос в цитируемой статье ответа не дается. Но в ней есть следующее положение:

«Важнейшим оценочным критерием, крупномасштабным, серьезным, является, на мой взгляд, эстетический идеал художника, его практическое творческое осуществление в концепции человека»³⁰.

Спору нет, эстетический идеал художника играет колоссальную роль в формировании и концепции человека и творческого метода, определяющих характер творчества писателя. Но этот факт не исключает другого: даже в творчестве одного и того же художника могут быть произведения, взаимноисключающие по художественному методу. Не удивительно поэтому, что Е. Тагер, предлагавший задолго до Л. Якименко считать «точной отсчета» эстетический идеал, приходил к выводам, противоположным тому, что пытается утвердить Л. Якименко.

В статье с явно полемическим заголовком «О границах социалистического реализма» Е. Тагер писал: «Мы критикуем — и вполне справедливо — концепцию «реализма без берегов». Да, реализм имеет свои «берега», свои границы, если только не понимать под реализмом искусство, обращенное к реальности (как будто может существовать искусство, не связанное с реальностью, даже когда художник пытается эту реальность отрицать), или искусство «правды» (как будто в романтизме, в классицизме, даже в религиозной символике средневековья не мог звучать голос правды). При таком расширении содержания понятия термин «реализм» теряет всякую научную ценность, становясь синонимиче-

ским обозначением искусства вообще или в лучшем случае «хорошего» искусства.

Но, с другой стороны, и научная ценность понятия «социалистический реализм» определяется тем, насколько отчетливо мы сознаем границы его содержания. И не случайно возникают опасения, что, не давая себе ясного отчета, мы подчас втайне исповедуем концепцию «социалистического реализма без берегов». Я думаю, что подобная концепция не помогает, а мешает правильному осмыслению всей сложности и богатого своеобразия нашего искусства, а в той мере, в какой теория воздействует на художественную практику, может помешать и этой практике»³¹.

Указывая, что «все советские писатели» испытали в своем творчестве огромное воздействие социалистических идей, но не конкретизируя свою мысль, Л. Якименко ведет скрытую полемику еще с одной гипотезой.

Тут, чтобы все стало ясным, придется обратиться к недавнему прошлому. Исследуя проникновение социалистических идей в мировую литературу и столкнувшись с фактом необычайного многообразия методов, форм, приемов художественного выражения социалистических влияний, я вслед за многими видными теоретиками из Болгарии, Венгрии, ГДР, Румынии, поддержанными в нашей стране И. Анисимовым, М. Храпченко, А. Бушминым, Д. Марковым и другими, вернулся к неоднократно развивавшейся старыми марксистами идее социалистического искусства и литературы, утверждая, что в советской литературе следует различать понятия «социалистическая литература» и «социалистический реализм»³². При этом имелись в виду такие сложные явления, как раннее творчество Маяковского и его «150 000 000», послеоктябрьские поэмы Хлебникова, творчество И. Бабеля.

Это «возвращение к понятию», реальное содержание которого, как я убежден, не вышло «из исторических берегов», получило поддержку и развитие в статье «О социалистическом реализме и социалистическом искусстве» А. Метченко³³. В ней была сделана первая серьезная, пусть во многом спорная, попытка осмыслить с по-

²⁹ Сб. «Актуальные проблемы социалистического реализма», стр. 544—545.

³² См. мою статью в журнале «Вопросы литературы», 1966, № 12.

³³ См. «Октябрь», 1967, № 6.

²⁸ Там же, стр. 91.

³⁰ Там же, стр. 92.

зий нашей теории творчество таких сложных писателей, как М. Булгаков, А. Ахматова, М. Цветаева, Б. Пастернак и другие.

Этот коротенький экскурс в предысторию вопроса совершаю для того, чтобы разделить с А. Метченко ту вину, которую на него одного возлагает Л. Якименко, когда пишет:

«Конечно же, сама жизнь ставит перед советским литературоведением ряд сложных вопросов, связанных с оценкой творчества таких, например, писателей, как Булгаков, Пастернак, Ахматова, Платонов и др.

В каком отношении находится их творчество к теории и практике социалистического реализма? Предложенное А. Метченко различие понятий социалистической литературы и социалистического реализма («Октябрь», 1967, № 6), само по себе интересное, не снимает проблему. Воздействие передовых идей времени на искусство вряд ли может быть изображено в виде двух ступеней, из которых одна, социалистическая литература,— нечто более низкое, нечто вроде подготовительного класса перед высшей ступенью — социалистическим реализмом»³⁴.

Упрощая предложенное решение и отбрасывая его как якобы схематическое, критик опять-таки не предлагает взамен ничего конструктивного, кроме расплывчатого положения: «Все советские писатели испытали влияние социалистических идей».

Из того факта, что все или, вернее, почти все советские писатели испытали влияние социалистических идей, отнюдь не следует, как справедливо возражал Г. Поспелов, будто они «сразу могли овладеть миропониманием и идеалами научного социализма, а некоторые и вообще ими не овладели по тем или иным причинам».

Лишь игнорирование подобных фактов позволяет Л. Якименко снять противоречие, диктующее ряду ученых решение проблемы, полемически выраженное в заглавии только что цитированной статьи Г. Поспелова «Социалистическая литература и ее методы». Резко заостряя свою мысль, Г. Поспелов писал:

«Совершенно неправильное отождествление всего конкретного содержания произведения социалистической литературы с «социалистическим реализмом», превращение термина «социалистический реализм» в

официальное название всей социалистической литературы догматизирует мышление литературоведов и препятствует им видеть все разнообразие познавательных принципов этой литературы. Вся социалистическая литература огульно и с порога объявляется реалистической, утверждающе-реалистической. Пока такая догматическая схема сохраняет свое значение, научное, историческое изучение вопроса едва ли будет возможным»³⁵.

Упорно защищал ту же концепцию Е. Тагер:

«Речь идет о признании того неоспоримого факта, что в эпоху социалистических революций в мире родилось и бурно развивается социалистическое искусство. Но внутри этого искусства, исходящего из общих социально-философских, нравственных и эстетических предпосылок, возможны различные методы, способы художественного видения, позволяющие акцентировать разные стороны духовного бытия современного человека, обнажить разные пласты и уровни исторического процесса»³⁶.

С олимпийским спокойствием человека, находящегося на вершине нашей теории, подошел к проблеме Ю. Борев. «Когда мы говорим о тех или иных художественных методах и их взаимодействии в современном литературном развитии,— писал он,— то следует обратить внимание на огромную сложность этого процесса, не укладываемого в рамки даже самой не простой схемы. Например, очень важно разобраться во взаимоотношении критического и социалистического реализма. В этом вопросе существуют две точки зрения. Первая утверждает, что социалистический реализм — всеохватывающий метод нашей литературы. Согласно второй точке зрения, в ней взаимодействуют разные тенденции, методы, причем социалистический реализм — генеральное направление развития искусства. Эта точка зрения привлекательна тем, что она позволяет более гибко охватить всю сложность исторического и современного литературного процесса»³⁷.

На мой взгляд, самым плодотворным, что родилось в результате дискуссии, было предложение спокойно и неторопливо

³⁵ Сб. «Актуальные проблемы социалистического реализма», стр. 428, 431.

³⁶ Там же, стр. 545.

³⁷ Юрий Борев. Эстетика, М. Политиздат, 1969, стр. 281—282.

³⁴ «Вопросы литературы», 1969, № 8, стр. 88.

разобраться в своеобразии литературных феноменов, порождающих теоретические разногласия. От односторонне-прямолинейного подхода к ним предостерегал В. Иванов. Он же, отвергая предложенную мною для дискуссии концепцию романтизма, вместе с тем отмечал, что в советской литературе «мы имеем дело с целыми романтическими течениями на основе социалистического реализма. Их изучение, как и вообще изучение художественного многообразия литературы и искусства, у нас поставлено еще очень слабо»³⁸.

Под тем же углом зрения подошел к моим построениям А. Бушмин. Цитируя упоминавшийся выше доклад, он отмечал: «По существу, это суждение близко к признанию целесообразности разграничения понятий социалистического искусства и социалистического реализма уже не только применительно к ранней поре развития советской литературы, а и вообще включая наши дни. Это, конечно, не более как гипотеза, легко уязвимая, хотя, как и всякие гипотезы, она может быть принята во внимание в дальнейших поисках более убедительных решений вопроса»³⁹.

К широкому, но совершенно конкретно-му обсуждению проблемы призвал участников дискуссии М. Храпченко. Он писал: «Неоднократно в разных аспектах затрагивался вопрос о творческих течениях в советской литературе. Они, конечно, существуют, хотя и не получили своего признания, или, точнее, признаются *de facto*, в то время как от признания их *de jure* критики и теоретики чаще всего воздерживаются. Творческие течения, разумеется, не следует смешивать с разного рода группировками, блоками, возникающими обычно на иной основе. Может быть, как раз смещением этих разных явлений в известной мере и объясняется то, что и сама природа творческих течений и их особенности в современной советской литературе почти совсем не раскрыты»⁴⁰.

Несколько месяцев спустя М. Храпченко выступил с работой «Октябрьская революция и творческие принципы социалистической литературы». Касаясь в ней проб-

лемы творческих течений в литературе нового мира, он предложил действительно широкую, но совершенно определенную платформу, позволяющую, как мне уже приходилось говорить и писать, плодотворно продолжать наши споры, избегая крайностей в решении сложнейших вопросов. Во избежание кривотолков приведу из названной работы все, что непосредственно относится к нашим спорам:

«Оживленный характер принимает сейчас обмен мнениями по вопросу о соотношении социалистического реализма и социалистической литературы. Обсуждение этой проблемы в советской критике вызвано не сомнениями относительно ведущих начал литературного процесса, а стремлением более глубоко понять и оценить различные литературные явления, которые развивались под воздействием идей социализма.

Одни из участников этого обмена мнениями защищают ту точку зрения, что социалистический реализм и социалистическая литература — понятия тождественные. Нужно преодолеть, считают они, суженное понимание социалистического реализма, а при более широком его истолковании он включает в себя все разнообразие писательских индивидуальностей и течений в советской многонациональной литературе.

Другие же участники дискуссии полагают, что социалистическая литература — явление более широкое, нежели социалистический реализм⁴¹. Творчество некоторых крупных советских художников слова, будучи социалистическим по своему содержанию, не включает в себе тех особенностей, которые характеризуют социалистический реализм. При этом называются имена Есенина, Ахматовой, Пастернака, Цветаевой, Сергеева-Ценского, Пришвина, Вересаева, Хлебникова, П. Романова и ряда других писателей. Тем обстоятельством, что в социалистической литературе — подчеркивают сторонники второй точки зрения — существовали и существуют различные течения, никак не умаляется ведущая, авангардная роль социалистического реализма в раскрытии процессов созидания нового общества, в борьбе за социализм.

Более верной нам представляется поста-

³⁸ В. Иванов. Движущаяся эстетика, стр. 182.

³⁹ А. С. Бушмин. Методологические вопросы литературоведческих исследований. Л. «Наука», 1969, стр. 199.

⁴⁰ Сб. «Актуальные проблемы социалистического реализма», стр. 457.

⁴¹ Здесь у М. Храпченко сноска: «См. статьи: А. И. Овчаренко. Социалистический реализм и современный литературный процесс («Вопросы литературы», 1966, № 12); А. И. Метченко. О социалистическом реализме и социалистическом искусстве («Октябрь», 1967, № 6)».

новка проблемы защитниками этой второй точки зрения, хотя в содержании самой темы многое еще остается непроясненным. И тут необходимо отметить прежде всего следующее. Добиваться объемности понятия «социалистическая литература» вовсе не обязательно за счет сужения границ социалистического реализма, ибо ложные представления о нем возникают не только тогда, когда его свойства неправомерно переносятся на произведения писателей других течений в социалистической литературе, но и в тех случаях, когда из-за узости критериев крупные писатели признаются непричастными к нему. Это вместе с тем не означает, что можно и нужно расширять понятие социалистического реализма до такой степени, что оно теряет свои конкретные очертания, свой подлинный смысл. Стремления в этом направлении в последнее время проявляются очень сильно, так же как и тенденции характеризовать иные явления социалистической литературы в качестве эмбриональных форм реализма, подступов к нему, временного ухода в сторону и т. д.

В таком, например, духе оценивается пролетарская литература эпохи гражданской войны, о романтическом характере которой уже шла речь. Но ни ссылки на эмбриональные формы социалистического реализма, ни заявления о недостаточной зрелости поэтического мышления, ни суждения о влиянии инородной поэтики и стилистики не дают возможности понять эту литературу, ее своеобразие, закономерность ее возникновения. То же самое можно сказать и о других явлениях новой литературы, находящихся вне пределов социалистического реализма.

Наиболее распространенное объяснение этих явлений сводится к тому, что наряду с социалистическим реализмом в новой литературе развивается романтическое направление. Иногда к этому присоединяют еще критический реализм, который обычно относят к начальным этапам становления социалистической литературы и рассматривают как переходную ступень к более глубокому осмыслению процессов общественной жизни.

Суждения о революционно-романтических началах в новой литературе убедительны, они подтверждаются фактами. Однако суждения эти совершенно недостаточны для того, чтобы понять особенности творчества целого ряда художников, в

частности тех советских писателей, которые называются в связи с обоснованием положения о различных течениях в социалистических литературах. Мало помогают этому и суждения о критическом реализме. Вряд ли что-либо существенно прояснится, если, например, Ахматову, Пастернаку, Цветаеву, Пришвину отнести к числу романтиков. Еще более далекими и сторонними для них являются критерии и принципы критического реализма. Но и для понимания творчества Сергеева-Ценского, Вересаева эти критерии также недостаточны.

Наши устоявшиеся терминологические обозначения далеко не всегда оказываются эффективными. Но существо вопроса заключается не столько в необходимости подыскать соответствующие обозначения и термины, сколько в том, чтобы раскрыть специфические черты новых по своему характеру явлений и течений внутри социалистической литературы. Этот новый характер придали, в частности, творчеству писателей, начавших свою литературную деятельность в дооктябрьский период, воспринятые ими идеи социализма. Существенное значение здесь имели и связи с иной, чем раньше, читательской аудиторией, сложившейся в годы после Октября»⁴².

Возвращаясь к той же проблеме в новой работе, М. Храпченко, как мне кажется, еще больше конкретизирует пути ее решения. Он пишет: «В социалистической художественной культуре ведущее место принадлежит социалистическому реализму; он — наиболее значительный и самый боевой ее отряд. Однако социалистическое искусство и социалистический реализм — понятия не тождественные. Социалистическое искусство включает в себя и другие течения. Это выясняется прежде всего при рассмотрении процессов становления социалистического искусства. На ранних этапах его развития социалистические идеи нередко находили свое выражение в патетико-романтических формах, в форме обобщенных символов. Так было, например, в советской поэзии периода гражданской войны. Очень своеобразное воплощение получили идеи социализма в чешской и польской литературах 30-х годов.

Но и романтика и символика не означали в этих случаях ухода от исторической действительности.

⁴² Сб. «Великая Октябрьская социалистическая революция и мировая литература», М. «Наука», 1970, стр. 92—94.

И в более поздние периоды развития искусства нового типа немало писателей, которым было присуще социалистическое мироощущение, которые создавали свои произведения, не обращаясь к непосредственному раскрытию социальных конфликтов. Среди этих писателей следует назвать Пришвина, Ахматову, Пастернака, Цветаеву, А. Грина и других. Связи их творчества с действительностью иные, чем у художников социалистического реализма.

Некоторые критики отмечают, что и при освещении конкретных социально-психологических проблем в советской литературе достаточно отчетливо проявляется течение, которое по характеру художественного обобщения жизни, по способам обрисовки героев можно назвать романтическим. Однако романтизм этот совсем иного рода, чем многие виды романтической литературы прошлого и настоящего. Он принципиально отличен от мифотворчества. Его определяющее свойство — не забвение действительности, а своеобразное ее художественное претворение»⁴³.

Предлагаемые исследователем тут же пути решения спорных проблем, думается, уже потому могут оказаться плодотворными, что они конкретны. На них и продолжали свои дальнейшие исследования Б. Сучков, А. Метченко, А. Мясников и многие другие ученые. Это отнюдь не означает единодушия исследователей. Поддерживая, например, общую концепцию современного искусства, отстаиваемую Б. Сучковым, считая, как мне кажется, что мы в этом отношении единомышленники, соглашаясь с защищаемой им вслед за М. Храпченко и другими учеными мыслью, что современная теория искусства не может сводить художественные принципы реализма только к изображению жизни в формах самой жизни, так же как отрицать всякую эстетическую ценность нереалистических произведений, — я вместе с тем натываюсь в его работах на шипы, больно ранящие меня.

Как правило, отличающиеся напористой логикой, хорошо аргументированные теоретические построения Б. Сучкова подводят читателей к выводу: социалистический реализм — закономерное явление двуединого процесса исторического динамизма жизни и

художественно познающей закономерности ее развития литературы. Всеопределяющей доминантой, более того, сущностью реализма, его душой, сердцевиной исследователь признает «социальный анализ». Не новая в марксистском искусствознании, особенно талантливо защищавшаяся А. Луначарским, эта идея в трудах Б. Сучкова, посвященных социалистическому реализму, слилась органически с тем, что Ф. Энгельс называл осознанным историзмом, и засверкала новыми гранями. Развивая ее в одной из последних работ, Б. Сучков подчеркивает: «Качественно новым принципом, отличающим социалистический реализм от реализма досоциалистического, стала не форма, не изменения структуры художественного произведения, хотя и в этом отношении вклад социалистического реализма в сокровищницу мирового искусства весьма весом и велик. Таким принципом стал осознанный историзм художественного мышления, синтетический подход к человеку, который рассматривается в искусстве социалистического реализма не только как порождение, производное от определенной общественной среды и условий, но и как действенная сила исторического прогресса, активное, пересоздающее мир начало»⁴⁴.

Но, при всей логической выверенности подобных критериев, они все же оказываются либо недостаточными, либо не очень определенными, либо просто недейственными, когда с их помощью мы пытаемся понять такие произведения, как «Дума про Опанаса» Багрицкого, «Фархад и Ширин» Вургуня, «Алые паруса» Грина.

Ученый не считает, что теоретическое осмысление различных эстетических феноменов в социалистическом искусстве можно дать с помощью «удвоения творческих методов нашего искусства, то есть декларированием существования в нем метода «социалистического романтизма». «Эта попытка, — утверждает он, — ничему не помогает и обнаруживает недоверие к художественным возможностям социалистического реализма и реалистической изобразительности»⁴⁵. Б. Сучков, видимо, ищет в последнее время более всеобъемлющих и более гибких решений. Порой он подходит, кажется, к решению, уравнивающему социалистическое искусство и социалистический

⁴³ М. Б. Храпченко. Проблемы современной эстетики. Сб. «Ленин и современная наука». М. «Наука», 1970, кн. I, стр. 422—423.

⁴⁴ Б. Сучков. Ленинизм и современный литературный процесс. «Коммунист», 1969, № 10, стр. 61.

⁴⁵ «Новый мир», 1970, № 10, стр. 222.

реализм, направление и метод. Быть может, поэтому, говоря в статье «Ленинизм и современный литературный процесс» об «искусстве социалистического реализма», он ни разу не употребил понятия «метод», предпочтя ему понятие «направление»⁴⁶. Вероятно, для ученого социалистический реализм тождествен искусству нового мира, поэтому он внутренне колеблется в решении вопроса о художественном методе. Он пишет:

«Искусство социалистического реализма при единстве его мировоззренческой основы меньше всего представляет собой застывшее эстетическое образование. Не говоря уже о многообразии творческих индивидуальностей его художников, в нем явственно обозначаются различные художественные течения, между которыми, разумеется, нет жестких границ. Одно из них воспроизводит жизнь в ее объективных, подсказанных самой жизнью формах. Другое течение передает жизненные процессы посредством условно метафорического их изображения. И наконец, третье — обычно называемое романтическим, выражающее особую душевную настроенность и с романтизмом в собственном смысле слова не имеющее ничего общего, отмечено лирико-патетическим подходом к объекту изображения, его поэтизацией. Но для всех этих течений присуще следование объективной истине истории»⁴⁷.

Нетрудно заметить, что, дифференцируя социалистический реализм, Б. Сучков пользуется разнохарактерными критериями. Два первых течения определяются исходя из форм отражения «жизни», «жизненных процессов», третье же — исходя из отношения к «объекту изображения». В последнем случае исследователь уже не решает поставить слово «жизнь», а прибегает к понятию «объективная истина истории». Но кому не известно, что «объективная истина истории» может быть выражена в исторически-конкретных формах самой жизни — и тогда мы будем иметь один из типов реализма, или в формах условно-романтических — и тогда мы будем иметь романтизм? Ведь идея вечной, всеобъемлющей и всепобеждающей любви, воспетая Горьким в поэме «Девушка и Смерть», Вургуном в пьесе «Фархад

и Ширин», тоже может быть истолкована как «объективная истина истории» — не так ли? А вот сказать, что это уже правда реальной жизни, вероятно, даже и сегодня пока преждевременно. Между тем сам же Б. Сучков утверждает:

«Адекватность правде реальной жизни составляет краеугольный камень эстетической системы революционного искусства. Не случайно современные ревизионисты — Эрнст Фишер и другие — стараются размыть, разрушить границы между реализмом и «дезинтегрирующим» искусством наших дней, пробить брешь в эстетической системе социалистического реализма, подвергнуть эрозии его общие принципы. Опыт показывает, что прорыв эстетической системы социалистического реализма влечет за собой вторжение в социалистическое искусство чужеродной, враждебной социализму буржуазной идеологии. Поэтому последовательная борьба с подобного рода попытками есть главная и неотложная задача социалистической эстетики и искусства»⁴⁸.

С этим полностью соглашаются Д. Марков, А. Бушмин, А. Метченко, В. Иванов, В. Новиков, но обращают внимание на исключительную сложность процесса становления новой литературы. Отбрасывая концепцию «реализма без берегов», они вместе с тем справедливо считают разнородностью ее «уравнение социалистического реализма с другими течениями и методами»⁴⁹. Д. Марков на примере болгарской литературы, А. Метченко на примере советских литератур показывают историческую обусловленность разграничения «социалистической литературы» и «литературы социалистического реализма». В хорошо аргументированном исследовании «Формирование теории социалистического реализма» А. Метченко пишет: «Социалистическая литература — это литература, испытавшая плодотворное влияние идей и опыта социализма, но еще не претворившая этого влияния в новое художественное качество, социалистическое мировоззрение. В социалистической литературе находит свое место пооктябрьское творчество Блока и Брюсова, «150 000 000» Маяковского, поэма о Разине В. Каменского, «Ночь перед Советами» В. Хлебникова, «Девятьсот пятый год» Б. Пастернака, не говоря уже о произ-

⁴⁶ Ср. его же статью «Ленинское наследие и развитие литературы» в сб. «Ленин и современная наука», кн. I, стр. 429—455.

⁴⁷ «Коммунист», 1969, № 10, стр. 62.

⁴⁸ Там же.

⁴⁹ Сб. «Советское литературоведение за 50 лет». М. 1967, стр. 246.

ведениях, составивших золотой фонд социалистического реализма. Ибо социалистический реализм обычно и возникает в недрах социалистической литературы, представляя ее идейно наиболее зрелый, наиболее последовательный в защите правды социализма и наиболее глубокий в изображении и утверждении нового человека боевой отряд.

Границы между социалистическим реализмом и течениями внутри социалистической литературы очень подвижны и, так сказать, «взаимопроницаемы». Непрерывно происходил, как выразился Б. Пастернак еще в тридцатые годы, «перелет с позиции на позицию». «Сектор» социалистического реализма все время расширяется. Но случаются и возвращения на прежние позиции — чаще всего в трудные, переломные периоды, как это было с автором «Доктора Живаго».

Зыбкость, подвижность границ не означает, что они не заслуживают пристального внимания. Напротив, как раз «стыки» и должны быть прежде всего в поле зрения, если мы заинтересованы в том, чтобы «перелеты» совершались только в сторону социалистического реализма»⁵⁰.

Переходя к конкретному рассмотрению советской литературы, А. Метченко говорит, что «до тех пор, пока Маяковский облакал свои впечатления от революционной нови в экстравагантную футуристическую форму («Наш марш», «150 000 000»), а не «выводил поэзию из материала»⁵¹, как в 20-е годы, он при всех своих блестящих находках в области формы оставался представителем социалистической литературы»⁵². Одним из талантливых представителей социалистической литературы исследователь признает Пастернака. И так уточняет свою мысль: «Пути Маяковского и Пастернака — это разные пути преодоления модернизма. Один, преодолев модернизм, не ограничился сочувствием социализму, а стал энергично, плечом к плечу с партией и народом создавать новую культуру, и это сделало его первооткрывателем в поэзии социалистического реализма. Другой занимает особое место в социалистической литературе, не поднявшись на ее вершину. Но и сочув-

ствие социализму вывело этого большого поэта из тупика модернистской «неотвязной субъективности», сделало его поэтом-романтиком⁵³ сложнейшего времени»⁵⁴.

В цитированной выше работе М. Храпченко склонен согласиться и с общей постановкой проблемы, и с конкретным решением ее, данным А. Метченко. Мне тоже они представляются очень плодотворными, хотя не лишены противоречивости. Так, я не решаюсь ставить знак равенства между словами «социальный» даже в лучшем и глубочайшем смысле понятия (этим словом характеризовал Горький автора поэм «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт») и «социалистический»⁵⁵. Наша революция действительно не давала покоя Пастернаку, своеобразно преломилась в нем, он действительно делал попытки подняться на вершины социалистической литературы, потерпел неудачу, за что и отплатил яростно... социализму в нашей стране. Этот сложнейший «узел» требует, чтобы его развязали. Наконец, А. Метченко присоединяется к мнению Горького, назвавшего Пастернака («представителя социалистической литературы», по определению А. Метченко, подержанному М. Храпченко) поэтом-романтиком. Мне не совсем ясно, как это сочетается с тут же, двадцатью строками ниже, сделанным заявлением о неправомерности попыток некоторых ученых «поставить рядом» с социалистическим реализмом «романтизм как самостоятельный художественный метод»⁵⁶. И как все-таки квалифицировать в интересующем нас аспекте произведения Вургуна, Яновского (вынуждающие моего оппонента сделать оговорку: «По-видимому, не все... представляют стилевое ответвление внутри социалистического реализма»⁵⁷), а также произведения А. Грина, при всем их отличии от романтических творений Вургуна или Довженко? И тут ученый, избегая понятия «метод», по

⁵⁰ Сб. «Советское литературоведение за 50 лет», стр. 248—249.

⁵¹ Вл. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13-ти томах, т. 12, стр. 99.

⁵² Сб. «Советское литературоведение за 50 лет», стр. 250.

⁵³ «Романтиком называл Пастернака А. М. Горький (см. «Литературное наследство», т. 70, стр. 310)». (Прим. А. Метченко.)

⁵⁴ Сб. «Советское литературоведение за 50 лет», стр. 252—253.

⁵⁵ Писатель делает в нашу эпоху решающий шаг вперед тогда, когда в его творчестве, по глубокому утверждению А. Барбюса, «социальная сущность неизбежно переходит в сущность социалистическую» («Интернациональная литература», 1937, № 8, стр. 173).

⁵⁶ Сб. «Советское литературоведение за 50 лет», стр. 253.

⁵⁷ Там же, стр. 254.

существо, склоняется к поддержанному в свое время А. Бушминым взгляду на такие произведения как «не совсем созревшие», «не завершенные».

Мне уже приходилось говорить и о сильных и о слабых сторонах подобной позиции, о том, что в сущности своей она не отвергает, а, напротив, предполагает существование в социалистическом искусстве романтизма как метода — пусть на отдельных этапах, пусть в совершенно «разных», своеобразных выражениях, рождающих множество новых проблем.

И в этом отношении Д. Марков проявляет большую последовательность, нежели А. Метченко, когда решает ту же проблему «социалистическая литература — социалистический реализм: направление? метод? стиль?» на опыте южнославянских и западнославянских литератур. Он показывает, что процесс становления социалистического реализма всегда очень сложен, противоречив, многоступенчат, обусловлен множеством причин объективного и субъективного характера.

Погружаясь в конкретный историко-литературный анализ, исследователь не умалчивает ни об эксцентризме ранних социалистических поэм польского писателя Б. Ясенского, ни о революционно-романтическом характере творчества болгарского писателя Д. Полянова, ни о движении большого болгарского поэта Х. Смирненского от социалистического романтизма к социалистическому реализму. В связи с этим он отмечает обозначившийся в последнее время новый подход к проблеме романтизма в болгарской критике и литературоведении. Он цитирует следующее признание из книги Г. Цанева «Пути реализма» (1960): «...у всех у нас было не совсем правильное отношение к романтизму, который вообще считался отступлением от правдивого изображения жизни. Сегодня вопрос уже ясен: и методом романтизма, разумеется, не реакционного, также можно отразить жизненную правду»⁵⁸.

Опора на работы знатоков славянского искусства, собственные исследования в этой области приводят Д. Маркова к следующей постановке проблемы. «Кажется правомерным говорить о реализме и романтизме в литературе XX в. именно как о двух методах, так как для этого была реальная поч-

ва». И в другом месте: «Опыт многих литератур мира со всей очевидностью говорит о проявлении романтического метода в разные периоды (разумеется, вовсе не в качестве повторяющейся схемы). И задача состоит в том, чтобы, сообразуясь с этими фактами, видеть явление в его историческом своеобразии»⁵⁹.

Привлечен и проанализирован огромный материал. Но не все выводы убедительны, в частности — вывод о том, что романтизм является в социалистическом искусстве переходным этапом на пути к реализму. Д. Марков не замечает, что тем самым он по существу присоединяется к тем, кто считает социалистический романтизм «неполноценным социалистическим реализмом». Тем более что сам исследователь, правда, под строкой, признает: «Можно, разумеется, привести примеры, когда не реализм сменяет романтизм, а, наоборот, вслед за реализмом или одновременно с ним развиваются романтические формы». То, что такие примеры не приводятся ни при анализе болгарской литературы, ни при анализе других славянских литератур, существенно снижает убедительность рассуждений и выводов исследователя. В последних главах его работы сказывается заданность, стремление во что бы то ни стало уравнивать эстетическую систему нового мира с одним методом.

Ученый говорит немало верного об изменениях, вызываемых социалистической действительностью и многими другими обстоятельствами в критическом реализме, о формах участия в создании новой эстетической системы так называемых левых или авангардистских течений двадцатых годов, констатирует несомненную связь между восприятием жизни художником и характером образности его творчества. Но, возвращаясь к проблеме «социалистическая литература — социалистический реализм: направление? метод? стиль?» на современном этапе художественного развития человечества, он считает возможным игнорировать все эти обстоятельства. Тех, кто не соглашается с ним, Д. Марков упрекает в том, что они якобы сводят «художественный метод к сумме изобразительных средств, к какой-то стороне формы (происходит упомянутое выше смешение понятий метода и определен-

⁵⁸ Д. Ф. Марков. Генезис социалистического реализма. М. «Наука», 1970, стр. 164.

⁵⁹ Ср. П. Зарев. Богатство на литературния процес и социалистическият реализъм. София. 1960, стр. 78.

ного типа поэтики). Социалистический реализм рассматривается... не как новая эстетическая структура, а связывается лишь с конкретно-историческим, предметно-аналитическим характером творчества».

Вместе с тем в частном споре о романтизме Д. Марков признает наличие прогресса в результате дискуссии. «Суть итога,— говорит он,— в признании революционного романтизма как эстетически обособляющегося, качественно своеобразного явления современных социалистических литератур. Это наше общее завоевание, и будем из него исходить, чтобы двигаться дальше, пытаясь осветить иные стороны проблемы».

Этот вывод он делает в процессе непосредственной полемики с пишущим настоящие строки. Хочется выразить надежду: когда мы будем двигаться дальше, то будет учтено, что, говоря о художественном методе, я имею в виду не только и даже не столько «изобразительные средства», сколько характер преломления действительности в сознании писателя, определяющий ее художественное воссоздание и пересоздание. И еще одно уточнение: по моему убеждению, социалистическая концепция мира и человека лежит в основе концепции эстетической, но отнюдь не тождественна ей. Мои оппоненты знают об этом, но не придают почему-то этому значения. Та же Л. Залеская приводит следующую цитату из моей книги: «...романтический настрой художника — нечто глубоко внутреннее, нервно-мозговое и психологическое, связанное с особенностями восприятия действительности писателем, его темпераментом, всем его существом... связанное с особенностями действительности, с особенностями тех ее сторон, которые так раскрываются перед художником и только перед этим художником». Если бы я писал эти слова теперь, я бы добавил: «И так воссоздаются, пересоздаются им».

Но что толку добавлять и уточнять, если тебе возражают так: «Казалось бы, достаточно того, что сам А. Довженко считал себя и Ю. Яновского представителями социалистического реализма»⁶⁰. И чтобы совсем снять проблему, заговорят о покушении на прорыв в нашей эстетической системе.

Давайте, однако, разберемся по существу в вопросе: теоретически допуская, что при-

знание социалистического реализма основным, главным художественным методом социалистической литературы не исключает возможности появления или существования в ней на отдельных, хотя бы ранних, этапах развития других, скажем не основных, методов, совершаем ли мы тем самым прорыв в эстетической системе социалистического искусства изнутри? Некоторые считают: да. Об этом как будто бы свидетельствует и та радость наших идейных противников, которую они испытывают, когда обнаруживают слово «два» там, где до сих пор встречали слово «один». Американский профессор Эрнст Дж. Симмонс писал мне в связи с книгой «Социалистический реализм и современный литературный процесс»:

«В Вашей защите социалистического реализма обнадеживает та степень допустимости, с какой допускается использование различных приемов и влияний, обычно связываемых с Западом. В этом чувствуется новая нота, я по крайней мере чувствую ее после всего, что приходилось мне читать в консервативной советской критике. В свой канон Вы даже допускаете романтизм, то есть социалистический романтизм. К сожалению, однако, Вы, как видно, готовы быстро забрать назад правой рукой то, что разрешили левой, таким образом у читателя складывается впечатление, будто Вы, допуская известную долю объективности, преследовали какую-то скрытую цель. Ибо Вы заявляете на стр. 109—110: «Не смотря на конкретный опыт современных социалистических литератур, свидетельствующий о существовании в них различных художественных методов (по крайней мере на отдельных этапах развития), многие писатели и видные теоретики искусства не без оснований защищают мысль о том, что, в конечном счете, один только метод социалистического реализма может привести искусство на вершины, господствующие над миром».

Глагол «обнадеживает» в устах идейного противника, конечно, не может не настораживать нас. И тем не менее это не должно мешать нам в наших поисках истины.

Куда важнее другое — то, что мы сами порой устаем раньше, чем достигаем цели, или сворачиваем на боковые проторенные дорожки вместо того, чтобы прокладывать новые, суживаем, дробим, мельчим, сводим на нет предмет спора. Вот и на этот раз нельзя не пожалеть о том, что широкий плацдарм, на котором с самого начала был

⁶⁰ Л. Залеская. Метод или стиль? О романтизме в советской литературе. «Литературная Россия». 9 января 1970 года, стр. 8.

предложен кардинальный спор о социалистическом искусстве—социалистическом реализме — и на котором его вели М. Храпченко, С. Петров, Д. Марков, Б. Сучков, А. Метченко, А. Бушмин, был предельно упрощен и сведен к вопросу: существует ли сейчас в советской литературе романтизм как самостоятельный метод? «Мы не решили еще вопроса о существовании бога, а вы хотите есть!» — с горечью сказал однажды Белинский Тургеневу. Наша наука тоже еще не решила более существенных проблем, а нас спрашивают о романтизме. Только о нем. И только в советской литературе. И не один С. Асадуллаев. А почти все участники той дискуссии, которая состоялась на страницах «Литературной газеты» и «Литературной России» в 1969 году.

Собственно, «однобокость» этой дискуссии была предreshена еще в 1966 году, когда в Институте мировой литературы имени А. М. Горького проводилась конференция на тему «Актуальные проблемы социалистического реализма». В центре внимания участников конференции вдруг оказался доклад пишущего эти строки — о романтизме. Стремясь спасти ход конференции «от перекоса», один из ее участников — Л. Якименко, — не дожидаясь публикации материалов, назвал на страницах «Литературной газеты» предложенную мною для дискуссии концепцию романтизма «догматизмом наизнанку».

Видимо, о таких оппонентах говорил Данте: «Они не стоят слов, взгляни и — мимо». Но, к величайшему моему удивлению, намеченная ими линия получила продолжение при обсуждении спорной, сознательно, в дискуссионных целях заостренной концепции, изложенной мною на страницах «Дружбы народов» (1968, № 12). Имею в виду статьи «Романтизм — без конца и без края?..» Арк. Эльшевича и «Безбрежная романтика и берега романтизма» В. Оскоцкого. Уже заголовки статей рассчитаны на компрометацию обсуждаемой концепции. Но этого мало. Автор первой из этих статей всех тех критиков и литературоведов, что не удовлетворены каноническим решением проблемы романтизма, демагогически сближает с... защитниками реакционного романтизма Зинаиды Гиппиус и модернизма Франца Кафки. Вот почему лично я не считал возможным для себя принимать участие в споре, введущем на таком уровне. Спорить плодотворно можно лишь тогда, когда твое право на теорети-

ческий поиск не только не ставится под угрозу, но и не ограничивается.

Справедливости ради следует отметить, что редакция «Литературной газеты» пыталась поднять общий уровень дискуссии, напечатав статьи «На главном направлении» С. Петрова (4 июня 1969 года), «Порыв к высокому» Вл. Гусева (15 октября 1969 года), а «Литературная Россия» — статью «Эстетика в движении» Н. Жегалова (12 сентября 1969 года), но исправить допущенный перекокс уже не удавалось. Подчиняясь заданному тону, все рассуждали лишь о том, существует или не существует романтизм как самостоятельный метод, оперируя аргументами, с исчерпывающей полнотой представленными в рассмотренных выше книге С. Асадуллаева и статье Л. Залеской.

Надеюсь, критический разбор их позволяет понять, почему дискуссия на страницах «Литературной газеты» и «Литературной России» не дала сколько-нибудь ощутимых результатов даже для решения частного вопроса о романтизме. В ходе ее не были даже сформулированы существующие ныне основные точки зрения. Поэтому и общий баланс оказался более чем скромным.

«В опубликованных статьях, — я цитирую редакционное заключение, — выявились различные точки зрения на романтизм и романтику, на роль их в современном советском искусстве. И это вполне понятно: предмет разговора сложен, мало разработан литературной теорией, и здесь не может быть каких-либо окончательных решений».

Вопрос о роли и месте романтического начала, романтического течения в современной литературе занимает сейчас многих исследователей. Как уже отмечалось, не так давно был высказан взгляд, согласно которому романтический метод полноправно существует в советской литературе наряду с реалистическим. Другие исследователи, оспаривая эту точку зрения, вместе с тем полагают, что уместно говорить об известной автономии романтического течения в литературе социалистического реализма. Вероятно, это положение заслуживает особого внимания, ибо отражает существенные особенности советской литературы, для которой всегда характерно многообразие стилей и форм⁶¹.

⁶¹ «Литературная газета», 15 октября 1969 года.

Лично у меня ни одно слово в этом очень «эластичном», очень дипломатичном заключении не вызывает возражения. Приходится только пожалеть, что участники дискуссии, столь усердно именовавшие меня апологетом социалистического романтизма как самостоятельного метода, забывали — а вслед за ними забыла и редакция «Литературной газеты» — сказать, что вынесенные в резюме обе точки зрения, оба положения сформулированы мною сначала в статье «Социалистический реализм и современный литературный процесс» («Вопросы литературы», 1966, № 12) и в докладе «Романтизм в советской литературе» (отдельный оттиск, 1966), а затем повторены в книге «Социалистический реализм и современный литературный процесс».

И тем не менее не знаю, как другие участники дискуссии, а лично я испытываю чувство удовлетворения от того, что мои выступления вызвали не только нападки со стороны моих старых друзей, но и острые споры, в какой-то мере побудив ученых и критиков в СССР и других странах снова обратиться к кардинальной проблеме «социалистическая литература — социалистический реализм: направление? метод? стиль?», решение которой несет с собой ответ на вопрос как о путях и перепутьях становления литературы нового мира, методах, формах и типах художественного обобщения в ней, так и об ориентирах (по терминологии В. Оскоцкого).

Отрадно констатировать, что и сравнительно частный вопрос о романтизме рассматривался под этим углом зрения в статьях «На главном направлении» С. Петрова («Литературная газета», 1969, № 23), «Социалистический реализм и современность» А. Иезуитова («Русская литература», 1969, № 4), «Ведущая закономерность современного искусства» А. Дымшица («Коммунист», 1969, № 11), в рецензии Хр. Дудевского («Ново време», 1970, № 8), в цитированных или упоминавшихся выше

работах М. Храпченко, А. Бушмина, Д. Маркова, А. Метченко, В. Новикова и других. В свою очередь, только что названные ученые и критики выдвинули много новых вопросов или иначе повернули те, что не раз обсуждались раньше.

«Вокруг... интересной постановки вопроса,— писал В. Озеров,— завязалась оживленная дискуссия, она продолжается. У А. Овчаренко нашлись союзники. С. Крыжановский согласился с ним полностью, Н. Гуляев, Д. Марков, М. Поляков — частично. Нашлись и оппоненты — Л. Тимофеев, Б. Бялик, В. Иванов, С. Асадуллаев. И это естественно: споры вокруг научной гипотезы нужны и полезны, они помогают двигать мысль вперед. Вместе с тем в ходе дискуссии вновь проявилось «подозрительное» отношение к романтизму вообще. В. Лакшин решительно отверг мысль о том, что нашей литературе не хватает романтизма... Думается, плодотворнее не скепсис, а обсуждение вопроса по существу»⁶².

Еще отраднее, что большинство высказывается за продолжение спора и поиск новых решений, поскольку речь идет об «особенностях творчества целого ряда художников, в частности тех советских писателей, которые называются в связи с обоснованием положения о различных течениях в социалистических литературах»⁶³. Вслед за Д. Ф. Марковым я считаю, что это есть первый плодотворный результат дискуссии, «наше общее завоевание, и будем из него исходить, чтобы двигаться дальше, пытаясь осветить иные стороны проблемы».

Продолжим дискуссии...

⁶² В. М. Озеров. А. А. Фадеев и проблемы литературного развития его времени. Докторская диссертация. М. 1970, стр. 333—334.

⁶³ М. Б. Храпченко. Октябрьская революция и творческие принципы социалистической литературы. Сб. «Великая Октябрьская социалистическая революция и мировая литература», стр. 93.



ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Борис Слуцкий. Благородная ярость.— В. Камянов. Служба памяти.— В. Иванов, М. Каган. Литература и нравственность.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Эр. Ханпира. Рыцарь русского просвещения.— А. Преображенский. Совместный труд итальянских и советских историков.— С. Андреев. Летчик, дипломат, писатель.

Литература и искусство

БЛАГОРОДНАЯ ЯРОСТЬ

Ярость благородная. Антифашистская поэзия Европы 1933—1945. Вступительная статья М. Бажана. М. «Художественная литература». 1970. 486 стр.

Фашизм бесплоден. Он не дал ни одного подлинного произведения искусства. Антологии фашистской поэзии — а таковые издавались и издаются — не поднимаются выше подтекстовок воинских маршей. Но фашизм вызвал такую ярость и у народов и у поэтов, какую не вызывало ни одно политическое движение в мировой истории. От него не отмалчивались. Грубые пинки его разбудили спящих, вывели из терпения терпеливых. Благородная ярость народов обусловила «ярость благородную» поэтов. Эта знаменитая строка из песни Лебедева-Кумача, уже в сорок первом удивлявшая своей точностью и емкостью, ныне, через тридцать лет, вынесена на обложку большого тома, изданного «Художественной литературой».

Благородная ярость была отнюдь не единственным чувством, вызванным у поэтов фашизмом.

С неслыханным цинизмом гитлеровцы в Германии или фалангисты в Испании отрицали моральные ценности, зачеркивали все накопленное людской совестью и людским разумом.

Поэзия, противостоявшая им, была морально, совестлива и разумна.

Любовь к человечеству, самое существование которого было поставлено под угрозу, любовь к своему народу, мучимому и убиваемому, любовь к семье, почти во всех случаях разбросанной грозными обстоятельствами войны, любовь к товарищам по окопу, по тюремной камере, по цеху, любовь к культуре, любовь к своей уничтожаемой врагами поэтической профессии — все эти чувства, столь сильные и многообразные, вызвали к жизни множество стихов. Величие цели породило великую энергию, в том числе — энергию поэтическую.

Каково место поэзии в структуре европейской культуры тех лет, тех десятилетий?

Чрезвычайность обстоятельств стимулировала наиболее оперативные и лаконичные роды искусства.

Прозаики, служившие в наших фронтowych газетах, печатали в них песни, лирические зарисовки, пафосные инвективы. Площади фронтовой печати не выдержали бы романа. Время романа пришло несколько позже, в те годы его некогда было писать и некогда было читать. А там, где можно было читать, в госпиталях, на отдыхе, самой популярной книгой была «Война и мир». Пе-

редовая же линия, в собственном смысле этого слова, довольствовалась стихами.

Иной раз там приходилось видеть две очереди — за кашей с мясом и за книжкой, выдаваемой, конечно, бесплатно. И пища горячая, и пища духовная (я сам стоял в очереди за симоновской поэмой «Сын артиллериста») были необходимы фронту.

Поэзия дала фронту некоторые важные лозунги, например: «Убей его!» или «Жди меня!». Некоторые пословицы, например: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага». Даже сами определения войны — Священная и Народная — были даны песней.

Иногда поэзия приобретала стратегическое значение.

Первые главы «Василия Теркина» начали печататься в трудное время зимы 1941/42 года, когда пехота еще не имела большого военного опыта, хотя училась воевать быстро и разумно. Теркин — бывалый, умелый солдат-пехотинец, не теряющийся нигде и никогда. Образ такого Теркина активно влиял на становление пехоты, подтягивал ее к образцу, к идеалу. Сознание в его поэтической форме не только предвещало, но и организовывало бытие. В пехоте второго и третьего года войны теркины стали весьма распространенным явлением.

Еще один пример — Фома Смыслов. Этот бывалый солдат, как он отрекомендовался лихим и ладным раешным стихом, ныне забыт. Но было время, когда его читали не менее, чем Теркина. Теркин учил чувствовать и мыслить. Смыслов учил солдатским ухваткам и навыкам, вплоть до методы чистки винтовки. Миллионы листовок с наставлениями Фомы Смылова были обращены к самым неподготовленным в поэтическом отношении бойцам. Продолжая раешник ярмарочных балаганов, разудалый стих лубков, Кирсанов, скрывшийся под этим псевдонимом, учил солдат и воевать и жить на войне.

Когда фильны предложили сдать осажденному гарнизону Ханко, Михаил Дудин сочинил ответ на это предложение в добрых традициях письма запорожцев к турецкому султану. Забота о чистоте языка молодых поколений не позволяет поэту перепечатывать этот ответ в своих книгах. Однако в стихах о Ханко и лексика, и ярость, и презрение Дудина были более чем уместны. Гнев осажденных был выражен Дудиным очень точно.

Фронтной быт влиял на поэтические

жанры. Долгие месяцы в землянках, обилие трофейных патефонов и аккордеонов требовали множества лирических песен — воспоминаний, размышлений, заклинаний. Песен же маршевых в эту войну было мало — на марше пели редко.

Поворот войны на победу, крах гитлеровских пророчеств вызвали к жизни стихотворную сатиру — эпиграмму, басни, подписки к плакату.

Война была долгая. У солдат было время и думать, и чувствовать. Выражение своим мыслям и чувствам солдаты искали и находили в поэзии.

В сборник включены поэты двадцати одной страны. Во всей зарубежной поэзии, представленной в сборнике, есть общий мотив — надежда, связанная с Москвой, с Советским Союзом. Позднее многие историки и политики этих стран, исходя из соображений послевоенной конъюнктуры, «пересматривали вопрос». Обратимся, однако, к свидетельствам поэтов, тем более что они основаны на непосредственном чувстве.

Здесь, у руин Сталинграда,
Смерть повернула назад.
Городом некогда был он для нас,
Клятвою стал он сейчас...
Наш Сталинград — это значит: врагам
Дальше вовек не пройти!
Наш Сталинград — это значит: народ
Силой вовек не смести!
Наш Сталинград — это значит: заре
Вечно над миром цвести!
Городом некогда был он для нас,
Клятвою стал он сейчас.

Я знаю очень немного о Гуннаре Рейсее-Андерсене, норвежском поэте, написавшем в 1943 году это стихотворение. Он участник Сопrotивления. В годы войны был уже немолодым человеком. В 1964 году умер. Запомним, однако: про Сталинград он говорил «наш Сталинград».

Быть может, убедительнее всего показания немецких поэтов.

Стихотворение «22 июня 1941 года» Луис Фюрнберг закончил словами: «В это горячее, в это горячее лето в далекой России решаются судьбы планеты, и, затаив дыхание, мир смотрит туда: на Восток».

Прошедший тюрьму, пытки, изгнание, немецкий поэт летом 1941 года был с нами, а не с нашими врагами.

С нами был и великий Брехт, упорно разъяснявший своим соотечественникам, что только поражение в войне с Советским Союзом может принести победу немецкому народу.

С нами был и Эрих Вайнерт, грозно предупреждавший:

Смотрите! Уже не пробиться!
Сомкнулась железная цепь.
И вашею кровью дымиться
Начнет сталинградская степь.
Вас гложет жестокое горе,
Вы мечетесь в сумрачной мгле.
Не так ли Германия вскоре
Окажется в страшном котле?

Швед Густав Йоханссон в 1943 году, когда женщины его страны собирали теплые вещи для блокадного Ленинграда, написал стихотворение «Наташа мерзнет», где есть и такие строки: «По рельсам немецкие мчатся составы, но наш потому не нарушен покой, что Гитлер задержан у Нарвской заставы, у стен Ленинграда советской рукой!»

«Защитница свободы! Правды свет!» — писал в стихотворении «Красная Армия» поляк Шенвальд. А поляк Броневский вторил ему: «Руку мне дай, Белоруссия, руку мне дай, Украина! Серп и молот свободы дайте мне на дорогу».

Каждый вечер миллионы людей собирались у радиоприемников слушать передачи Москвы. Стихотворение «Говорит Москва» Арагона общеизвестно. Приведу написанное в 1942 году восемнадцатилетней сербской подпольщицей Мирой Алечкович стихотворение «Тише, мама...».

Я включу приемник. Тише, мама...
Мы в гнезде осинном — островок.
Бьет огонь из ящика упрямо,
а за ним — весь мир... Он так широк!

Слушай же. Не пропусти ни слова...
Только знаешь — это не слова:
это, чтоб взлететь могли мы снова,
крылья нам с тобой дает Москва.

Советская поэзия тех лет была прежде всего поэзией фронта. Ее главными читателями — солдаты. Главное орудие публикации — военная газета.

В странах, захваченных фашизмом, поэзия была прежде всего поэзией тюрьмы и подполья. Ее главные читатели — партизаны и лагерники. Распространяли ее листовки и подпольные радиоперсдатчики.

В большом немецком разделе книги — стихи 19 поэтов и пять вещей безымянных авторов.

За несколько дней до прихода советских войск в Берлин в Моабитской тюрьме расстреляли участника заговора против Гитлера Альбрехта Гаусгофера. В окоченелых ру-

ках трупа была найдена рукопись. В сонете «Воробьи» Гаусгофер писал:

Как странно здесь, в цепях, в тюремной
щели,
Глядеть на них, свободных! Но за мной
Следит глазок блестящий и живой,—
Чирикнули, вспорхнули, улетели.

И вновь один я, вновь гляжу в окно...
Зачем мне птицей быть не суждено!

Из той же тюрьмы, где были написаны «Моабитские сонеты» Гаусгофера, вышла «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля, казенного за несколько месяцев до немецкого антифашиста. В стихотворении «Пташка» Джалиль писал:

Ты, пташка, не на этом пой заборе.
Ведь в лагерь наш опасно залетать.
Ты видела сама — тут кровь и горе,
Тут слезы заставляют нас глотать.
Ой, гостья легкокрылая, скорее
Мне отвечай: когда в мою страну
Ты снова полетишь, свободно рея?
Хочу я просьбу высказать одну...

В жизни все разделяло этих людей. Один был высокопоставленным чиновником немецкого правительства. Другой — поэтом, потом военным журналистом. Объединила же их смерть на одном и том же тюремном дворе, ненависть к Гитлеру и еще то, что оба они в тюрьме писали стихи.

Казнен в тюрьме был и Вильгельм Тевс. Его стихотворение помечено: «Октябрь 1942 г., камера смертников в тюрьме Тегель».

Казнен в тюрьме был Альфред Шмидт-Засс. Его «Песня о жилище мертвецов» помечена: «1943. Камера смертников в тюрьме Плетцензее».

В концлагере погибли украинец Шуть, хорват Горан-Ковачич, испанец Эрнандес. Немецкий раздел сборника кончается «Стихотворением, найденным в лагере смерти Заксенхаузен», «Стихотворением, написанным в Дахау» и «Бухенвальдской песней».

Кажется, каждая из сети тюрем, покрывавшей Европу, подала свой голос, именитый или безымянный. В тысячелетней истории европейской литературы, знавшей и сетования сосланного Овидия, и размышления сосланного Пушкина, и стихотворные проклятия жертв испанской инквизиции, не было периода, когда камера и застенков говорили так внятно. Впрочем, в европейской истории не было периода, когда камер и застенков было так много.

Однако всюду, во всех оккупированных странах рядом с криком боли жил крик радости.

В СССР, Югославии и Польше, Франции существовало мощное партизанское движение — с освобожденными районами, где выходили газеты и, следовательно, печатались стихи, с рейдовыми отрядами, бравшими в рейд типографские машины, которые также печатали стихи.

Первый сборник сербской поэтессы Миры Алечкович был отпечатан на гектографе. Партизанами были словенец Бор и хорват Горан-Ковачич, черногорец Зонович и босняк Куленович. Почти весь югославский раздел сборника написан на марше, на привале, в партизанских госпиталях.

Интересны жанры этой книги.

Среди них надпись на могиле неизвестного солдата и надпись на памятнике, солдатская песня, партизанская песня, стихотворение, написанное после того, как поэт выслушал смертный приговор, — таких в книге очень много.

Человечество пережило едва ли не самое серьезное в своей истории испытание. Оно выдержало его с чувством огромной ответственности.

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Эти строки — из помеченного февралем 1942 года стихотворения Анны Ахматовой «Мужество». Эти слова могли бы сказать о себе все авторы сборника.

Четыре пятых книги составляют стихотворные переводы. Многие из них выполне-

ны активными участниками Отечественной войны, поэтами-фронтовиками К. Симоновым, Н. Тихоновым, А. Сурковым, Б. Окуджавой, Е. Долматовским, Н. Чуковским, А. Штейнбергом, С. Липкиным, М. Максимовым, П. Железновым, Л. Тоомом.

Польских антифашистов Стаффа и Галчинского перевел Д. Самойлов, участвовавший в освобождении Варшавы в качестве солдата-разведчика. Многие испанские поэты даны в переводах покойного Федора Кельина — участника испанской войны.

Антифашистов переводили антифашисты, интернационалистов — интернационалисты, фронтовиков — фронтовики.

Это открывает пафос книги.

Талантливо поработали поэты послевоенного поколения, среди которых хочется отметить В. Корнилова, Е. Евтушенко, И. Бродского, Р. Рождественского, М. Еремина, Е. Солоновича, А. Сергеева.

Можно было бы оспорить принципы составления сборника. Большая полнота имен достигнута за счет пропуска многих стихотворений, без которых антология антифашистской поэзии обходиться не следует. Достаточно сказать, что у Брехта взято всего одно стихотворение, у Твардовского, Симонова, Тихонова — тоже только по одному.

Однако не следует забывать, что эта антология — первая. А также что, хотя немало прекрасных стихотворений пропущено, книга содержит многие сотни других прекрасных стихотворений.

Одна из самых поэтических страниц истории Европы — годы антифашистской войны 1933—1945 — получила свою первую поэтическую хрестоматию.

Борис СЛУЦКИЙ.

★

СЛУЖБА ПАМЯТИ

И. Грекова. Маленький Гарусов. Повесть. «Звезда», 1970, № 9.

У Арсения Тарковского есть удивительный образ растревоженной памяти, перед которой встает одна из бесчисленных жертв войны: память как бы подбирает устойчивые признаки сегодняшнего присутствия той, оборванной судьбы. Тема гибели, преодоленной бессмертием, разрешается скорбной умиротворенностью заключительных строк: «И стану я книгой младенческих трав, к родимому лону припав...» (стихотворение «Книга трав»).)

И. Грекова, обращая мысль к человеческим судьбам, оборванным войной, движется примерно тем же путем. Характерно, что реальный исход этих судеб у нее чаще всего не прояснен. Похоронных близкие не получают. Очевидцев гибели нет. В ответ на запросы приходит стереотипное «адресат не числится». И так годы. В прозе И. Грековой эта выматывающая душу неопределенность становится и исходной определенностью положений. Невернувшийся — поминут-

но в поле зрения тех, кто выжил и хранит верность. Он как бы соучастник живой человеческой судьбы.

Верность и ожидание не только вытекают из характеров, но и формируют их. Пропавшие без вести у И. Грековой не возвращаются, и наступает момент, когда те, кто верил и ждал, не в силах уклоняться от очевидности: все мыслимые сроки прошли. Что же дальше? Дальше чисто «грековский» поворот темы. Линия, избранная А. Тарковским, остается в стороне. Там, где у него просветленная скорбь, замирающие звуки реквиема, здесь нарастание душевной активности.

...Соседка Татьяны Васильевны, героини рассказа «Под фонарем», получила похоронную. Она «сидела на кровати, настойчиво и деловито билась головой о железо и выла». Татьяна Васильевна, муж которой уже долгие месяцы «в списках не числится», хлопочет возле. «Может быть, и лучше так: отвыться, и чтобы все было кончено», — думает она. Страшная мысль — нет, она не могла бы так. Ее судьба была другая. И она продолжала терпеливо все ту же незримую для людей работу: хоронить и воскрешать». Улеглась ли эта незримая работа вместе с утратой надежды? Нет. «Умерла боль», но осталась упорная потребность «воскрешать». Заботы по дому, чтение лекций в институте, научные занятия... «Татьяна Васильевна работала, как мужчина, а боролась с бытом, как женщина». В ее волевым упорстве, неутомимости угадывается затаенное — «и за себя, и за него!», в цепочке ее больших и малых удач как бы протяженность его судьбы. Обычная ситуация женской верности? Не совсем. Смерть в значении «кончина», окончательный и безвозвратный уход героев И. Грековой словно не вполне убеждает — настолько ярко и сосредоточенно они помнят.

Но природа этой сосредоточенности не всегда одинакова. Легко заметить, что одни и д у т избранным путем, другие словно бы в е д б м ы; одни, например Татьяна Васильевна, находят, поощряют в себе стойкость и силу, другие, похоже, сами найдены и подстегнуты неподконтрольной их разуму силой. Например, центральное лицо новой повести И. Грековой «Маленький Гарусов».

...Детдомовец Толя Гарусов поймал и приручил мышь, а приручив, посмотрел на нее как-то раз и подумал, «что вот он — маленький, а мышь — еще меньше, а крошка — еще меньше мыши, а зубы у мыши — еще мень-

ше крошки, и дальше все уменьшается...». Десятилетний Толя еще не выучился складно формулировать, он просто перенес неподатливую мысль вонне. Даже не мысль, а смутное ощущение, вывезенное им из блокадного Ленинграда: почему так непрочно держится на земле все близкое сердцу, теплое и живое, почему и куда уходит? Он, Толя, — мышь-крошка... Живое соскальзывает в ничто. И это скольжение грозит увлечь его, медленно растущего мальчика, недомерка, для которого малый рост навсегда останется как бы памятным знаком блокадного убывания жизни.

Таково начало судьбы, сквозь которую протянется невытравимый след раннего сиротства, голода, тяжелых потрясений. Глубоко осевшие впечатления детства рождают в Гарусове, можно сказать, программное противодействие всякому разрушению и умалению жизни... Подобно героине «Под фонарем», Гарусов упорен в стремлении «воскрешать» близких. Едва научившись держать перо, он часами выводил на бумаге одно и то же — «Настя Делянкина», имя своей матери, ленинградской дворничихи, пропавшей без вести в ту блокадную зиму. А затем были запросы, и долгое ожидание, и возвращение детдома в Ленинград, и поиски полузабытой дворничихи среди огромного, раздавшегося вширь (война давно кончилась) города, и, наконец, хлопотливая деятельность устроителя чужих судеб. Женитьба скорее из жалости, чем по любви, на «вдове при живом муже» (муж — горький пропойца); затем рыцарское служение молодой особе, внушившей ему любовь еще до первого взгляда, можно сказать, «на слух» (невидимая, она плакала по телефону); позднее служение не только ей, но и ее мужу — таковы формы Толиного альтруизма.

Первоначальное побуждение — перебороть слепую волю войны, вырвать у нее близких, а с ними недожитое детство — преобразуется в неуправляемую страсть, которая подвержена метаморфозам (идут годы, меняется среда!), но не убыванию. Гарусов опекает слабых и обиденных удачей, ищет, на кого обратить сыновнее чувство, оказавшееся как бы беспризорным после смерти матери. Но в центре картины не просто «святочные» эти поступки, а стоящий за ними мотив. Мы видим авралы милосердия — с очень слабым намеком на сердечность, интерес не к личности, а скорее к «объекту», призванному занять чье-то место, подставить себя

под безадресную «заботу». Иначе говоря, перед нами косвенная, производная доброта, которая автоматически отделяется от человека, минуя его ум и душу. Сам же этот человек ни добр, ни зол, а просто над собой не властен, ибо взят в кабалу собственной психологией.

Известно, что эпохи резких исторических сдвигов оставляют не только памятные следы в коллективном и личном сознании, но и «памятные» характеры, которые накрепко срослись с чрезвычайными условиями и, перенесенные на относительно ровную историческую почву, так и не приживаются на ней. Характеры, как бы оплавленные историческим катаклизмом... Встречаются ли они сегодня, через четверть века после самой кровопролитной из войн? И. Грекова отвечает на этот вопрос утвердительно. В центре ее повести именно такой характер. И писательницу занимает его внутренний закон, предельно чистая, неискаженная работа этого закона при минимальном давлении обстоятельств.

Чрезвычайное осталось в блокадном и детдомовском прошлом. Послевоенный Гарусов движется свободным ходом сквозь рядовые, уравновешенные будни. Никаких конфликтов с ближними или дальними. Никаких препятствий, чреватых вынужденным поступком. Чистое саморазвитие страстп. Добавим: настолько чистое, что окружающая героя уступчивая среда нередко выглядит специально приспособленной к нуждам характера.

Вообще в повести, как в лаборатории во время опыта, атмосфера деловитости, ровного внимания к предмету и беспристрастия (не исключая и «блокадные» главы, где авторский рисунок столь же деловито строг, что и в «мирных»). И эта строгость вовсе не способ сдерживать волнение, а нечто вроде классической экспозиции, которая должна ввести в обстоятельства дела. И она вводит... привычным, проторенным путем.

Картина блокадного быта складывается у Грековой в основном из подробностей с большим литературным «стажем», которые выглядят некими опознавательными знаками места и времени. Впрочем, известная «усредненность» в изображении блокадного быта здесь легко объяснима: ведь писательница, как мы уже сказали, достаточно четко определила центр и характер своего интереса. Задумано исследование. Его предмет — механизм неуправляемой страсти, а не целостный мир человеческой личности.

Внешние обстоятельства не столь важны. Внутренние, то есть собственно «психология»... здесь и ощутим холодок эксперимента. Перед нами, однако, не тот случай, когда автору, что называется, не удалось воплотить замысел. Нет, замысел, пожалуй, воплощен. И холодок, отстраненность авторского «психологизма» — в самой природе замысла.

Для нас не новость интерес И. Грековой к характерам словно бы застывшим, которые можно разглядывать и читать, как геологическую карту, характерам, которые не скрывают, каким ветром, каким течением и что в них нанесло. Вспомните Виталия Плавникова («Дамский мастер»), прирожденного художника и вместе начетчика-полузнайку, черстова калькулятора в делах сердечных и неподкупного правдолюбца, эгоцентриста и поборника общей пользы. Этот характер, сотканный из несовместимостей, подчинен единому закону, но узнается как бы по частям. Безоглядное упорство? Оно явно послевоенной детдомовской пробы. Его истоки — терпение, привычка без жалоб и нытья ждать, общая судьба с теми, кто вырвал и вытерпел победу. Комичный апломб искусственного «обществоведа»? За ним — система стандартов педагогического натаскивания и скоростного самонатаскивания, при котором знания глотают не прожевав, заучивают готовые ответы, минуя способ решения...

Плавников ничего не забывает — ни пережитого, ни заученного. Но память его состоит как бы из глухих отсеков. Детдомовский опыт, утопический проект самообразования, избранные «правила морали» — все это присвоено вполне надежно, но хранится врозь. Растет поступающая информация, растет число «отсеков». Почему бы, спрашивается, такого вот Плавникова тоже не поставить в центр эксперимента? Оснований как будто хватает. Однако с Виталием у писательницы вышло по-другому. Между ним и профессором Ковалевой, которой доверена роль повествователя, нет полосы отчуждения. В ее рассказе о Виталии, помимо «ну и диковинный парень!», сквозит женское, даже бабье: «Сердечный ты мой! Головушка твоя садовая!» И не будь этой проникновенной нотки участия, вряд ли смог бы сложиться интереснейший дуэт характеров: Виталий Плавников — профессор Ковалева.

Что именно роднит центральных героев? Умение помнить. Что разделяет? Оно же. Марья Владимировна Ковалева хранит в памяти всеобщее, Плавников — свое. В ее ак-

тиве — опыт поколений, организованный, вернее, постоянно организуемый собственной мыслью, ему доступен опыт единичной судьбы, ничем, в сущности, не организованный. Она — в долгу перед теми, кому наследует, и перед теми, для кого; он — перед собой детдомовским, полубразованным, натерпевшимся, сохранившим — с тех лет — решимость наверстать и «всего достигнуть». Профессор Ковалева, состоящая в близком родстве с героиней «Под фонарем», принадлежит к разряду продолжателей, чья миссия — подхватывать и передавать дальше то, что отстоялось под общим знаком «культура». В этом деле дамский мастер ей не товарищ. Он попросту не в курсе, что именно надо продолжать. И когда героиня пытается как-то разморозить его сознание, то здесь и возникает и «принципиальная» и чисто человеческая коллизия рассказа...

Маленький Гарусов тоже «не в курсе», что, разумеется, не прибавляет ему обаяния.

Критика упрекала И. Грекову за то, что ее герой недостаточно интеллигентен. Но характер и задуман именно таким! Гарусов в повести — лишь «номинальный» интеллигент (в жизни, как известно, встречается и такое). Он отрекомендован автором — притом с таким нажимом, который вредит художественной правде, — как патологический «незнайка». На последней странице, когда им вновь овладевает зуд опекуинства и он — в который уж раз! — является с прощальным визитом к жене, а та просит его хотя бы посидеть на дороге, «как полагается», нас невольно останавливает Толин ответ: «Не знаю я, Зоя, как полагается».

Толя и в самом деле многого «не знает», и прежде всего — простейшей азбуки чувств. Читая повесть, невольно вспоминаешь Виталия Плавникова с его душевной глухотой и сугубо специализированным подходом к человеческой голове («Я ее голову исчерпал», «Я должен проверить на девушках свои теории»). И. Грекова недаром отмечает «диковатое» в глазах и улыбке дамского мастера («Не то олененок, не то волчонок»). От Гарусова, который, как и Виталий, носит в себе только свое и глух ко всеобщему, тоже веет неизжитым «скифством». Его доброта, подобно плоду-дичку, непригодна к употреблению и не рождает встречного отклика. Ее либо цинично эксплуатируют, либо отвергают. Кто именно? Стоит взглянуть на «предметы» гарусовского сострадания... Один «предмет», называющий себя Нанной, страшовидная дама, «вроде накрашенной шу-

ки», имеет странное обыкновение жаловаться на своих любовников в профком и местком (Толин филантропический энтузиазм встретила пощечиной); Валя, главная привязанность Гарусова, — мастерица доить «не глядя». Из Толиной любви-сострадания она сумела извлечь немало, как-то: квартиру, мебельный гарнитур, диплом инженера... За Валею следует еще одна женщина, рассказ о которой привел бы к неизбежным повторениям, и он вовремя оборван.

Свой долг перед умершими или пропавшими без вести Гарусов возвращает по ложному адресу. Добро творится в ущерб добру. Острая реакция на умаление и убывание жизни («Он — маленький, а мышь — еще меньше... и дальше все уменьшается») дает «на выходе» приращение потребительства и обывательской сытости. Таким показан в повести гарусовский путь, вымощенный добрыми намерениями. Что ж, все вроде бы резонно. Герой берет на себя непосильную миссию — априорное, так сказать, служение людям, служение до или вне знакомства с людским опытом. Миссия не удается и не могла удалиться.

Но авторская логика в этом случае как бы насильно выпрямляет материал. Взять, к примеру, Толину «вину» перед домашними. «Ваша благотворительность, поймите, безнравственна... «Вы идете прямо по живым людям. Зоя, Ниночка... Подумали вы о них?»... Такого рода упреки Гарусову приходилось выслушивать не однажды. Он их принимает без возражений. Мы тоже не спорим: упреки справедливы, как справедлив общий взгляд автора на гарусовский «феномен». Но о каких «живых людях» идет речь? Прежде всего о Зое, Толиной жене. Служит ли ее судьба укором одержимому Толе? Если да, то риторическим. Зоя не вполне жертва, ибо нуждается именно в таком Толе с его комплексом «возвышенной неверности». Строго говоря, Гарусов для Зои не муж, не «хозяин», а скорее горемычный сирота. И пробуждает он в ней не любовный восторг, а бабью кручину. Уступая Гарусова другой, Зоя больше чувствует себя покинутой матерью, чем брошенной женой. Но... И такая не очень складная жизнь возле малопонятного чудака ей по душе, точнее «по недугу», и, можно сказать, сладка своей горечью. Значит, супружеский союз Гарусова с Зоей — это как бы встреча двух аномалий? В общем, да. Но в таком случае муж и жена заведомо квиты и нравственность им не в укор.

Так оно примерно и выходит не только по логике, но и по тону рассказа. Вот читаемся: «Он сказал ей, что полюбил другую женщину и хочет на ней жениться, а с Зоей развестись. Зоя приняла свое горе культурно, хоть и всплакнула, но криком не кричала, упреков Гарусову не выдвигала, а про себя думала: «Чужало мое сердце с самой этой новой квартиры». Чему тут, собственно, сочувствовать и кому сострадать? «Всплакнувшей» Зое? Но мы вполне доверяем И. Грековой, и если «страдания» героини она подает в насмешливо-стилизованной манере («приняла свое горе культурно», «упреков... не выдвигала») — значит, ничего серьезного не произошло. Добавим: как не происходит в остальных случаях. Никаких драм нет и не предвидится. Есть интересные психологические «сюжеты», казусы согласия или разлада безотчетных страстей. И нравственность здесь воспринимается как отвлеченная величина, сумма, из которой одержимый герой производит, так сказать, вычитание. Что же стало для нас очевидным? Ущерб, наносимый Толиной нечуткостью? Или всего лишь «принцип ущерба»?..

Кто из прежних персонажей И. Грековой с наибольшей полнотой представляет авторскую точку зрения? Чиф («За проходной»), Татьяна Васильевна («Под фонарем»), профессор Ковалева («Дамский мастер»), генерал Сиверс («На испытаниях»). Что роднит между собой этих людей? Умение, даже искусство помнить и наследовать накопленное до них.

Умение помнить... Сначала оно заявляло о себе открыто и без оглядки на «несогласных». Затем вспыхнул тревожный фон: на горизонте возник Виталий Плавников, антипод, человек вне традиций и преданий. И тем не менее для него нашлись теплые краски и широта сердечного понимания. Во всяком случае, для Марьи Владимировны Ковалевой этот парень скорее чудак, чем чужак. Но начинает казаться, что, расставшись с дамским мастером, И. Грекова строго ограничила свой писательский и человеческий интерес к «неумеющим помнить», как ограничивают ритуалом вежливости не слишком приятное знакомство. В центре ее внимания оказался не целостный мир личности, а рутинность чувств и затейливая игра рефлексов (так сказать, механизм «беспамятства»).

Складывается впечатление, что дорогая писательнице идея одухотворенной памяти, вырастая в автономную силу, начинает дик-

товать жесткие условия, среди которых на первом месте — строгое распределение света и тени между «памятливыми» и «беспамятными». В последней повести «условие» соблюдено строже строгого. Ее центральное лицо, жертва глухой, стиснутой памяти, не служит идее, а партизанил ей во вред. Авторский взгляд на героя холоден и строг. Никаких ноток приязни, ни намека на готовность хоть в малом да снизить.

Не может не удивить положение в повести Толиной наставницы Марины Борисовны, героини вроде бы одухотворенной, в которой угадываются знакомые черты профессора Ковалевой и Татьяны Васильевны. Да, черты знакомы, но дело решает их освещение, интонация, исключая всякую короткость между автором и героиней.

Душевные движения героини доходят до нас как бы остывшими, порой шаржированными; жесты, мимика, речь способны вызвать насмешливое недоумение. «Марина Борисовна, подняв плечо к самому уху, смотрела на него», «Марина Борисовна петушилась», «слабо пискнула», «взвизгнула», «с торжеством возопила». О людях, к которым расположены, так не говорят. Но чем все-таки вызваны столь резкие краски? Причина, пожалуй, одна: Марина Борисовна неразборчива в привязанностях...

Через всю повесть тянутся цепочки превращений живого участия в нелепицу и абсурд. Причем Марина Борисовна стоит у той цепочки, что длиннее, ибо начальное звено здесь — Гарусов, пользовавшийся у своей опекунши неограниченным кредитом, получивший ее щедротами «кандидата», и все не ради личного интереса, а для передачи щедрот дальше, на потребу «грызунам». Вывод: героиня расходует жизнь, талант, знания не на тех и не так. Допустим. Но есть ли в ее поступках момент нравственной вины? Вряд ли.

Авторская идея в своем развитии как бы перенапряглась и стала подсказывать односторонние оценки. Крайности обладают опасной силой отдачи. Образ одухотворенной памяти, переходивший из одной книги И. Грековой в другую, увя, испытал на себе действие этой силы. «Памятливые» герои в последней повести не столько живут, сколько обеспечивают торжество идеи. Авторский интерес к сокровенному в человеческих судьбах, разумеется, не вовсе утрачен. Его можно разглядеть и в «Маленьком Гарусове», где фрагментами, про-

рывами вырисовывается состояние мальчика, прошедшего через потрясения блокады. Но вступает в силу логика эксперимента — и живая картина тускнеет. На передний план выходит умно и жестко организованная система психологических связей

и взаимодействий. Система адресована прежде всего сознанию и вряд ли оставит его безучастным. Но окупает ли такой характер участия сопряженные с ним потери?

В. КАМЯНОВ.



ЛИТЕРАТУРА И ПРАВСТВЕННОСТЬ

В. Днепров. Литература и нравственный опыт человека. Размышления о современной зарубежной литературе. Л. «Советский писатель». 1970. 424 стр.

Новая книга В. Днепровского сопрягает явления, которые при всей их очевидной близости находятся в поле зрения разных наук. Для нашей философии близость искусства и морали является скорее аксиомой, нежели теоремой, и потому ни этика, ни эстетика не занимаются сколько-нибудь серьезно изучением связи, взаимодействия, взаимного отражения нравственных и художественных явлений. Разумеется, коль скоро «Гамлет» или «Сид», «Евгений Онегин» или «Братья Карамазовы» заключают в себе определенную нравственную проблематику, то и литературоведы обращали внимание на этот аспект их содержания. С другой стороны, авторы трактатов на этические темы, коль скоро им было нужно иллюстрировать свои рассуждения яркими и общепонятными примерами, обращались к созданным великими писателями образам и ситуациям... В книге В. Днепровского вопрос ставится иначе: острее проблемы нравственной жизни современного человека, рассмотренные через увеличительное стекло художественного познания, — вот прямой и специальный предмет его исследования. Научный анализ ведется здесь как бы на скрещении литературоведческой и этической плоскостей, и эта «стыковка» разных наук оказывается весьма продуктивной. Художественное творчество выступает как концентрированное выражение нравственных отношений современного общества, а нравственный опыт человечества раскрыт через его отражение в художественно-образных моделях жизни, приобретающая особую прозрачность и структурную четкость.

Что же конкретно дает рецензируемая книга для изучения нравственных проблем современной жизни?

Основательный, вполне «репрезентативный», как сказали бы социологи, анализ современной литературы Запада позволил В. Днепровскому показать, что в условиях все

более и более углубляющегося кризиса морали в буржуазном обществе несостоятельны все попытки обособить от сферы «общественной морали» ту сферу, которую автор называет сферой лично нравственных отношений, «спасти» ее, апеллируя к «вечным моральным нормам» (в виде реформированной христианской морали) или к «суверенности» нравственного сознания субъекта. Оказывается, что моральный крах или физическая гибель «просто доброго человека» — не «литературный ход», почему-то предпочитаемый писателями Запада, но закономерность жизни в этом «безумном, безумном мире». Подлинной же моральной силой отличаются те герои, как бы редко они ни встречались даже у прогрессивных писателей буржуазного мира, которые становятся на путь сознательной борьбы с «миром зла», за освобождение от социального гнета.

Книга В. Днепровского остро полемична, и иной она, видимо, не могла быть при избранном ее автором круге проблем: в расколотом современном мире литературе предлагаются существенно различные, а подчас диаметрально противоположные решения нравственных проблем. Мы сталкиваемся здесь не только с прямым противостоянием марксистской и буржуазной этических концепций; в самом буржуазном сознании мы не находим сколько-нибудь целостной и единой нравственной позиции. Главной задачей В. Днепровского было отстаивание правоты марксистского взгляда на происхождение, сущность и значение нравственных отношений людей.

Разоблачая противостоящие марксизму идеалистические концепции — религиозные или светские, фрейдистские, или экзистенциалистские, или левацкие извращения коммунистической морали, — исследователь ведет идейно-теоретический спор серьезно, аргументированно и темпераментно. Он

непримирим к любым идеологическим компромиссам, особенно к попыткам найти точки соприкосновения между коммунистической и религиозной моралью. Критика «модернизаторов католицизма» вроде Ранера органически связана с критикой Гароди, пытающегося доказать необходимость «сделать шаг навстречу», «вести диалог» с современными реформаторами религиозной морали.

Несовместимость веры и знания, непримиримость религии и марксизма В. Днепров раскрывает, обращаясь к проблеме истины и морали. Религия затемняет и извращает истину, она порождена невежеством и закреплена корыстным интересом эксплуататоров. «Марксизм впервые обосновал «историческую роль» добра. Он научно доказал, что победа добра стала необходимой, что объективные потребности исторического развития сошлись наконец с нравственными ожиданиями и чаяниями людей. Истина породилась с моралью». Не из «искры божией» и не из «суверенности чистой субъективности» возникает нравственная сила души строителя нового мира. Ее исток социален. «Активность добра», его действительная сила, обнаруженная в героическом энтузиазме масс, сбросивших ярмо эксплуатации, поднявшихся к творческому труду, повсеместно преодолевающих темные силы не абстрактного, а вполне конкретного социального зла, уже стала историческим фактом, хотя до сих пор на Западе одни пытаются его замолчать или извратить, а другие говорят о «чуде», не будучи в состоянии осмыслить социальные корни этого явления. В. Днепров называет их точно. Это — «моральные фонды, скопленные пролетариатом за столетия угнетения и классовой борьбы», умноженные с громадной быстротой в результате социалистической революции.

Рассматривая острые ситуации нравственной жизни буржуазного мира через призму современной зарубежной литературы, В. Днепров постоянно соотносит свои выводы с опытом, интересами и перспективами развития нравственных отношений в социалистическом обществе. «Опыт показывает, — читаем мы вывод, следующий из полемики В. Днепров с книгами Г. Грина, — что новые социальные отношения можно считать вполне выстроенными, достигшими полноты лишь тогда, когда они доведены, достроены до лично нравственных человеческих отношений. Лишь тогда новый принцип становится всеобщей атмосферой общества, его

психологическим состоянием, его духовным ароматом, лишь тогда новая социальная структура закрепляется, обобщается в душевной структуре личности и возникают могучие силы нравственной инерции. Социалистическое здание состоит по крайней мере из трех этажей: экономического, политического и нравственного, и пока последний этаж не выстроен, новое общество еще не подведено под крышу». Или в другом месте, резюмируя свой спор с А. Камю, В. Днепров утверждает: «Коммунизм имеет не только научные, но и нравственные источники. Они прослеживаются на всем протяжении его развития». Поэтому человек, «вполне принимающий сумму научных выкладок и учений коммунизма и чуждый его нравственной стихии, не может ни быть подлинным коммунистом, ни действовать как подлинный коммунист».

Говоря о собственно эстетических проблемах, выдвинутых в рецензируемой книге, хотелось бы обратить внимание прежде всего на исследование связи эстетических и этических «параметров» искусства, исследование, позволяющее с полным основанием сделать вывод, что «закон искусства отражает закон жизни: отдельный человек связан с обществом узами морали, и всякая характеристика, опускающая эти узы, делается не только художественно несостоятельной, но и жизненно недостоверной».

Другая примечательная мысль критика — отмеченное им в современной реалистической литературе изменение «соотношения типичного и нетипичного, похожего и непохожего». Этот вывод получен в ходе анализа произведений Д. Стейнбека, Г. Грина, Б. Брехта. Творчество последнего послужило материалом для еще одного интереснейшего теоретического обобщения — признания возможности двух путей создания реалистического образа: один из них — раскрытие сущности через изображение явления, другой — «конструирование» явления как закономерного воплощения сущности.

Образы литературы берутся В. Днепровым не как иллюстрации неких нравственных идей, принципов, ситуаций, а как орудия познания реальных нравственных отношений, обладающие самостоятельной гносеологической ценностью и потому большей весомостью, нежели отвлеченные этические построения моралистов, философов, даже самих писателей. «Экзистенциалистская идея, — говорит, например, В. Днепров, — обрела в художественных претворениях

иную судьбу, чем в философских трактатах», ибо нравственная идея «ставится искусством на проверку», а проверка эта в искусстве, реалистически ориентированном, подчиняется логике реальных нравственных отношений и тем самым может вступать в противоречие с диктуемой различными идеологическими заблуждениями логикой (или аллюжностью) теоретического морализирования.

Книга В. Днепров — пример диалектического анализа литературы, в которой противоречиво сталкиваются факторы объективные и субъективные, гносеологические и идеологические. Что греха таить, случается, что эта диалектика подменяется в наших литературоведческих сочинениях односторонне метафизическим сведением произведений художника либо к пассивной фиксации его мировоззрения, либо к не зависящему от мировоззрения отражению объективной истины. В. Днепров показывает, как в творчестве крупнейших художников современного буржуазного мира взаимодействуют, сталкиваются, противоречиво сплетаются познание действительных закономерностей нравственной жизни и оценочная интерпретация этих закономерностей — экзистенциалистского, фрейдистского, религиозного или какого-то иного толка. Искусство выступает, таким образом, в качестве свидетеля происходящих в буржуазной жизни трагедий, но свидетель этот одновременно объективен и субъективен, честен и пристрастен, нелицеприятен и предвзят. Он сам, как ученый, — и даже лучше, чем иные ученые! — изучает эту драматическую жизнь; его произведения — это своеобразные эксперименты, ко-

торые должны показать, как будет вести себя человек такого-то типа в такой-то типической ситуации, или как будет воздействовать такая-то типическая ситуация на человека такого-то типа; но в том-то все и дело, что писатель сам строит эту ситуацию, сам конструирует тип этого человека, сам истолковывает исход, разрешение коллизии, а все это он способен делать лишь в соответствии с выработанным им представлением о смысле бытия и о природе нравственных отношений. Вот почему так двойственно-противоречивы «показания» этого свидетеля, и вот почему мы должны ему верить и не верить в одно и то же время, а значит, поверять его художественные показания показаниями самой жизни.

Осуществляя эту поверку искусства жизнью, В. Днепров не ограничивает себя характеристикой одного только нравственного ее аспекта. Разговор на этические темы постоянно оборачивается в его книге рассуждениями о политике и взаимосвязи политики и морали; о религии и соотношении нравственного и религиозного сознания; о философии, о науке и о взаимодействии художественного и научного познания мира, эстетического и философского ее осмысления... Так возникает в литературоведческом исследовании многомерность социального бытия, свидетельствуя и о плодотворных методологических установках ученого, и о гражданском пафосе его исследования.

В. ИВАНОВ,
доцент.
М. КАГАН,
профессор.

Ленинград.

★

Политика и наука

РЫЦАРЬ РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Л. Будян. Новиков в Москве и Подмоскowie. М. «Московский рабочий». 1970. 127 стр.

Николай Иванович Новиков не был революционером по убеждениям. Но дело, которое он делал, и некоторые из мыслей, которые он отстаивал в «век покорности и страха», были революционными.

Новиков был издателем и редактором одного за другим четырех сатирических журналов — «Трутня», «Пустомели», «Живописца» и «Кошелька» (1769—1774). С первых же шагов своей литературной деятельности

он оказался в оппозиции к правящей камарилье во главе с Екатериной II. От него ждали и требовали казенного оптимизма и развлекательного чтения, а Новиков публиковал статьи о бедственном положении крестьян, о скотстве помещиков, о казнокрадстве, взяточничестве, отсутствии правосудия, о родовой спеси, о низкопоклонстве перед иностранцами. Н. А. Добролюбов говорил: «Новиков, как известно, был пер-

вый и, может быть, единственный из русских журналистов, умевший взяться за сатиру, смелую и благородную, поражающую порок сильный и господствующий».

Один за другим журналы Новикова были закрыты. «...постоянное единоборство с самодержавной властью,— отмечает Л. Будяк,— подорвало веру писателя в сатиру. Иногда ему казалось, что общество еще нравственно не созрело для борьбы за те идеалы, которые он защищал».

Новиков в петербургский период своей деятельности не только издавал журналы, но и книги — 53 названия. В 1779 году он переезжает в Москву, подальше от пристального внимания просвещенной монархини. За десять московских лет он выпустил 944 книги, его издательская и книготорговая деятельность приобретала невиданный в России размах. Новиковскими изданиями торговали в семнадцати городах. Это была самая разная литература — от букваря до писем Цицерона и статей французских энциклопедистов. Новиков думал и о будущих читателях, а потому издательское дело сочетал с заботой о подготовке учительских кадров, о народном образовании.

По инициативе Новикова при Московском университете 13 ноября 1779 года была учреждена филологическая семинария. Она готовила народных учителей. Николай Иванович при посредстве возглавляемой им Типографической компании помогал создавать школы, отправляя за границу молодых людей для завершения образования. В «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона, изданном в конце XIX — начале XX века, о Новикове сказано: «В обществе, где даже звание писателя считалось постыдным, надобно было иметь немалую долю решимости, чтобы стать типографщиком и книжным торговцем и видеть в этих занятиях свое патристическое призвание». И там же: «Люди, близкие к тому времени и к самому Новикову, утверждали, что он не распространял, а создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению. Сквозь вызванную им усиленную работу переводчиков, сочинителей, типографий, книжных лавок, книг, журналов и возбужденные ими толки стало, по замечанию В. О. Ключевского, пробиваться то, с чем еще незнакомо было русское просвещенное общество: общественное мнение».

Новиков был не только великим просветителем, не только эпохой в истории русского книгоиздательства и русской журналистики, он был еще и необыкновенно бескорыст-

ным и отзывчивым человеком. С замечательной яркостью эти его качества проявились во время страшного голода 1786—1787 годов. Он говорил тогда: «Прочь веселье, радости и счастье! Раскроем свои сундуки, свои мешки золота, вынем из своих роскошных шкапулок драгоценные камни, браслеты, кольца, ожерелья, сложим все это к ногам голодающей братии». Весь свой хлеб он отдал своим крестьянам и помог жителям соседних деревень.

Таков был Николай Иванович, человек, слово которого не расходилось с делом. Однако именно дела и слова Новикова вызвали ненависть «матушки-императрицы». В 1784 году Екатерина приказала осмотреть все книги в лавках Новикова и его типографии. У него отобрали сотни книг, многие из них сожгли.

В 1790 году Екатерина назначила главнокомандующим Москвы князя А. А. Прозоровского. Л. Будяк приводит отзыв о нем историка М. Н. Лонгинова: он «полагал, что все на свете может и должно подчиняться военной дисциплине... Надменный по характеру, довольно ограниченный умом, плохо образованный, он не уважал просвещения и ценил одну исполнительность по службе»¹. Екатерина писала Прозоровскому: «Вам известно, что Новиков и его товарищи завели больницу, аптеку, училище и печатание книг, дав такой всему благовидный вид, что будто бы все те заведения они делали из любви к человечеству; но слух давно носится, что сей Новиков и его товарищи сей подвиг в заведении делали отнюдь не из человеколюбия, но для собственной своей корысти, уловляя проницательством и ложно как бы набожностью слабодушных людей, корыстовались граблением их имений, о чем он неоспоримым доказательством обличен быть может». Бдительная самодержица наставляла сиятельного солдафона относительно Новикова и его Типографической компании: «Касательно известной шайки полезно будет без огласки узнать число людей, оной державшихся; пристают ли вновь или убывают ли из оной». Кружок просветителей назван шайкой. Екатерина говорит о просветительстве, так сказать, в терминах уголовного права...

Когда Прозоровский предложил арестовать Новикова, Екатерина не согласилась:

¹ «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона так аттестует его: «человек невежественный, подозрительный, жестокий, выдвигавшийся угодничеством».

«Нет, надобно найти причину». Государыня лукавила — причина давно была. Нужен был повод, предлог. И его нашли: хранение масонских книг. Пробил час самого тяжкого испытания гражданского мужества Новикова. В апреле 1792 года в Москве начались повальные обыски в лавках книгопродавцев. Больной Новиков был у себя в Авдотьиной. Его затолкали в кибитку и доставили прямо к Прозоровскому. Допросы ничего не дали князю. В письме лейб-палачу Шешковскому он расписался в своем бессилии: «Я сердечно желал бы, чтобы вы ко мне приехали, а один с ним не слажу! Экова плута тонкого мало я видывал». Екатерина приказала перевести Новикова в Шлиссельбургскую крепость. Опытный Шешковский, прибегавший при допросах к запугиванию, а если надо — и к пыткам, которые проводил собственноручно, понял, что этим Новикова не взять. «Он начал с «увещевания и убеждения». Подробно расспрашивал о всех обстоятельствах жизни... а 3 июня предложил арестованному 55 вопросов. Главные из них были составлены самой Екатериной. Правительство хотело выяснить, во-первых, не участвовал ли Новиков в каком-нибудь антигосударственном заговоре и, во-вторых, не был ли связан он сам (или его друзья-единомышленники) с иностранными державами. Об издательской деятельности писателя словно забыли, а ведь именно печатание и хранение духовных книг послужило формальным поводом для его ареста». Кстати, связи с иностранными державами, вмешательство иностранцев было идефиксом царского самодержавия не только во времена Екатерины. Если, например, Екатерина подозревала «руку Варшавы» в восстании Пугачева, то ее внук Николай I видел «руку Парижа» в польском восстании 1830 года. Как будто для восстаний или недовольства не было в ту пору достаточно своих внутренних причин и обстоятельств. Эту эстафету социальной слепоты (точнее, желания свалить с больной головы на здоровую) подхватили буржуазные правительства нашего века, «видящие», например, в забастовках рабочих, в антивоенных выступлениях молодежи и интеллигенции «руку Москвы»...

Не добившись от Новикова покаяния, через два с половиной месяца на основании взятых у него бумаг и ответов на следствии писателя признали преступником, имевшим сообщников. В вину ему ставилась переписка с герцогом Брауншвейгским и с великим князем Павлом Петровичем, издание «раз-

вращенных и противных закону православному книг», а также участие в масонстве² и «поколебании и развращении слабых умов». В итоге было решено: подвергнуть «вредного государственного преступника... по силе тягчайшей и нещадной казни». Однако повторилась история, аналогичная радищевской: Екатерина, «следуя сродному ей чело- веколюбию и желая оставить ему время на принесение в своих злодеяниях покаяния», как говорилось в указе, ограничилась приказанием «запереть его на пятнадцать лет в Шлиссельбургскую крепость».

«Екатерина любила просвещение, — саркастически заметил А. С. Пушкин, — а Новиков, распространявший первые лучи его, перешел из рук Шешковского в темницу... Радищев был сослан в Сибирь, Княжнин умер под розгами, а Фонвизин, которого она боялась, не избежал бы той же участи, если бы не чрезвычайная его известность».

Новиков провел в Шлиссельбурге четыре с половиной года. Горше постоянных болезней, горше голода и унижительной нищеты было в эти годы вынужденное бездействие. Писать запрещено. Читать тоже, кроме Библии, которую он выучил наизусть... Николай Иванович вернулся дряхлым, больным человеком. Он прожил еще около двадцати двух лет. Бился с болезнями. Бился с нуждой: ведь Екатерина ограбила его, пустив с молотка московский дом, типографию, книги. Не оставалось сил и средств биться с невежеством. Возврата к прежнему не было. Перед смертью он говорил: «Смерть мне не страшна, а тяжело, что я умираю, оставляя народ в том же бедственном состоянии, в каком нашел его при рождении. Я заводил народные школы, издавал книги, но что может сделать один человек?! Надеюсь, вы будете счастливее меня. Вам, может быть, или вашим внукам придется увидеть народ наш свободным и очеловеченным».

Будем откровенны: широкие массы мало знают о Новикове. Популярная книга Л. Будяк делает полезное дело. Но одной книги, изданной к тому же всего лишь двадцатитысячным тиражом, мало. Нужно больше внимания уделять Новикову в школе — и в курсе литературы и в курсе истории. Нужно время от времени рассказывать о нем по радио и телевидению. Нужно назвать его именем улицы и корабли. Рыцарь рус-

² Интересно, что масонство законом запрещено не было.

ского просвещения не должен уходить из благодарной памяти потомков.

В книге Л. Будяк немало, на мой взгляд, недостатков. Вот только некоторые из них. Автор на многих страницах впадает в грех беллетризации и выходит из рамок жанра книги. Драматизм единоборства просветителя с самодержавием сам по себе захватывает и не нуждается в «украшательстве», как и вся прекрасная жизнь Новикова, интересная сама по себе. Л. Будяк пишет: «...Петр III вопреки национальным интересам России прекратил военные действия против Пруссии в Семилетней войне (1756—1763) и, заключив союз с недавними врагами, отказался от всех завоеваний». Семилетняя война, как и Тридцатилетняя, как и война за «испанское наследство», за «австрийское наследство», как и многие другие войны феодальных государств, была несправедливой, захватнической со стороны обеих участвовавших в ней коалиций. Почему Л. Будяк полагает, что участие России в этой войне соответствовало национальным интересам? Что понимает автор под национальными интересами? Интересы

каких классов русского общества следует принять за национальные интересы России того времени? Петр III был ничтожеством, как и его сын Павел. Однако какими бы мотивами ни руководствовался первый, уничтожая тайную канцелярию, прекращая захватническую войну, а второй — освобождая из тюрьмы Новикова и возвращая из ссылки Радищева, объективный смысл этих действий не может быть оценен нами отрицательно.

В книге есть и чисто фактические неточности. Например, Дашкова названа директором Российской академии наук. Это контаминация названий двух разных научных учреждений — Академии наук и Российской академии: первая была основана в 1725 году, вторая в 1783-м (она занималась изучением русского языка, риторики, стихосложения; ею составлены два академических словаря; в 1841 году была присоединена к Академии наук на правах одного из ее отделений). Дашкова была директором Академии наук и президентом Российской академии.

Эр. ХАНПИРА,
кандидат филологических наук.



СОВМЕСТНЫЙ ТРУД ИТАЛЬЯНСКИХ И СОВЕТСКИХ ИСТОРИКОВ

Документы советско-итальянской конференции историков.
М. «Наука». 1970. 373 стр.

Вопросы, которые были в центре внимания историков обеих стран, имеют не только академический интерес. Ученые обсуждали две основные темы: складывание абсолютизма в Западной Европе и России (доклады профессоров К. Виванти и Л. В. Черепнина), а также русско-итальянские связи в шестидесятых — девяностых годах XIX века (по докладом кандидата исторических наук И. Б. Григорьевой и профессора Э. Раджоньери). Если вдуматься, то обе темы очень тесно связаны друг с другом. В самом деле, формирование абсолютных (то есть неограниченных) монархических режимов в Западной Европе и России на протяжении XVI—XVIII столетий составляло как бы «фасад» истории, блеск и великолепие кото-

рого прославляли придворные поэты и ученые льстецы от берегов Темзы до Москвы-реки. В то же время зрели и вступали в борьбу с феодальным деспотизмом общественные силы, которые и знаменовали прогрессивные революционные тенденции исторического развития. Союз абсолютных монархов пытался задушить Великую французскую буржуазную революцию 1789—1794 годов. Победу народов над наполеоновской агрессивной империей монархи континентальной Европы хотели использовать для увековечения своих режимов в рамках пресловутого Священного союза. Однако освободительная борьба против королей и императоров неотвратимо приближала крах абсолютных монархий, разрывала цепи национального угнетения народов, находившихся под чужеземным игом. Передовые люди эпохи пытались противопоставлять союзу коронованных властителей союз революционных сил. В этих условиях давние культурные связи народов приобретали особую окраску: на первый план выдвигалась

С 1964 года проводятся ежегодные конференции советских и итальянских историков, на которых обсуждаются важные научные проблемы, относящиеся к прошлому России и Италии. Эта книга с весьма сухим и официальным названием заключает материалы третьей конференции, состоявшейся в Москве в апреле 1968 года.

задача объединения усилий в противоборстве с обветшавшим феодально-монархическим строем, который задерживал прогресс общества.

Памятные уроки истории учат ценить и приумножать все то, что объединяет народы на путях продвижения к свободе. Разве не показательно, что передовая Россия восторженно приветствовала освободительную борьбу итальянцев против господства австрийской монархии и за объединение страны, а Гарибальди был в числе любимых героев! С образованием независимого Итальянского государства связи народов России и Италии не ограничивались дипломатическими и торговыми сношениями официального порядка. Царская полиция, используя всевозможные каналы, вела розыски скрывавшихся за рубежом участников революционного движения. Российскому посольству в Риме и итальянскому посольству в Петербурге пришлось немало заниматься во второй половине XIX века взаимной информацией о русских эмигрантах-революционерах и их связях. Чего стоит, например, заголовок одного дела из Архива внешней политики России: «По ноте итальянского посла о действиях интернациональной пропаганды в Италии и о проживающей в С.-Петербурге эмиссарке оной Олимпиаде Кафиеро».

Лучшие умы Италии с искренним сочувствием относились к борьбе против самодержавия в России, видя в нем лютого врага всего живого и мыслящего. Итальянская прогрессивная газета «Народ» в 1877 году сообщила о «процессе пятидесяти» в Петербурге. Казнь народовольцев после покушения на Александра II в 1881 году была воспринята демократическими и социалистическими элементами Италии с глубокой скорбью и возмущением. Воодушевленный подвигом Софьи Перовской, Филиппо Турати написал стихотворение «Апрельские цветы», опубликованное спустя двадцать дней после казни участников покушения. Кампания солидарности с русскими изгнанниками объединила прогрессивные круги общественности Италии. Говоря о тогдашней России, Турати писал: «Здесь борьба нового мира с устойчивой тиранией прошлого, которая не отступает и не знает пощады, принимает самую ожесточенную форму... Сердце России бьется и страдает за пределами России. Суровые старцы, юноши с мужественными сердцами, совсем юные женщины, наделенные и мягкостью и стойкостью, отличающими их расу, братья и внуки Гоголя, Турге-

нева и Чернышевского,— это безоружное воинство приходит к народам-братьям, видя внутренним взором и оплакивая в сердце утраченную родину». Характерно, что Турати тотчас вспоминает: «Не так давно подобное же происходило в Италии — наша страдающая мать отвергала своих лучших сынов, и они также скитались, как нищие».

В докладах и выступлениях участников конференции приводится интересный материал о пребывании в Италии С. М. Степняка-Кравчинского, о распространении произведений и идей Н. Г. Чернышевского, о связях Г. В. Плеханова с итальянскими социалистами, о многолетней разносторонней деятельности Анны Кулишевой по ознакомлению итальянского общества с положением дел в России и ее проблемами. В итальянской демократической прессе нашли отклик мощные выступления петербургского пролетариата, руководимого ленинским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса». «Произошло великое событие, значение которого для нас трудно переоценить,— русский пролетариат вступил в борьбу»,— сообщал по этому поводу один итальянский журнал. Некоторые новые данные приведены о деятельности М. А. Бакунина в Италии. В частности, обнаружен пристальный интерес этого бунтаря-анархиста к положению крестьян в тех областях Италии, где наиболее сильны были феодальные пережитки, тяготевшие и над русской деревней после реформы 1861 года.

Вполне закономерно внимание конференции и к развивающимся контактам народа Советского Союза с передовыми общественными слоями Италии. Традиции революционной солидарности и общности целей в борьбе особенно дороги нам, пережившим потрясения второй мировой войны. Дороги факты совместной борьбы итальянских патриотов и советских людей в годы Сопrotивления, продолжающие живую линию революционно-освободительного движения прошлого.

В предисловии к недавно изданной на русском языке интересной книге Мауро Галлеи «Советские партизаны в итальянском движении Сопrotивления» генеральный секретарь Итальянской компартии Луиджи Лонго подчеркнул: «Идеалы, объединявшие вчера тысячи итальянских и советских партизан, побуждают нас сегодня с еще большим упорством трудиться на благо дальнейшего расширения отношений дружбы и сотрудничества между Италией и Советским

Союзом». Рецензируемая книга служит этому добру и благородному делу, намечая пути дальнейших научных поисков и обещая новые находки.

Плодотворно обсуждалась на конференции также проблема абсолютизма в Западной Европе и России. Наибольшие споры разгорелись вокруг вопроса о путях формирования, характере и классовой сущности абсолютизма в России. Среди советских историков обнаружилось разное понимание некоторых ведущих явлений названной проблемы. И это неудивительно, если учесть недостаточную изученность различных сторон генезиса абсолютизма в России (внутренней политики царизма в XVII — первой половине XIX века, эволюции класса феодалов, формирования буржуазных слоев общества, складывания бюрократического аппарата управления и т. д.). Мне представляется более перспективной концепция генезиса абсолютизма, предложенная Л. Черепниним. Она основана на признании общих корней абсолютизма в Западной Европе и России. Будучи диктатурой помещиков-крепостников, русский абсолютизм, сложившийся в XVIII веке, одновременно выражал интересы нарождающейся отечественной буржуазии. Мощный и разветвленный карательно-бюрократический аппарат, многочисленная постоянная армия стояли на страже имущества и прав господствующих классов. Жестоко расправлялся абсолютистский режим в России с народными восстаниями против угнетателей. Эта магистральная линия развития прокладывала себе путь в чрезвычайно сложных противоречиях и запутанных конкретно-исторических ситуациях, когда перекрещивались и переплетались интересы различных социальных групп. При всем том вряд ли может быть принята высказанная отдельными участниками дискуссии точка зрения, согласно которой массовой социальной опорой абсолютизма в России на протяжении веков было крестьянство. Другое дело, что царизм стремился использовать темноту, забитость и отсталость крестьянских масс в своих целях, но не более. Конечно, вера в царя была устойчивым явлением, но жизнь сплошь и рядом вынуждала трудящихся выступать с оружием в руках против абсолютистских порядков.

Некоторые историки склонны рассматривать российский абсолютизм как государство типа восточной деспотии. Черты деспоти-

зма присущи любому варианту абсолютной монархии, так как она является не ограниченной законом властью. Однако появление абсолютистской формы государства невозможно объяснить без учета перемены в социально-экономическом базисе общества. Существует мнение, что абсолютизм в России сложился по типу, близкому к испанскому. Но и это положение весьма спорно, так как хорошо известно, что в Испании монархия в силу совершенно определенных исторических условий не способствовала централизации страны, то есть не осуществляла главной функции абсолютизма.

Вопрос о государстве всегда был и остается ныне одним из самых острых в идеологической борьбе двух мировых систем. Вот почему споры наших и итальянских ученых в связи с проблемой абсолютизма приобретают особый смысл.

Идеологи антикоммунизма, не утруждая себя научной аргументацией, на разный лад повторяют мысль об извечной противоположности России «западной цивилизации», «западной демократии». Если к этому добавляется набор благоглупостей насчет постоянной «агрессивности» России, то на подобную приманку могут клонуть мещане и простаки, коих еще немало на свете. Дело еще в том, что проблема абсолютизма имеет самое прямое отношение к поведению различных классов общества. История показала, что самым последовательным борцом против самодержавия в России выступил рабочий класс. Все предыдущее развитие страны превратило буржуазию в малопригодный для борьбы с абсолютизмом элемент.

Марксистско-ленинское понимание истории развития государственных форм в настоящее время существенно обогатилось и получает новые подтверждения, чему свидетельством — материалы советско-итальянской конференции. Выявление общих и специфических черт формирования абсолютных монархий в отдельно взятых странах и в пределах больших регионов отличало доклады и прения по ним.

На примере рассмотренного сборника нетрудно убедиться, сколь острыми и злободневными могут быть сегодня вопросы, казалось бы, целиком принадлежащие давно прошедшим временам.

А. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
доктор исторических наук.

ЛЕТЧИК, ДИПЛОМАТ, ПИСАТЕЛЬ

П. Кондратьев. Полет сквозь годы. М. «Московский рабочий». 1970. 328 стр.

Тираж немалый — семьдесят пять тысяч экземпляров — разошелся в несколько дней. И это не случайно. Книга привлекла внимание читателя. Ее автор, Петр Владимирович Кондратьев, — человек удивительно интересной биографии: он и летчик-испытатель, и командир авиаполка в годы Великой Отечественной войны, и дипломат (советский консул в США), и путешественник, активный борец за мир и, наконец, писатель.

Читатель знаком с его книгами: «Рассказы о летчиках-испытателях», «Вертолет в полете», «По дорогам мира и дружбы», «Записки консула» и другими. «Полет сквозь годы» — четырнадцатая по счету. Написана она в жанре мемуаров.

Первую главу автор посвящает деятельности своего отца. Выходец из старой русской революционной интеллигенции, архитектор, близко знавший Г. Кржижановского, М. Елизарова, А. Коллонтай, в 1904 году он построил первый в России «дом-коммуну» для рабочих Петербурга.

Трагична судьба матери автора, погибшей от рук белогвардейских карателей в 1919 году. Понятно чувство юности, побудившее его в пятнадцать лет взять в руки винтовку и вступить в отряд ЧОН.

Язык писателя образен и прост. Покоряет доверительная интонация беседы с читателем.

...Обычно, когда ранним утром я подымался на самолете в воздух, рассказывает автор, мне вспоминались слова М. Горького о том, что самое интересное в мире — видеть, как зарождается день... За бортом струится и бьется о стенки самолета воздух, очень плотный воздух. Кажется, можно зачерпнуть его в пригоршню и медленно пропустить сквозь пальцы.

Но Петру Кондратьеву выпало на долю не только ощущать красоту неба, но и воевать, защищать Родину от фашистов, терять друзей в жестоких боях и самому гореть в самолете. Он вспоминает о своих друзьях — летчиках из знаменитого полка «Нормандия — Неман», с которыми летал крылом к крылу, командуя штурмовым авиаполком.

Горит подбитая фашистами машина

французского летчика де Сефина. Командир «Нормандии» приказывает ему покинуть самолет, но в ответ слышит: «Не могу, мой командир, — со мной русский механик Белозуб, у него нет парашюта...». В смертельной опасности француз не оставил своего русского друга...

«Их хоронили вместе...»

Как раз этот факт мне хорошо известен, так как эскадрилья «Нормандия» в первое время на фронте входила в состав дивизии, которой мне довелось командовать.

В следующих главах читатель встречается с выдающимся советским дипломатом М. М. Литвиновым.

Будучи единственным советским гражданином — свидетелем трагедии в Пирл-Харборе на Гавайских островах, автор интересно рассказывает и об этом. За сто пять минут японцы уничтожили почти весь Тихоокеанский флот США. Около пятидесяти боевых кораблей было потоплено. Этот день вошел в историю Америки как «день национального позора».

Писательское видение, широта знаний позволяют П. Кондратьеву дать интересные портреты Ч. Чаплина, Т. Драйзера, У. Диснея.

В послевоенные годы автор работает в ГВФ ведущим инженером по вертолетам. Его раздумья и анализ перспектив развития летательных аппаратов вертикального взлета приводят к мысли о целесообразности возрождения дирижаблей. И он подробно об этом пишет.

Последний раздел книги посвящен деятельности автора в Комитете защиты мира, его поездкам и встречам с борцами за мир, впечатлениям об этих встречах.

...Исколесив полсвета, заключает автор, я видел много красивых мест. Но ни экзотика южных стран с их роскошными пальмами и гигантскими кактусами, ни апельсиновые рощи, ни поля хризантем не волновали так мое сердце, как природа моей страны. Нет тебя прекраснее, моя Родина!

Книга Петра Владимировича Кондратьева иллюстрирована фотографиями автора, красиво издана и безусловно найдет живой отклик в сердцах читателей.

С. АНДРЕЕВ.

КОРОТКО О КНИГАХ



«НА СЕВЕРЕ ДАЛЬНЕМ». Литературно-художественный альманах, 1970, №№ 1 и 2. Магаданское книжное издательство.

В прошлом году магаданцы отмечали пятнадцатилетний юбилей альманаха «На Севере Дальнем». Один из первых редакторов этого издания, Олег Онищенко, вспоминая в статье «Пора зрелости» (1970, № 1) о том, как он взял в руки сигнальный экземпляр самого первого номера альманаха, пишет, что радость и гордость, испытанные им в ту минуту, сродни ощущениям отца, глядящего на своего первенца. «Пусть это не прозвучит сентиментально», — смущенно оговаривается он. Но ему верить — так оно, видно, и было. За полтора десятилетия альманах объединил вокруг себя, выпестовал и вывел к всеобщему читателю таких интересных писателей, как Юрий Рытхэу, Анатолий Кымытваль, Галина Остапенко, Борис Некрасов, Лидия Вакуловская, Семен Лившиц, Владимир Сергеев и другие.

Что же прежде всего бросается в глаза при чтении этого альманаха? Горячая, нежная, какая-то неистребимая любовь к Северу. В интересном очерке А. Мифтахутдинова (1970, № 2) приводится цитата из книги Аркадия Фидлера: «Кто один раз по-настоящему узнал вкус жизни на Севере — жизни, полной всяческих страданий и лишений, но вместе с тем полной неограниченной свободы и мужества, тот уже пропал; он никогда не покинет Севера, останется верным ему до конца. Если же он почему-либо и расстанется с Севером, то будет тосковать и вернуться, непременно вернуться». Слова эти могли бы служить эпиграфом едва ли не к каждому из опубликованных в альманахе произведений.

В № 1 альманаха за 1970 год напечатаны рассказы Л. Вакуловской. Все они — и «Золотой огород», и «Не понятно, но интересно», и «Единственный» — написаны точно, с доскональным знанием северного материала, быта старателей, геологов и шоферов.

К сожалению, тональность всех трех рассказов несколько однообразна, в них, в конечном счете, звучит одна тема: жить на Севере трудно, однако прекрасно, и Северу грешно «изменять».

Уже в самом названии повести Ю. Васильева «Ветер в мои паруса» (1970, № 2) угадывается романтическая интонация произведения. Сюжет повести незамысловат, а

бы даже сказала, несколько избит. Было три друга — пилот Венька Строев, геолог Павел Евгеньев и геофизик Олег Комаров. Строев героически погибает, а Павел, устав от Севера, уезжает на Большую землю. В Ленинграде его ждет женщина, на которой он собирается жениться, и интересная работа. Павла провожает Олег. По всему чувствуется, что он не одобряет своего друга: «Плохо тебе будет без нас...» — говорит он на прощанье. Павел улетает в Москву, к старику отцу, и, получив в министерстве желаемое назначение, решает напоследок зайти к матери и сестре своего погибшего друга Веньки. Визит этот оказывается для него роковым: Павел влюбляется в красавицу сестру Вениамина, круто меняет решение, отказывается от нелюбимой невесты, от выгодного назначения, от спокойной и благоустроенной жизни и возвращается на Север... Повесть написана поэтично, читается легко, безотрывно, в ней есть отличные куски, особенно удались автору образы пилота Строева, старого капитана Варга, картины суровой северной природы. И все-таки на этой повести лежит отпечаток, может быть, некоторой избыточной легкости и поэтичности... Бывает ли избыточна поэтичность? Увы, бывает!

Поначалу такая романтически-приподнятая интонация в стихах, повестях, рассказах и очерках подкупает и заражает читателя — особенно тех из них, кто, вот как я, например, долго жил на Севере и сам испытал подобные чувства. Между тем эта бытующая у нас тенденция «местнической» или «ведомственной» литературы, по-моему, неправомерна. Писать для шахтеров исключительно о шахтерах, женщинам — о женщинах, северянам — о Севере, и притом всегда несколько приподнято, несколько, так сказать, «на котурнах», — значит, обкрадывать шахтеров, женщин, северян. Литература (я имею в виду большую литературу) — она про все, про жизнь вообще. Даже для детей лучшие книги написаны вовсе не про одни лишь детские дела и радости. Вспомним мудрые сказки Андерсена, «Даuida Копперфильда» Диккенса, «Детство» и «Отрочество» Толстого.

В будущих номерах альманаха очень бы хотелось увидеть именно такую, настоящую большую литературу. Про Север — тоже, но не только про Север. А если даже про Север, то серьезно, глубоко, с раскрытием и анализом тех социальных и нравственных

проблем, которые для него характерны. Задача эта, мне кажется, альманаху по плечу. Опубликованные произведения дают полное основание считать, что среди магаданцев немало думающих и талантливых литераторов.

И. Варламова.

★

А. А. МИГОЛАТЬЕВ. Эскалация милитаризма. М. Воениздат. 1970. 223 стр.

Милитаризм — неизбежный спутник буржуазного общества, в эпоху же монополистического капитализма он достиг небывалых масштабов. Используя обширный фактический материал, автор книги показывает, как империалистические государства превращаются в военно-политические государства, как милитаризм оказывает решающее влияние на политику, экономику, науку, культуру.

Главная цитадель империализма в современном капиталистическом мире — Соединенные Штаты Америки. Им уделяет автор главное внимание. США создали гигантскую военную машину, опутали весь мир сетью военных баз, содержат за пределами страны почти половину своих вооруженных сил — около 1,5 миллиона человек, вовлекли в систему военных союзов и блоков десятки государств.

Но армия, вооружение — это, так сказать, внешние проявления милитаризации капиталистических государств. Не менее важно то, что эта проказа поразила весь организм буржуазного общества, проникла во все его поры. Эта мысль проходит через всю книгу.

В США особенно нагляден процесс сращивания монополистического капитала с военщиной. Пентагон, который американские бизнесмены недаром называют «самой важной фирмой», помогает монополиям получать колоссальные сверхприбыли за счет налогоплательщика. С другой стороны, банкиры и промышленники занимают ключевые посты в вооруженных силах. Достаточно привести такой факт: из девяти министров обороны, которые занимали этот пост в течение последних двадцати лет, восемь пришли из мира бизнеса.

Военно-промышленный комплекс, образовавшийся в США, приобрел такое влияние, что даже генерал Эйзенхауэр, покидая в 1961 году пост президента, вынужден был в своей прощальной речи предостеречь американцев от роковых последствий влияния этого комплекса на экономическую, политическую и духовную жизнь страны. Предостережение, однако, осталось втуне. В последние годы роль военно-промышленного комплекса в США еще более возросла.

Милитаризм — орудие империалистической агрессивной политики, направленной против стран социализма, против народов, ведущих национально-освободительную борьбу, против всех прогрессивных сил. В книге приводится такая цифра: только за период с 1958 по 1966 год США, используя свои войска, 157 раз вмешивались во внутренние дела суверенных государств.

Милитаризм подчинил себе науку, широ-

ко использует достижения научно-технической революции для раздувания гонки вооружения. Три четверти инженеров и научных работников в США заняты на предприятиях и в учреждениях, работающих на Пентагон.

Непрерывно ведется соответствующая идеологическая обработка не только личного состава вооруженных сил, но и всего населения. Пропаганда стремится убедить людей в том, что война — неизбежное явление в человеческом обществе, что она «стимулирует» развитие экономики, науки. И, конечно, основное направление пропаганды — антикоммунизм.

Много внимания в книге уделено разоблачению милитаризма как орудия неокOLONиализма, борьбы против национально-освободительного движения народов стран Азии, Африки, Латинской Америки. Наиболее наглядное выражение в последнее время это нашло в агрессии американского империализма во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе, в войне Израиля против арабских государств.

Важный раздел книги — социальные последствия укрепления военно-промышленного комплекса: усиление реакции, фашизма. Обостряется борьба между трудом и капиталом, о чем свидетельствует непрерывный рост забастовочного движения. Милитаризация экономики не в состоянии ликвидировать хроническую безработицу, она увеличивает бремя налогов, от которых больше всего страдают трудящиеся массы, ведет к инфляции, снижению жизненного уровня народа.

Книга А. Мигولاتьева, вскрывая сущность милитаризма, помогает лучше понять, что решительная борьба против поджигателей войны, слочение всех сил, борющихся за мир, демократию и социализм, — веление времени.

В. Бродер.

★

ВЛАДЛЕН БАХНОВ. Внимание: ахи! Фантастические памфлеты, пародии и юморески. М. «Молодая гвардия». 1970. 256 стр.

Как часто бывает, появляется новый роман, поэма, фильм — и тут же начинается критическая разногласица: одни говорят, это замечательно, другие, напротив, что это слабо, невыразительно, бездарно... Придумать бы какой-нибудь прибор, который точно определял бы степень художественности произведения искусства, — тогда отпали бы все споры, не было бы места обидам и претензиям.

И ведь такой прибор действительно придумали — пока, правда, только в фантастическом рассказе «Внимание: ахи!», давшем название книге В. Бахнова. Действие рассказа происходит на планете Сигма 3, разумные обитатели которой увлекались коллекционированием подделок: был у них даже специальный Музей фальшивок. И вот чтоб распознать подделку среди подлинников, один изобретатель и предложил прибор, названный ахотром. «Каждое произведение несет в себе определенный эмоциональный заряд, — рассуждал он. — А как известно,

теоретически любой заряд можно измерить. Так вот мой ахометр предназначен для точного измерения величины эмоционального заряда. Единицей измерения является «ах». В некоторых произведениях сто ахов, в других тысячи, в третьих не более десяти».

Сигмиане были нацией «физиков», они обожали цифры и расчеты. Нечего и говорить, что изобретение у них привилось. Тотчас были замерены все картины, потом научились замерять произведения литературы и музыки. А врачи-психиатры, заменившие ненужных уже теперь критиков, убедительно доказали, что писать низкоаховые произведения полезней, потому что они лучше усваиваются читателями. Отныне «создание сильных произведений стало считаться признаком творческой слабости и безразличия к здоровью читателей. А тех, кто упрямо не хотел учиться писать слабей, просто переставали читать. Кому охота подрывать свое здоровье?»

Наконец наступил последний этап. Какой-то новый изобретатель придумал особые ахпириновые таблетки различного состава и концентрации, чтобы не тратить времени на просмотр, скажем, приключенческой картины «Торзон», а просто принять соответствующую пилюлю, которая даст точно такое же количество эмоций, какое зритель получает при просмотре...

«Сигмиане почти перестали разговаривать и обмениваться мыслями, потому что рты их постоянно были заняты таблетками, да и обмениваться, в сущности, было нечем». Так потребительское отношение к искусству погубило некогда могущественную, технически высокоразвитую цивилизацию...

Мы остановились на этом рассказе столь подробно не потому только, что он интересен и поучителен, но и потому, что он очень характерен для фантастики В. Бахнова. К этому жанру известный поэт-сатирик, автор нескольких кинокомедий и просто комедий, обращается впервые. Любимое его оружие — гротеск, часто пародия, технические же подробности или популяризация космических достижений не волнуют его вовсе. Действие у него весьма нередко уносится в космические просторы или в иные времена, но события, происходящие там, по-

что всегда заставляют вспомнить о грешной земле. Таков, например, один «из невыдуманных рассказов заслуженного водителя времяходов дальнего следования Николая Ложкина» — «Тот самый Балабашкин», где речь идет о деятельности Помбугена — учреждения, призванного помогать будущим гениям. Ложкин отправлялся на сто — сто пятьдесят лет в будущее и выявлял, кого из живущих нынче людей потомки признают гением. А Помбуген на основании полученных сведений старался создать им наилучшие условия для работы. Впрочем, в рассказе из-за ошибки Ложкина Помбуген помогает не подлинному гению, а его бездарному однофамильцу, тогда как «искомый» поэт тихо живет в это время в Конотопе, изредка печатая стихи под псевдонимом У. Пимезонов...

С таким же вполне земным прицелом написаны и повесть «Как погасло солнце, или История тысячетлетней диктатории Огогондии, которая существовала 13 лет 5 месяцев 7 дней» — о бесславных деяниях «славного» диктатора Дино Динами, и рассказ «Двенадцать праздников» — о не менее бесславной деятельности другого не менее славного диктатора — короля Альфонса, который «для блага страны не жалел ни себя, ни тем более своих подданных». Его постоянно осеняло великое множество идей, которым он на другой же день давал силу закона, а на третий «уже летели головы первых закононарушителей».

Любопытен и рассказ «Кое-что о чертовщине» — остроумный и аргументированный по всем правилам науки анализ легенды о докторе Фаусте, неотразимо доказывающий, что небезызвестный Мефистофель был не кем иным, как «пришельцем с другой планеты, представителем необычайно высокоразвитой цивилизации...». Его так называемые рога — это просто-напросто V-образная телепатическая антенна, ну а хвост, естественно, — заземление...

Сборник неровен, есть тут вещи и менее значащие, проходные, но, в общем, дебют новоявленного фантаста нельзя не признать удачным и обещающим.

С. Сивоконь.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. О партийном, государственном и общественном контроле. 272 стр. Цена 58 к.

В. И. Ленин. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. 160 стр. Цена 18 к.

В. И. Ленин. О государстве. Лекция в Свердловском университете 11 июля 1919 г. 24 стр. Цена 3 к.

В. И. Ленин. Против догматизма, сектантства, «левого» оппортунизма. 468 стр. Цена 85 к.

В. И. Ленин. О кооперации. 208 стр. Цена 38 к.

В. И. Ленин. Как организовать соревнования? — Великий почин (О героизме в тылу. По поводу «коммунистических субботников»). 40 стр. Цена 4 к.

В. И. Ленин. С чего начать? — Партийная организация и партийная литература. — О характере наших газет. 48 стр. Цена 5 к.

А. Аникин. Юность науки. Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. 384 стр. Цена 82 к.

Р. Ковнатор. Ольга Ульянова. 136 стр. Цена 14 к.

Н. Марков. Научно-техническая революция: анализ, перспективы, последствия. 224 стр. Цена 37 к.

Хрестоматия по партийному строительству. 424 стр. Цена 64 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Т. Абдрахманова. Белый луч. Стихи. Перевод с казахского. 112 стр. Цена 29 к.

Ш. Анак. Три синих холма. Стихи. Перевод с татарского С. Куняева. 112 стр. Цена 31 к.

М. Геттуев. Разлив. Стихи. Перевод с балкарского Я. Серпина. 110 стр. Цена 36 к.

Г. Горышин. Лица встречных. Повесть и рассказы. 280 стр. Цена 51 к.

Г. Коновалов. Былинка в поле. Роман. 286 стр. Цена 65 к.

П. Лукницкий. Ленинград действует... Фронтовой дневник. Третий год войны. Книга 3. 583 стр. Цена 1 р.

П. Медведев. В лаборатории писателя. Предисловие Е. Добиная. 392 стр. Цена 86 к.

С. Спасский. Земное время. Избранные стихи. Предисловие В. Шефнера. 256 стр. Цена 71 к.

Н. Чисхан. Индигирка. Повести и рассказы. Перевод с якутского. 303 стр. Цена 57 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Ауэзов. Путь Абая. Роман-эпопея. В 2-х томах. Перевод с казахского («Библиотека всемирной литературы»). Т. I. 720 стр. Цена 1 р. 96 к. Т. 2. 687 стр. Цена 1 р. 90 к.

Арн. Бухов. Жуки на булавках. Юмористические рассказы. 304 стр. Цена 74 к.

Коммуны след неизгладим. Стихи. Перевод с французского. 111 стр. Цена 1 р. 35 к.

Г. Кэпот. Голоса травы. Повесть. — Рассказы. Перевод с английского С. Митиной. Предисловие М. Тугушевой. 207 стр. Цена 58 к.

С. Мауленов. Листья гораг. Стихи. Перевод с казахского. Предисловие М. Львова. 190 стр. Цена 56 к.

С. Орлов. Избранное. В 2-х книгах. Предисловие С. Наровчатова. Книга 1. 302 стр. Цена 91 к. Книга 2. 254 стр. Цена 83 к.

Поэзия нубинского романтизма. Переводы с испанского. Составление Д. Прицкера. Художник А. Гончаров. 190 стр. Цена 1 р. 70 к.

А. Рубашкин. Михаил Кольцов. Критико-биографический очерк. 208 стр. Цена 55 к.

Ж. Санд. Собрание сочинений. В 9-ти томах. Под общей редакцией И. Лилеевой, Б. Рейзова, А. Шадрина, Т. И. Индиана. Перевод с французского А. Толстой. — Валентина. Перевод с французского Н. Жарковой. 551 стр. Цена 1 р. 55 к.

В. Стефанин. Избранное. Перевод с украинского. Предисловие С. Крыжановского. 223 стр. Цена 61 к.

М. Щеглов. Литературная критика. Предисловие Н. Гудзия. 430 стр. Цена 1 р. 27 к.

Японские пятистишия. Перевод с японского, вступительная статья и примечания А. Глускиной. 271 стр. Цена 28 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Л. Жариков. Судьба Илюши Барабанова. Калужская повесть. 416 стр. Цена 83 к.

А. Лану. Мопассан. Сокращенный перевод с французского («Жизнь замечательных людей»). 391 стр. Цена 1 р. 36 к.

Г. Фиш. Мы вернемся, Суоми! — На земле Калевалы. Повести. Вступительная статья Б. Брайниной. 493 стр. Цена 1 р. 1 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Э. Александрова. Люблю театр! (Размышления о театре). 158 стр. Цена 89 к.

К. Алтайский и М. Каратаев. Путешествие в Жер-Уюк. Книга о Казахстане. 127 стр. Цена 64 к.

А. Аронов. Браво, Аракс! Повесть. 174 стр. Цена 42 к.

А. Гарф. Кожаные башмаки. Повесть. 224 стр. Цена 84 к.

Горлинка поэт. Стихи поэтов Узбекистана. 63 стр. Цена 12 к.

История одного дня. Сборник рассказов современных венгерских писателей. Переводы. Предисловие А. Туркова. 222 стр. Цена 43 к.

В. Маяковский. Владимир Ильич Ленин. Поэма. 143 стр. Цена 2 р. 45 к.

А. Мусатов. Стожары. Дом на горе. Зеленый шум. Повести. 639 стр. Цена 1 р. 38 к.

Н. Некрасов. Стихи для детей. Вступительная статья К. Чуковского. 125 стр. Цена 39 к.

В. Приходько. Елена Благинина. Очерк творчества. 109 стр. Цена 37 к.

А. Рыбаков. Неизвестный солдат. Повесть. Иллюстрации О. Верейского. 191 стр. Цена 54 к.

Сын Утренней Звезды. Сказки индейцев Нового Света. Перевод с испанского, английского и немецкого. 144 стр. Цена 48 к.

Л. Толстой. Севастопольские рассказы. 127 стр. Цена 40 к.

Ю. Яковлев. Где стояла батарея. Рассказы. 319 стр. Цена 57 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Блинов. Полянья. Роман. 270 стр. Цена 64 к.

Ю. Бондарев. Батальоны просят огня. Род-
стенники. Повести. 364 стр. Цена 74 к.
Н. Букин. Море создано для смелых. Сти-
хи и песни. 78 стр. Цена 22 к.
И. Беньшегова. Черная рябина. Стихи.
78 стр. Цена 18 к.
Л. Евсеева и Н. Сергеев. Музей древне-
русского искусства имени Андрея Рублева.
Путеводитель. 70 стр. Цена 36 к.
В. Закруткин. В родном краю (Письма из
деревни). 64 стр. Цена 12 к.
С. Залыгин. Красный Клевер (Письма из
деревни). 63 стр. Цена 11 к.
А. Рекемчук. Дочка свадба. Рассказы.
191 стр. Цена 48 к.

«ИСКУССТВО»

Б. Барщевский и Б. Иванов. Объемная фо-
тография. 112 стр. Цена 29 к.
В. Витнович и Г. Ягдфельд. Игра на рас-
свете. Киносказки. 180 стр. Цена 58 к.
Вопросы эстетики. Выпуск 9. 303 стр. Це-
на 1 р. 66 к.
В. Ждан. Кино и условность. 111 стр. Цена
60 к.
М. Зарудный. Синие росы. Пьесы. Перевод
с украинского Е. Веснина. Вступительная
статья И. Вишневской. 424 стр. Цена 1 р.
37 к.
А. Каранович. Мои друзья куклы. 175 стр.
Цена 1 р. 32 к.
Кинематограф сегодня. Сборник статей.
Выпуск 2. Составитель Л. Звонникова.
279 стр. Цена 1 р. 51 к.
М. Мильчин. По берегам Пинеги и Мезени
(Дорога к прекрасному). 159 стр. Цена 42 к.
Проблемы телевидения и радио. Исследо-
вания. Критика. Материалы. Выпуск 2.
248 стр. Цена 1 р. 5 к.
Р.-М. Рильке. Ворпсведе. Огюст Роден.
Письма. Стихи. Перевод с немецкого. Соста-
витель Е. Головин. 455 стр. Цена 1 р. 72 к.
А. Романов. Нравственный идеал в совет-
ском киноискусстве. Статьи и очерки.
166 стр. Цена 1 р.
Ю. Шведов. «Юлий Цезарь» Шекспира.
127 стр. Цена 55 к.

«МИР»

Р. Калман, П. Фалб и М. Арбиб. Очерки по
математической теории систем. Перевод с
английского. 600 стр. Цена 1 р. 82 к.
Э. Коллингвуд и А. Ловатер. Теории пре-
дельных множеств. Перевод с английского.
312 стр. Цена 1 р. 1 к.
П. Лакс и Р. Филлипс. Теория рассеяния.
Перевод с английского. 312 стр. Цена 1 р.
36 к.

К. Менерт. Мигматиты и происхождение
гранитов. Перевод с английского. 382 стр.
Цена 3 р. 38 к.
Л. Физер и М. Физер. Реагенты для орга-
нического синтеза. Перевод с английского.
Тт. IV, V. 285 стр. Цена 1 р. 44 к.
А. Фортье. Механика суспензий. Перевод
с французского. 264 стр. Цена 1 р. 21 к.

«ЭКОНОМИКА»

Ю. Авдеев. Выработка и анализ плановых
решений в сложных проектах (Опыт разра-
ботки и применения АСУ в строительстве).
96 стр. Цена 23 к.
Л. Зломанов. Международные экономиче-
ские сопоставления (На примере сельскохо-
зяйственного производства). 159 стр. Цена
55 к.
Р. Меркин и Г. Николаева. Планирование
и нормирование экономического освоения
новых предприятий. 167 стр. Цена 42 к.
**Основы и практика хозяйственной ре-
формы в СССР.** 520 стр. Цена 1 р. 88 к.

«НАУКА»

О. Алесеева. Устная поэзия русских ра-
бочих. Дореволюционный период. 182 стр.
Цена 65 к.
Ю. Бобранов. США: федеральная резерв-
ная система и экономическое регулирова-
ние. 192 стр. Цена 57 к.
Древности Московского Кремля. (Матери-
алы и исследования по археологии Москвы).
Т. 4. 294 стр. Цена 1 р. 96 к.
**Краткий словарь латинских слов, сокра-
щений и выражений.** Составители В. Куприя-
нова и Н. Умнова. 114 стр. Цена 29 к.
В. Кутейщикова. Мексиканский роман.
Формирование. Свообразие. Современный
этап. 334 стр. Цена 1 р. 66 к.
И. Светлов. Скульптура народной Венг-
рии. 136 стр. Цена 1 р. 12 к.
Страны и народы Востока. Выпуск 10.
Средняя и Центральная Азия. География, эт-
нография, история. 292 стр. Цена 1 р. 80 к.
Н. Устюн. Америка и американцы в Тур-
ции. Сокращенный перевод с турецкого. 170
стр. Цена 54 к.
Фонетика. Фонология. Грамматика. К 70-
летию А. А. Реформатского. Сборник статей.
391 стр. Цена 1 р. 70 к.
Честерфилд. Письма к сыну. Максими.
Характеры. Перевод с английского. 351 стр.
Цена 1 р. 61 к.
Ж. П. Шаброль. Миллионы, миллионы
японцев... Очерки. Перевод с французского.
288 стр. Цена 71 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Д. Г. Большов (первый зам. главного редактора),
Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Р. Г. Гамзатов, А. А. Куле-
шов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин,
О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 29/III 1971 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 5/V 1971 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. 28,77 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 05760. Зак. 1749. Тираж 178 000.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 1 «Печ-
чатный Двор» им. А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете
Министров СССР, г. Ленинград, Гатчинская ул., 26 с матриц типографии «Известий Совет-
тов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова.
Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636